Иностранная литература

11

1962

Иностранная литература 11 1962

Иностранная литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

ЮЗЕФ ОЗГА-МИХАЛЬСКИЙ — Земля, о тебе я думаю (Стихи) 4

АЛЕКСЕЙ СУРКОВ — Открытое письмо американскому поэту Роберту Фросту . 7

РАУЛЬ ГОНСАЛЕС ДЕ КАСКОРРО — Кубинские рассказы 10

ГО МО-ЖО — Стихи 20

ДЖОН ГОВАРД ЛОУСОН — Чудеса в гостиной (Пьеса в трех актах) 22

СТАНИСЛАВ ЛЕМ — По звездным дорогам (Рассказы) 72

ПОЛЬ ЭЛЮАР — Разные годы (Стихи) . . 109

ФРАНЧИСК МУНТЯНУ — Художник (Роман. Окончание) 113

С. МАРШАК — Из Роберта Бёрнса (Новые переводы) 146

ДОЛОРЕС ИБАРРУРИ — Единственный путь 149

ПУБЛИЦИСТИКА

ПИТЕР ТЕМПЕСТ — Начало новой эры . . 172

ЮЛИУС ФУЧИК — Три неопубликованных письма 176

КРИТИКА

Черты современного героя

ЕФРЕМ КАРАНФИЛОВ — Новое в болгарской прозе 182

МИХАИ НОВИКОВ — В шеренге борцов . . 186

ИРЖИ ГАЕК — На пути к свершениям . . 190

11

НОЯБРЬ

1962

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ»

Москва

АНТОНИО ГРАМШИ — «...Чтобы наши дети жили в свободном и прекрасном мире» (Письма к жене) 195
КАРЛО САЛИНАРИ — Антонио Грамши — революционер и мыслитель 207

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

ИОГАННЕС Р. БЕХЕР — Стойкость (Предисловие и перевод О. Егорова) 216

КНИГИ В БОРЬБЕ

Вадим Соколов — Судьба коммуниста. ◇ Л. Осповат — Партизанская гитара. ◇ Ю. Погосов — Рожденные революцией. ◇ В. Сорокин — Перед рассветом. ◇ Л. Симонян — Поднимая целину. ◇ С. Черникова — Уверенные в будущем. ◇ М. Игнатов — Герои «малой войны». ◇ А. Петриковская — Эпизод борьбы. ◇ Иштван Дарваши — «Исповедь и история» . . 223

ПОЛЕМИКА

Н. АБАЛКИН — Корабль пойдет на дно... (На XXXI международной художественной выставке в Венеции) 241

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

Джон Хартфильд — художник-коммунист (Вступительная статья А. Житомирского) 248

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

ОБОЗРЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ . . . 257

У НАШИХ ДРУЗЕЙ

По страницам журналов социалистических стран 263

КАЛЕНДАРЬ «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

ВЛАДИМИР ПОЗНЕР — Беседа с Арнольдом Цвейгом 266
Т. СИЛЬМАН — Герхарт Гауптман 268

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ 270

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

ХРОНИКА 271

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 287

На обложке рисунок румынского художника Жюля Перахима, присланный им для журнала «Иностранная литература».

ШТУРВАЛ ИСТОРИИ

ХЕЛЬМУТ ПАХЛИНГ
(Чехословакия)

ЮЗЕФ ОЗГА-МИХАЛЬСКИЙ

Земля, о тебе я думаю

Перевод с польского
АЛЕКСАНДРА РЕВИЧА

Зал выигранной битвы

Я видел зал,
где потрясли планету
два самых грозных орудийных
залпа —
Декрет о мире,
о земле Декрет.
Был канониром Ленин.
Колонны в два ряда
на небывалом полигоне встали.
Не порохом задымлен потолок —
махоркою.
Прекрасная картина,
приятен этот образ глазу.
Не порох здесь дымился, а табак,
слова же попадали в цель.

Смольный

Здесь в институте
учились когда-то
тысячи
благородных девиц.
На изящные шляпки и юбочки
капал
пот крестьянской России.
Мужик падал ниц.
А дети его,
босы, простоволосы,
за коровьими шли хвостами.
У дымных костров на полянах
лу́ны
лекции
им
читали.
Здесь был их Смольный,
их высшая школа,
она «высоко» их класс утвердила:
на пастбищах
детям крестьянским
ближе азбучных литер
были
ночные светила.

«Аврора»

Говорят, что «Аврора»
стоит на приколе
в Ленинграде,
что очень стара.
Кажется всем,
что это — корабль,
а это —
летящая в дали звезда.
Сыпались с борта ее
снаряды
и раскалывались,
как орехи,
над царским столом.

«Метко ты, бабка,
в царя угодила».—
«Была я моложе —
в очках не ходила».

Лижет ржавчина
старого крейсера пушки.
«Где ж удальцы твои?» —
«В светлой Авроре.
Звезд
касаются
их макушки
на небесном просторе».—
«А где снаряды твои?» —
«В глубине —
враги грызут их
на илистом дне!»

В Новодевичьем монастыре

Вяземский, Римский-Корсаков
и Александр Тургенев,
который вез тело Пушкина
после смертельной дуэли
в Михайловское родное,—
уснули в одной земле.
В монастыре Новодевичьем.
Над каждым из них — плита.
Теперь можно встретить их вместе,
польских цветов положить
на могилу,
птичий услышать напев.
Их надгробья —
не мертвые пни
деревьев сраженных!
Они
все ночи
и дни
оживляют пейзаж российский,
отраду сердцам даря.
Таких не убьют морозы,
не срежут острые пилы,
смерть их напрасно ждет.

Могила Маяковского

Без надгробья могила поэта,
по-крестьянски обложена дерном.
Сын лесничего спит, одетый
славой вечной и грунтом черным.
Слева — сестра,
справа — мать,
сопутствуют брату и сыну,
словно поэзии зонт,
розовый куст над ними раскинут.
Рядом ель,
зеленым наполнена соком,
над мшистой кочкою ветви колышет.

Ее острием высоким
стихи Маяковский пишет.
О звездочках-зарницах,
о лунах яснолицых,
о пане Твардовском, * летящем
к зениту
ракетой...
Есть на имя поэта
телеграмма с планеты,
только вчера лишь открытой.
Поэты не гибнут,
а гаснут, как солнца.
Лучи их бегут
сквозь столетья и дали.
И полночной порою
к нам свет их несется,
который при жизни они
расплескали.

---

* Популярный герой польской народной поэзии — вариант Фауста,— по преданию, переселившийся на Луну.

Земля,
о тебе я думаю

Земля, о тебе я думаю:
в какие одеть тебя кроны,
в какие поля и поляны
и долу склоненные клены.
Как распахать твои ширы
реформою самой великой,
чтоб не волов, а машины
привязывать к яблоне дикой.
Свершилось.
Закон о разделе
правительство провозгласило.
Ксендзы в костелах скорбели,
шляхта расправой грозила.
Свобода во имя народа
взвивала декрет за декретом,
раскаты их ширь небосвода
взрезали, подобно ракетам.
Рабоче-крестьянский край
кипел половодьем весенним,
шагал революции май,
свой путь устилая цветеньем.
Разбрызгав на новом наделе,
как из кропила, пот свой,
мерил надел земледелец
колом от ограды господской.

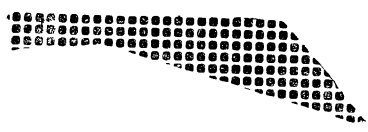
Земля, о тебе я мыслю,
плывущая к далям бескрайним,
к индустриальным высям!
К тракторам и комбайнам!..
Не отступай же вспять!..
Будет сраженье упорным...
Нам в битве за хлеб наступать
на пегасе моторном.

Доспех

Пусть вовеки сохранится
мой доспех:
свечи́ звезда,
щит Луны,
перо,
страница,
в жбане глиняном вода,
плугом взрезанная почва,
необъятные поля.
И, как лопнувшая почка,
пусть легко родит земля.
Пусть
и синевы кусочек,
звезды вольного труда,
пусть зарю поющий кочет
сохранятся навсегда.
Серп, коса, цепы и сохи,
грива чалого коня
как реликвии эпохи
пусть переживут меня.

Из цехов страны на волю
выйдет конница стальная,
выпорхнет, как птицы,
в поле,
как девчат проворных стая.
Меркнет ночь.
Настанет скоро
день бездонный —
глубь зенита.
И Луна, как дверь в просторы,
для людей уже открыта.

Но пускай вовек не сгинет
первопуток санный, синий,
волчьи очи, черный мрак,
вихрь ночной, рассветный иней
и заснеженный овраг.
Пусть живет мой край старинный,
край,
любимый на века,
там сырые глыбы глины
легче
малого листка.



Открытое письмо американскому поэту Роберту Фросту

Глубокоуважаемый мэтр!

Редакция журнала «Иностранная литература» обратилась ко мне с предложением написать для праздничного, ноябрьского, номера заметки о нашем совместном путешествии в Гагру для встречи с Председателем Совета Министров СССР Никитой Сергеевичем Хрущевым.

Я с удовольствием принял это предложение и потому, что встреча и знакомство с Вами оставили в моем сердце глубокий след, и потому, что Ваша встреча с Н. С. Хрущевым, при которой мне довелось присутствовать, была по-своему замечательна и неповторима.

Будучи далеко от Москвы, на болгарском берегу Черного моря, я уже набросал свои заметки о Вашем пребывании в Советском Союзе и о нашей поездке на юг. Но в это время радио донесло до моего слуха тревожные вести из Вашингтона о мерах, принятых правительством Вашей страны против Кубы, поставивших человечество на трагически опасную грань развязывания третьей мировой войны.

Мне вспомнились наши разговоры о войне и мире, об ответственности писателей и политиков, вспомнились неоднократные Ваши лестные отзывы о Президенте США Джоне Кеннеди, о хороших отношениях, которые связывают Вас с Президентом, и мне показалось, что вместо заметок о путешествии молодого сердцем старого лирика в нашу страну в создавшихся условиях правильнее было бы обратиться к Вам, человеку, имеющему большой вес и влияние в своей стране, с открытым письмом.

Первое, что побудило меня так поступить,— это мое знание Ваших стихов, насыщенных горячей любовью к жизни, горячим, плотским ощущением земли и неба, солнца и росы, извечного торжества природы, доверия к человеку, уважения к его труду, стихов поэта-гуманиста, наполненных доверием к жизни и верой в будущее человека.

Это мое побуждение еще более укрепили первые слова, сказанные Вами в ту минуту, когда Вы впервые ступили на бетон Шереметьевского аэродрома. Вот они, эти слова:

«Я знаю Вашу страну лучше, чем знает госдепартамент, потому что я изучал ее по поэзии. И когда святой Петр спросит меня, был ли я современным, я отвечу ему, что летал в Москву на реактивном самолете».

Конечно, в этом Вашем ответе репортерам была доля поэтического озорства. Но дни, проведенные в Советском Союзе, показали всем, кто с Вами соприкасался, как жадно стремились Вы каждый день, каждый час своего времени посвятить тому, чтобы больше узнать страну, ее народ, строй ее жизни, понять психологию людей, по мере сил расширить свои представления о советской поэзии, о советском читателе стиха, о самих поэтах, в особенности о нашей поэтической молодежи. И я думаю, что Вы не зря покрыли такие большие расстояния, пересекая Атлантику по пути в нашу страну.

Для нас остались памятными и Ваши встречи с молодежью в московском молодежном кафе, где Ваш голос сливался с молодыми голосами Евтушенко, Вознесенского и других наших молодых поэтов. Я присутствовал на большой Вашей встрече с

советскими любителями поэзии в Библиотеке иностранной литературы, в переполненном зале которой можно было слышать, как пролетит муха, когда Вы одно за другим читали свои произведения на родном языке. Прекрасным по масштабу и по откликам слушателей и зрителей был проведенный для многомиллионной аудитории московского телевидения Ваш вечер и Ваш разговор по животрепещущим вопросам о месте поэзии и литературы в современном взбудораженном мире.

Везде, где Вы встречались с советскими людьми, Ваши молодо блестящие голубые глаза пристально вглядывались в аудиторию, в собеседников, как будто Вы хотели увидеть то, что лежит в самой глубине человеческого сердца.

И, мне думается, после этих встреч, уезжая на родину, Вы унесли в своей душе убеждение о том, как огромен интерес нашего человека к культуре, к поэзии, как жадно слушает он каждое новое слово и как непредубежденно слушает, как далека от действительности созданная на западе легенда о том, что советские люди воспитаны в неприятии всего, что идет из-за границы, замкнуты, скованы в общении с иностранцами. Вы, иностранец и американец — то есть гость из той страны, о которой у нас знают и то, что она окружила наши границы военными базами, посылала в наше небо разведчика Пауэрса,— Вы несомненно поняли и почувствовали, как тонко и как точно наши люди умеют распознавать друзей и недоброжелателей, как велико у них чувство объективности всегда, когда заходит речь о признании таланта, мастерства, искренности стремлений и намерений. А ведь это было не только с Вами. Так всегда встречают у нас проявление доброй воли, талант, мастерство в концертном ли зале, на театральных ли подмостках или в кипящей страстями спортивного азарта гранитной чаше стадиона.

Мне кажется, и для Вас и для меня был незабываем день путешествия на юг, в гости к Председателю Совета Министров СССР Н. С. Хрущеву. Волнений в тот день было так много, что от них Вы занемогли, приехав в Гагру. Но Ваш преходящий недуг дал Вам возможность увидеть в руководителе нашего народа ту же черту, какую Вы подмечали у рядовых советских людей,— человечность, отзывчивость, непредубежденность.

Как помните, Ваш визит к Н. С. Хрущеву из-за Вашего временного недомогания превратился в визит руководителя великой страны к гостю — заокеанскому поэту.

Я помню, как больше часа у постели утомленного дальним подорожьем старого лирика шла очень сердечная, очень взволнованная, очень искренняя и прямая беседа по всем вопросам, с которыми Вы обращались к Н. С. Хрущеву.

Тогда в беседе с Вами Никита Сергеевич касался многих проблем, которые с такой тревожной обнаженностью раскрылись в одном из выступлений Президента Д. Кеннеди и в той атмосфере безудержного милитаристского психоза, которая создалась в США вслед за этим выступлением.

По пути обратно в Москву мы много говорили о встрече в Гагре. Она произвела на Вас большое впечатление. Она как бы увенчала собой Вашу короткую, но содержательную поездку в Советский Союз.

И в день, вернее сказать ранним воскресным утром, когда мы в последний раз обменялись крепкими рукопожатиями на Шереметьевском аэродроме и Вы покинули нашу страну, у всех нас, тесно соприкасавшихся с Вами в дни Вашего визита, было твердое, незыблемое убеждение, что мы провожаем друга, провожаем человека, понявшего, почувствовавшего пафос жизни нашего народа, его мирные устремления, его неизменное миролюбие, определяющее действия и решения советского правительства.

Движимый этими чувствами, Вы в своем последнем интервью на аэродроме заявили:

«Союз писателей сделал эту поездку одним из самых замечательных событий моей жизни. Мне представилась возможность выразить свое восхищение вашей могущественной страной, на долю которой выпало соперничать с нами в грядущие годы. Я признателен за ваше щедрое гостеприимство. Об этих чувствах я говорил не раз в Москве, и в Ленинграде, и в Гагре».

Расставаясь с Вами, Никита Сергеевич Хрущев просил Вас передать искренний привет американскому народу и вашему Президенту.

Растроганный беседой с Н. С. Хрущевым, Вы дрожащей от сердечного волнения рукой написали на томике своих стихов то, что чаще всего говорили в беседах с советскими литераторами и читателями: «От Вашего соперника в сфере дружбы».

Я пишу Вам эти строки в дни, когда особенно хочется напомнить Вам эти глубоко искренние, продуманные и прочувствованные слова.

Никита Сергеевич Хрущев в беседе с Вами особенно твердо и настойчиво подчеркивал миролюбие, гуманистические устремления советской внешней политики, разъяснял, что Советский Союз не собирается нападать ни на Соединенные Штаты, ни на какую-нибудь другую страну в мире, особенно твердо и решительно говорил о том, что нашим государством никогда п е р в ы м не будет применено истребительное термоядерное оружие, что в вопросах международных отношений самое опасное — политика с позиции силы, всегда чреватая превращением «холодной» войны в «горячую».

В недавние тревожные дни Вы могли убедиться в том, насколько слова советских руководителей не расходятся с их делами.

Н. С. Хрущев, проявляя выдержку и хладнокровие перед лицом грозных опасностей, сделал мужественный, продиктованный острым чувством ответственности за судьбу человечества шаг к разрядке создавшейся напряженности, шаг, продиктованный не слабостью, а сознанием несокрушимой мощи своей страны, поглощенной, как Вы видели своими глазами, мирным созидательным трудом.

Не меч, а мир несут человечеству слова двух посланий главы советского правительства, адресованное Президенту Соединенных Штатов. Мы не хотим войны. Мы слишком много потеряли людей и культурных ценностей во второй мировой войне. Мы думаем о мире и о любых формах соперничества или, лучше сказать, соревнования в сфере дружбы. Нам нечего делить с американским народом. У нас есть много оснований уважать этот народ, умеющий трудиться, создавать материальные и духовные ценности.

Поэтому-то и теперь, когда, несмотря на наступившую некоторую разрядку грозного напряжения, все еще очень сильно пахнет порохом, я, уважая Вас как великолепного мастера лирики, любя Вас как человека, в восьмидесятидевятилетнем теле которого бьется молодое, взволнованное судьбами человечества сердце, призываю Вас встать на путь, указанный каждому честному интеллигенту мужественным поведением Бертрана Рассела, на путь протеста против развязывания войны, на путь убеждения своих соотечественников в гибельности политики «с позиции силы».

Вас любят и знают на родине. Вы близки с ее нынешним Президентом. Используйте драгоценную любовь народа, дружбу Президента для того, чтобы начавшуюся разрядку довести до такой точки, при которой будет возможно все, о чем пишет ваш Президент в своем послании к Н. С. Хрущеву: запрещение ядерного оружия, всеобщее и полное разоружение и другие великие блага для современного человечества, изнуренного многолетней гонкой вооружений, уставшего от бряцания оружием и постоянного ощущения жизни на пороховой бочке.

Приехав к нам, Вы увидели, что нет у нашего народа и у нашего правительства стремления к навязыванию другим народам своего образа жизни. Мы не хотим соперничества на поле боя, где при нынешних средствах истребления трудно ожидать чего-либо, кроме неисчислимых бедствий для человечества.

Используйте Ваш авторитет для того, чтобы все поняли это и, таким образом, раз и навсегда освободили мир от тех опасностей, которые ему все еще угрожают.

Давайте соперничать в сфере дружбы!

Ваш

Алексей Сурков

РАУЛЬ ГОНСАЛЕС ДЕ КАСКОРРО

Кубинские рассказы

С чужого плеча

Они говорили об этом всего несколько часов назад... Говорили о том, что было!.. Время идет, и даже воспоминания тускнеют. Разве что сядешь как-нибудь и спокойно постараешься все припомнить. Тогда перед тобой начнут всплывать лица, фигуры, жесты. Ты даже услышишь голоса тех, кто были твоими друзьями, твоими врагами... Все это, казалось, ушло далеко-далеко, расплылось и померкло, ведь каждый новый день — это тяжелая борьба за кусок хлеба, а голодных ртов у тебя все больше и больше, и вечно приходилось ломать голову над тем, что станется с ними и с тобой завтра.

Так было, потом жизнь преобразилась, и теперь надо бороться за то, чтобы сохранить новое и утвердить его. Вот почему они здесь.

...Раскидистые ветви дерева скрывали их друг от друга — и весьма кстати: они вспоминали о прошлом — таком горестном, что говорить о нем, глядя в лицо собеседнику, было тяжело и стыдно.

Да они и не хотели бередить друг другу душу: ведь, если начнешь копаться в минувшем, непременно обнаружишь, что кто-то в чем-то виноват — то ли из-за своей покорности судьбе, то ли из-за равнодушного отношения к окружающему, а может быть, виною всему то, что обычно называют инстинктом самосохранения? В общем, лучше бы совсем не говорить об этом. Но несколько часов назад они вдруг оказались одни. Спускалась ночь. Они только что разделили ужин с теми, чьи воспоминания, тревоги, мечты так похожи на их собственные,— и вот отец и сын одни. Словно по команде, лица и образы стали реально зримыми, а в ушах у них зазвучали голоса, казалось, умолкшие навсегда.

— Я не хочу, чтоб мои дети пережили это,— сказал сын.— Пусть даже не мои, а чьи-то чужие дети... До чего же несправедливо — без конца терпеть унижения, не иметь ничего своего, все — с чужого плеча...

— Да... Несправедливо...— отозвался отец. Больше он ничего не сказал. Ему надо было собраться с мыслями. Если б он заговорил сейчас, то могло бы показаться, будто и сам он в чем-то виноват. Пусть даже так. Но за тем он и здесь, чтобы искупить свою вину. Вот почему он промолчал. Однако сын не дал оборваться нити воспоминаний.

— Об этом и захочешь забыть — не забудешь. Все те мелочи, которые выставлялись напоказ, когда *они* собирались в сочельник, будто

были придуманы нам на позор, чтобы лишний раз посмеяться над нами... Они словно не понимали, что перед ними живые люди и что все это не проходит бесследно... Пока были детьми, мы многого не понимали, но мы становились взрослыми, и обида росла вместе с нами...

Юноша задумался. Укор, страдание и гордый вызов застыли в его широко раскрытых голубых глазах, блестевших, как зерна четок.

— Нет. Не хочу, чтоб мои дети ходили в обносках!

Отец все еще не решался заговорить. «Пусть мальчик выскажется... я подожду»,— подумал старик.

Далекие голоса приближались. Чтобы не слышать их, юноша обхватил голову руками. Напрасно. Голоса звучали все настойчивей.

«Соруйо, Соруйо, скинь рубашку — она не твоя... Соруйо, Соруйо, скинь рубашку — она не твоя...»

Он заливался краской стыда, мальчишки видели это и наседали еще больше, они кричали, кружились и тянули его за рубашонку из тонкого полотна, болтавшуюся на худеньком теле, за штаны, которые висели мешком, потому что у матери все не было времени сузить их в поясе. Мальчишки лезли к нему, а когда он пытался ударить кого-нибудь из них, они отбегали, и затрещина каждый раз приходилась по воздуху. Потом они снова принимались кружиться вокруг — и так до самого дома. Тогда ему казалось, что их по-детски простодушные насмешки преследуют одну цель: унизить его, внести разлад в их семью.

«Соруйо, Соруйо...»

А дома мать, будто нарочно, опять напоминала о его позоре.

— До чего ты неблагодарный,— говорила она.— Тетя и дядя вечно о тебе беспокоятся, посылают одежду, которую носил твой двоюродный брат, а ты не бережешь ее, да к тому же болтаешь невесть что... Посмей-ка еще раз порвать рубаху или штаны! Мальчишки тебе завидуют. Да, да, потому что им никогда не носить того, что носите вы...

Так оно и шло... Мать брала под защиту своих великодушных родственников и лишь сетовала порой, что у них не пятеро детей, как у нее, а всего двое. И еще она сокрушалась о том, что штаны и рубашки ее племянника Педрито успевают послужить только старшему сыну, хотя они должны были бы переходить потом к младшим ребятам так же, как и младшей девочке переходят платья Лурдес, которые той посылает кузина. Лурдес — что! Она еще маленькая, только недавно начала ходить в школу. Разве она понимает, что платья, которые она носит,— не по карману семье простого рабочего...

— Вот подожди, придет тетя, я ей все расскажу. Неблагодарный!

Но прежде чем рассказывать тете, она жаловалась отцу. Их семья жила в небольшом поселке, неподалеку от города, где на мужа маминой сестры гнули спину десятки рабочих, чтобы тетя со своими подружками могла развлекаться в клубе, а сам он на конец недели мог уезжать со своей любовницей в Гавану и проводить там время в ночных кабаре; чтобы их дети учились в католических колледжах, куда принимают богатых, и носили изящную обувь и дорогие костюмы, которые потом они дарили двоюродным братьям и сестрам, хотя подошвы и каблуки еще не были стоптаны, а воротнички и манжеты — почти целы...

Прежде чем пожаловаться тете, мать рассказывает обо всем отцу — просто потому, что со своей сестрой она видится лишь в сочельник или в День матери *, который обе они проводят у бабушки. Собственно говоря, последнее время они виделись только в сочельник, а в День матери богатые родственники ограничивались каким-нибудь подарком, так

* Праздник на Кубе, который приходится на вторую неделю мая.

как с некоторых пор во второе воскресенье мая в клубе устраивались выставки женской и детской одежды, а мамина сестра была глубоко убеждена, что у ее детей должен быть самый лучший и разнообразный гардероб (они никогда не надевали один и тот же костюм или платье дважды в месяц). Теперь она могла демонстрировать все богатство их туалетов не только во время блатотворительных праздников, но и во второе воскресенье мая...

— Полюбуйся-ка на своего сына!.. Из-за того, что эти завистливые шалопаи смеются над ним, он не хочет носить костюмы Педрито. Что скажет моя сестра, если узнает об этом!

Отец приходил домой усталый, в насквозь промасленном комбинезоне. Его руки так огрубели от работы, что уже не знали ни волдырей, ни царапин.

— А ты укороти ему рубаху. Не то всякому видно, что она с чужого плеча...

— Не понимаю, почему он такой тощий?.. Разве я виновата, что еда не идет ему впрок... Я надрываюсь, тружусь не покладая рук... Деньги, на которые могла бы держать служанку, тоже трачу на еду, а он все худеет и худеет.

— Растет он, потому и худеет...

— Педрито столько же лет, а он вон какой упитанный!

— Не все люди одинаково сложены... В общем, укороти ты ему штаны и рубашку.

— А как же их будет потом носить Густаво? Он ведь крупнее. Снова придется переделывать. А у меня нет на это времени, понимаешь, нет времени... И почему ты не согласился тогда на эту должность, почему не послушал моего шурина?

Каждый раз повторялась одна и та же история, раздавались одни и те же упреки, а отец не знал, как объяснить ей, почему он просиживает целые дни в маленькой мастерской, где готов ремонтировать все что угодно — от зажигалок до оси грузовика. Мастерская почти не приносила дохода, и денег хватало лишь на то, чтобы сводить концы с концами. Если же возникал непредвиденный расход, выручала все та же великодушная сестра жены.

— Послушай-ка,— сказал отец, обращаясь к юноше,— я тебе сейчас кое-что расскажу, надеюсь, ты не передашь этого матери. Все разговоры, будто он предлагал мне работу на своей фабрике — пустая болтовня. Им не хотелось, чтобы мы жили там же, где они. В конце концов всем стало бы ясно, что и вы и ваша мать ходите в обносках, которые они вам присылают. Узнали бы, что мы и они — родственники, и им пришлось бы по традиции приглашать нас к себе в праздничные дни. А это им ни к чему. И вот, прежде чем я встретился с мужем твоей тетки, она позвала меня к себе и стала долго и путано объяснять, что такое светское общество и как вам, наверно, приходится страдать из-за того, что для вас закрыты те колледжи, где учатся ее дети, так как туда не принимают детей бедняков... Говорила она и о том, как ей хочется, чтобы ее дети были в лучшем обществе, а мы, мол, своим присутствием можем испортить ей всю обедню... В общем, мне стало до того противно, что я решил совсем не встречаться с ее мужем...

— Почему же ты не рассказал обо всем матери?

— А зачем? Она бы мне не поверила. Она слишком любит свою сестру...

Отец и сын умолкли. Оба вспомнили об одном и том же...

— Мама, не говори так. Это мой долг — стать милисиано *.

---

* Боец национальной революционной милиции, сформированной в помощь повстанческой армии.

— Вы делаете это мне назло. Ну хорошо, пусть твой отец не мог поступить иначе, потому что с их приходом ему удалось наконец бросить свою проклятую мастерскую и устроиться на сахарный завод. Но ты-то не обязан соваться в эти дела, ты ведь не состоишь в руководстве профсоюза...

— У меня есть сын.

— Именно поэтому тебе с ними не по пути. Смотри, в один прекрасный день они и тебя арестуют да еще, чего доброго, убьют. И твой ребенок останется без отца. Неужели ты не видишь, какие дела они творят?

— Как ты можешь говорить такое?!.

— И я не хочу, чтоб ты агитировал Густаво. С меня хватит двух милисиано... Вы делаете это мне назло, назло...

— Наш долг — защищать это. Когда же ты наконец поймешь, мама?

— Кого защищать?.. Тех, кто отнял завод у моего бедного шурина? Их ты собираешься защищать, да?

— Мама, я не хочу, чтобы мой сын носил одежду с чужого плеча, не хочу, понимаешь!

Снова нахлынули воспоминания. Но теперь в мыслях своих он говорил уже не «мой сын», а «мои сыновья». Потому что месяца через четыре у него будет еще ребенок, и он в какой-то степени чувствовал себя отцом всех ребят, чье право на одежду, купленную в магазине, он защищал.

Вдыхая аромат табака, отец и сын молчали, словно в тишине этот аромат становился сильнее. Они молчали, пока не пришло время заступить на пост. Весь ход событий предвещал борьбу. Может быть, поэтому возникла потребность подвести итоги. Иногда это бывает необходимо.

Приближалась полночь, но все было спокойно. Отец и сын стояли на посту, неподалеку от громады сахарного завода, трубы которого четко вырисовывались на фоне неба... И вдруг — внезапное сообщение о высадке наемников, приказ о немедленной мобилизации.

— Они высаживаются на Плайя-Ларга. Нужно задержать их, пока не прибудет подкрепление.

И сразу прошлое отступило. Все мысли и чувства сосредоточились на настоящем. С прошлым было покончено, а за будущее надо бороться.

— Береги себя, отец. Я не хочу, чтоб с тобой что-нибудь случилось.

До самого Плайя-Ларга они были вместе. Оба чувствовали, что где-то в душе притаилась тревога. Это было естественно. Предстояло испытание огнем, и они не знают, сумеют ли его выдержать, ведь случается, что в критический момент человека охватывает страх — не трусость, а страх: боишься, что не сумеешь выстоять, что будет пробита брешь и поставлено под угрозу справедливое дело, которое ты так упорно защищал.

Многое они успели передумать. Мысли теснились в голове.

— Отец, если будет девочка, отдайте ее в балетную школу, когда она вырастет...

— У тебя еще много времени впереди — и трое-четверо ребят, никак не меньше. Сможешь учить их, чему захочешь. Зачем тебе думать об этом сейчас?

Отец сжал руку сына, пытаясь отогнать от него тяжелые мысли, для которых пока не было причин. Ведь они точно не знали, сколько людей высадилось и как они вооружены. «Теперь мы по крайней мере встретимся с ними лицом к лицу. И вот увидишь, разобьем их в пух и прах»,— сказал один из бойцов.

— Жалко, что не пришлось мне быть с нашими в дни восстания. Теперь у меня был бы опыт...

— Опыт появится — и очень скоро...

Их слух привык к треску кузнечиков и кваканью лягушек. И вдруг оба вздрогнули от грохота выстрелов, прорвавшего предрассветную тишину. Они начинали приобретать опыт, и каждый чувствовал, как бесследно исчезает страх.

Наемники были уже так близко, что можно было различить их лица, услышать их голоса.

— Эй вы! Сдавайтесь, слышите?.. Мы из Армии освобождения!

— Родина или смерть, негодяи!.. Да здравствует Фидель Кастро!..

Отец и сын сражались бок о бок. Вместе стреляли по врагу и вместе укрывались от пуль.

— Им не справиться с нами, отец!.. Я уверен в этом.

— Я знал, что когда ты окажешься с ними лицом к лицу, то почувствуешь себя сильным... Им ни за что не одолеть нас, ни за что...

Наступил рассвет, когда они услышали выстрелы у себя за спиной. Отряд парашютистов отрезал им путь к отступлению.

— Надо выстоять. Скоро подойдут наши танки. Увидишь, как побегут эти негодяи...

Где-то совсем рядом раздался оглушительный грохот. То, что происходило потом, напоминало кошмарный сон. В мгновение ока все вокруг изменилось. В клубах дыма, под земляным дождем люди двигались с какой-то лихорадочной поспешностью. Едва хватало времени на то, чтобы оказать помощь раненым, склонить голову перед убитыми... Но вот что-то произошло с его сыном.

— Что с тобой?.. Что они сделали, что они с тобой сделали, эти мерзавцы?..

Из зияющей раны вываливались внутренности, жизнь покидала молодое тело.

— Побереги себя, отец, побереги... — шептал умирающий.

Кровь хлынула у него изо рта.

— Они убили меня... — едва слышно произнес он, захлебываясь кровью и словами.— Я так хочу, чтоб у моих ребят была другая жизнь... чтобы они жили в мире и согласии друг с другом... чтобы они стали людьми... настоящими людьми...

Винтовка лежала рядом с ним. Скрюченные пальцы еще пытались нажать на курок. В полузакрытых глазах, на непослушных губах, казалось, застыла прерванная фраза: «...Чтобы у них была своя одежда и обувь... чтобы никто не запрещал им работать и учиться... чтобы они дружили со всеми, кто работает и учится так же, как они...»

Они говорили об этом всего несколько часов назад. Время идет, и даже воспоминания тускнеют. Разве что сядешь как-нибудь и спокойно постараешься все припомнить... И вот они вместе, только теперь они поняли, как по-настоящему близки друг другу. Они могли бы радоваться этому, если бы не сомкнувшееся вокруг них злобное вражеское кольцо. Отец хотел бы часами говорить с сыном о прошлом, которое ушло навсегда, о будущем, которое ждет его внуков — они вырастут свободными под защитой таких людей, как их отец и дед.

Он провел огрубевшей рукой по лицу сына и закрыл ему глаза. Кончиками пальцев дотронулся до его губ, словно желая убедиться, что они в самом деле сомкнулись навсегда, и сказал на прощанье:

— Не тревожься, сынок. Твои земляки навсегда распростились с чужими обносками... и с прежней жизнью тоже...

А потом он принялся стрелять по врагам, и стрелял без передышки, пока не подошло подкрепление

Перевод с испанского Ю. ПЕВЦОВА

Вот почему я рассказываю вам...

Когда они высадились, я был далеко, в Камагуэе *... Но едва я узнал, что они отважились ступить на нашу землю, как тут же попросил, чтобы меня перебросили сюда. Вы из тех, кто может это понять,— вы так молоды, с детства привыкли ко всяким удобствам у себя дома и все-таки приехали к нам, в Сьенагу, обучать людей грамоте. Только тот, кто сердцем чувствует — так надо, способен это сделать и не хныкать по поводу того, что спать приходится в гамаке или на походных кроватях, а жить в хижине из пальмовых листьев, где нет ни душа, ни уборной... А ведь много еще у нас людей, которые ничего не чувствуют и не понимают или делают вид, будто не понимают того, что им невыгодно понимать. Вроде тех, кто высадился в заливе Кочинос... они, видно, думали, что отправляются на пикник...

Так вот, я говорю с вами, потому что знаю: вы поймете меня, не зря же вы вступили в бригады Конрадо Бенитеса ** наряду с другими девушками и парнями, которым это тоже по плечу. Пусть вы совсем молоденькая, вам, наверно, не больше пятнадцати, все равно вы молодчина, потому что думаете не о танцульках и вечеринках, а о том, чтобы служить добрым христианам, которые всю свою жизнь были голы и босы. Ничего, что вы еще недавно играли в куклы, я знаю, вы меня поймете. Потому и расскажу вам эту историю, хотя в другое время я никому не стал бы ее рассказывать. И заодно отдохну немного, раз уж эти крысы попрятались... Большинство их сдалось в плен дней пять назад, но есть и такие, что еще прячутся, надеются улизнуть... Не выйдет!

Я уже говорил, что, когда они высадились, я находился далеко отсюда, хотя моя часть стояла в этих местах, вблизи города Сьенфуэгос. Дело в том, что я ездил в Орьенте ***, и новость застала меня на обратном пути, в Камагуэе. Я тотчас принял все меры, чтобы поскорее вернуться сюда. Но поспел только к концу, были кое-какие трудности, о них я не буду сейчас рассказывать, лучше расскажу про то, что обещал...

Всю свою жизнь я провел в горах Сьерра-Маэстры, работал как мул. Во время сбора кофе удавалось заработать немного деньжонок. Но что толку, несколько месяцев поработаешь, а потом наступают дни, недели и месяцы безработицы.

Мы жили как скоты. Когда шел дождь, нашу хижину заливало водой. Жили мы, заметьте, в горах, так что дождливых дней выпадало больше, чем солнечных... Жена моя рожала каждый год. И все мальчишек. Но жили они недолго. Умирали, не успев подрасти. Глядишь, бывало, как косят их голод и болезни, и душа надрывается от горя.

Был у нас клочок земли, такой крохотный, что уж меньше и представить себе невозможно. К тому же землица в наших краях плохая, и после сбора кофе я нередко уходил на поиски какой-нибудь работенки. «Не зевай, пошевеливайся,— думал я,— а там, глядишь, что-нибудь изменится к лучшему». Но все оставалось по-прежнему: надеяться на перемены всерьез не приходилось, несмотря на обещания разных политиков... Так-то... Взять хотя бы такой пример: был среди них низенький, черняВый, почти лысый, звали его Ченчо. Он хотел стать сенатором и вечно повторял одну и ту же фразу — мне она хорошо запомнилась, потому

---

* Камагуэй — одна из провинций Кубы.

** Отряды добровольцев по борьбе с неграмотностью, образованные на Кубе в 1961 году. Названы в честь учителя-добровольца Конрадо Бенитеса, погибшего от руки контрреволюционеров.

*** Провинция Кубы.

что он ее всегда повторял и, кроме того, мне нравилось, как она звучит, хоть я и не понимал, что она значит... после мне объясняли, но я так ничего и не понял; слова-то были пустые, так себе, сотрясение воздуха. А говорил он вот что: «Мы восстановим кубинских крестьян в их правах...» Вскоре мы поняли, что все это одна болтовня, и перестали обращать внимание на сеньора Ченчо, сами же нередко повторяли его любимую фразу, когда хотели про кого-нибудь сказать: «Этот тоже пытается нас надуть, ничего из того, что он говорит, не сбудется...»

Ведь мулу, которому не по силам тяжелая ноша, словами-то не поможешь. Но выхода у нас не было, мы молчали и продолжали жить по-старому. По правде говоря, мы даже думали, что так уж нам на роду написано — точно так же мучились наши отцы и деды, и ничего тут не изменишь... Ровным счетом ничего. Нас заставили поверить в это. Потому что если кто-нибудь сходил с протоптанной тропинки, ему преграждали путь и принуждали вернуться... А то и приканчивали выстрелом в затылок.

Я ничем не отличался от других. Терпел, как остальные. И так же, как они, почувствовал в один прекрасный день, что терпение мое лопнуло... Вы меня слушаете? Ну вот, поднимаюсь я однажды к своему дому после того, как отсутствовал целую неделю, и думаю: «Странно, почему это ребятишки не бегут мне навстречу и жена не выглядывает из окна?» Испугавшись, не случилось ли несчастье, я ускорил шаг. Сердце билось часто-часто, от волнения даже ладони вспотели, и я чуть не выронил перевязанный веревкой сверток, который нес своим. Дома я застал жену и четверых мальчишек: ребята дрожали, будто от холода, хотя лето было в самом разгаре...

— Что случилось? — спросил я жену.

Но она сидела, отвернувшись к стене, и даже не взглянула в мою сторону. А мальчики, те боязливо посматривали на меня: в полутемной хижине только и видны были их поблескивавшие глазенки и вздувшиеся от голода животы.

— Что же ты молчишь?..

Тут ребята заплакали, и жена тоже, а я вдруг заметил, что в комнате нет Хорхито. «Уж не умер ли он... как Пепито, Фега и Хуан Хосе?» — в страхе подумал я. И внезапно понял, что так оно и есть. Мне показалось, что я схожу с ума. Ведь жена моя, когда это случилось, была одна. И, кроме мальчиков, ей некому было помочь, а они, верно, думали, глядя на маленького покойника, что смерть, скорей всего, уже наметила себе новую жертву... А когда жена, захлебываясь от рыданий, стала рассказывать, как все произошло, я и вовсе потерял голову...

— Хорхито пошел на полянку, где ты однажды жег уголь, а потом забрел в лес. Хосеито сказал ему, что в кустах гуайявы* прячутся одичавшие свиньи, и ему даже показалось, будто он слышит их возню. Ну вот... Забрался Хорхито в глубь леса, а назад не выходит. Хосеито надоело ждать, да и страшно ему стало одному в лесу... он и прибежал ко мне... Мы с ребятами как сумасшедшие помчались в лес... Кричали, звали Хорхито, искали его... Нашли мы сыночка, когда почти стемнело, под гуайявой... проклятые свиньи растерзали его...

Можете себе представить, что это такое для матери увидеть своего сына, растерзанного лесными зверями? Что значит для отца сознание, что сын его погиб, пытаясь отнять у одичавших свиней плоды гуайявы? От этого может сойти с ума даже самый мужественный человек...

Что мне оставалось делать? Так уж издавна повелось, со времен наших предков, что любое горе мы должны сносить молча, так же как мул молча несет свою ношу. Но на меня после этого такая тоска напала...

---

* Гуайява — дерево, на котором растут вкусные плоды.

Я все винил себя в том, что не был рядом с Хорхито, когда зверь набросился на него. Их, верно, было несколько, они кинулись на моего мальчика и даже пикнуть ему не дали. Что спросишь с голодного зверя? А ведь Хорхито тоже был голоден, потому и пошел в лес...

С женой и ребятами мы отправились туда, где они его похоронили. На могилке стоял крест и лежали цветы, уже увядшие. Я дал себе слово никогда больше не оставлять своих домашних одних. С тех пор жить стало еще труднее — питались мы только тем, что удавалось мне раздобыть неподалеку от дома. Но когда голод все время дает о себе знать, а вокруг столько ртов, никакой еды не напасешься. Что раздобудешь, тут же съедается, а о том, чтобы на завтра оставить, и думать нечего. Вот и пришел я к мысли, что надо убить хоть одну свинью и накормить досыта всю семью. Когда я сказал об этом жене, она расплакалась и заявила, что не станет есть мясо свиньи, которая, может, сожрала ее сына...

Мы питались кореньями и фруктами, иногда удавалось подстрелить какую-нибудь птицу... Однажды, как это ни противно, нам даже пришлось съесть тиньосу *. Она летела очень низко, и мне удалось попасть в нее камнем... О, голод — штука страшная, можете мне поверить. В другой раз, помню, мы ели мясо змеи махи **.

Все это кончилось тем, что слег Рафаэль. От сильных болей в животе он кричал и катался по земле. Видно, в желудке у него скопились глисты, свернулись клубком. Вы-то бригадистка, вы учили про это и знаете, что так оно бывает. Так вот, жена высушила на солнце семена тыквы, растолкла их и приготовила лекарство. Только Рафаэлю стало от него еще хуже: глисты пошли через рот и нос... Страшная это была картина, никогда ее не забуду!

Взял я Хосеито, он у меня был теперь старший, и побежали мы к хозяину кофейной плантации попросить помощи в счет будущего урожая. Будто сумасшедшие мчались мы вниз по косогору, а из головы у нас не шел Рафаэль, как он катается по земле и кричит...

Дом у хозяина был каменный со шторами и металлическими сетками на окнах. Стоял этот большой чистый дом посреди поляны, обрамленной кустами разноцветной американской ежевики, и от этого казался еще веселее... Мы подошли к черному ходу, где находились столовая и голубятня. Собаки встретили нас громким лаем, но быстро успокоились — им как раз принесли еду... Хосеито жадно глядел на потроха и мясные обрезки, которыми кормили собак, но я поспешил увести его, чтобы поскорее узнать у хозяина, на что мы можем рассчитывать.

Хозяин вышел и позвал нас в столовую. С ним было двое малышей, чистенькие такие, а в руках полно игрушек. Теперь уже мой Хосеито не мог оторвать глаз от этих игрушек.

— Это твой сын? — спросил меня хозяин.

— Да, сеньор.

— Сколько ему лет?

— Скоро десять...

— И такой маленький?

Окинув нас удивленным взглядом, он подозвал своего сына.

— А ну-ка, Луисито, встань рядом с этим мальчиком, кто из вас выше?

Он смерил ребят и улыбнулся.

— Моему сыну четыре года. Скоро будет пять. А ростом он с твоего.

— Этот мальчик — лилипут? — спросил хозяйский сын.

---

* Тиньоса — птица, питающаяся падалью.

** Маха — крупная змея длиной до четырех метров, не ядовита.

Я не знал, что ответить. Неприятные это были минуты... Горькие слова так и рвались у меня с языка, но я промолчал, сделал вид, будто не понял.

— Послушайте, дон Луис... Один из моих мальчуганов очень болен, нам нечего есть... вы знаете, что только во время сбора кофе у меня есть работа... И я... и мы хотели спросить, не заплатите ли вы нам немного вперед, чтобы мы могли как-нибудь дотянуть до этого времени...

Хозяин посмотрел на нас внимательно, вытащил огромную сигару и не спеша закурил. Затем пустил мне в лицо струю дыма и только тогда сказал:

— Если бы вы были бережливыми и откладывали про черный день, вам не пришлось бы просить у меня... Это дурная привычка...

О какой бережливости можно говорить, коли голод так мучил нас, что всех заработанных денег не хватало, чтобы унять его? Когда человек хорошо зарабатывает, имеет приличный домик и работу круглый год, тогда он в состоянии кое-что сэкономить... Но когда живешь так, как мы, то копить можно только бедность да нищету...

— Я сочувствую тебе. Но таких, как ты, много. Если я помогу тебе, то и другие решат, что вправе рассчитывать на мою помощь. Так я растранжирю все свои деньги.

— Но нам нечего есть...

— Предположим, я одолжу тебе денег, и ты проешь их. Кто поручится, что ты возвратишь мне долг?

— Мои руки... когда станем собирать урожай...

— А если ты заболеешь? Или задумаешь уехать, как другие?

— Куда мне уезжать?

— Да куда угодно. Не ты первый.

— Значит, вы не дадите мне взаймы?

— Нет, сочувствую тебе, но не могу сорить деньгами. Заработать их стоит немалого труда, чего ради стану я швырять их на ветер.

Я взглянул на его безукоризненно чистую рубашку, на руки, которые не знали мозолей, и сказал себе: этому человеку не понять, что такое рубаха, насквозь пропитанная потом, и что значит часами, не разгибая спины, собирать кофейные зерна...

Ребятишки хозяина стали кружиться вокруг Хосеито и смеяться над ним. А Хосеито, босой, полуголый, уцепился за мои штаны и смотрит на маленьких господ, да так серьезно: вот-вот расплачется.

А потом произошло такое, что не всякому расскажешь. Но вам я могу об этом рассказать, потому что знаю: вы все поймете. Словом, взглянул я на Хосеито так, словно увидел его впервые. И меня поразило, до чего же он маленький, прямо замухрышка, ножки, как прутики, на худеньком личике так и написано: хочу есть!.. Я подтолкнул его, и мы отправились в обратный путь. Тошно мне было глядеть на хозяина, и на хозяйских детей, и на Хосеито... В груди зашевелилось нехорошее чувство, и сердце больно сжалось... Это была ненависть. Ненависть, которую раньше я никогда не испытывал, ненависть к Хосеито, моему собственному сыну. И я не мог понять, откуда она взялась...

Ужасно видеть, как ребята твои умирают один за другим, но это новое для меня чувство было в тысячу раз ужасней... Что мне сделал Хосеито? Разве его вина, что в десять лет он меньше ростом, чем пятилетний сын хозяина? Разве он виноват, что страдает от глистов, бегает босой и грязный, что глаза у него запали от голода?.. Но меня словно подменили. И заметил это не только я, заметил это и Хосеито. Он все ходил за мной, ластился ко мне, как собачонка, а я то и дело награждал его тумаками, словно все мои беды переплелись в нем одном, как глисты в животе у Рафаэля... Это заметила и моя жена, она стала уговаривать меня, чтобы я изменил отношение к сыну. Видя, что уговоры не

помогают, она сказала в сердцах, что на меня навели порчу и надо пойти к знахарю...

Можете вы понять чувства отца, который видит, что собака и та более упитанна и ухоженна, чем его дети? Можете вы представить себе, как он страдает от того, что ненавидит собственного сына?.. Да, можете. Я потому и рассказываю вам об этом, что вы все бросили и пришли к людям, которые в вас нуждаются. И не удрали отсюда, несмотря на бомбежки и артиллерийский обстрел... Именно поэтому я и говорю с вами... Но я не хочу вас утомлять. Словом, проходили недели и месяцы, а голод и смерть по-прежнему не оставляли нас. Но вот подошел сезон сбора кофе, я заработал свои первые деньги, и голод стал понемногу отступать, смерть тоже — правда, она унесла Хорхито, а за ним и Рафаэля, будто одного ей было мало... Когда наступила зима, мы были сыты, и жена опять ждала ребенка. Но потом я снова остался без работы и без всякой надежды найти ее... Надо ли удивляться, что когда мы услышали призыв Фиделя, то пошли за ним и теперь уже никогда не оставим его?

Не знаю, пережил ли он то, что пережили мы. Но, видно, не обязательно пройти через все самому, чтобы понять нас. Если б это было не так, Фидель не поднялся бы в горы Сьерры. Почему же есть еще люди, которые хотят, чтоб мы вернулись к прежнему? Послушайте, если б я мог рассечь себе грудь и настежь раскрыть ее перед вами, вы убедились бы, что ненависти, которая когда-то таилась там, больше нет. Я уже не чувствую ее при виде Хосеито... В Орьенте я поехал как раз, чтоб навестить его, и там узнал о том, что они высадились. В городке Камило Сьенфуэгос он растет настоящим мужчиной. Я не видел его несколько месяцев: у нас в Революционной армии дел хватает... Если бы вы могли посмотреть на него — он подрос по крайней мере на три сантиметра.

Он и сейчас живет в горах Сьерра-Маэстры, но как непохожа его жизнь на прежнюю! А мы с женой и остальными ребятами перебрались в народное имение. У нас теперь каменный дом, пол выложен кафельными плитками, есть и уборная... Правда, хижины еще остались — вроде той, где мы с вами сейчас сидим, но наступит день, и они исчезнут навсегда. За это мы и боремся... При одной только мысли, что могут вернуться проклятые голодные времена, когда кучка людей пользовалась всеми благами, за которые народ платил потом и кровью, сердце у нас пламенеет от гнева, и мы сражаемся, не зная страха...

Перевод с испанского И. ЧЕРЕВАТОЙ

ГО МО-ЖО

(К 70-летию со дня рождения)

■

Перевод с китайского
Л. ЧЕРКАССКОГО

Богиня Луны Чан Э мечтает вернуться в Китай*

Был супруг когда-то у богини,
На Луне Чан Э тоскует ныне.
Спутник вызвал чувства в ней иные,
Новый Спутник шлет ей позывные.

Замерла под деревом коричным —
Он ей виден, яркий, преотлично;
В нем богиня Землю узнавала,
И тоска ей сердце разрывала.

«Как давно ушла я из Китая,
Верно, даже и не сосчитаю,
С той поры прошло столетий сорок,
Но родимый край, как прежде, дорог.

Стала нынче родина иною,
Скоро распрощаюсь я с Луною.
Нас скрепили родственные узы,
Лу́ны из Советского Союза.

Я в Китай опять хочу вернуться,
Потому что я оттуда родом.
Как могла от жизни отвернуться?
Как могла расстаться я с народом?

У супруга сердце было злое,
Он задумал Солнце сбить стрелою!
Я ушла — ведь он людей обидел,
На Луне себе нашла обитель.

Без конца тянулись жизни будни...
А сегодня — сказочно и чудно!
На Луну лети, товарищ Спутник,
За пять дней домчи меня до Чжунго!..**

Потружусь на фабрике текстильной,
Ткать и прясть когда-то я умела.
Выйду в поле, буду тоже сильной,
Для меня везде найдется дело.

Танцевать я тоже буду рада —
В платье я спляшу из ярких радуг.

* Когда-то, рассказывает легенда, девушка по имени Чан Э вышла замуж за стрелка И. Однажды стрелок задумал сбить Солнце. Возмущенная жестокостью супруга, Чан Э навеки покинула его и стала богиней Луны.

** Китай *(кит.)*.

Только вот ученье подкачало,
Начинать придется все сначала.

Я столетий сорок не читала,
От сестер моих совсем отстала.
Но трудиться буду неустанно
И от них я больше не отстану».

Юная богиня тосковала.
Всколыхнул Китай любовь в богине.
Земляков она не забывала,
И ее в беде мы не покинем.

Опыт друга нужен нам в Пекине,
Мы в ракете на Луну слетаем —
Пусть спокойно трудится богиня
На земле свободного Китая.

Трава за городом

Трава за городом, ты идеал поэта!
Ты мир и жизнь. И ты — долготерпенье.
Тебя топтали, жгли — приходит снова лето,
А ты жива и не подвластна тленью.

Навстречу стуже ты шагаешь полем,
Шагаешь, не боясь ни бурь, ни бедствий,
На Крышу мира и на Южный полюс,
Как будто оба где-то по соседству.

Ты счастлива прикосновеньем детских ножек
И влажных губ пасущегося стада,
И разговор друзей ты слышать рада,
И песнь любви ты рада слышать тоже.

Ты жизнь, но ты ее же и вскормила,
Ты светлой жизни драгоценный сгусток;
Ты мир, но ты и Матерь мира —
Тебе подвластно чудное искусство.

Трава! Зеленый пир за городской чертою!
Поэзии и музыки чудесней!
Тебе поет родник восторженную песню,
Тебя ласкает луч ладонью золотою.

Посещаю могилы героев-патриотов

На пятизвездном знамени страны
Алеет кровь героев и солдат.
Мы помним их, их мужеством сильны,
И трудности пути нас не страшат.
В прозрачном небе стайки облаков,
И вечны кипарисы у холма.
Хотите знать, где родина стихов?
Здесь!
Ибо здесь
поэзия сама!

ДЖОН ГОВАРД ЛОУСОН

Чудеса в гостиной

ПЬЕСА В ТРЕХ АКТАХ

Перевод с английского
И. ЭПШТЕЙН

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

МЭТЬЮ МЕРТОН
БЕТТИНА МЕРТОН, его жена
МАРТА МЕРТОН, его мать
ОУЭН МЕРТОН
ДЖЕД МЕРТОН
МЭТ МЕРТОН } Сыновья Мэтью: Мэту в первом акте 14 лет, Бобу — 8 лет
БОБ МЕРТОН }
АБИГАЙЛЬ УИТНИ, сестра Беттины
ДЖО ТЕННИСОН, сержант морской пехоты
КИР, полинезиец
Преподобный НЬЮМАРК
ЭНДРЮ МЕРТОН, сын Абигайль и Джеда.

Действие развивается в трех разных, но связанных между собой планах и происходит на трех различных площадках.

Сцены в доме. Основная декорация, сохраняющаяся на протяжении всей пьесы, изображает гостиную зажиточного дома в предместье Нью-Йорка. Декорация не детализирована, установлена она на площадке, занимающей большую часть сцены.

Сцены вне дома. Действие происходит на авансцене, а также на ступенях, ведущих в зал.

На киноэкране. Фильм проецируется на экраны, расположенные над декорацией в соответствии с архитектурой зала. Монтаж имеющегося в распоряжении материала кинохроники должен быть таким, чтобы кинематографические эпизоды переплетались со сценическим действием.

АКТ I

1944 год

1. На киноэкране

Когда свет меркнет, на зрительный зал обрушивается грохот боя. По мере того как кадры кинохроники заполняют экран, в общем шуме выделяются рокот самолетов и залпы орудий. Самолеты, объятые пламенем, с воем падают на землю, движутся танки, боевые корабли. Внезапно все обрывается: неистовство фильма сосредоточивается в одной точке в центре сцены — на экране телевизора, мерцание которого освещает лицо человека, смотрящего на этот экран. Грохот стихает и превращается в неясный шум и музыку, сопровождающие телевизионную передачу.

2. В гостиной

Человек, сидящий на сцене,— Мэтью Мертон. Это тридцатишестилетний делец, жестоко боровшийся всю жизнь за то, чтобы попасть в число людей обеспеченных, чего он достиг лишь недавно. Он некрасив, но черты

его лица говорят о большой силе воли, резкости суждений. Он коренаст, уже начинает полнеть, а в лице намечаются признаки обрюзглости. Курит сигару, глубоко затягивается и пускает струю дыма в луч света. Потом начинает дремать. Рука с сигарой медленно соскальзывает с колена, глаза смыкаются. Справа открывается дверь. Мы видим Беттину Мертон, жену Мэтью, освещенную светом, падающим из соседней комнаты. Она на год моложе мужа, мать семейства, еще не утратившая красоту молодости. Черты ее лица несколько резки, а в голосе слышатся нотки разочарования. И она и Мэтью все еще сохраняют иллюзию, что их дом — центр вселенной. Она подходит ближе и смотрит, как голова Мэтью опускается на грудь.

Беттина. Заснул.

Мэтью *(мычит)*. Нет.

Беттина *(смотрит на пол)*. А почему пепел на ковре? *(Берет сигару и кладет ее в пепельницу.)* Ты когда-нибудь устроишь пожар.

С экрана телевизора, отбрасывающего мерцающий свет, доносится грохот боя. Беттина выключает телевизор. Затем она нажимает кнопку, и комната освещается. Обстановка — мебель, картины на стенах и драпри — зажиточного американского дома в предместье большого города. Декорация установлена на платформе, возвышающейся примерно на 15 см над уровнем сцены. Из центра вглубь идет витая лестница, ведущая на второй этаж. На авансцене справа — небольшой рояль. Слева — телевизор, который повернут так, что экрана не видно. Посреди задней стены, под лестницей, дверь. Другая дверь, справа, ведет в столовую и в кухню. На переднем плане, слева, дверь в переднюю. В глубине сцены, слева, дверь в кабинет Мэтью. Лампы и скрытые источники света создают своеобразную игру света и тени. Посреди сцены — большая тахта и несколько удобных кресел. В тишине, наступившей после того, как выключили телевизор, Мэтью пытается стряхнуть с себя сон: он зажигает сигару, трет глаза.

Мэтью. Дети спят?

Беттина *(кивает)*. Боюсь, у Бобби начинается грипп.

Мэтью. У него же только что был грипп.

Беттина. Он опять шмыгает носом.

Мэтью. Почему он все время простужается?

Беттина. Вполне естественно — в школе подхватывает. *(Показывает на телевизор.)* Как там война?

Мэтью. Дела идут хорошо.

Беттина. Хорошо?!

Мэтью *(серьезно)*. Да, хорошо, Беттина... На Тихом океане мы переходим с острова на остров и подбираемся к Японии. Русские действуют замечательно, а мы скоро высадимся в Европе.

Беттина. Сколько же все это еще продлится?

Мэтью. Пока не кончится.

Беттина. Надеюсь, война кончится прежде, чем Мэт станет солдатом.

Мэтью. Конечно. Ему же только четырнадцать.

Беттина *(неопределенно)*. Это ведь не похоже на Тридцатилетнюю войну.

Мэтью. Теперь такого не бывает.

Беттина. И на том спасибо.

Мэтью. Мы с тобой должны быть благодарны за многое.

Беттина *(обняв его за плечи)*. Да, милый, я знаю... Но Оуэн и Джед...

Мэтью *(прерывает, похлопывая ее по руке)*. Они могут за себя постоять.

Беттина. Ты говоришь какие-то странные вещи... Ведь на войне никто не может за себя постоять.

Мэтью. Я не это имел в виду.

Беттина. Да, но ты об этом бредишь по ночам.

Мэтью. Беттина, прошу тебя...

Беттина. Стонешь и хватаешься за бок, как раненый.

Мэтью. Прошу тебя, милая... *(Снова похлопывает ее по руке.)* Ты же знаешь... отец умер во время первой мировой войны, еще до того, как родился Оуэн... поэтому мы ближе друг другу, чем обычно бывают братья... может быть, из-за трудных условий, в которых мы росли.

Беттина. В которых о н и росли. Ты делал все, чтобы они встали на ноги. Когда твои собственные дети голодали *(почти обвиняюще)*, ты думал только о Джеде и Оуэне.

Она внезапно умолкает, увидев в дверях в глубине сцены освещенный силуэт Марты. Хотя Марте 57 лет, это еще крепкая женщина. Она высокого роста, ходит, слегка прихрамывая, из-за боли в суставах. Она совершенно седа. У нее зоркие, все подмечающие глаза. Обычно Марта спокойна, но в запальчивости может быть резка.

Марта. Вы что-нибудь получили от Джеда или Оуэна?

Мэтью. Нет, мама.

Марта. Почему же вы вдруг заговорили о них?

Беттина. Я просто сказала, что мне очень бы хотелось получить от них весточку.

Марта *(спокойно садится)*. Похоже, что теперь стали устраивать войны каждые двадцать лет, чтобы успело подрасти новое поколение. Я носила Оуэна, когда пришло известие о гибели твоего отца. А Джед был еще малюткой. Теперь вот Джед и Оуэн сражаются где-то в чужих краях. *(У нее срывается голос. Она старается овладеть собой.)* А мы сидим тут и ждем их обоих точно так же, как двадцать пять лет назад я ждала вестей о твоем отце.

Мэтью *(встает, подходит к матери, ласково глядит на нее)*. И другие точно так же. В этом нет ничего особенного.

Марта. Для каждого его любовь — особенная... и горе тоже.

Беттина садится за рояль и начинает играть. Она хорошая пианистка.

Марта. Тебя эта вещь очень утешает, детка?

Беттина. Это — не вещь, а я — не детка.

Марта. Для меня все вы... дети.

Мэтью улыбается и, хмыкая, попыхивает сигарой.

Беттина. Смотри не засни, пока я играю, милый... а то я и вправду рассержусь.

Марта. Счастливые, вы... вдали от бурь, бушующих в мире.

Беттина играет, вся отдаваясь музыке. Голова Мэтью склоняется на грудь. Марта тянется к нему и похлопывает его по колену, чтобы не дать ему заснуть. Игра Беттины становится исступленной. Свет постепенно меркнет. Звуки рояля тонут в грохоте сражения.

3. На киноэкране

Монтаж эпизодов военных операций в джунглях. В густых зарослях под огнем невидимых стрелков крадутся люди. Перед самой камерой разрывается снаряд. Экран заволакивает дымом, сквозь который пробиваются осыпаемые осколками раненые и обезумевшие люди.

На авансцене появляются два человека, как бы отделившиеся от кинематографического потока, который проносится позади них и над ними. В то время как они бредут вдоль рампы, спотыкаясь от усталости, бой стихает, изображение на экране постепенно исчезает. Когда оба человека доходят до левого края сцены, раздается пулеметная очередь. Один из них падает раненый, схватившись за бедро. Второй опускается рядом, поддерживая его. Они на ступенях, ведущих в зал, слева от сцены. Оба лежат, задыхаясь, без сил; шум сражения стихает вдали.

4. В джунглях

Круг тусклого света отделяет теперь обоих людей от окружающего. Кинокадры позади них сменились видом джунглей, вырисовывающихся на фоне

бледного неба. Оба в шлемах и в боевом снаряжении, лица почернели от грязи и пота. Раненый — Джед Мертон, капитан американской морской пехоты, ему двадцать восемь лет. Его брату Оуэну двадцать пять лет. Он сержант.

За сценой продолжают раздаваться выстрелы. Порой пальба приближается, и пулеметные очереди прерывают диалог. Доносятся шорохи джунглей, вой зверей и крики птиц. На фоне всех этих звуков — прерывистое дыхание обоих братьев, Джед сдерживает мучительный стон.

Оуэн *(мягко)*. Джед... Джед... Что, очень худо? *(Джед стонет, указывая на бедро. Оуэн наклоняется над ним, чтобы осмотреть рану.)* Крови сколько!

Джед. А ты чего ждал, патоки, что ль?

Оуэн *(возится с раненой ногой)*. Остановить бы надо.

Неподалеку раздаются выстрелы, слышно, как по джунглям пробираются люди.

Оуэн. Японцы.

Джед. Мы отрезаны.

Оуэн. Я тебя вынесу.

Джед. Если мы отрезаны, не выйдет.

Оуэн перевязывает рану разорванной на полосы рубахой.

Оуэн. Если пойти побыстрее... *(Указывает на весьма несовершенную повязку.)* Как будто достаточно туго... *(Пытается поднять Джеда.)* Спокойно... держись за меня.

Джед. Хороший ты парень, Оуэн.

Оуэн. Спасибо.

Он поднял Джеда, подхватил его, и оба с трудом движутся по сцене.

Оуэн. Ты поедешь домой, Джед.

Джед Домой.

Оуэн. К маме и к Мэту.

Вблизи раздается стрекот пулемета. Они падают на колени и, тесно прижавшись друг к другу, замирают в ожидании.

Джед *(шепотом)*. Пора?

Оуэн *(шепотом)*. Подожди.

Рядом раздается оглушительный взрыв. Затем наступает тишина.

Оуэн *(шепотом)*. Пора.

Джед. Пора.

Оуэн помогает Джеду встать, и они бредут дальше, вправо.

Оуэн *(умолкает после каждой произнесенной фразы и старается протащить Джеда хотя бы еще на один мучительный шаг вперед)*. Скажи нашим... скажи Эбби... я вернусь к ним... когда кончится этот чертов балаган...

Джед стонет от боли. Опять пулеметная очередь.

Оуэн опускается на колени и медленно ползет, взвалив Джеда себе на спину.

Оуэн *(говорит прерывисто, с трудом)*. Вот будет день... когда настанет мир... Большой и славный день... Мир на земле... И людям... благо...

Джед. Чушь!

Сцена погружается в темноту. Затем из темноты раздаются звуки рояля, и яркий луч света освещает вдохновенно играющую Беттину.

5. В гостиной

Беттина одна. Она увлечена музыкой. Освещающее ее пятно света постепенно захватывает остальную часть сцены, пока вся гостиная не оказывается залитой весенним солнцем. Слева, через дверь, ведущую из прихожей, вбегают, возбужденно крича, Мэт и Боб. Мэту четырнадцать лет, он высок, хорошо сложен, с копной непокорных волос. Восьмилетний Боб больше похож на мать, это нервный, легко возбудимый, несколько угрюмый мальчик.

Боб *(кричит)*. Мам, она здесь! Тетя Эбби здесь!

Мэт *(более сдержанно)*. Они только что подъехали.

Боб. Папа вытаскивает ее вещи из машины.

Беттина *(поднявшись с места)*. Что же вы не помогаете?

Мэт. О'кей, мам... *(К Бобу.)* Пошли, кроха.

Они не успевают добежать до двери, как в гостиную входят Абигайль Уитни и вслед за ней Мэтью, он несет два чемодана, портативную пишущую машинку и маленький чемоданчик. Абигайль двадцать два года. Ее нельзя назвать красивой в обычном смысле слова. Она привлекает своей яркой индивидуальностью. У нее чувственные губы, испытующие, насмешливые глаза. Она еще слишком молода, чтобы быть уверенной в себе. Она слишком эмоциональна, вся полна ожиданием будущего и неясными страхами юности.

Беттина. Эбби...

Абигайль *(бросается к сестре и обнимает ее)*. Бетти, дорогая... *(Целуются.)* Милая моя... родная...

Беттина *(отступая на шаг, осматривает ее)*. Значит, с колледжем покончено!

Абигайль. Я изменилась?

Беттина. А как экзамены?

Абигайль. Ужас... Но я уверена, что выдержала.

Мэтью. С отличием?

Боб *(подходит к ней)*. Привет, тетя Эбби.

Абигайль *(целует его, ласково говорит)*. Привет, Бобби... *(Оборачивается и целует Мэта.)* Я слышала о твоих успехах на треке.

Мэт *(скромно)*. На юношеском.

Абигайль. Скажи-ка, почему ты выбрал такую дистанцию?

Мэтью. И я ему говорил то же самое.

Абигайль. Это ведь так изнурительно.

Мэт. А мне как раз нравится... тут нужна выносливость.

Абигайль *(смеется)*. Вот это молодец!

Беттина. Скажи, наконец, они выросли?

Абигайль *(послушно осматривая их)*. Ну-ка, ну-ка... как же вы выросли! *(Справа вошла Марта.)* Здравствуйте, матушка Мертон.

Марта. Здравствуй, Эбби... *(Обнимаются.)* Очень рада тебя видеть.

Мэтью *(указывая на чемоданы)*. Мы отнесем их наверх.

Мэт берет один чемодан, Боб — пишущую машинку и чемоданчик, а Мэтью хватает третий чемодан.

Беттина *(к Эбби)*. Ты хочешь подняться?

Абигайль. Нет, не сразу. *(Когда Мэтью и оба мальчика скрываются наверху, Абигайль торопливо спрашивает.)* Есть что-нибудь от Оуэна?.. И Джеда?

Беттина. Джед в госпитале, на Гавайях. У него все хорошо.

Марта. Мы толком-то ничего не знаем. Нам ничего не говорят. А он пишет, но чего-то недоговаривает.

Беттина. Это уж вы, по-моему, придумываете.

Абигайль. А что с Оуэном?

Беттина. Мы больше месяца ничего от него не получали. А тебе он не писал?

Абигайль *(небрежно)*. О, мне он никогда не пишет.

Марта. Мэтью и Беттина все надеялись, что ты останешься здесь на лето.

Беттина. Конечно, останется.

Абигайль. Право, не знаю. Я еще не уверена.

Беттина. В чем?

Абигайль. Да во всем.

Марта. Видно, не можешь ни на что решиться.

Беттина. Ты что же, не уверена в том, что тебе удастся поступить в медицинский институт?

Абигайль. Да я уже принята! Меня включили в списки на осень, и я знаю, что мне это будет по силам.

Марта *(деловито)*. Может быть, ты насчет денег беспокоишься?

Абигайль. Дело не только в деньгах, а в том, что предстоят годы напряженного труда.

Марта. Но и деньги играют немалую роль?

Абигайль *(смущенно)*. Да, вы правы.

Марта. Ты рассчитываешь, что Мэтью поможет тебе?

Абигайль. Я не хочу зависеть от Мэтью.

Марта. Ты же зависела от него, пока училась в колледже.

Абигайль. Я думаю, мне удастся найти какую-нибудь работу на несколько часов в день — официанткой или где-нибудь в конторе.

Беттина *(ласково прерывает)*. Ладно, Эбби, я уверена, что Мэтью поймет тебя.

Марта *(мягче)*. И я не сомневаюсь. *(Гладит Абигайль по щеке.)* Ты очень хорошенькая девушка, Эбби.

Абигайль. Какое это имеет отношение к нашей беседе?

Марта *(осматривая ее)*. В мое время все врачи были бородатые. *(Уходит.)*

Абигайль *(упавшим голосом)*. Матушка Мертон не очень сочувствует моим планам.

Беттина *(утешающе)*. Ты же знаешь ее, Эбби, она всегда такая. Она против женщин-врачей.

Абигайль. Ерунда.

Беттина. Она сомневается в том, что ты серьезно к этому относишься.

Абигайль. Ужасно серьезно. *(Обиженная улыбкой Беттины.)* Для меня это самое важное дело в мире. И отношусь я к нему так же, как ты когда-то к музыке.

Беттина *(резко, бросив взгляд на рояль)*. Я вышла замуж.

Абигайль *(с категоричностью молодости)*. А я не собираюсь выходить замуж.

Беттина *(смеясь)*. Я тоже не собиралась!

Абигайль. А если бы я и вышла, то каждый из нас был бы совершенно независим. Это мое твердое условие.

Беттина *(крепко обнимает ее и посмеивается)*. И отлично, дорогая. Но если все так определенно, почему же ты только что говорила, что ни в чем не уверена?

Абигайль. Так обычно бывает, когда собираешься в долгий путь, и видишь перед собой дорогу, и не знаешь, что ж тебе встретится в пути... горы и пропасти, болота и леса... вроде «Странствия пилигримов»... Я не очень верю в себя... то есть я не всегда могу положиться на свою силу воли, потому-то я и делаю вид, что так уверена в себе.

Беттина *(рассудительно)*. Тем более важно выполнить то, что ты решила.

Абигайль. Я просто должна это сделать.

Беттина. Мы поговорим с Мэтью. Я уверена, что он тебе поможет.

Абигайль. Но ведь денег понадобится так много.

Беттина. Эбби, пойми, ты — моя единственная сестра, а после смерти мамы мы с тобой остались одни на свете. Я с восьми лет мечтала стать знаменитой пианисткой. Даже теперь Мэт уговаривает меня дать несколько концертов.

Абигайль. А почему бы и нет?

Беттина *(резко)*. Ты думаешь, для того чтобы дать концерт, достаточно просто снять помещение? Я поставила бы себя в глупейшее положение. *(Меняя тон.)* Я не хочу, чтобы так же случилось и с тобой. Ты должна добиться успеха. Я знаю, что это значит, Эбби, только не допусти, чтобы какое-нибудь препятствие заставило тебя свернуть с пути.

Справа входит Марта, толкая перед собой столик на колесах, сервированный к чаю.

Марта. Тебе, наверно, хочется чаю, Эбби?

Абигайль. С удовольствием выпью.

Беттина *(подходит к лестнице, зовет)*. Мэтью, дорогой.

Мэт *(сбегая вниз по лестнице)*. Вот и я.

Беттина. Я зову твоего отца.

Боб сбегает вниз по лестнице.

Боб *(насмешливо показывая пальцем на Мэта)*. Он говорит, что мы нарвем цветов для твоей комнаты.

Мэт. Ну молчи же, я хотел ей сюрприз сделать.

Абигайль. Какой ты внимательный, Мэт.

Мэтью спускается по лестнице.

Беттина. Вы разольете чай, мама?

Марта начинает разливать чай. Из глубины зала по правому проходу медленно идет Джед, опираясь на костыль, с кожаной сумкой через плечо, в мундире. Он потерял ногу и с помощью костыля учится ходить на протезе. Пока он идет вдоль прохода, действие на сцене продолжается.

Боб. Можно, я сбегаю за бутылочкой кока-колы?

Беттина. Если хочешь. А ты, Мэт?

Боб уходит.

Мэт *(с достоинством)*. Мне — чаю.

Мэтью *(направляясь к винному шкафчику)*. Хочется выпить. Кто со мной?

Абигайль. Нет, спасибо.

Джед дошел до края сцены и стоит внизу — одинокая фигура с костылем. В гостиной продолжается непринужденный разговор и чаепитие.

Марта *(протягивая Эбби чашку)*. Со сливками или с лимоном, Эбби?

Абигайль. С лимоном, пожалуйста.

Марта. Попробуй шоколадное печенье.

Мэт. А что, если сбегать вечером в кино, тетя Эбби?

Боб возвращается с бутылочкой кока-колы.

Беттина. Никакого кино в будний вечер.

Мэт. Но ведь это особый случай, в честь тети Эбби. Можно, пап?

Мэтью *(приближается с рюмкой в руках)*. Тебе уроки надо готовить.

Мэт. Я все успею до обеда.

Боб. В кино «Орфеум» идет мировая картина!

Беттина. Тетя Эбби слишком устала после долгого пути.

Боб. Ну так как, тетя?

Джед прошел вдоль сцены и поднялся вверх по ступеням.

Абигайль. Мне кажется, ваша мама не очень хочет, чтобы вы шли в кино.

Беттина. Спасибо, Эбби.
Мэт. Ну надо же нам как-то отметить!
Беттина. Мы устроим в субботу пикник.
Боб. Где?
Мэтью *(потягивая вино)*. Может быть, на озере Седар.
Мэт. Мы могли бы поехать туда на уик-энд и ночевать в палатках. А, пап?
Мэтью. Посмотрим.
Мэт. Наймем лодку и поедем на тот берег озера.
Боб. Там уж настоящая глушь!
Беттина *(раздраженно)*. Дети, вам не приходит в голову, что взрослые хотят поговорить?
Мэт. Я не ребенок.
Беттина. Тогда перестань болтать один за всех и дай другим тоже вставить слово.

Джед скрылся.

Боб. О'кей, говорите. *(Пауза, все сидят в полной тишине. Боб повторяет.)* Говорите же!

Опять молчание, прерываемое звонком у входной двери.

Мэт. Я открою.

Мэт уходит в переднюю. Затем мы слышим, как он радостно вскрикивает за сценой.

Мэт *(возвращается с криком)*. Смотрите, кто здесь!.. Смотрите, кто здесь!

Джед медленно входит, ковыляя на костыле. Все поражены, и на мгновение семья застывает в молчании.

Джед *(смущенно)*. Хэлло!

Мэтью крепко обнимает Джеда.

Мэтью. Джед!
Боб. Привет, дядя Джед!
Джед. Привет, Боб. Тебя совсем не узнать.
Боб. Что это у тебя с ногой?
Беттина. Почему ты не дал нам знать, что едешь?
Джед. Мне казалось, так будет лучше. Я...

Он замолкает, глядя на мать. Она стоит, от волнения не в силах произнести ни слова. Абигайль держится поодаль.

Марта *(наконец)*. Джед, сынок...
Джед. Мама!

Марта не может сделать ни шагу от волнения. Джед подходит к ней, прихрамывая. Она обнимает его и крепко прижимает к себе.

Марта. Что с ногой, Джед? Скажи.
Джед. Да все в порядке.
Марта *(выпускает его из объятий, резко)*. Что у тебя с ногой? Скажи, я хочу знать.
Джед *(пытаясь держаться нарочито небрежно)*. Ну, я потерял ее... а взамен получил новую, ничуть не хуже. *(Он стучит по протезу.)* Чудо техники... Я как раз учусь пользоваться им.
Марта *(стараясь скрыть волнение)*. Это совсем не важно.
Беттина. Все пустяки, кроме того, что ты дома.

Абигайль выходит из тени, идет к Джеду.

Джед *(поражен)*. Эбби... Бог ты мой, да ведь это Эбби!

Она смеется.

Мэтью. Как изменилась за четыре года, верно?
Джед *(к Абигайль)*. Ты все еще в колледже?

А б и г а й л ь. Окончила, на прошлой неделе.
Б е т т и н а. Она приехала сюда всего лишь час назад.
А б и г а й л ь. А как Оуэн?
Д ж е д. Да, наверно, у него все в порядке. Я ведь знаю о нем не больше вашего. Мы виделись с ним в последний раз, когда он тащил меня, а я все время терял сознание. Он полз по грязи, взвалив меня на спину. Ну, потом я пришел в себя: чувствую, что лежу на носилках. А Оуэн уже ушел обратно в джунгли.
А б и г а й л ь. Должно быть, Оуэн и теперь там.
Д ж е д. Когда я читаю газеты, то все пытаюсь представить себе, где же Оуэн может теперь быть... *(Замолкает.)* Да что толку говорить...
А б и г а й л ь. Но мы хотим послушать.
М а р т а. Ну, ну, Джед, рассказывай.

Свет начинает меркнуть, постепенно сумерки сгущаются до полной темноты.

Д ж е д. Надеюсь, что Оуэн на корабле... приходится ведь подолгу торчать на палубе в ожидании очередной операции... Иногда налетают самолеты, но в основном просто ждешь... сидишь себе под тропическими звездами, и волны мерно бьются о борт...
А б и г а й л ь *(очень тихо)*. Надеюсь, Оуэн именно там...

Сцена погружается в темноту. Из мрака появляется нос десантного судна, разрезающий волну.

6. На киноэкране

Корабли плывут к берегу. Мерцают тропические звезды. Мы видим людей, толпящихся на палубе десантного судна. Они молоды, лица их полны страха и отчаянной решимости.
Внезапно небо озаряется вспышкой. Начинают грохотать орудия. Вокруг корабля, пересекающего полосу прибоя, рвутся снаряды, люди прыгают за борт и бредут по воде к берегу. В этот момент вся кинопанорама резко сужается, быстро превращаясь в мерцание света, идущее от телевизора на сцене.

7. В гостиной

М э т ь ю сидит и смотрит на экран телевизора, мерцающий свет освещает его лицо. Неподалеку, позади него, свернулась комочком на тахте А б и г а й л ь.
Мэтью, как обычно, курит сигару. Он встает, выключает телевизор.

А б и г а й л ь *(среди внезапно наступившей тишины)*. Я видела Оуэна, я видела его!
М э т ь ю. Не может быть.

Мэтью включает свет.

А б и г а й л ь. Я видела его лицо.
М э т ь ю. Да не видела ты его... *(С любопытством смотрит на нее сверху вниз.)* Как у вас с Оуэном?
А б и г а й л ь. Никак... Он ни разу не написал мне.
М э т ь ю. А как насчет Джеда?
А б и г а й л ь. Никак.
М э т ь ю. Неладно с ним. Ему очень нужен кто-нибудь.

Из двери в глубине комнаты выходит Д ж е д.

Д ж е д *(указывая на телевизор)*. Последние известия смотрели? Что нового?
М э т ь ю. Война... *(После паузы.)* Я на этой войне деньги зарабатываю... Кучу денег.
Д ж е д *(небрежно)*. Не станешь же ты уверять, что тебя совесть мучает?
М э т ь ю. Кто-то ведь должен зарабатывать. Это вполне естественно.
Д ж е д *(с усмешкой)*. Умный ты человек, Мэт.

Мэтью. Главное — иметь подходящих друзей.
Джед. Тоже неглупо.
Мэтью. Все дело в связях. *(Идет к Джеду.)* Хочешь сигару?
Джед. Нет, спасибо.

Джед пристально смотрит на Абигайль, которая думает о чем-то своем.

Мэтью. Ты что-то не в настроении, Джед.
Джед. Да я все думаю.
Мэтью. Ладно, ты давай думай. А я буду денежки зарабатывать.

Джед, оторвав взгляд от Абигайль, направляется к лестнице.

Мэтью. Мальчики хотят, чтобы ты поехал с нами на уик-энд, с ночевкой в палатке.
Джед. Куда уж мне путешествовать, да еще с палаткой!
Мэтью. Ты можешь просто посидеть на берегу озера и поразмышлять. Ребята будут очень довольны.
Джед *(остановившись у лестницы, смотрит на Абигайль)*. Ладно, увидим.

Джед начинает подниматься. Абигайль бросается к нему.

Абигайль. Я помогу тебе.
Джед. Не надо.

Он продолжает подниматься.

Мэтью. Эбби!

Мэтью манит ее пальцем, и она возвращается к нему. Он попыхивает сигарой, внимательно рассматривает девушку. Джед останавливается на лестнице, бросает последний взгляд на Абигайль и уходит. Мэтью вынимает из кармана записку.

Я полагаю, тебе понадобится минимум три тысячи в год, а может быть, ты попросишь даже больше.
Абигайль. Уверена, что обойдусь и меньшим.
Мэтью. Да, в общем, деньги — это неважно.
Абигайль. Для меня — ужасно важно.
Мэтью. Я много думал об этом, Эбби. И я не уверен, что медицина — подходящее для тебя дело... *(Медленно.)* Совсем не уверен.
Абигайль *(поражена)*. То есть как, ты не согласен?
Мэтью. Не делай поспешных выводов. Я хочу все обсудить с тобой.
Абигайль. Я хочу, чтобы все было на деловой основе. Ну, ты ведь знаешь: я дам тебе расписку и буду платить проценты... *(Делает неопределенный жест.)* В общем, все как полагается.
Мэтью. Спасибо. *(Посмеиваясь, идет к креслу.)* Сядь-ка.

Она садится. Мэтью нарочно заставляет ее ждать, пускает колечками дым.

Я ничего не имею против того, чтобы женщина приобрела любую профессию, если она ей подходит. Но я не уверен, хорошо ли ты все продумала.
Абигайль. Я мечтала стать врачом еще с детства.
Мэтью *(искренне удивлен)*. Почему?
Абигайль. По-моему, самое замечательное — это помогать людям, лечить больных.
Мэтью *(стряхивает пепел в пепельницу)*. Очень похвальное чувство.
Абигайль *(убежденно)*. Я действительно так думаю. *(В ответ на его улыбку.)* Этому я готова посвятить жизнь.
Мэтью. Я что-то сомневаюсь.
Абигайль *(взволнованно)*. Не знаю, как тебе объяснить то, что я чувствую. Я должна сделать это теперь же, осенью. Сколько я занималась, чтобы сдать экзамены в медицинский институт! И я свое-

го добилась! Если я не начну сейчас же, не знаю, будет ли у меня еще такая возможность.

Мэтью. А что, если я не стану помогать тебе?

Абигайль. Я все равно буду добиваться своего. Как-нибудь устроюсь.

Мэтью *(решительно)*. Ну, что ж... Попытайся. *(Абигайль смотрит на него в изумлении, не в силах вымолвить ни слова)*. Раз это для тебя так важно, сама и добивайся. Попробуй посвяти своей медицине жизнь и увидишь, понравится ли тебе это.

Абигайль *(встает подавленная)*. Очень жаль, что я просила тебя. *(Стараясь совладать с собой, поворачивается, чтобы уйти.)*

Мэтью *(властно)*. Эбби! *(Она оборачивается.)* Я был щедр в разумных пределах. Четыре года я помогал тебе, пока ты училась в колледже. Я готов помочь тебе во всем, что мне кажется правильным. Но я должен действовать по своему усмотрению.

Абигайль. Конечно, деньги же твои.

Мэтью *(обиженно)*. Я стараюсь поступать так, чтобы тебе было лучше.

Абигайль *(пытаясь быть вежливой, но с трудом скрывая обиду)*. Я знаю... стараешься поступать так, чтобы каждому было лучше... И мы все очень тебе благодарны... Спасибо, Мэт.

Абигайль уходит. Мэтью курит сигару, разговор расстроил его. Сцена погружается в темноту, и мы видим только огонек его сигары.

8. На киноэкране

Солдаты пробираются сквозь заросли, в симфонию джунглей врывается грохот отдаленных взрывов и выстрелов. Потемневшие, мрачные лица. Люди в полном походном снаряжении несут винтовки с примкнутыми штыками. Оуэн, как бы сходя с экрана, появляется на авансцене. Вместе с ним другой солдат, Джо Теннисон.

9. В джунглях

Оуэн и Джо входят в шалаш из пальмовых листьев, находящийся справа на сцене. Стенка шалаша со стороны зрительного зала отсутствует. Джо зажигает электрический фонарь и вешает его на стену. В шалаше на столе карты и бумаги. Джо — молодой сильный негр, с лицом, словно вырезанным из черного дерева. На нем мундир военно-морской пехоты США.

Оуэн. На заре двинемся снова. Давай сюда Кира.

Джо *(козыряет)*. Есть, сэр.

Джо уходит. Оуэн раскладывает карту и рассматривает ее. Возвращается Джо с невысоким, подвижным полинезийцем, одетым по обычаю туземцев острова.

Оуэн. Кир... *(Показывает участок на карте.)* Как ты думаешь, здесь только отдельные патрули противника?

Кир. Думаю. *(Указывает на карту.)* Тут много ружей в лесу.

Оуэн. Мы должны взять этот холм. Если его сбойти, то можно выйти во фланг вражеской позиции и атаковать с этой стороны.

Кир. Очень круто тут.

Оуэн. Знаю. С этим мы справимся. Но мне надо знать точнее расположение сил врага на этом фланге. Понимаешь?

Кир. Понимаю. Пойду посмотреть.

Оуэн. Иди с ним, Джо.

Джо козыряет. Они с Киром уходят. Оуэн присаживается к столу, закуривает сигарету, вытаскивает лист бумаги и начинает писать.

Оуэн *(пишет)*. Дорогая Эбби... Я сдержал свое обещание, а ты — свое. Никаких писем. Ни я тебе ни слова, ни ты мне. Знаю, это было пра-

вильно, ты должна была оставаться совершенно свободной. Ты, может быть, стала другой. Ведь тебе тогда было только семнадцать, и ты, естественно, могла измениться. Похоже, что война идет к концу. Значит, есть надежда. Я полон надежд, ведь после этой операции меня отошлют обратно в Штаты. Разумеется, я не могу угадать, когда точно: может пройти еще шесть, а то и восемь недель. И тогда я увижу тебя... *(Останавливается, задумавшись.)* Эбби... я так надеюсь. Я только об этом и думаю. И я должен сказать тебе... *(Он говорит тихо, но в его голосе слышится глубокое волнение.)* Я так долго таил это чувство в себе. Моя любовь стала еще глубже, потому что за эти годы она выдержала испытание. Ты — моя надежда и моя жизнь.

Свет меркнет, только слабый отблеск падает на Оуэна, который продолжает писать в раздумье, когда из глубины затемненной сцены вдруг раздаются крики Абигайль.

10. В гостиной

Голос Абигайль *(из темноты)*. Нет, Джед, прошу тебя... Не надо... Мы не можем... Нет, нет!

Тишина, затем слышится звон разбитого стекла.

Голос Джеда. Я опрокинул лампу.

Абигайль зажигает другую лампу возле тахты, на которой она лежит, раскрасневшаяся, волосы и платье у нее в беспорядке. Она выглядит испуганной и очень хорошенькой. Джед стоит у опрокинутого стола и смотрит на разбитую лампу, осколки посуды и рассыпанное по полу содержимое пепельницы. Он держится на ногах не очень устойчиво без своего костыля, который валяется возле тахты. Джед — в белой рубашке с расстегнутым воротом и в широких домашних брюках.

Джед. Прости меня.

Абигайль. Нет... ты меня прости. Это я виновата. *(Поправляет платье.)* Ты, надеюсь, не сердишься?

Джед *(отрывисто)*. Нет, где уж там... Все в порядке. *(Хромая, делает шаг, чтобы поднять костыль.)*

Абигайль *(отодвигаясь в угол тахты)*. Погоди, я подам тебе костыль.

Джед. Я и сам могу достать.

Джед опускается на пол возле тахты, чтобы поднять костыль. Абигайль встает, тоже опускается на пол и начинает подбирать осколки лампы и разбитую посуду.
Джед кладет костыль на тахту и принимается помогать ей. Оба стоят на коленях.

Абигайль. Как я скажу Бетти про лампу?

Джед. Скажи, что я поскользнулся и опрокинул ее.

Абигайль *(подбирая черепки)*. Ее лучший чайный сервиз.

Джед. Я сам скажу ей.

Абигайль. Уж лучше бы я поехала с ними на прогулку.

Джед *(испытующе)*. Бог ты мой, почему же ты в самом деле не поехала?

Они смотрят друг на друга, стоя на коленях и опираясь руками о пол.

Абигайль *(оправдываясь)*. Не хотела оставлять тебя одного.

Джед. Ты знаешь, как я заглядывался на тебя. Ты не можешь сказать, что не замечала этого. Я старался быть деликатным. А сегодня, когда ты легла именно здесь, на тахте... Чего же ты ждала от меня? Чего же ты, черт побери, ждала?

Абигайль *(тихо)*. Этого я и ждала.

Джед. Так почему же ты стала кричать и сопротивляться?

Абигайль. Я подумала об Оуэне. Мне показалось, он был здесь, в комнате.

Оуэн, освещенный призрачным светом, все еще сидит в прежней позе над письмом.

Джед. Оуэн! *(Резко.)* Ты ему никогда ничего не обещала?

Абигайль. Нет. Он мне никогда не писал.

Джед. Так при чем он здесь?

Абигайль. Пожалуй... ни при чем.

Джед. Меня влечет к тебе Эбби. Знаю, что и ты чувствуешь то же. Только что... прежде чем ты закричала, твое тело сказало мне об этом.

Абигайль. Может быть, именно поэтому я и испугалась. *(Они смотрят друг на друга, все еще сидя на полу. Она касается его щеки.)* Я оцарапала тебя.

Джед. Ну, что теперь? Можно мне тебя поцеловать?

Абигайль. Нет, пожалуйста, не надо.

Джед. Ладно. У нас весь уик-энд впереди. *(На мгновение они пристально смотрят друг на друга, все еще сидя на корточках. Джед продолжает.)* Любовь — прекрасна, она полна поэзии и изящества... Почему же мы так смешны?

Абигайль *(неприязненно)*. Потому что это — неизящно и это — не любовь. Мы сами не знаем, чего хотим.

Джед. Разве?

Абигайль *(поднимаясь с колен)*. Я не знаю.

Джед. Налей мне чего-нибудь, ладно? Чистого виски.

Джед с трудом поднимается на ноги, опираясь на костыль. Абигайль подходит к винному шкафчику и наливает виски.

Абигайль. Две маленьких?

Джед. Зачем отмерять? Просто налей.

Абигайль. О'кей.

Она наливает ему почти дополна большой стакан виски и себе немного в другой стакан. Когда она подходит к Джеду, тот теряет равновесие, костыль скользит, и он во всю длину растягивается на полу.

Джед. Я смешон в любом положении.

Абигайль ставит на стол стакан и спешит ему на помощь.

Абигайль. Не говори так. *(Помогает ему сесть на тахту.)*

Джед. Не вздумай только меня жалеть.

Абигайль. А ты сам себя перестань жалеть.

Она подает ему стакан. Он ухмыляется.

Джед. Постараюсь. *(Пьет залпом. Внимательно смотрит на нее.)* А я думал, ты хорошо знаешь, чего хочешь.

Абигайль. Быть врачом! *(С горечью.)* Хочу быть врачом!.. Только и всего!

Джед. «Будь верен сам себе. Тогда ты не изменишь и другим»...

Абигайль. Я встречала девушек, которые были верны себе, но изменяли многим.

Джед *(резко)*. Ты любишь Оуэна?

Абигайль. Неужели мы не можем забыть про Оуэна?

Джед. Видимо, нет. Так ты ждешь Оуэна? *(Она не отвечает. Он настойчиво продолжает.)* Хочешь ради него остаться чистой и незапятнанной?

Абигайль *(смеется)*. А я вовсе не такая.

Джед *(удивленно)*. О!.. *(Указывает на стакан.)* Налей мне еще.

Он наблюдает за ней, в то время как она идет к винному шкафчику.

Абигайль *(небрежно бросает через плечо, наливая виски)*. Я — как те девушки, о которых я только что говорила.

Джед. Верна себе и изменяешь многим?

Абигайль. Именно так, во всяком случае, в том, что касается измен.

Она возвращается к нему, наполнив до половины стакан виски.

Джед. Хвастаешься?

Абигайль. Ну, скажем, «многим» — это слишком... *(Подавая Джеду стакан.)* Но двум или трем.

Джед. Двум или трем? *(Она кивает.)* Ты что, не помнишь?

Абигайль. Я тебе сказала. И хватит. Как видишь, я вовсе не жду Оуэна. Когда он уезжал, мы думали, что любим друг друга. Во всяком случае, я так думала. А он считал, что я слишком молода, чтобы знать.

Джед. Семнадцать лет.

Абигайль. А ему было только двадцать один. Он решил, что мы должны пройти большое испытание: пока будет продолжаться война, совсем не писать друг другу, обоим считать себя свободными как птицы.

Джед. Вот-вот, в этом — весь Оуэн: настолько разумен, что всех сводит с ума и себя в том числе.

Абигайль. Он хотел что-то доказать. Вот я и доказала.

Джед. Ты встречалась с другими мужчинами, чтобы наказать Оуэна... *(Медленно.)* И потому ты теперь здесь, со мной?

Абигайль *(нерешительно, размышляя о сказанном)*. Чтобы наказать его...

Джед *(начиная ощущать действие виски)*. Мне кажется, и я пытаюсь что-то доказать... доказать, что я мужчина *(шлепнув рукой по протезу)*, доказать, что эта проклятая штука — не в счет... доказать, что я сильнее Оуэна.

Абигайль. А мне кажется, что ты начинаешь пьянеть.

Джед. Я перед тобой душу раскрываю, а ты говоришь — я пьян. Не-е-т, я пока не пьян... погоди еще. Не отворачивайся от меня, Эбби. Ты нужна мне. Ты очень нужна мне. Нас всех покалечила война. И ты и я — мы оба ранены... Я тебе сейчас что-то скажу, Эбби. Я еще никому не говорил этого: я напишу роман, правду о войне, жгучую правду... о людях, загнанных в самое пекло сражений. Я сумею найти нужные слова, я сумею потрясти мир, если ты поможешь мне, Эбби. Помоги мне вновь обрести себя. Я шел к тебе через тысячу сражений... ну... во всяком случае, через десяток... Я пришел от страшного одиночества войны. *(Он, умоляя, опускается рядом с ней на колени. Она сидит очень прямая, напряженная, пытаясь скрыть, насколько она взволнована.)* Я истосковался по тебе, Эбби, я так истосковался по тебе. Я не утверждаю, что люблю тебя... Любовь — ложь... все — ложь... Но эта минута, она настоящая... не отвергай меня, Эбби, не отрекайся сама...

Внезапно она прижимает его голову к своей груди; он обнимает ее. Она будто вглядывается в темноту. Немного погодя она встает, гасит свет и становится рядом с ним в темноте.

Абигайль. Я и не отрекаюсь.

Она протягивает ему руку, помогает встать на ноги. Он ковыляет на своем костыле, а она держит его за руку, и вместе они поднимаются по лестнице к свету, струящемуся сверху. Они идут, а свет постепенно заливает всю сцену и освещает шалаш.

11. В шалаше

Оуэн сидит за столом, склонившись над письмом. Джед и Абигайль все еще поднимаются по лестнице вверх.

Оуэн *(пишет)*. Не знаю, почему я так уверен в тебе. И все же я полон уверенности. Я написал тебе столько слов, но они так и не выразили всего, что я хочу сказать. Нам понадобится вся наша жизнь, чтобы выразить это... Любящий тебя...

Когда он подписывает письмо, Джед и Абигайль исчезают наверху. Входит Джо Теннисон, козыряет.

Оуэн. Где Кир?

Джо. Погиб. Мы натолкнулись на вражеский дозор. Он отвлек их, чтобы я мог уйти.

Оуэн. А ведь я послал тебя с ним, потому что не доверял ему.

Джо *(резко)*. Ему-то вы могли доверять! Вот сведения. *(Указывает на карту.)* Батареи у них стоят здесь... и здесь... лучше всего обойти холм, если это удастся.

По мере того как он говорит, сцена погружается в темноту.

12. На киноэкране

Крутой скалистый склон на фоне предрассветного неба. Видны фигурки солдат, с трудом карабкающихся вверх. Некоторое время слышен только шум скатывающихся камней, шуршание гравия. Внезапно — одиночный ружейный выстрел. Фигурки замирают в неподвижности. Затем поднимается ружейная пальба, трещат пулеметы, грохочут залпы орудий. На гребне скалы появляются японские солдаты, завязывается рукопашная схватка. Людей сталкивают вниз, и они с шумом падают в пропасть. Потом виден гребень холма в тот момент, когда до него добираются первые американские солдаты, идущие в атаку. Когда они взбираются на гребень, на небе вспыхивает алая заря. Со сцены доносятся торжественные звуки рояля. Изображение на экране бледнеет.

13. В гостиной

Беттина играет. На сцене темно. Яркий свет озаряет лишь ее фигуру, затем свет заливает всю комнату. Солнечный день, после полудня. Абигайль слушает, стоя возле рояля. Беттина виртуозно заканчивает пьесу.

Абигайль. Ты — молодец!

Беттина *(поворачивается на вертящемся табурете; с неожиданно жесткой интонацией)*. Вовсе нет.

Абигайль. По-моему, исполнение безупречно.

Беттина. Техника неплоха, но я что-то утратила... не хватает горения, чувства; не знаю, как это назвать, но именно оно и отличает истинного музыканта... *(Пытаясь найти слова.)* Это — искусство, или вера в себя, или еще что-то... *(Почти стыдясь своей откровенности.)* Во всяком случае, я уже почти обладала этим, но потом потеряла и никогда не смогу снова найти.

Абигайль *(тихо)*. Понимаю, что ты должна испытывать.

Беттина. Нет, ты не понимаешь, не можешь понять, Эбби. Потому что ты молода и свободна.

Абигайль *(со странным смешком)*. Это я-то?

Беттина. Я знаю, тебя беспокоит институт. Я пыталась убедить Мэта, но он не желает меня слушать. Не верит, что женщина может быть врачом.

Абигайль *(сердито)*. Он не верит, что женщина вообще может стать кем-то.

Беттина. Да, поэтому все так и случилось со мной...

Абигайль *(мягко)*. Ну, не надо, Бетти. Придется мне отступиться. В конце концов, может быть, Мэт прав.

Ее прерывает звонок у входной двери. Беттина уходит. Оставшись одна, Абигайль перестает притворяться спокойной. Возвращается Беттина, на ходу вскрывая телеграмму, читает.

Беттина. Приезжает Оуэн... *(Она протягивает телеграмму Абигайль.)* Самолет прилетает в пять. *(Смотрит на ручные часы.)* Времени осталось немного.

Абигайль *(глядя на телеграмму)*. Я, пожалуй, не поеду встречать.

Беттина. Почему же?

Абигайль. Я лучше здесь подожду.

Беттина *(озадаченно вглядывается в ее лицо)*. Но ведь Оуэн...

Абигайль *(жестко)*. Оуэн еще успеет меня увидеть.

Беттина *(удивленно)*. Это связано с Джедом?

Абигайль. При чем тут Джед?

Входит Марта.

Беттина *(радостно)*. Матушка Мертон, только что пришла телеграмма от Оуэна!

Марта берет телеграмму из рук Абигайль. Беттина направляется к двери в глубине гостиной.

Беттина. Мэтью! *(Выходит Мэтью, он без пиджака.)* Оуэн дал телеграмму, он приезжает сегодня.

Опираясь на костыль, на лестницу выходит Джед.

Марта *(размахивая телеграммой)*. Да, да, правда! Он приезжает.

Мэтью. До аэропорта добираться долго. Собирайтесь-ка поскорее...

Беттина. Мальчиков-то мы можем дождаться? Они вот-вот придут из школы...

Мэтью. Через десять минут выезжаем.

Марта *(идет к лестнице)*. Мне одеться недолго.

Джед остался на лестнице, смотрит вниз на Абигайль, которая стоит, глядя вверх на него.

Джед. Мне нет смысла ехать на аэродром... Там надо идти пешком почти через все поле...

Марта *(на ступенях лестницы)*. Тебе бы следовало поехать, Джед.

Джед. Нет, я буду только мешать.

Марта. Ведь он теперь останется дома навсегда, правда?

Джед. Зависит от того, как скоро мы покончим с Японией.

Мэтью. Ну, теперь уже недолго.

Джед. Ты что-нибудь слышал в Вашингтоне?

Мэтью. Я не вправе говорить об этом.

Беттина *(направляясь к лестнице)*. Эбби тоже не едет.

Марта *(резко)*. Почему Эбби не едет?

Абигайль. Просто так. Голова болит.

Мэтью уходит. Джед и Абигайль на сцене одни, молча смотрят друг на друга. Джед все еще на лестнице.

Джед *(спустя несколько минут, саркастично)*. Итак, герой с победой возвращается домой. Ты рада, Эбби?

Абигайль. Конечно, рада.

Джед. После войны начнется новая, восхитительная жизнь... мир и радость на вечные времена... не будет больше крови и горя... Мудрецы в Вашингтоне все предрешили... именно для нас.

Абигайль. Почему ты надо всем смеешься?

Джед *(с горечью)*. Приходится... иначе невозможно вытерпеть...

Неожиданно сцена погружается в темноту.

14. На киноэкране

На экране — эскадрилья бомбардировщиков, летящих по чистому, в редких облаках небу. Громко и угрожающе гудят моторы. Перед экраном мелькают тени людей, движущихся по сцене. Беттина и Марта спускаются по лестнице. Из своего кабинета выходит Мэтью, вбегают Мэт и Боб, и всей семьей они уходят. На сцене остаются Джед и Абигайль.

15. В гостиной

В освещенной солнцем гостиной у винного шкафчика стоит Джед. Он пьет виски. Слева на переднем плане стоит Абигайль, погруженная в свои тревожные думы.

Джед *(оборачивается со стаканом в руках)*. Отныне будет навек покончено с унылыми заботами. Мы все возродимся в светлом Новом мире... Ты веришь, Эбби?

Абигайль. Не понимаю, зачем ты твердишь одно и то же?

Джед. Я думаю об Оуэне. Ведь именно в это он верит. Именно к этому надеется вернуться... *(Медленно, после паузы.)* Именно этим для него являешься ты. Прекрасный Новый мир — это ты.

Абигайль. Едва ли я для него так много значу.

Джед *(резко)*. Но ведь именно этого ты хочешь, а? Ты хочешь, чтобы Оуэн страдал.

Абигайль *(с надрывом)*. Нет, нет... Я не хочу причинять боли ни Оуэну, ни тебе... Мне очень жаль, что я такая.

Джед. Я изо всех сил стараюсь быть честным. *(Вспылив.)* Черт возьми, Эбби, ты несправедлива ко мне.

Абигайль. Я изо всех сил стараюсь быть справедливой...

Абигайль уходит. Джед устало возвращается к винному шкафчику. Свет меркнет.

16. На киноэкране

Снова по небу движется эскадрилья бомбардировщиков, зловеще гудят моторы. Затем на экране возникает карта Тихого океана. Черная линия указывает курс, по которому следуют самолеты. Линия доходит до Хиросимы. И снова экран заполняют бомбардировщики. На темной сцене можно различить движущиеся фигуры. Вошел Оуэн, за ним следует вся семья, за исключением Абигайль. Изображение на экране бледнеет.

17. В гостиной

На сцене Оуэн крепко обнимает Джеда, вокруг стоят Мэтью, Беттина, Марта, Мэт и Боб. Оуэн в мундире, он загорел, полон сил.

Оуэн *(выпуская Джеда из объятий)*. Джед... Джед! Как ты справляешься с этой штукой? *(Указывает на костыль.)*

Джед. Отлично... А через пару месяцев я и вовсе избавлюсь от костыля.

Оуэн. Прекрасно.

Джед молчит.

Марта. Джед, а где Эбби?

Джед. Наверно, в саду.

Боб *(с готовностью)*. Я сбегаю за ней.

Оуэн. Нет, Бобби, спасибо... Я сам найду ее.

Оуэн идет к двери на улицу. Свет на сцене меркнет, освещена лишь авансцена.

18. Перед домом

В момент, когда слева на авансцену выходит Оуэн, справа появляется Абигайль. Они медленно идут навстречу друг другу.

Оуэн *(прямо)*. Ты получила мое письмо?

Абигайль *(кивает)*. Я сожгла его.

Оуэн *(как будто его ударили)*. О... Ты хоть прочла его сперва?
Абигайль. Да, прочла.
Оуэн *(после паузы)*. Это звучит как приговор.
Абигайль. Так оно и есть. *(Решительно.)* Я жду ребенка.

Снова пауза.

Оуэн. Что ж, это хорошо, если ты этого хочешь.
Абигайль. Это ребенок Джеда.
Оуэн. Джеда...
Абигайль. Твоего брата, Джеда.
Оуэн *(повторяет, будто не расслышав)*. Моего брата... *(Поворачивается и, как слепой, бредет вправо; останавливается, снова поворачивается к ней.)* Спасибо, что ты сказала мне.
Абигайль. Я не хочу никаких мучительных переживаний. Но я хочу, чтобы ты меня понял. Я отказалась от тебя очень давно. Через год после того, как ты уехал, я решила больше не ждать... Ну, и не ждала... Я встретилась с другим, но у нас с ним ничего не вышло, потом я встретила еще одного... Я сказала Джеду, что у меня до него было двое или трое... Джед сказал: «Ты что, не помнишь?» Забавно. А все потому, что я не знала, считать тебя или нет. Джед не знает о том... *(медленно, с трудом)* о той ночи, перед твоим отъездом.
Оуэн *(натянуто)*. Он и не должен знать. Ему будет больно.
Абигайль. Я никому, кроме тебя, не могу сказать о той ночи. Я хочу забыть о ней и не могу. Это — единственное, настоящее...
Оуэн *(прерывает, сухо и решительно)*. Пожалуйста, Эбби, ни к чему это.
Абигайль *(в отчаянии)*. Письмо твое было ни к чему! Если ты собирался обо всем сказать, ты должен был сказать четыре года назад!
Оуэн. Нет, так лучше. Для нас обоих. По-моему, в том, что люди делают, есть логика... Значит, они этого хотят.
Абигайль *(смеется)*. Я заранее знала, что ты скажешь именно так.
Оуэн. Ты сделала правильный выбор, правильный для себя и для Джеда.
Абигайль. Окончательного выбора я еще не сделала.
Оуэн *(озадаченно)*. То есть как?
Абигайль. Иметь или не иметь ребенка.

Оуэн поражен. Слева на авансцену выходит Джед. Оуэн оборачивается, услышав стук костыля.

Оуэн. Джед! *(Идет к нему просто и дружелюбно.)* Я рад за вас обоих.

Оуэн обнимает брата. Джед смотрит на Абигайль.

Джед *(смущенно)*. Что тебе Эбби сказала?

Короткая пауза.

Абигайль *(решительно)*. Я сказала, что не знаю, как быть с ребенком...
Джед *(тихо)*. Это из-за тебя, Оуэн.
Оуэн. Глупости.
Джед. Вовсе не глупости, и мы все трое знаем это. *(Указывает на дом.)* Там никто не говорит правды. Так хочет Мэт. Он хочет, чтобы его дом был уютно выстлан ложью. Но здесь, вне дома, мы можем говорить открыто. Когда я вернулся, я понял, что Эбби хочет наказать тебя. Я воспользовался ее настроением. Я хотел обладать ею, но мысль о тебе делала ее еще более желанной... Я знал, что обманываю тебя, и наслаждался этим сознанием... Обманываю моего

родного брата, который спас мне жизнь, когда я был ранен... Я хотел посмеяться над тобой... Я должен был доказать, что я сильнее тебя.

Оуэн *(глубоко потрясенный)*. Пусть так. Я принимаю это... пусть с нами будет правда...

Джед. В чем же твоя правда?

Оуэн *(явно пытаясь скрыть свои подлинные чувства.)* Я рад. Теперь я совершенно свободен и могу целиком сосредоточиться на том единственном, что для меня действительно важно. Ведь я только начал свою работу, когда мне пришлось уйти в армию.

Джед. Ты вовсе не был обязан идти.

Оуэн. Я чувствовал себя обязанным. А теперь я обязан продолжать работу с того самого места, где остановился. Глупо говорить о науке языком чувств. Но я намерен отдать ей всю жизнь. *(Смущенно.)* Это вроде посвящения. Я не хочу других, личных чувств.

Джед *(саркастически)*. Посвящение во имя человечества?

Оуэн *(без улыбки)*. Да, человечества... И этому я могу отдаться безраздельно.

Джед. Все стараешься доказать свое превосходство?

Абигайль. Джед, не надо...

Джед. Ты можешь позволить себе порисоваться, ведь она по-прежнему привязана к тебе. Я умолял ее выйти за меня замуж. Я хочу этого и не могу добиться и, наверно, никогда не добьюсь. Ты стоишь на моем пути.

Оуэн. Я тебе вовсе не помеха.

Джед *(медленно, угрожающе)*. И ты будешь стоять на моем пути, пока будешь жив, если только я не убью тебя.

Джед поворачивается и идет к дому.

Оуэн *(идет за ним, с отчаянием)*. Ты не можешь так думать, Джед! Джед, послушай...

Джед уходит, Оуэн — за ним, Абигайль садится на пень. Сначала она сидит, сурово глядя прямо перед собой, потом улыбается.

Абигайль *(пожимая плечами)*. Мужчины... Я ранила их гордость. И они отвернулись от меня, и ушли, чтобы все обсудить между собой... Они свою гордость могут лечить словами... А моя рана глубже... Во мне растет семя жизни... *(С горькой усмешкой.)* Правда, я могу избавиться от него, почти без боли... Почему я должна чувствовать себя так, будто попалась в ловушку, когда есть такой простой выход? Пройдет несколько дней, и я снова буду такой же, как прежде... Никакого позорного пятна. И я смогу добиться успеха, стоит лишь очень захотеть... В этом-то все дело: так хотеть, чтобы все остальное было не в счет... Если хочешь быть врачом, сумеешь добиться своего! С какой стати ребенок должен связывать тебя? Почему ты не можешь быть такой, как Оуэн? Наука... посвящение... человечество! *(Внезапно она прижимает руки к животу, в ее голосе звучат истерические нотки.)* Как глупо, что я хочу этого ребенка... Женщина всегда безрассудно хочет ребенка. Ведь это мой выбор... Я сделала все по собственной воле. *(Старается овладеть собой, но чувства прорываются.)* Я сама за себя в ответе... И это справедливо... Оуэн открыл для меня любовь и потом ушел умирать, а война тянулась и тянулась... Если бы не война, мы с Оуэном... могли бы жить вместе, и работать вместе... Это было бы так естественно... *(Овладев собой, тихо смеется.)* Что же, ребенок — это тоже естественно, даже если он рожден слепотой, и одиночеством, и жа-

лостью, и тем особым чувством, когда все равно... Рожден под сенью войны... под сенью темных крыл.

Она поднимается. По сцене проносится крылатая тень самолета, слышно гудение моторов.

Я хочу заботиться о нем и любить его, но только не знаю как... Я хочу укрыть его покровом мира...

Ее голос тонет в оглушительном взрыве. На сцене полная тьма.

19. На киноэкране

Ослепительный свет, над Хиросимой поднимается облако-гриб. Грохот продолжает нарастать подобно прибою, а огненный столб сверкает нестерпимо ярко. Потом сразу наступают мрак и тишина.

20. В гостиной

Гостиная ярко освещена. Мэтью, Джед и Оуэн стоят посреди комнаты. Обстановка в гостиной напряженная.

Оуэн *(пытаясь говорить сухо и рассудительно, не выдавая своего волнения)*. Конечно, я слышал разные толки... вопрос обсуждался среди ученых. Но использовать это таким образом — значит, извращать науку.

Мэтью. Я считаю, что это оправдано, если сократит войну хоть на один день. Великолепная демонстрация американской мощи.

Джед *(с горечью)*. А ты, Оуэн, полагал, что мы сражались за демократию... Что ж, теперь ты, может быть, поймешь... Ты думаешь, они сбросили бомбу, чтобы окончить войну? Не-ет, чтобы начать другую...

Из глубины комнаты появляется Марта и идет к ним.

Марта. Я уговорила Абигайль; свадьбу надо устроить здесь... в воскресенье... Ты должен помочь им, Мэт... им надо отправиться в чудесное долгое свадебное путешествие. Если Джед станет писателем, ему нужны досуг и комфорт.

Мэтью *(обнимает Джеда за плечи)*. Джед знает, что может на меня положиться.

Марта. Все будет хорошо, пока вы — трое братьев — будете держаться вместе.

Мэтью *(взяв Оуэна за руку, притягивает его к себе; он счастлив)*. Именно это мы и сделаем.

21. На киноэкране

Дымящиеся развалины Хиросимы, искалеченные, полуголые тела жертв страшного взрыва.

22. В гостиной

Летний солнечный свет заливает гостиную, освещая гору живых цветов Перед цветами установлен алтарь, и преподобный Ньюмарк справляет свадебный обряд. Это высокий, аскетического вида священник. Лицом к нему стоят Джед и Абигайль. На ней подвенечная фата. Вокруг них собралась вся семья. Оуэн стоит слева, немного в стороне от остальных, ближе к авансцене.

Ньюмарк. Вы сочетаетесь священными узами брака в дни великого ликования. Проявим же смирение в этот миг победы, посвятим себя защите вечного мира, который был единственной нашей целью. Да будет жизнь ваша благословенна трудом... во имя мира и доброй воли... и братства...

АКТ II

1947 год

1. В гостиной

Беттина, Мэтью и Джед сидят перед телевизором, Мэт стоит за креслом отца, а Боб лежит на полу перед аппаратом. Мерцающий свет от экрана телевизора отражается на их лицах.
Голоса с телеэкрана:

Первый голос *(хриплый, квакающий)*. Теперь ты умрешь...
Второй голос. Послушай меня, Макс, выслушай...
Первый голос. Остается тридцать секунд...
Второй голос. Я покажу, где спрятаны деньги, миллионы...
Первый голос *(спокойно)*. А ну, всыпь-ка ему...
Второй голос. Миллионы...

Слышна пулеметная очередь.
Мэтью поднимается с места.

Мэтью *(в минутной тишине, наступившей после треска пулемета)*. Мальчики, вы не возражаете, если мы включим последние известия? *(Поворачивает ручку.)*

Голос диктора. Испытания, проведенные сегодня утром в пустыне штата Невада, показали, что Соединенные Штаты обладают бомбой огромной разрушительной силы.

На мгновение нестерпимо яркий свет, идущий от экрана, озаряет лица людей на сцене. Боб встал на колени, закрыл глаза.

Беттина *(поднимаясь)*. Пожалуйста, выключи.

Мэт выключает телевизор. Беттина зажигает в гостиной свет. Мэт к семнадцати годам немного подрос. Он спокоен, очень серьезен. Боб в свои одиннадцать лет хотя и вытянулся, но по-прежнему очень худой, нервный и выглядит маленьким для своих лет.

Мэтью *(мягко)*. Не понимаю, почему ты хочешь выключить телевизор?
Беттина. Мальчикам пора делать уроки.
Боб. Ну, мам...
Беттина. Уже девятый час.
Боб. А правда, эта бомба в сорок раз сильнее той, что взорвали в Хиросиме?
Мэтью *(удобно усевшись, с сигарой в зубах)*. Конечно.
Боб. А когда мы испробуем ее на людях?
Джед *(посмеиваясь)*. Сообразительный парень!
Мэтью. Все зависит от того, начнется ли война.
Боб. Ну так она должна начаться.
Мэт. Для чего?
Боб. Чтобы использовать все эти бомбы.
Мэтью *(официальным тоном)*. Мы никогда не применим бомбу, если нас к этому не принудят.
Джед. Как в Хиросиме!
Мэт. Почему же все говорят, что война все-таки будет?
Беттина *(взволнованно)*. Не будет ее.
Мэтью. Война, разумеется, может начаться, если какая-нибудь страна захочет напасть на нас.
Боб *(хвастливо)*. Одной бомбы хватит, чтобы покончить с ними.
Джед. И с нами тоже.
Беттина *(к мальчикам)*. Теперь отправляйтесь готовить уроки.
Боб. Можно мне посмотреть «Неутомимое ружье»?
Беттина. Нет, нельзя. Иди, иди.

Поднимаясь по лестнице, мальчики сталкиваются с Эбби, спускающейся вниз.

Боб. Можно мне посмотреть на маленького, Эбби?

Абигайль. Взгляни, только быстро. Там бабушка с ним.

Мэт и Боб поднимаются наверх, Абигайль спускается вниз.

Беттина. Как, значит, он все еще не спит?

Абигайль. Матушка Мертон играет с ним. Я ей твержу, что ему пора спать, но она не слушает. Ты нальешь мне, Джед?

Джед. Конечно, дорогая. *(Джед идет к винному шкафчику, у него несколько напряженная походка из-за протеза).* Кто-нибудь еще выпьет с нами?

Мэтью. Нет... *(Некоторое время попыхивает сигарой.)* Я бы предпочел, чтобы ты был осторожнее, когда мы разговариваем с Мэтом и Бобби.

Джед *(удивленно)*. Я?.. А что я сказал?

Мэтью. Ты говоришь так, словно наша страна хочет войны.

Джед *(посмеиваясь)*. Это же Бобби сам сказал. *(Джед наливает себе и Абигайль.)* Мы живем в век насилия! И дети знают это. *(Он указывает рукой на телевизор.)* Им это вдалбливают все время.

Беттина *(рассеянно повторяет)*. Век насилия...

Мэтью *(меняя тему разговора)*. Ты в Европе стал циником. Но мы это поправим. Теперь задача состоит в том, чтобы вы как следует устроились.

Джед. Да. Я должен разделаться со своей книгой. Мне осталось еще по крайней мере на год работы.

Мэтью. А что, если поселиться по соседству?

Джед. Слишком дорого.

Мэтью. Ничего. Мы с Беттиной считаем, что вам надо быть рядом с нами. К тому же есть возможность купить соседний дом по сходной цене.

Джед. Что ты называешь «сходной ценой»?

Мэтью. Кармайкл попал в трудное положение. Он не может выплачивать взносы. Я думаю, он согласился бы взять тридцать две тысячи наличными.

Абигайль. Но у нас ничего нет.

Мэтью. Я готов купить этот дом для вас.

Абигайль. Мы не можем пойти на это, Мэт. Ты нам столько помогал, пока мы были в Европе.

Мэтью. А почему бы мне и не помочь вам? Дом — выгодное помещение денег. Вы приобретете его на свое имя, а мне дадите закладную.

Абигайль вопросительно смотрит на Джеда, которого явно соблазняет эта перспектива.

Мэтью *(продолжает)*. Подумайте только, какое это счастье для мамы, если Эндрю будет жить рядом.

Беттина *(горячо)*. Идемте сейчас же посмотрим дом.

Абигайль. Мне бы не хотелось, право... Мы не можем.

Джед. Что ж тут плохого, если мы просто посмотрим.

Мэтью *(довольный, берет телефонную трубку и начинает набирать номер)*. Он просит тридцать восемь тысяч, но я его заставлю снизить до тридцати двух... Я случайно узнал, что он в отчаянном положении, не может расплатиться с долгами. *(По телефону, очень дружелюбно.)* Хэлло, Хоуард. Это Мэт Мертон. Как дела?.. Хорошо... Да, не жалуюсь. Мой брат с женой вернулись сегодня утром из Европы. Они интересуются вашим домом... Конечно, мы можем сейчас зайти. *(Кладет телефонную трубку, говорит с удовлетворением.)* Он весь как на иголках. Согласится на тридцать две. Пошли.

Беттина *(в то время как они направляются к выходу)*. Ты только не обращай внимания на обстановку, Эбби. У Марты Кармайкл ужасный вкус.

Беттина и Абигайль выходят.

Мэтью. Большинство домов в этом районе стоят сорок пять, а то и все пятьдесят тысяч. И этот дом стоит не меньше, я хорошо проверил.

Мэтью и Джед выходят.

2. Перед домом

На авансцене появляются Абигайль и Беттина.

Беттина. Все превосходно устроилось, не правда ли, Эбби? *(Абигайль не отвечает.)* Ты и Джед...

Мэтью *(выходит на авансцену вместе с Джедом)*. Только ты не очень восхищайся, Джед, смотри на все и покачивай головой. А разговаривать уж предоставь мне.

Беттина. Мы можем пройти через лужайку. Там есть проход в зеленой изгороди.

Абигайль *(останавливается и объявляет решительно)*. Я не хочу смотреть этот дом.

Беттина. Почему же?

Абигайль. Я ухожу от Джеда.

Мэтью. Уходишь? Что значит — уходишь?

Абигайль. А что обычно это значит?

Мэтью. Развод?

Беттина. Нет, Эбби!

Абигайль. Конечно, да. Поэтому бессмысленно осматривать дом... если только Джеду не вздумается жить в нем одному.

Джед, мрачный, стоит посреди сцены, не говоря ни слова.

Беттина. А я думала, что вы так счастливы. Я как раз говорила Мэту перед обедом, что мне никогда и не снилось, что вы будете так счастливы.

Мэтью. Так как же, Джед?

Джед *(хрипло, с волнением)*. Ты ведь слышал...

Мэтью. Вы уже все обсудили?

Джед. Кое-что. Я думал, мы сумеем как-нибудь все уладить.

Мэтью *(к Абигайль)*. Что же ты собираешься делать?

Абигайль молчит.

Джед. Она хочет изучать медицину.

Мэтью. Опять все та же старая песня. *(К Абигайль.)* Это бессмысленно. Тебя не было целых два года. Ты же не сможешь начать с того, на чем остановилась.

Абигайль. Мне придется год заниматься, прежде чем я смогу хотя бы приступить к сдаче экзаменов.

Беттина. А как же Эндрю?

Абигайль. Я беру его с собой.

Мэтью. Если ты будешь учиться, у тебя совсем не останется времени для мальчика.

Абигайль. Найдется.

Мэтью. Знаешь, Эбби, я не уверен, что у тебя есть на это хоть какое-то право, я имею в виду — с юридической точки зрения. К тому же еще и денежный вопрос. Ты, полагаю, захочешь получать какую-то сумму... Но с какой стати давать тебе деньги, если ты бросаешь мужа и хочешь взяться за работу, которая будет отнимать у тебя все

время, так что о сыне даже подумать некогда будет. Я бы советовал Джеду потребовать опеки над ребенком. Собственно говоря, мы бы хотели, чтобы Эндрю остался с нами, здесь. Я, пожалуй, поручил бы это дело своему адвокату...

Абигайль *(сердито прерывает)*. Прошу тебя не вмешиваться.

Мэтью *(обиженно)*. Но это касается семьи.

Абигайль. Оставьте нас одних... Мне надо поговорить с Джедом.

Беттина *(сжав руку Абигайль выше локтя)*. Мне очень жаль, милая. *(Мэтью собирается что-то сказать, но Беттина останавливает его.)* Не надо, Мэт.

Беттина и Мэтью уходят. Пауза.

Абигайль. Что же, нас ждет обычный развод — такой, какого хочет Мэт? Чтобы окончательно истерзать друг друга?

Джед. Откровенно говоря, я готов сейчас разорвать тебя на части или сжечь на медленном огне.

Абигайль отворачивается. Мэтью и Беттина тем временем вернулись в гостиную, Мэтью берет телефонную трубку и набирает номер.

Джед. Почему ты это сделала? Именно в этот момент и на этом самом месте?

Абигайль. Я не могла иначе.

Джед. Ты ведь знаешь, как для меня важно быть здесь, вместе с Мэтом и мамой, и особенно теперь, когда она в первый раз увидела маленького. Надо же тебе было все испортить.

В это время в гостиную входит Марта.

Мэтью *(по телефону)*. Алло, Хоуард, мы сегодня вечером не сможем зайти. Очень жаль. Созвонимся завтра. До свидания.

Марта. Почему вы не пошли смотреть дом?

Мэтью. Джед и Эбби слишком устали.

Марта. О-о... *(Садится и берет вязанье.)* Эндрю уснул. Никогда не видела такого спокойного ребенка.

Беттина сидит, читает книгу. Мэтью наклоняется к матери и, ласково погладив ее по руке, уходит в дверь в глубине гостиной. Марта принимается вязать. Одновременно перед домом продолжается предыдущая сцена.

Абигайль. Я знаю, Джед, как ты относишься к семье. Поэтому я и не могла сделать больше ни шага к этому дому. Я бы попала в ловушку.

Джед. В ловушку?

Абигайль. Ты собирался сегодня вечером купить дом, чтобы я оказалась связанной по рукам и ногам.

Джед. Мы вернулись сюда, потому что хотели уйти от того образа жизни, какой вели в Европе... Каждый вечер — в гостях, каждое утро — похмелье. *(Настойчиво.)* А нам вот это надо, Эбби... *(Стараясь заглянуть ей в глаза.)* Именно то, что надо мне... ощущение устойчивости. *(Абигайль смеется.)* Я знаю, что был не прав. И сожалею об этом... Я перестану пить... Останься со мной, и я перестану. Ты нужна мне, Эбби.

Абигайль. Я старалась изо всех сил, Джед. Но больше не могу.

Джед. Это все из-за Оуэна, ты не в силах забыть его...

Абигайль *(не слушая его)*. Я не могу построить жизнь с тобой, поэтому я должна создать себе собственную жизнь, без тебя.

Джед. Здесь все будет иначе...

Абигайль. Почему здесь все станет иным?

Джед. Здесь все надежно... *(пытаясь найти подходящее слово)* полно покоя...

Абигайль. Я не хочу так жить. Не хочу быть такой, как Бетти... Не хочу, чтобы Мэтью указывал нам, что следует и чего не следует делать... Так жить нельзя, Джед, из этого ничего не получится.

Джед. У них же получается.

Абигайль. Ты так думаешь? А ты когда-нибудь присматривался как следует к Бетти?

Джед. Всю жизнь меня как бы заслоняли мои братья. Когда мне было семнадцать, мама потеряла работу и заболела. Это случилось в период депрессии. У Мэта тогда родился сын, и вся семья умирала с голоду. Оуэн был слишком мал, чтобы зарабатывать. Каждое утро в пять часов я шел искать работу. И не находил... Возвращался домой с пустыми руками. Вероятно, именно поэтому я всегда ощущаю такую чертовскую неуверенность в себе. Настоящая работа у меня была только однажды — во время войны. Командовал людьми. Мое слово означало для них жизнь или смерть. Я и теперь не могу уйти от войны. Я ненавижу ее, но не знаю ничего другого, что действительно имело бы значение в жизни. У русских другое дело — они сражались во имя чего-то, а теперь работают и строят. А мы ничего не добились...

Абигайль. Вот именно, Джед, поэтому нам не следует оставаться вместе. Может быть, ты напишешь потрясающую книгу о прошлой войне и о будущей тоже... Я не хочу об этом думать. Но я знаю, что должна сделать для себя и для Эндрю. Я должна работать и приносить пользу по мере своих сил и постараться открыть перед Эндрю все пути...

Джед *(резко прерывает)*. А мне ты, значит, никакого пути не хочешь оставить?..

Абигайль. Как ты несправедлив...

Джед. Тебя я не могу удержать, но Эндрю ты никогда не получишь. Тут я буду бороться...

Абигайль. Прошу тебя, Джед, пожалуйста...

Джед. Я предупреждаю тебя. Эндрю — это все, что у меня есть, и я не расстанусь с ним. Найму хорошего адвоката и докажу, что ты не можешь быть для ребенка настоящей матерью. Я заставлю тебя пожалеть о том, что ты все это затеяла...

Абигайль. Я никогда не отдам его тебе, никогда, никогда!

Абигайль уходит, Джед остается в тени, на просцениуме.

3. В гостиной

Марта по-прежнему сидит и спокойно вяжет. Беттина читает. Из передней появляется Абигайль.

Марта *(мягко)*. На улице прохладно?

Абигайль. Нет, не очень.

Марта *(в том же тоне спокойной беседы)*. Что у вас там с Джедом не ладится?

Абигайль. Откуда вы знаете, что не ладится?

Марта. Ты не хочешь купить дом Кармайкла. И, судя по твоему виду, ни один дом тебя не устроит.

Абигайль. Я бы предпочла, чтобы вам обо всем сказал Джед.

Марта. Нет, ты мне скажешь сама. *(Она откладывает в сторону вязанье и поднимается.)* И скажешь сейчас же, потому что все дело в тебе.

Абигайль. Матушка Мертон...

Марта. Я знаю Джеда. И я знаю, что он любит тебя. Он с самого начала так добивался тебя, что ни о чем больше думать не мог. Даже о собственном брате не подумал. Ну что ж, ты свой выбор сделала. Ты выбрала Джеда. Почему же теперь ты нос воротишь?

Абигайль. Не могу я больше...

Марта. Не могу! Не могу! Глупости. Свой долг люди всегда могут выполнить.

Абигайль. Все это не так просто.

Марта. Что же ты намерена делать?

Абигайль. Учиться.

В гостиную входит Джед.

Марта. Учиться? Ты имеешь в виду свои прежние выдумки? Все хочешь быть врачом? До чего же ты упряма, Абигайль! И бессердечна. Что же станет с твоим мужем и твоим ребенком?

Абигайль смотрит на Джеда, он улыбается.

Джед. Ну, ну, ответь ей.

Абигайль. Я возьму Эндрю с собой.

Марта. Что ты за мать? Я вырастила своих детей, вырастила их одна, так уж пришлось. Я не хвастаю — это естественно. Жизнь женщины — в ее детях.

Абигайль. Потому я и должна взять Эндрю.

Марта. Потому ты и должна дать ему дом и отца. Твой долг сделать все, чтобы он мог вырасти крепким деревцем. Если ты лишишь его корней, в нем иссякнет сила. Не имеешь ты права так поступать. Это эгоистично. Посмотри на Беттину. Для нее все счастье — в ее доме, в Мэтью и мальчиках. И это истинное счастье.

Беттина пытается что-то сказать, но не может. Абигайль, догадавшись о том, что волнует сестру, говорит за нее с горечью.

Абигайль. Беттина решила поступить так, как лучше для нее. А я должна решать сама за себя.

Марта. За себя! За себя! Ты только о себе и думаешь!

Абигайль *(крайне уязвлена и потому говорит с горечью)*. Вы хотите, чтобы я от всего отказалась ради своего ребенка? Хорошо. Именно это и я намерена делать, только по-своему. Женщина, которая умирает при родах, все отдает, не так ли? Вы этого от меня хотите, хотите, чтобы я умерла в двадцать два года?

Беттина. Эбби!

Марта. Разве кто-нибудь сказал хоть слово о смерти?

Абигайль. Я хочу себя посвятить своему ребенку. Если бы мне нечего было дать ему, тогда мне не следовало бы этого делать. Если б Джед мог дать ребенку больше, чем я, я дала бы сына Джеду, но я знаю Джеда и знаю себя. Я возьму Эндрю с собой.

Пытаясь скрыть слезы, Абигайль уходит. Джед останавливает ее.

Джед. Ладно, Эбби. Можешь взять сына. Я не буду противиться.

Абигайль *(тронутая)*. Спасибо.

Джед *(взглянув на мать)*. Только привози его сюда почаще, повидать маму.

Абигайль. Хорошо. *(Уходит вверх по лестнице.)*

Марта *(Джеду)*. Ты думаешь, она права?

Джед. Нет, но я не могу помешать ей.

Темнеет. Луч света освещает только Марту. Она садится и снова принимается за вязанье.

Марта. Я, видимо, слишком стара, чтобы понять все это.

4. На киноэкране

Лаконичный монтаж мировых событий с 1947 по 1950 годы; комментирует голос американского диктора последних известий. Затем голос другого диктора: «В Корее началась война. Бурные дебаты в Организации Объединенных Наций. Президент Трумен объявил, что Соединенные Штаты перебрасывают войска в Корею».

1950 год

5. В гостиной

Вечер. Мэтью спорит с Оуэном.

Мэтью. Не понимаю, при чем тут Корея?

Оуэн. По-моему, Корея имеет к этому самое непосредственное отношение.

Мэтью. Ты, видимо, не представляешь себе, как мне трудно было добиться твоего назначения.

Оуэн. Знаю, Мэт, и благодарю...

Мэтью. Конечно, ты на отличном счету в Калифорнийском технологическом институте. Но ведь для Вашингтона важны связи, поэтому я лично пошел к генералу Гирхарту...

Оуэн. Все это я знаю и очень ценю. Теперь все улажено. Но мне придется работать в Нью-Мехико, и я просто не понимаю, почему я должен в Вашингтоне встречаться с Гирхартом.

Мэтью. Он хотел тебя видеть. Этого достаточно, и это большая честь, особенно теперь.

Оуэн. Из-за Кореи?

Мэтью *(раздраженно)*. Ну конечно же. Это означает, что ты будешь работать над проектом по указанию самого руководителя комиссии. Разве ты не понимаешь, какие огромные преимущества это тебе даст?

Оуэн. Понимаю.

Мэтью *(снимает телефонную трубку и набирает номер)*. Дайте Вашингтон, мне нужно вызвать Пентагон, лично генерала Гирхарта. Мое имя Мэтью Мертон.

Джед *(спускаясь по лестнице)*. Что это вы задумали?

Мэтью *(Джеду)*. Я беру Оуэна с собой в Вашингтон.

Джед. Но ведь завтра день рождения мамы.

Мэтью. Мы вернемся утренним самолетом. *(По телефону.)* Хэлло, генерал. Мы прилетим сегодня вечером самолетом, который прибывает в восемь. Прямо к вам, в управление... Благодарю вас, сэр, благодарю. Я привезу проекты и сметы. Спасибо, генерал.

Джед *(подтрунивая)*. Так, Оуэн, значит, они зацапали тебя. Попался в вашингтонскую мышеловку.

Оуэн. Надеюсь, что нет.

Мэтью. Оуэн, можешь ты собраться за десять минут?

Оуэн. Конечно.

Джед. Ну вот, заварили кашу в Корее. Где-то мы теперь остановимся?

Мэтью *(уже направляется в свой кабинет и на ходу оборачивается)*. Мне не нравятся такие разговоры, Джед, особенно теперь, когда мы находимся в состоянии войны.

Джед. Поосторожнее в выражениях, Мэт, какая же это война, это просто полицейская акция.

Мэтью. Дело слишком серьезно, Джед. Сейчас не до шуток.

Джед. Я и не шучу.

Мэтью. Послушай, ты написал книгу, имевшую успех, получил работу в Голливуде — все это должно усилить в тебе чувство ответственности.

Джед. Ну, может ли Голливуд усилить в ком-либо чувство ответственности?

Мэтью. Где деньги — там и ответственность... Собирайся-ка лучше, Оуэн.

Мэтью уходит в глубь сцены. Оуэн и Джед смотрят друг на друга.

Джед *(задумчиво)*. Хиросима...

Оуэн *(нервно)*. Что ты имеешь в виду?

Джед. Помнится, ты утверждал, что это — извращение науки.

Оуэн. Я не изменил своего мнения.

Джед. Возможно. Хиросима — первый шаг, Корея — второй.

Оуэн. К чему?

Джед. К завоеванию Азии... и всего мира...

Оуэн. Все это не так просто.

Джед *(смеется)*. Конечно. Скажи, Оуэн, почему ты согласился на эту работу?

Оуэн. Работой над проектом руководит человек, которого я знаю и уважаю,— Марк Бересфорд. Я с ним вместе учился.

Джед. К тому же речь идет об очень важном деле?

Оуэн. Очень важном.

Джед. Положение... власть...

Оуэн. Это меня не интересует. Просто в своей области я хочу сделать как можно больше и лучше.

Джед. Ладно. Мне ли говорить? Я думал, что создал антивоенный роман, а Голливуд превращает его в милитаристский фильм... за двести тысяч долларов.

Оуэн. И ты сам работал над сценарием?

Джед. Разумеется... еще за семьдесят тысяч.

Оуэн. Ученые так много не зарабатывают.

Справа входит Беттина. Одновременно слева появляется Мэтью. Он на ходу всовывает деловые бумаги в битком набитый портфель.

Мэтью. Ты еще не готов, Оуэн?

Оуэн. Через три минуты. *(Взбегает по лестнице наверх.)*

Беттина. Куда это вы?

Мэтью. В Вашингтон. Мы завтра вернемся, как раз поспеем на мамино торжество.

Беттина. Подвезти вас на аэродром?

Мэтью. Нет, мы возьмем мою машину.

Беттина *(настойчиво)*. Я должна поговорить с тобой до отъезда.

Мэтью. Ну что ж, говори. *(Продолжает возиться с портфелем.)*

Джед. Я не мешаю?

Беттина. Нет. Это насчет Мэта. Раньше меня не беспокоило, что сразу же после школы он должен был пойти в армию. Но теперь дело другое.

Мэтью. Он должен идти.

Беттина. Я знаю. Но, может быть, в Вашингтоне ты замолвил бы словечко нужным людям.

Мэтью. Я не могу этого сделать, Бетти.

Беттина *(настойчиво)*. Только бы его не послали за океан. Назначили бы куда-нибудь здесь, в Штатах...

Мэтью *(терпеливо)*. Не могу, Бетти. У меня не будет такой возможности. *(Застегивает портфель, поднимает глаза и с удивлением видит, какое у нее расстроенное лицо.)* Мэту ничто не грозит: первые

несколько месяцев он будет проходить подготовку. *(Обнимает ее.)* Не тревожься, милая. Вся эта история кончится через несколько недель.

Оуэн *(спускается вниз с маленьким чемоданчиком)*. Я готов.

Мэтью *(целуя Беттину)*. До свидания, дорогая.

Джед *(наливая себе виски)*. Желаю удачи. Добудь пару хорошеньких военных подрядов.

Мэтью. Именно это я и хочу сделать.

Оуэн машет на прощание рукой. Он и Мэтью уходят. Джед пьет, наблюдая за обиженной и расстроенной Беттиной В тишине слышится гудение мотора, автомобиль выезжает из гаража. Сверху доносится звук саксофона. Кто-то довольно неумело играет. На верхних ступенях лестницы появляется Боб, ему уже исполнилось четырнадцать лет. В руках у него саксофон.

Боб. Я научился играть «Женщину из Сент-Луиса». Хотите послушать?

Боб несколько минут дует в трубу, Джед смеется.

Беттина. По-моему, тебе надо еще поучиться.

Боб *(весело)*. О'кей. *(Исчезает наверху.)*

Беттина *(пытается скрыть, что она расстроена)*. Утром приедут Эндрю и Эбби. Тебе, наверно, не терпится поскорее увидеть Эндрю?

Джед. Я его не видел целый год, с прошлого маминого дня рождения.

Беттина. Джед... кончится война в Корее через несколько недель?

Джед. Не думаю.

Беттина. Но ведь это не настоящая война?

Джед. Да-а, это пустяк, сущий пустяк.

6. На киноэкране

В Корее беспорядочной толпой бредут по дороге крестьяне, спасающиеся бегством; они несут на себе свое скудное имущество. Те, кто покрепче, помогают старикам, женщины с грудными младенцами на руках тащат за собой детишек постарше. Беженцы оглядываются назад, на клубы дыма, расползающиеся по небу.

7. Перед домом

Теплый солнечный свет заливает авансцену Близится час заката, и косые золотистые, пламенеющие лучи солнца скользят по сцене. Слышны звуки саксофона, барабана и губной гармошки. Входит Беттина, за ней — Абигайль и Марта.

Беттина *(весело)*. Это все для вас, матушка Мертон, шествие в честь дня вашего рождения.

Появляется четырехлетний Эндрю, он усердно бьет в детский барабан. За ним — Боб, дующий в свой саксофон, и наконец Мэт, красивый двадцатилетний юноша, он играет на губной гармошке. Эндрю барабанит невпопад. Боб не может совладать с саксофоном. Они проходят через всю сцену и удаляются под смех и аплодисменты трех женщин.

Марта. Это лучший день моего рождения за многие годы.

Боб *(входит вместе с Эндрю)*. Ну, как тебе понравился парад, бабушка?

Марта. Очень понравился. *(Указывая на Эндрю.)* Особенно барабанщик.

Боб. У нас еще есть время сразиться в крикет до обеда.

Эндрю. Крикет... крикет!

Боб тащит за собой Марту, и они уходят вместе с Эндрю

Беттина. Эндрю отлично выглядит.

Абигайль. Он — славный мальчик.

Беттина. Тебя не смущает, что ты увидишься тут с Джедом?

Абигайль. Хорошо, что встреча будет такая естественная, и вы все будете при этом.

Беттина. Это замечательно, Эбби, ведь ты делаешь именно то, что хочешь.

Абигайль. Но мне еще целых три года учиться в институте.

Беттина. И все идет так же хорошо, как в прошлом году?

Абигайль. Даже немного лучше...

Беттина. Кажется, Мэтью с Оуэном приехали.

Шум мотора подъехавшей машины стихает, слышно, как хлопает дверца. Появляются Мэтью и Оуэн, оба в шляпах. Мэтью несет портфель и светлое пальто, в руках у Оуэна чемоданчик.

Беттина. Здравствуй, дорогой...

Мэтью. Привет, детка. *(Целует Беттину. Здоровается с Абигайль.)* Рад видеть тебя, Эбби. Как Энди?

Абигайль. Отлично.

Оуэн. Здравствуй, Эбби.

Абигайль. Здравствуй.

Беттина. Что в Вашингтоне?

Мэтью. Мы успели сделать многое. Впечатление Оуэн произвел отличнейшее.

Беттина. Скоро будем обедать. *(Оуэну.)* Я возьму твои вещи.

Беттина берет шляпу и чемодан Оуэна, и с Мэтью они уходят. Оуэн и Абигайль продолжают стоять на противоположных концах сцены, глядя друг на друга.

Оуэн. Как институт?

Абигайль. Все в порядке. А Вашингтон?

Оуэн. Бедлам... совершенно гнетущая обстановка.

Оба смеются и на несколько шагов приближаются друг к другу.

Абигайль. Почему ты согласился выполнять это правительственное задание?

Оуэн. Для меня как ученого существуют лишь три возможности: работать в крупной компании, связанной с военным ведомством; работать в колледже, связанном с военным ведомством; или открыто работать на военное ведомство. *(Пауза.)* Вот я и решил быть циником.

Абигайль. Понимаю.

Оуэн. Тебе это не нравится?

Они делают еще несколько шагов, испытующе глядя друг на друга.

Абигайль. Не знаю... Не мне судить.

Оуэн. Если бы мы с тобой были вместе, Эбби... *(Прерывает себя, смущенно.)* Я не имею права так говорить.

Абигайль. Спасибо тебе за то, что ты сказал... Большое спасибо.

Оуэн *(сдержанно)*. Хорошо, что мы оба знаем о нашем чувстве!

Абигайль. Да, это хорошо.

Оуэн. Я не в силах обидеть Джеда. Я никогда не смогу причинить ему боль. *(Абигайль улыбается.)* Ты улыбаешься, а знаешь ведь, что это правда.

Абигайль. Потому я и улыбаюсь... *(Пауза.)* Как это старомодно... в викторианском духе *(очень тихо)*... такая любовь...

Оуэн. Я буду жить в Нью-Мехико, ты — в Бостоне...

Абигайль. Что ж, так даже лучше.

Она легко касается его щеки рукой и уходит. На сцене стемнело, и виден лишь отблеск лучей заходящего солнца. Оуэн стоит в раздумье.

Голос Мэта. Становись вместо меня, Эбби. Мы их уже намного обставили.

Входит Мэт.

Мэт. Что ты думаешь об этой войне, дядя Оуэн?

Оуэн *(удивленно)*. Что это ты вдруг?

Мэт. Справедливая эта война?

Оуэн. Нам всегда твердят, что любая война справедлива.
Мэт. Ты не ответил на мой вопрос.
Оуэн. Другого ответа у меня нет.
Мэт. Я очень хотел бы знать. Ведь завтра я ухожу в армию.
Оуэн. Долго, во всяком случае, эта война не продлится.
Мэт *(с сомнением)*. Все так говорят. Пожалуй, мне не страшно. Конечно, не хочется расставаться со своей девушкой, но не это самое главное. По-моему, можно почти все стерпеть, если знаешь, во имя чего терпишь.

Оуэн. По-моему, каждый должен выполнить то, что ему положено.
Мэт. Я знаю, что обязан выполнить свой долг... Но неужели все должно идти так, как идет? Неужели действительно неизбежна эта война, а за ней другая, может быть, еще страшнее?.. *(Запнувшись.)* Как раз к тому времени, когда подрастет Бобби...
Оуэн *(растерянно)*. Больше войн вообще не должно быть.
Мэт. Ради этого ты и работаешь, да? Ради этого ты поехал в Вашингтон и разговаривал с генералом? Ты, наверно, считаешь такой путь правильным, раз выбрал его?
Оуэн. Мэт... я не уверен в том, что поступаю правильно... И я не хочу влиять на тебя.
Мэт. Вот ты пять лет воевал на Тихом океане. Ты тогда гордился этим, и у тебя не было сомнений, верно?
Оуэн. Тогда все было ясно. Мы должны были остановить Гитлера.
Мэт. А теперь то же самое. Теперь мы должны остановить красных.
Оуэн. По-видимому.
Мэт. Ты говоришь не очень уверенно.
Оуэн *(расстроенный)*. Я действительно не очень уверен.
Мэт. Ты считаешь, что красные не так уж плохи?
Оуэн. Это очень сложный вопрос.
Мэт. Умирать-то не очень сложно.
Оуэн. Вот ты и разберись, где правда.
Мэт. Почему же ты мне не помогаешь?
Оуэн *(глубоко потрясенный)*. Я не знаю... не уверен. Ты должен разобраться сам.
Мэт *(с горечью)*. В армии-то!
Оуэн. Ты должен все продумать.
Мэт. Но не говорить ни о чем: держи язык за зубами — ты же сражаешься за демократию.
Оуэн *(мягко, пытаясь изменить тему разговора)*. Скажи-ка, Мэт, твоя девушка хорошенькая?
Мэт. Ты думаешь, это единственное, что меня волнует?
Оуэн. Это не мало.
Мэт. Ей семнадцать. Ее родные говорят, что она слишком молода для помолвки.
Оуэн. И у меня было так же.
Мэт. Расскажи мне об этом.
Оуэн *(смущенно, явно сожалея о сказанном)*. Мы думали, что это навсегда. Ей было семнадцать, мне столько же, сколько тебе сейчас.
Мэт. И что же?
Оуэн *(невольно бросает взгляд направо)*. Я все еще помню, какой она была... в ту ночь, когда я уходил.
Мэт. И ты больше с ней не виделся?
Оуэн. Меня не было пять лет.
Мэт. Ну, это другое дело. Я-то вернусь через год.
Оуэн. Конечно.
Мэт. Почему это войны обычно начинаются в июне?

Оуэн. Разве?

Мэт. Конечно, или в начале июля.

Оуэн *(задумчиво)*. Мне кажется, потому, что лето — самое подходящее время для ведения войны. После первой половины июля уже слишком поздно начинать летнюю кампанию.

Мэт. А зимой, наверно, приходится туго. Большинство крупных поражений происходит зимой.

Оуэн. Ну, об этом ты не беспокойся. Все кончится еще в июле.

Мэт. Так все говорят.

Боб *(вбегает с криком)*. Пойдем есть праздничный пирог!

Оуэн и Мэт уходят вместе с Бобом.

8. В гостиной

В темной гостиной справа появляется огонек зажженной свечи. Она воткнута в праздничный пирог в честь дня рождения Марты. Пирог несет Мэтью. Он идет впереди, за ним — вся семья. Пирог ставится на середину стола.

Боб *(расталкивая* всех). Задуй ее, бабушка.

Марта *(указывая на свечу)*. Я торжественно заявляю, что мне всего один год от роду; у меня такое чувство, будто я сейчас впервые встану на ноги и начну учиться ходить.

Мэтью. Подожди-ка. Сначала подарки.

Боб. Давай, Мэт.

Боб и Мэт приносят свертки. Неуверенными шажками подходит Эндрю, вместе с матерью он несет огромную коробку, обернутую бумагой.

Марта. Спасибо вам, спасибо. *(Наклоняется, чтобы поцеловать Эндрю.)* Спасибо, Эндрю.

Боб. Теперь пирог.

Мэтью. Подожди еще. *(Вынимает из кармана футляр.)* Как всегда, все твои три сына сложились и сделали тебе подарок. Помнишь, в былое время мы покупали что-нибудь в грошовой лавочке.

Марта *(берет футляр)*. Спасибо вам, дети мои. *(Открывает футляр и достает из него бриллиантовый кулон.)* Господи, вот это уж совсем не похоже на то, что бывало.

Мэтью. Мы неплохо преуспели в жизни. Год был удачный для всех троих. И мы обещаем, что и впредь ты сможешь гордиться нами.

Марта. Я вами очень горжусь.

Мэтью. А особенно мы горды теперь тем, что Мэт идет служить родине. На время он станет солдатом: наше правительство нуждается в нем, и он должен встать на защиту свободы.

Марта смотрит на Мэта. По выражению ее лица видно, что она встревожена. Мэт стоит немного впереди, отделившись от остальных.

Боб. Теперь ты можешь задуть свечу.

Марта *(чуть не плача)*. Не знаю, смогу ли я теперь...

Когда она задувает свечу, раздаются раскаты выстрелов и рокот моторов. Свет на мгновение задерживается на лице Мэта, остальная часть сцены погружена в темноту. Мэт поражен, он полон внутреннего протеста. Он как бы застыл среди нарастающего грохота войны.

9. На киноэкране

Продолжается предыдущий хроникальный фильм. Непрерывным потоком тянутся корейские беженцы, пешком или на тележках. Приближаются самолеты, люди бросаются врассыпную в поисках убежища. Когда самолеты устремляются вниз, ведя пулеметный обстрел, на них можно рассмотреть опознавательные знаки армии США. Многие крестьяне падают, пора-

женные насмерть или тяжело раненные. Крупным планом — мертвый ребенок. Рядом с ним — мать в безутешном горе. Она уткнулась головой в дорожную грязь, прижавшись всем телом к земле, как будто желая слиться с ней. Звук моторов замирает, слышны лишь всхлипывания матери.

10. В гостиной

Гостиная освещена мягким светом. Поздний зимний вечер. Свистит и воет холодный ветер. Джед сидит за пишущей машинкой, нервно проводит рукой по волосам. Увидев, что стоящий рядом стакан пуст, идет к винному шкафчику. Он нетвердо держится на ногах. Наливает полный стакан и возвращается к машинке. Покачиваясь, наклоняется над ней, перечитывает написанное.

Джед. «Все, кто страдает от угнетения, кто лежит в крови и грязи, под ударами хлыстов и угрозой нацеленных ружей, все они — братья мои». *(Пьяным жестом вырывает страницу из машинки.)* Все это — бескрылые слова... *(Залпом осушает стакан.)* Где тут сердце? Где пульс жизни? Где пульс жизни? *(Роняет страницу на стол, оглядывает комнату, будто видит ее впервые.)* Только не здесь, не в этой комнате.

Спотыкаясь, уходит.

11. Перед домом

Слева появляется Джед. Он дрожит от ветра, бьющего ему в лицо.

Джед. Истина — это северный ветер, обжигающий холодом. Пусть же развеет он всякую ложь.

По проходу к сцене идет Оуэн с чемоданом и портфелем в руках. Увидев Джеда, он в удивлении останавливается.

Оуэн. Джед!

Джед *(всматривается в зал)*. Что это за призрак тут бродит?

Оуэн. Никакой я не призрак. *(Взбегает по ступеням на сцену.)* Ты же совсем замерзнешь.

Джед. А ты почему здесь?

Оуэн. Я подал в отставку. Только что лично послал генерала Гирхарта к чертовой матери.

Джед. Господи, как я рад! *(Обнимает его.)* Ты — человек, Оуэн, клянусь богом, ты — настоящий человек.

Оуэн. Пошли домой.

Они уходят.

12. В гостиной

Через минуту Джед и Оуэн входят через дверь, ведущую из передней. Оуэн снял пальто и шляпу.

Джед *(идет через всю сцену к винному шкафчику)*. Выпей-ка. Согреешься.

Оуэн. Не надо. Спасибо.

Джед. А мне не мешает. *(Наливает себе.)* Так ты послал генерала Гирхарта к чертовой матери?

Оуэн. Ну, я употребил несколько иную формулировку.

Джед. Но он-то понял?

Оуэн. Боюсь, что да.

Джед *(посмеиваясь)*. Здорово! Мэтью знает?

Оуэн. Нет еще. Я приехал ему рассказать.

Джед. Он будет очень недоволен.

Оуэн. Знаю. Мне, право, жаль.

Джед. Ты вселяешь в меня веру, Оуэн, уверенность в себе. Видеть перед собой человека, у которого хватает мужества не сгибаться!

Оуэн. Это просто личное решение.

Джед. Нет, это — нечто большее. *(Он протягивает Оуэну страничку.)* Посмотри-ка.

Оуэн *(удивленно читает вслух)*. «Все, кто страдает от угнетения... в крови и грязи... братья». *(Поднимая глаза.)* И это написал ты?

Джед. А почему бы нет?

Оуэн. Не похоже.

Джед. Я пытаюсь рассказать о том, что чувствую. Но не в силах. Да и что я знаю о бедных и угнетенных? Сидя здесь, в большом доме, в постоянном страхе, как бы Мэтью чего не подумал — ведь он старший брат; к тому же надо щадить мамины чувства... Я шесть месяцев тебя не видел. Хотел написать, но побоялся. Ведь за твоей перепиской, наверно, следили.

Оуэн. Конечно.

Джед. Я изменился, Оуэн. Я, видишь ли, понял, что наша страна не может так дальше существовать. Вся основа никуда не годится, Оуэн.

Оуэн. Право, не знаю...

Джед. Ты — мой брат, и тебе я могу все сказать. Наша страна, Оуэн, тяжело больна. Мы — великий народ, но строй наш умирает... Об этом пора, наконец, сказать. Ты слыхал о моей новой книге?

Оуэн. Нет. Она о том, о чем ты говоришь?

Джед. Хочу об этом сказать, но не могу. Книга называется «Канун рождества». Представь себе: пьяная вечеринка на голливудской киностудии. Там все — руководители студии, кинозвезды, подсобные рабочие и секретарши. Опустошенность, грязь! Вся горечь будней долгого года растворяется в оргии во славу рождества Христова.

Оуэн. У тебя никто этого не купит.

Джед. Ошибаешься. Уже купили. Им нравится именно вся эта грязь, нравится держать перед собой зеркало. Лицо Голливуда — это лицо Америки, лицо развращенного ребенка... *(Он устало садится, внезапно трезвея.)* Я не писатель. Я поденщик от литературы. Хочу создавать настоящую литературу — и не могу. Книга должна быть статуей из золота. А я леплю из грязи. *(Оуэн с жалостью смотрит на него, кладет руку ему на плечо. Джед глядит ему в глаза.)* Ты должен помочь мне.

Оуэн. Как же я могу тебе помочь?

Джед. Мы можем быть близки. Как было много лет назад. Тогда я сумею чего-нибудь добиться, сумею стать кем-нибудь, если ты поможешь мне найти дорогу.

Оуэн. Я и свой-то собственный путь вижу не очень ясно.

Джед. Вместе нам легче будет во всем разобраться. Ты сильнее меня, Оуэн, я это знаю. Может быть, коммунисты знают, где выход. Я разговаривал с ними, Оуэн. Это славные люди, они верят в будущее... Будущее...

Вдруг умолкает, увидев Мэтью, который спускается по лестнице в халате поверх пижамы.

Мэтью. Оуэн! А я думал, ты — в Нью-Мехико.

Оуэн. Я сегодня был в Вашингтоне. Виделся с генералом Гирхартом...

Мэтью. С Гирхартом?

Оуэн. Я подал в отставку, Мэт.

Мэтью *(пораженный)*. Ты мог бы сперва посоветоваться со мной.

Оуэн. Я знал наперед, что ты скажешь. А поскольку решение мое уже было принято, я не видел особого смысла в том, чтобы приезжать сюда и спорить.

Мэтью *(сдерживая гнев)*. Что ты сказал Гирхарту?

Оуэн. Я сказал ему, что не могу больше работать в обстановке мелкого политиканства и жалких интриг.

Мэтью. Ты совершил опасную ошибку!

Оуэн. Знаю. У него, вероятно, установлен магнитофон, и все было записано. Я вел себя по возможности осторожно. Но разве ты не понимаешь, Мэт, что я должен был уйти? Нельзя честно работать в таких условиях... даже с их точки зрения — это бессмысленно.

Мэтью. Так думают все, кто работает над проектом?

Оуэн. Разумеется. Ведь все это — ученые. Они сознают, что так совершенно невозможно работать, но они запуганы. Сам Бересфорд относится ко всему этому с отвращением. Мы с ним уже все обсудили.

Мэтью. После того что произошло с Розенбергами, ты должен понять, как важно быть крайне осторожным.

Оуэн. Большинство из нас считает, что Розенберги ни в чем не виноваты.

Мэтью. Вздор.

Оуэн. Но все боятся, что с ними может случиться то же самое.

Мэтью. Я не знаю, во что все это выльется, но ты сделал глупость, последствия могут быть очень серьезными. Именно теперь, когда мы потерпели большое поражение в Корее...

Оуэн *(настойчиво)*. Там — другое дело. На мой взгляд, мы совершили большую ошибку, мы проводим политику, которая наносит ущерб нашей стране.

Мэтью. Даже если ты так думаешь, то не имеешь права говорить вслух этого...

Оуэн. Я обязан говорить, это мой долг!

Мэтью. Ты накличешь беду.

Оуэн. Ну, хорошо, а как же те парни, которые сейчас воюют в Корее? Твой собственный сын там...

Мэтью *(с фанатичной искренностью)*. Я горжусь им и знаю, что он тоже горд, я уверен в этом. Он горд тем, что служит в рядах...

В то время как Мэтью говорит, на экране появляются кадры кинохроники.

13. На киноэкране

Люди прокладывают себе путь по сверкающему снегу Крупным планом — фигуры отступающих американских солдат, ведущих рукопашный бой; самолет, который разбивается среди заледенелых холмов. Затем вереница людей, медленно бредущих по снегу Одни падают замертво, другие изнемогают от ран. Тишина. Только завывающий ветер наметает сугробы над поверженными телами.

1951 год

14. В гостиной

Мягкий солнечный свет заливает гостиную. Марта сидит одна и вяжет Входит Беттина.

Беттина. Обед уже почти готов. Не знаю, почему это Джед задерживается.

Марта *(спокойно)*. Он придет. На него ты можешь положиться. *(По лестнице спускается Абигайль.)* Как приятно, что вы все снова тут.

Абигайль. Как приятно снова быть здесь, матушка Мертон.

Марта. Я бы хотела только, чтобы дни рождения не наступали так быстро один за другим.

Абигайль *(указывая на рояль)*. Целую вечность не слышала, как ты играешь, Бетти.

Беттина. К роялю я больше не прикасаюсь.
Абигайль. Почему?
Беттина. Мне уже за сорок.
Абигайль. Ну и что же?
Марта. Музыка могла бы тебя утешить.
Беттина *(резко)*. Ради утешения не играют. Я совершенно иначе отношусь к музыке.

Раздается звонок, Беттина идет открыть дверь. В глубине гостиной появляется Мэтью.

Голос Джеда *(из прихожей)*. Привет, Бетти. Прости, что опоздал.

Джед входит из передней, за ним — Беттина.

Джед. Здравствуй, мама. *(Он обнимает ее, оборачивается к Мэтью.)* Ну, а как ты, Мэт?
Мэтью. Рад видеть тебя.
Джед *(сдержанно кланяется Абигайль)*. Здравствуй, Эбби.
Абигайль. Здравствуй.
Джед. А где Эндрю?
Беттина. Играет в крикет с Бобби и Оуэном.
Джед. Пойду к ним. Мне только сначала надо поговорить с Мэтью.
Абигайль. Я скажу Эндрю, что ты здесь.
Джед. Не стоит прерывать игру.
Беттина. Посмотрю, как обед. *(Беттина и Абигайль уходят.)*
Марта *(поднимается с кресла)*. Ты плохо питаешься, Джед. В нью-йоркском отеле жить не слишком уютно.
Джед. Я чувствую себя отлично, мама.
Марта. Нет, ты чем-то встревожен.

Марта уходит.

Джед *(вынимает из кармана листок бумаги и протягивает его Мэтью)*. Вот, получил это сегодня утром.
Мэтью. Повестка!
Джед. От комиссии по расследованию антиамериканской деятельности.
Мэтью. Что ж, не удивительно.
Джед. Я спал мертвым сном, когда постучали в мою дверь. И просто сунули ее мне в руки.
Мэтью. Тебя вызывают на двадцатое июня. Это через десять дней.
Джед *(взволнованно)*. Я знаю, что такое случается. Я даже был знаком с людьми, с которыми это произошло.
Мэтью *(смотрит на него)*. А тебя изрядно трясет.
Джед. Отчасти это с похмелья. Но вообще-то говоря, на меня словно свалилась груда кирпичей.
Мэтью. Я помогу тебе, если ты послушаешься моего совета.
Джед. Ты, наверно, мог бы вообще прекратить всю эту штуку.
Мэтью. Прекратить ее я не в силах, но облегчить положение могу.
Джед *(возбужденно)*. Не буду я отвечать на их вопросы, если ты это имеешь в виду, никого не назову...
Мэтью. Да ты не волнуйся...
Джед. Этого я никогда не сделаю... черт возьми.
Мэтью. Ты не один тут замешан. Это касается и нас — меня и Оуэна. *(Медленно.)* Я подозреваю, что метят они именно в Оуэна.
Джед. Он тоже получил такую бумажку?
Мэтью. Нет. Но они хотят использовать тебя, чтобы создать дело против него.
Джед. Ведь Оуэн мой брат.

Мэтью. Так же, как и я. Мы должны трезво оценить обстановку. Оуэн ушел с работы, где имел доступ к секретным материалам. Он поссорился с Гирхартом. После этого участвовал в деятельности комитетов защиты мира, подписывал какие-то декларации.

Джед. Я делал то же.

Мэтью. Это может погубить вас обоих.

Джед. Мы должны защитить Оуэна.

Мэтью. Первым делом нам надо все разузнать. Пойдем ко мне в кабинет. Я могу позвонить одному человеку, который тесно связан с комиссией, и выяснить, чего они добиваются.

Джед. Не буду я пресмыкаться перед этой комиссией, и Оуэн тоже не станет...

Мэтью *(холодно)*. Как ты только что заметил, мы должны защитить Оуэна, если сможем.

Джед. Ты хочешь сказать, что они начнут меня допрашивать и попытаются заставить меня оговорить родного брата...

Мэтью. Именно этого я и хочу избежать.

Джед *(с тайным страхом)*. Бог ты мой, Мэт, если бы мы сумели все остановить, сделать так, будто ничего не случилось.

Мэтью *(настойчиво)*. Пойдем.

Мэтью, крепко схватив Джеда за руку, уводит его через дверь в свой кабинет.

15. Перед домом

Косые солнечные лучи ярко освещают авансцену. Входят Оуэн и Абигайль, они тихо и неторопливо разговаривают, радуясь тому, что могут хоть немного побыть вместе.

Абигайль. Хирургия сердца — область сравнительно новая.

Оуэн. Необычное дело для женщин.

Абигайль. Очень необычное. Во всей группе я — единственная женщина. Но я чувствую, что это — мое призвание.

Оуэн. Год этот был удачным для нас обоих. Я нашел подходящее для себя место. Мэдоувейл — небольшой, довольно либеральный колледж в штате Огайо. Мне поручили там руководство научным отделением, дали возможность самому разработать программу исследований. И никакой зависимости от правительства, никакой проверки моих личных убеждений.

Абигайль. Я рада за тебя.

Оуэн. Это тихое место, как раз то, чего мне хочется. Я не воитель, Эбби. Хочу делать свое дело и помогать молодежи. Может быть, в этом мое призвание.

Входят Боби Эндрю.

Боб. Мама сказала, чтобы вы шли обедать.

Эндрю *(к Абигайль)*. Мама, помоги мне расставить свечки.

Боб. Он заставил меня купить шестьдесят пять свечек для бабушкиного пирога.

Абигайль *(смеясь)*. Ну что ж, пойдем. Посмотрим, как мы с ними справимся.

Все уходят.

16. В гостиной

Мэтью и Джед выходят из кабинета.

Мэтью. Видишь, я был прав. Они метят в Оуэна.

Джед. Мы должны сказать ему.

Мэтью. Нет, не сейчас. Не стоит портить праздничный обед.

Джед. Господи, Мэтью...

Мэтью. Мама неважно себя чувствует. Мы должны вести себя так, чтобы не встревожить ее.

Марта *(входит справа)*. Все готово.

За сценой раздается звонок у входной двери.

Мэтью. Я открою. *(Уходит.)*

Марта. Надеюсь, Джед, что ты голоден. У нас индейка на двадцать четыре фунта.

Возвращается Мэтью, держа в руках распечатанную телеграмму. Одновременно с ним входит Беттина. Мэтью, шатаясь, делает несколько шагов и падает в кресло.

Беттина. Что случилось? *(Мэтью не отвечает.)* Это Мэт! *(Беттина берет телеграмму, читает ее.)*

Входит Оуэн.

Мэтью. Убит на поле боя.

Беттина выпускает из рук телеграмму, которая, кружась, летит на пол. Марта прижимает руку к сердцу, пытаясь овладеть собой. Входит Абигайль.

Марта. Я хочу пойти к себе. *(Джед и Оуэн бросаются к ней, поддерживают с обеих сторон.)* Я здорова... просто хочу... отдохнуть.

Абигайль. Беттина... *(Беттина отталкивает ее.)*

Беттина. Я знала... Знала... *(Неожиданно она бежит к роялю и в отчаянии ударяет по клавишам, как бы оплакивая погибшего сына и свою загубленную жизнь.)*

Мэтью *(кричит, взбешенный музыкой)*. Перестань! Перестань!

Беттина смеется и продолжает играть еще более неистово. Мэтью пытается остановить ее, хватает за руки, но она вырывается. Входит Боб, за ним Эндрю. Из глубины комнаты снова появляются Джед и Оуэн.

Мэтью. Перестань!

Беттина *(сопротивляясь)*. Нет, это ты перестань.

Беттина с силой толкает Мэтью, и он, отшатнувшись, чуть не падает на рояль.

Беттина *(гневно кричит)*. Ты на этом зарабатываешь деньги! Ты делаешь свои темные делишки, когда они идут на смерть!

Мэтью *(кричит)*. Перестань! Прекрати!

Беттина. Ты палец о палец не ударил, чтобы спасти своего собственного сына. Ты все твердил, что гордишься им. Ну и продолжай гордиться. Ты сорвал свой кровавый куш. Все наши деньги кровавые!

Мэтью *(сжал кулаки, готов ударить ее)*. Хватит! Прекрати!

Беттина. Ты убил собственного сына!

Услышав эти слова, Мэтью застывает на месте. Он стоит над женой со сжатыми кулаками. Эндрю бежит к Абигайль, она прижимает его к себе. Боб смотрит отцу в лицо.

Боб. По-моему, она права. Ты убил его.

Мэтью *(умоляюще)*. Бобби... сынок...

Боб. Ради денег!

Беттина. Деньги... деньги... деньги...

Начинает играть, но теперь музыка звучит мягко, постепенно нарастая. Беттина, видимо, играет торжественный траурный марш в память о погибшем сыне.

АКТ III

1951 год

1. В гостиной

В гостиной темно, только лестница слабо освещена светом, падающим из холла наверху. На сцене никого нет. Б о б идет вниз по лестнице, неся чемодан и саксофон. Он опускает их на пол и открывает дверь в глубине гостиной. Через открытую дверь видно, как в кабинете загорается свет, затем слышен треск взламываемого дерева. По лестнице спускается О у э н. Он в рубашке без пиджака. В освещенных дверях кабинета появляется Боб, он пересчитывает деньги.

О у э н. Бобби!

Б о б. Что так поздно не спишь?

О у э н. Не могу уснуть. Решил выпить стакан молока. Что это у тебя в руке?

Б о б. Сам видишь.

О у э н. Где ты взял?

Б о б. Взломал ящик у папы в столе.

Они стоят, глядя друг другу в лицо. Боб — в освещенных дверях, Оуэн — в конусе света, падающего сверху.

О у э н. Это его деньги?

Б о б. Ясно, его.

О у э н. Почему ты их взял?

Б о б. Мне нужно.

О у э н. Ты же не станешь красть?

Б о б. Они все равно краденые. Все, что у него есть, краденое. *(Идет к Оуэну; с вызовом.)* Я ухожу.

О у э н. Куда ты можешь пойти?

Б о б. Все равно куда.

О у э н. Мне придется позвать твоего отца.

Б о б. Ты этого не сделаешь. *(Взволнованно.)* Я никогда больше не вернусь сюда. Я уже решил, что мне делать дальше. Но тебе не скажу, а то они найдут меня. Скажи им, что искать меня бесполезно. Скажи, что я беру папину машину, но брошу ее так, чтобы полиция могла подобрать ее. Так что он получит ее в целости и сохранности. Не надо мне этой чертовой машины. Скажи маме... *(Умолкает, не в силах продолжать.)*

О у э н. Что сказать твоей матери?

Б о б. Просто скажи ей... *(Останавливается, запнувшись на полуслове.)* Да ладно, я ухожу. *(Направляется к двери.)*

О у э н. Бобби... Ты совершаешь ошибку. Тебе придется вернуться.

Б о б. Ни за что.

О у э н. Ты должен подумать об отце и матери.

Б о б. Они-то сами думают только о своих ожиревших особах.

О у э н. Неправда.

Б о б. Всего два дня, как мы узнали про Мэта, а папа уже по горло в каком-то очередном темном дельце. Ему все названивают из Вашингтона...

О у э н. Ты не прав, Бобби, он пытается помочь дяде Джеду.

Б о б. Я бы на твоем месте не доверял никому из них.

О у э н *(сердито)*. Что ты хочешь сказать?

Б о б. Я толком не знаю. Но когда ты сегодня уезжал в город, мы еще завтракали. Только ты вышел, а папа говорит дяде Джеду: «Пошли ко мне в кабинет».

О у э н. Почему же ему этого не сказать?

Б о б. У него был такой вид, словно он наложил лапу на миллион долларов.

О у э н. Нельзя так говорить об отце.

Беттина *(появляется на лестнице полусонная, на ходу запахивая халат)*. Оуэн... Бобби... Что это вы не спите так поздно?

Боб хватает чемодан и саксофон.

Боб *(кричит в бессильной ярости)*. Хватит с меня! Я сыт по горло!

Убегает на улицу. Беттина на мгновение застывает на лестнице. Потом сбегает вниз и бросается к входной двери. Слышно, как включают мотор и машина выезжает на дорогу. Беттина возвращается в тот момент, когда Мэтью сходит вниз по лестнице

Беттина. Мэтью, он взял твою машину.
Мэтью. Куда он отправился?
Оуэн. На твоем месте я отпустил бы его.
Мэтью. Что значит — отпустил бы его? Куда отпустил бы? Что он затеял?
Беттина *(садится в изнеможении)*. Он уехал навсегда.
Мэтью. Чепуха.
Беттина *(почти про себя)*. Как он говорил... и какая в нем ненависть...

На лестнице появляется Джед.

Мэтью. Надеюсь, маму не разбудили.
Джед *(с лестницы, зевая)*. Что тут происходит?
Беттина. Бобби сбежал.
Мэтью. Я сообщу в полицию.
Оуэн *(тихо)*. Лучше подожди до утра. Ты получишь свою машину обратно.
Мэтью. Откуда ты знаешь?
Оуэн. Он сказал, что подбросит ее.
Мэтью. Они могли бы найти его сегодня же ночью и доставить обратно.
Оуэн. Ты хочешь, чтобы его задержала полиция?
Мэтью. Мне безразлично кто, лишь бы задержали.
Оуэн. Он может дать газ и уйти от погони.
Мэтью *(устало)*. Я хочу его вернуть. *(Продолжает с неподдельным чувством.)* Боб — все, что у нас осталось.
Беттина *(направляясь к лестнице, резко)*. Он никогда не вернется.
Мэтью. Что же ты собираешься делать?
Беттина *(саркастически)*. Собираюсь пойти и как следует выспаться, чтобы утром выглядеть свеженькой и хорошенькой.
Джед *(Мэтью)*. Ты бы лучше пошел с ней.
Беттина *(на лестнице)*. Не хочу, чтобы он шел со мной.
Мэтью *(следуя за ней)*. Бетти... Бетти...

Беттина и Мэтью скрываются наверху.

Оуэн. Джед, я хочу поговорить с тобой.
Джед. Сейчас, ночью?
Оуэн. Да. Сегодня ничего нового не выяснилось?
Джед *(бросает на него быстрый взгляд)*. Ничего особенного. А что?
Оуэн. У тебя был опять длинный разговор с Мэтом?
Джед. Конечно. Мы все снова обсудили.
Оуэн. Он звонил в Вашингтон?
Джед *(осторожно)*. Ну... звонил.
Оуэн. Мы, по-моему, договорились, что не следует обращаться в комиссию.
Джед. Он и не звонил в комиссию.
Оуэн. А советнику комиссии он не звонил?
Джед *(после минутного колебания)*. Звонил.
Оуэн. Разве это не то же самое, что позвонить в комиссию?

Джед. Черт возьми, он пытается все как-нибудь уладить — нельзя же ему это запретить. Ты ведь знаешь Мэтью.

Оуэн *(сдержанно)*. Еще бы! Но я не уверен, знаю ли я тебя.

Джед. У тебя нет оснований так говорить. Ты меня обижаешь. Мэтью просто хотел нащупать возможность какого-нибудь компромисса...

Оуэн. Не существует никакого компромисса.

Джед. Ну, по крайней мере, он мог бы добиться отсрочки. Это важно для нас обоих. Тебя еще даже не вызывали. А явиться в комиссию должен-то буду я...

Оуэн. Но расспрашивать тебя там будут обо мне. Они же признали, что в этом их главная цель.

Джед *(волнуясь)*. Ради бога, Оуэн, вот они и добились своего — восстановили нас друг против друга.

Оуэн. Им это не удастся, если мы всегда будем честны друг с другом.

Джед. Правильно. Я тебя в беде не оставлю, Оуэн... Клянусь тебе...

Оуэн. Знаю, Джед. Но все эти интриги мне не по душе, может быть, Мэтью удастся заставить их отложить дело. Тогда у нас было бы время. Сейчас как раз положение особенно скверное, весь этот шум в связи с процессом Розенбергов... Я ничего не имею против отсрочки. Я прекрасно понимаю, какое это даст преимущество. Но мне не нравятся методы Мэтью.

Джед. Не будь к нему слишком строг. Он напуган. Он боится, как бы все это не сказалось на его судьбе. Мы все попались в одну и ту же сеть.

Оуэн. Это сеть из лжи.

Джед *(в то время как сцена погружается в темноту и на экране начинают мелькать кадры кинохроники)*. Я пойду с тобой, Оуэн, до самого конца. Что бы ни случилось, мы будем держаться вместе...

2. На киноэкране

Стремительный монтаж кинокадров, показывающий «охоту за ведьмами» в США в период с июня 1951 года до середины 1952 года.

Голос комментатора: Писатель отбывает год тюремного заключения за неуважение к конгрессу... Ученый — три года тюремного заключения за лжесвидетельство... Коммунист — пять лет тюремного заключения за пропаганду... Дело Хисса... поддельные документы... процесс Розенбергов.

1952 год

3. В гостиной

Вечер. Джед сидит, спрятав лицо в ладони. Оуэн стоит посреди комнаты и говорит с горьким спокойствием. Мэтью стоит рядом с Оуэном.

Оуэн. Я опутан сетью лжи. И это сделали вы оба. Вы сплели эту сеть. А я доверял вам. Я вынужден был вам доверять...

Мэтью. Все, что я делал, Оуэн, я делал ради тебя, ради того, чтобы спасти тебя!

Оуэн *(насмешливо)*. Видимо, и в ловушку ты должен был заманить меня в моих же интересах.

Мэтью. Вот именно. То, что Джед сообщил комиссии на секретном заседании, ты обязан повторить слово в слово.

Оуэн. Ложь меня ни к чему не обязывает.

Мэтью. Ответы Джеда были тщательно разработаны адвокатами.

Оуэн. К сожалению, со мной не посоветовались.

Мэтью. Джед просто сказал, что Бересфорд и другие ученые, с которыми ты работал, выступали против политики правительства. Я слышал, как ты говорил это здесь, в этой самой комнате.

Оуэн. Речь идет о словах, сказанных в частном разговоре, к тому же вы их исказили и извратили.

Мэтью. Он действовал по совету адвокатов.

Оуэн *(поворачивается к Джеду, сидящему все в той же позе)*. Вы сделали все, чтобы выставить этих людей предателями. Ты исказил мои слова, чтобы погубить людей, которые мне дороги... *(Берет со стола рукопись.)* Вот твои показания, вот протокол секретного заседания, на которое ты отправился, не сказав мне... *(Листает страницы, чтобы найти нужное место.)* «*Вопрос:* Утверждал ли ваш брат, что эти люди — коммунисты? Ответ: Нет. Вопрос: Утверждал ли ваш брат, что они нелояльны? Ответ: Такое впечатление могло создаться. Вопрос: Итак, из его слов у вас создалось впечатление, что эти ученые, работающие над проблемами расщепления атома, являются предателями? Ответ: Такой вывод можно было сделать. Вопрос: Говорил ли ваш брат что-либо о Розенбергах? Ответ: Да. Вопрос: Что именно он говорил? Ответ: Он говорил, что его друзья, работающие вместе с ним над проектом, обеспокоены делом Розенбергов. Вопрос: Они опасались, что их могут также разоблачить? Ответ: К такому заключению можно было прийти». *(С отвращением отбрасывает рукопись.)* Вывод! Заключение!

Мэтью. Это юридическая терминология.

Оуэн. Это ложь!

Мэтью. На комиссии тебе надо только подтвердить, что ты действительно говорил это.

Оуэн. И карьера каждого из названных людей будет погублена.

Мэтью. А как же твоя собственная карьера?

Оуэн. Я не могу спасать свою шкуру, предавая друзей.

Мэтью. Не можешь же ты на публичном заседании назвать Джеда лжецом?

Оуэн. Бог мой, а что мне еще остается делать?

Мэтью. Подумай о маме, которая там лежит больная.

Оуэн. Я уже думал о ней.

Джед *(с трудом поднимается и тихо, несвязно бормочет)*. Я знаю, что я наделал. Я знаю, какой во мне яд, это страх, но не один лишь страх. Выслушай меня, Оуэн. Пожалуйста, выслушай. Я предал тебя, когда вернулся с войны. Ты спас мне жизнь, а я отбил у тебя твою девушку. Я пострадал за это... мы все трое страдали... И теперь я снова предал тебя... Я ничего не могу с собой поделать. Прости меня, Оуэн... Докажи, что ты меня прощаешь, и спаси самого себя. Мэтью прав... единственный способ, ради мамы... Это убьет ее.

Оуэн *(с глубоким отвращением)*. Ты пресмыкался перед комиссией, а теперь ты пресмыкаешься передо мной!

Идет к двери на улицу. Мэтью останавливает его.

Мэтью. Что же ты будешь делать?

Оуэн. Не знаю еще.

Мэтью. Сейчас ты решаешь вопрос, от которого зависит все твое будущее, Оуэн. Не губи себя... *(Просительно.)* Пойди им навстречу, и они тебе помогут. Просто ответь «да» на два-три вопроса. Не то тебя обвинят в лжесвидетельстве — и дело кончится тюрьмой.

Оуэн. Я это знаю.

Он проходит мимо Мэтью и выходит из дому. Свет в гостиной меркнет

4. Перед домом

Слева появляется Оуэн. Авансцена слабо освещена, летняя ночь.

Оуэн *(один)*. Ответь «да» на два-три вопроса. Согласись с несколькими выводами. Подтверди правильность сложившихся впечатле-

ний. Кивни головой при имени друга, и вот уже он захвачен вихрем, а ты спасен... Это ведь все, чего я хочу. Я не герой... венец мученика мне вовсе не по вкусу. Я хочу мира — для себя и для других людей. Но что толку в мире для одного человека, если страх мрачной тучей навис над человечеством?.. А почему я должен отвечать за будущее мира? Мне не снести грядущего на своих плечах. Я один, и помочь мне некому. Братья меня предали. Мать не может понять... *(В отчаянии восклицает.)* Абигайль! Абигайль! Она бы исцелила меня и помогла мне. Но к ней я не могу пойти. Я сам должен справиться с бедой. Но разве можно слишком многого от меня требовать? Почему именно я обязан давать показания? Почему выбор пал на меня? *(После паузы, с болью.)* Такова логика моей жизни. Я должен ей следовать... Я — единое целое со всеми людьми, но я только частица человечества. Это объединяет меня и с Розенбергами в их камере смертников, и со всеми, кто в одиночестве борется за свободу. Нас много, мужчин и женщин, и мы верны себе. Вот что самое главное. Я должен верить в это, чтобы иметь силы продолжать борьбу.

5. На киноэкране

Кинохроника показывает Этель и Юлиуса Розенбергов в период после окончания процесса. По мере приближения момента их казни во всем мире происходят демонстрации протеста. Голос комментатора на этот раз звучит серьезно и грустно.

Голос комментатора: Этель Розенберг и Юлиус Розенберг вновь отказались произнести лживые слова ради того, чтобы спасти себе жизнь. По мере приближения часа их казни толпы людей во всем мире выходят на демонстрации. Розенбергов ждет электрический стул. Девятнадцатого июня тысяча девятьсот пятьдесят третьего года Юлиус и Этель Розенберги пойдут на смерть.

1953 год

6. В гостиной

Снова вечер. Беттина сидит и шьет. Мэтью читает вечернюю газету и курит сигару.

Беттина *(нервно поглядывая на дверь в глубине гостиной)*. Он там уже очень долго.

Мэтью. Он пытается объяснить ей, но не может.

Беттина. Хоть на день ее рождения пришел. В этом году Абигайль впервые не привезла Эндрю. Так что внуков сегодня не будет. Я все думаю...

Мэтью *(резко)*. Пожалуйста, не вспоминай про Боба.

Беттина. Я должна, слышишь, должна говорить о нем!

Мэтью. Он ушел от нас, и найти его мы не можем. Нет никакого смысла терзать себя... *(Мэтью умолкает и встает. В эту минуту из двери в глубине гостиной выходит Оуэн.)*

Беттина. Ты переночуешь у нас, Оуэн?

Оуэн. Не могу.

Мэтью. Как она, ничего?

Оуэн. Как будто ничего...

Мэтью. Она очень слаба после удара.

Оуэн *(обращается к Беттине, игнорируя Мэтью)*. По ее представлению, тюрьма — это место для преступников.

Беттина. Большинство людей так и считает.

Оуэн. Я прочел ей письма, полученные от выдающихся ученых. Она хотела их сохранить, и я все оставил ей.

Беттина. Хорошо.

Оуэн. Буду писать ей каждую неделю. До свиданья, Беттина.
Беттина *(поднимаясь)*. До свиданья, Оуэн. Позвать Джеда?
Оуэн. Нет. Я не хочу его видеть. *(После минутного колебания.)* Передай от меня большой привет Абигайль.
Беттина. Непременно.

Оуэн направляется к двери на улицу, по-прежнему не замечая Мэтью.

Мэтью. Оуэн!
Оуэн. Прощай, Мэтью. *(Уходит.)*
Мэтью *(расстроенный, следует за ним)*. Оуэн, пожалуйста, подожди...

Мэтью уходит.

7. Перед домом

Лунный свет пробивается сквозь ветви деревьев, ложась на землю причудливым узором. Оуэн спускается вниз по ступеням. Вслед за ним появляется Мэтью.

Мэтью. Оуэн, ты не вправе так уйти.
Оуэн. Мне больше нечего здесь делать.
Мэтью. Ты приедешь сюда, когда тебя освободят?
Оуэн. Конечно, повидать маму.
Мэтью. Ее может уже не быть в живых.
Оуэн. Может уже не быть. *(Порывается уйти.)*
Мэтью *(умоляюще)*. Неужели у тебя нет никаких человеческих чувств?
Оуэн *(оборачивается)*. К тебе, Мэтью, у меня очень сильное чувство.
Мэтью. Я — человек простой. Незлобивый.
Оуэн. И все-таки ты готов взорвать весь мир.
Мэтью. Да я и мухи не обижу.
Оуэн *(усмехнувшись)*. Не сомневаюсь.
Мэтью. Я говорю от всего сердца, Оуэн.
Оуэн. И я тоже.
Мэтью. Я старался создать очаг для своей семьи. Этот дом очень много для меня значит. Но вот мальчики ушли. Ты говоришь, что я виноват во всем, хотя я тут ни при чем.
Оуэн. Ты прав, Мэтью. Ты — только частица чего-то огромного, смертоносного. И ты сам этого даже не подозреваешь. Жаль мне тебя, Мэтью.

Оуэн спускается вниз по ступеням и уходит по левому проходу, исчезая в глубине зала. Мэтью смотрит ему вслед, в то время как на экране вдруг возникают кадры кинохроники.

8. На киноэкране

Монтаж мировых событий с 1953 по 1957 годы. Голос диктора комментирует поражение Франции в Юго-Восточной Азии, XX съезд КПСС, разоблачение культа Сталина, контрреволюционный мятеж в Венгрии.
Из зала по левому проходу возвращается Оуэн, он подходит к ступеням, ведущим на сцену, и фильм прекращается.

1957 год

9. Перед домом

Авансцена залита лунным светом. Оуэн стоит и смотрит на дом с таким видом, будто ему не хочется входить. Он мало изменился — только похудел за годы тюрьмы. Из зала на сцену направляется Боб. Ему двадцать два года, это сильный, крепкий юноша, на нем потертые штаны и дешевый пиджачок. Оуэн вглядывается в темноту зрительного зала. Боб остановился в проходе на полпути.

Оуэн. Кто это?

Помедлив, Боб закуривает сигарету, и огонек спички озаряет его обветренное, обожженное солнцем лицо. Настороженный взгляд и жесткий рот старят его.

Оуэн *(неуверенно)*. Боб?
Боб. Дядя Оуэн.

Оуэн. Пришел домой?

Боб. Как и ты.

Оуэн. Это не мой дом.

Боб. И не мой. *(Идет по проходу.)* Они ждут меня. Я им из Сент-Луиса позвонил. Они прислали денег по телеграфу.

Боб поднимается по ступеням. Оуэн ласково здоровается с ним. При свете луны тени их кажутся непомерно большими.

Оуэн. Я рад, что ты здесь.

Боб. Взаимно.

Оуэн. Ты впервые дома с тех пор, как ушел?

Боб *(кивает)*. Когда я вчера позвонил, мать чуть с ума не сошла.

Оуэн. И ты ни разу не дал о себе знать?

Боб. К чему? Но тут я сообразил, что скоро у бабушки день рождения и что ты должен выйти из тюрьмы. Ну и подумал: может, удастся у отца немного деньжат добыть.

Оуэн. Он так будет рад тебя увидеть, что даст тебе все что угодно.

Боб. Дать-то даст, только при одном условии.

Оуэн. При каком?

Боб. Ну, скажем, чтобы я остался здесь. Если б я мог добыть несколько тысяч, я махнул бы в Южную Америку.

Оуэн. Зачем?

Боб. Женщины... Легкие деньги... Только, пожалуй, все это бред. Там меня считали бы молокососом, как и здесь.

Оуэн. Что же с тобой произошло, Бобби?

Боб. Да я тебе сказал уже. Вся моя жизнь так вот и прошла. Со мной обращались как с молокососом, почти в каждом штате. Все перевидал и ничего толком не видел... только и видел, что свою тень. Все больше пешком... прошагал миллион миль под палящим солнцем и под дождем. Был сборщиком фруктов. Рубил лес, служил посыльным в отеле в Лас Вегас... Влип в историю в Мемфисе.

Оуэн. И в тюрьме сидел?

Боб. Так же, как и ты. Саданули меня ножом в тюремной часовне в пасхальное воскресенье. Кровь хлещет, как из прирезанного поросенка, а проповедник вещает: Христос воскрес. *(Продолжает совсем другим тоном, понизив голос, смущенно.)* Я пришел сюда, чтобы повидаться с тобой, дядя Оуэн.

Оуэн. Хорошо! О чем же ты хотел спросить?

Боб. Там, где ты был, из тебя здорово душу трясли?

Оуэн. Я многому научился.

Боб. Ты все еще носишься с этой идеей насчет спасения человечества и мира?

Оуэн. Что же тут плохого?

Боб. Держу пари, из тебя всю эту дурь выбили.

Оуэн. Нет. Я уверен в этом еще больше, чем прежде.

Боб *(с жаром)*. Тогда ты — сумасшедший. Чем жить так, как люди живут, лучше подохнуть.

Оуэн. Ты хотел повидать меня только для того, чтобы сообщить мне все это?

Боб *(с горечью)*. Если можно жить по-настоящему, я хочу знать — как?

Оуэн *(задумчиво и растроганно)*. Не знаю, что сказать тебе, Бобби. Видишь ли, простого ответа у меня нет.

Боб. Так я и думал. Никакого ответа у тебя нет. Пусть себе земля взрывается, как тухлое яйцо.

Боб резко поворачивается и уходит влево. Оуэн следует за ним. Лунный свет меркнет, в гостиной загорается огонь.

10. В гостиной

Комната пуста Раздается звонок у парадного входа. Мэтью выходит из кабинета. Одновременно появляется Беттина. Она взволнована. Мэтью уходит и сразу возвращается с Бобом и Оуэном.

Боб *(смущенно)*. Здравствуй, мама.

Беттина. Бобби... Бобби... *(Обнимаются.)*

Мэтью. Рад видеть тебя, Оуэн.

Беттина. Здравствуй, Оуэн.

Оуэн. Здравствуй. Как мама?

Мэтью. Сердце почти все так же. Ей нужен отдых. Она так разволновалась, узнав о твоем приезде, что мы ей дали снотворное, и она уснула. Увидишься с ней утром.

Беттина. Я вам обоим оставила обед.

Оуэн. Спасибо, я уже обедал в городе.

Беттина. Идем, Бобби, я приготовила все, что ты любишь... ростбиф, кукурузный хлеб... шоколадный торт.

Мэтью *(в то время как все трое отправляются обедать)*. Ты не присоединишься к нам, Оуэн?

Оуэн. Нет, нет, идите.

Беттина, Мэтью и Боб уходят. Оуэн осматривается, взволнованный воспоминаниями. На лестнице появляется Абигайль. Она останавливается и глядит вниз, на Оуэна.

Абигайль. Здравствуй, Оуэн.

Оуэн *(тихо)*. Здравствуй, Эбби.

Продолжительная пауза, они смотрят друг на друга.

Абигайль *(не сходя с лестницы)*. Мы с Эндрю, как всегда, приехали в день рождения матушки Мертон.

Оуэн. Как Эндрю?

Абигайль. Ему уже одиннадцать.

Оуэн. Знаю.

Абигайль медленно спускается по лестнице и останавливается перед ним. Они говорят тихо, напряженно.

Абигайль. Я полагаю, ты все уже обдумал.

Оуэн. Что именно?

Абигайль. Все... о тебе и обо мне... В конце концов, мы ждали три года *(почти истерически, хотя по-прежнему тихо)*... о, гораздо дольше... шестнадцать лет... Что же мы будем делать теперь?..

Оуэн *(тоже очень волнуется, резко)*. Было бы гораздо лучше не говорить об этом.

Абигайль *(с деланной беспечностью)*. Что ж, поговорим о чем-нибудь другом... Спасибо, Оуэн, у меня все идет отлично. Мы с Эндрю живем теперь в Нью-Йорке. Я занимаюсь кардиологией... *(Не в силах больше сдерживаться.)* Я писала тебе, но начальник тюрьмы возвратил все письма. Сказал, что я не числюсь в списке тех, с кем разрешена переписка.

Оуэн. Мы не можем быть вместе, Эбби. Ты это знаешь не хуже меня...

Абигайль *(почти сердито)*. Ничего такого я не знаю.

Оуэн. Это совершенно невозможно.

Абигайль *(смеется)*. Ты все тот же. «Совершенно невозможно»... Должно быть возможным... Неужели ты ничему не научился?

Оуэн. Научился многому. Я знаю, в чем мой долг. Человек должен посвятить всю свою жизнь чему-то одному.

Абигайль. А если этот человек — женщина?

Оуэн. Ты нашла свое призвание. Тебе пришлось бы отказаться от него...

Абигайль. Разумеется.

Оуэн. Вот видишь.

Абигайль. Почему же ты сомневаешься во мне?

Оуэн. Я не сомневаюсь в тебе... Я тебя знаю... Не в этом дело... но я не могу расстраивать маму, я и так принес ей немало горя. Опять начались бы ссоры с Джедом, а маму это просто убило бы... Не могу я так поступить.

По лестнице спускается Джед. Он улыбается. Он не слышал разговора, но догадывается, о чем речь. Джед немного пьян и движется неуверенно, хотя и старается сохранить достоинство.

Джед. Вы говорите обо мне. О, я ничего не слышал. Я просто знаю... *(Рассматривает их, с горечью.)* Сердца ваши как на ладони... Кровоточащие сердца! Сомнительное украшение... *(С нарастающим гневом.)* Я знаю, что я стою у вас на пути... Ты думаешь, что сможешь получить Эбби,— ты не получишь ее... Я обращусь в суд... Я поставлю всех на ноги... Энди — мой сын, и вам его не видать... *(Внезапно изменяет тон, словно просит прощения.)* Ты ненавидишь меня, Оуэн, я знаю... Это беда всех фанатиков, таких как ты... *(Увидев улыбку Оуэна.)* Фанатик! Разве ты не видишь, что мы с тобой просто жертвы? Мы — маленькие люди, и горе наше — личное горе. История подшутила над нами обоими. Пока ты сидел в тюрьме, история сыграла кровавую шутку... Сталин... Венгрия... Теперь мы знаем, что социализму нельзя доверять... Никому нельзя доверять... Собственному брату нельзя доверять... *(Волнуясь все больше и больше.)* Единственное, что мне еще дорого,— это Эбби и мальчик. Я потерял их... но я ни за что не допущу, чтобы они стали твоими... Да я скорее убью тебя...

Внезапно останавливается, увидев Марту, которая появилась из глубины гостиной. Она в халате. Идет прямо к Оуэну.

Марта. Оуэн, родной мой мальчик.

Оуэн *(нежно обнимая ее)*. Мама!

Марта. Они все уговаривают меня поспать, но я и так слишком много сплю. Какой смысл в жизни, если только и делаешь, что спишь? *(Повернувшись к Джеду, резко.)* Позови остальных.

Джед *(удивленно)*. Ты бы лучше отдохнула.

Марта *(резко)*. Позови Мэтью и Беттину. Они мне нужны.

Джед уходит. Марта внимательно осматривает Оуэна.

Ты вовсе не такой худой, как я боялась. А кормили вас там ничего?

Оуэн *(вздрогнув)*. В рот не возьмешь.

Марта. Три года... Целых три года прошло.

Входит Мэтью, за ним — Беттина и Боб.

Марта. Роберт!

Боб. Здравствуй, бабушка!

Марта *(обнимая его)*. Когда ты пришел, Роберт?

Боб. Да вот только что.

Джед. Здравствуй, Бобби!

Боб *(пожимая ему руку)*. Привет, Джед.

Марта. Вот мы и снова все вместе.

Мэтью. Не лучше ли тебе пойти прилечь, мама?

Марта. Не хочу я.

Мэтью. Ну, сесть-то ты можешь... *(Ставит перед ней стул.)*

Марта. Лучше я постою. Мне так много надо сказать вам. А где Эндрю?

Абигайль. Он наверху.

Марта. Позовите его. Я хочу, чтобы вы были все вместе.

Абигайль порывается пойти за Эндрю, но Джед останавливает ее.

Джед. Подожди минутку.
Мэтью *(переглядывается с Джедом)*. Зачем беспокоить Эндрю?
Марта. Неужели ты не можешь хоть что-нибудь сделать по-моему даже в день моего рождения?
Мэтью. Твой день завтра.
Марта. А мы справим его сегодня.
Абигайль. Я позову Эндрю.
Мэтью *(матери, заботливо)*. Ты переутомишься.
Марта. Не обращайся со мной так, будто мне миллион лет. Я уж не настолько стара.
Мэтью. Почему бы не подождать до завтра?
Марта. Я во всем слушалась тебя, Мэтью... самого старшего, самого умного. Но теперь ты должен отчитаться передо мной, ты и все остальные.
Мэтью. Отчитаться?
Марта. Чем ты пытался помочь своим братьям?
Мэтью. Ты сама знаешь чем. С тех пор как я подрос и начал работать, я содержал всю семью.
Марта. Что же произошло потом?
Мэтью. Не знаю.
Марта. Странно, не правда ли? Произошло что-то неладное, но мы не знаем, что именно, и вот мы стоим и смотрим друг на друга, и нам страшно... *(С отчаянием.)* Я все время испытываю страх с тех пор, как случился этот ужас с Оуэном... Тюрьма... такой невыносимый позор! Людей сажают в тюрьму за кражу и за убийство.
Оуэн. Тут совсем другое дело, мама.
Марта *(вспыхнув)*. Не смей разговаривать со мной так, будто я слабоумная! Вот так же ты говорил со мной перед тем, как уйти. Такой ты был ласковый, будто жалел меня больше, чем самого себя. Верно, решил, что старухе все равно не понять. А я думаю, все и произошло потому, что ты пошел в тюрьму... Это обратило тебя против твоих братьев, из-за этого Джед стал сам не свой, из-за этого над домом нависла тень... *(С отчаянием.)* Я не могу так жить!
Оуэн. Не знаю, как тебе об этом сказать, мама.
Марта. Все потому, что ты не уважаешь меня, хоть и любишь; если бы ты меня уважал, ты сумел бы рассказать о том, что у тебя на сердце.
Оуэн. Не так-то это просто.
Марта. Но мне надо знать. Вся моя жизнь — это вы, мои сыновья, а вы стали друг другу чужими. У тебя было надежное будущее, но ты отказался от него. Для чего? Чтобы стать отщепенцем?
Оуэн. В этом нет ничего постыдного.
Марта. А вот Мэтью стыдно глядеть в лицо друзьям.
Мэтью. Мне действительно стыдно.
Оуэн. А я горжусь этим больше, чем всем остальным, что сделал в жизни.
Марта. Гордишься тем, что сидел в тюрьме? Как можно гордиться тюрьмой?
Оуэн. Я защищал то, во что верю.

По лестнице спускается Абигайль с Эндрю. Это умный, впечатлительный одиннадцатилетний мальчик.

Джед. Я не хочу, чтобы Эндрю слышал это.
Марта. А что скажет мать?
Абигайль. Я хочу, чтобы он слышал все.
Марта. Тогда пусть слушает. Мать знает, что лучше. *(Поворачивается к Оуэну.)* Ответь мне, Оуэн, во что ты веришь?

Оуэн *(медленно, с трудом)*. Ты нам рассказывала о себе и об отце, о том времени, когда вы были молоды. У тебя было столько надежд, но отец погиб на войне еще до того, как я родился. А ты все продолжала надеяться, но тут началась новая война, еще более страшная, и был ранен Джед. Потом еще война, и Мэт погиб в Корее. Повсюду льется кровь. Наша страна богата, но люди заражены страхом. Я... что ж, я хочу мира.

Джед. Мира все хотят.

Марта *(внезапно поворачиваясь к Джеду)*. А во что веришь ты, Джедедиа?

Джед. Ну, я не верю в то, что достичь мира можно так просто...

Марта. Во что же ты веришь? Я хочу знать правду...

Джед. А что такое правда?

Марта *(гневно)*. Перестань загадывать загадки. Во что ты веришь так, что готов за это пойти в тюрьму или умереть?

Джед. Ни во что.

Марта. Мэтью, а ты?

Мэтью. Я верю в то, за что отдали жизнь мой отец и мой сын. Я старался стать таким, каким, по твоим рассказам, был мой отец. Я хочу сохранить надежды твоей молодости, надежду на эту свободную страну. Они пытаются убить эту надежду: Джед ни во что не верит, Оуэн верит в какую-то утопию. А я хочу, чтобы у меня были те же возможности, какие были у вас с отцом в дни вашей молодости. Вы тогда впервые встретились на пароме, шедшем по Гудзону...

Марта. Я рассказывала вам об этом много раз, но говорила неправду... Я только недавно приехала тогда с Юга, из большого дома с белыми колоннами и голодными ребятишками. Мой отец сражался в армии южан, и его должны были произвести в полковники, хотя ему было только двадцать три года. Он об этом вспоминал всю жизнь, и я всему верила. Мне было девятнадцать лет, когда он умер и я уехала в Нью-Йорк. Времена тогда были очень скверные, девятьсот седьмой год. Со мной рядом на пароме стоял большой сердитый человек. Нью-Йорк в лучах заката казался прямо сказочным, но человек этот грозил кулаками в сторону небоскребов. Он приехал со Среднего Запада в поисках работы. Народ толпился вокруг, над ним смеялись, и он тоже смеялся. Он посмотрел мне в лицо и сказал: вот это — твоя семья, твой народ. А я испугалась, но уйти от него не могла, потому что кругом было так много людей и все смеялись. В тот же день мы и поженились. Он был сильный, а работы для него не оказалось. А он все смеялся и подшучивал над моими страхами, рассказывал мне, что его дед был индейцем. Он стал приводить в дом разных людей и говорить им о том, что бедные люди должны подняться и сбросить, разорвать цепи. Верно, соглашались они, мы закованы в цепи... Они говорили: богачи затеяли войну, но мы можем прекратить ее... Видите, я лгала вам, когда рассказывала о нем... Я любила его, но не верила в то, во что верил он... Он ушел на войну, проклиная ее и ненавидя людей, заставивших его это сделать. Он не хотел идти воевать, он был готов отправиться в тюрьму, но я сама послала его на смерть... Думала, так будет лучше для вас, для двух моих сыновей и для третьего, который только должен был родиться. Так и погиб ваш отец в Аргонских лесах. И тогда я выдумала образ отца, чтобы воспитать вас по его подобию. Но теперь Оуэн заговорил его голосом, и я не могу больше лгать. Я мечтала о таком вот доме, как этот, с зеленой лужайкой, о прекрасном доме, отгороженном от мира, где мы были бы навеки в безопасности... *(Страстно.)* Но безопасности нет. Нет для нас безопасности... Еще не поздно спасти хоть Эндрю... Оуэн, вы с Абигайль должны жить вместе. Тогда вы

сможете помочь Эндрю, дать ему отчий дом, в котором будет царить любовь и мужество... А Роберт... Разве он уже пропустил все сроки? Разве уже поздно?

Она вопрошающе смотрит на Боба. Он отворачивается, сдерживая рыдания.

Марта *(тихо)*. Может быть, еще не слишком поздно для Роберта...

Сцена постепенно погружается в темноту, уже начинает мелькать свет проекционных аппаратов.

Люди — вот что важно... живые люди... те самые, что толпились тогда на пароме... На свете, должно быть, много людей...

11. На киноэкране

Экран заполняют толпы людей всех рас и цветов кожи — шумные процессии и празднества в Москве и Нью-Йорке, Лондоне и Париже, в Каире и Копенгагене. Веселая музыка и звуки песен нарастают до торжествующего крещендо.

12. Перед домом

Оуэн стоит, глядя на экран. Гостиная погружена во мрак. В гостиной Мэтью, Беттина и Джед. Беттина смотрит на обоих мужчин. Джед наполняет стакан. Мэтью сидит усталый и потерянный.

Оуэн *(тихо)*. Народ, в который так верил мой отец!

13. В гостиной

Джед *(поднимая стакан)*. Все это просто психология. Оуэн был любимчиком. Мама всегда была на его стороне. И теперь она ведет себя, как неврастеничка. Поэтому я всю жизнь ненавидел Оуэна и завидовал ему... И всех-то нас гонит, как листья в бурю...

Мэтью *(озлобленно кричит)*. Перестань болтать!

Джед *(примирительно)*. Ладно.

Джед допивает стакан, наливает себе еще. По лестнице спускается Абигайль. Джед приветственно поднимает стакан и улыбается. Абигайль уходит.

Мэт, ты подумал о том, чтобы построить бомбоубежище?

Мэтью. Да, конечно, я непременно построю.

14. Перед домом

На авансцене Абигайль и Оуэн. Абигайль бросается к Оуэну. Они долго стоят, обнявшись. Он разжимает объятия и смотрит на нее.

Оуэн. Пойдем пройдемся немного.

Она кивает. Взявшись за руки, они идут вдоль рампы. Дойдя до середины, она останавливается, и они снова крепко обнимаются.

Оуэн. Шестнадцать лет...

Абигайль. И четыре месяца... и одиннадцать дней... и двадцать два часа.

Оуэн. Ну, этого ты не можешь знать.

Абигайль. Нет, знаю. В то утро ты ушел от меня в два часа, а сейчас полночь.

Оуэн. Хочешь, Эбби, отправиться в долгое путешествие?

Абигайль. Конечно... Куда?

Оуэн. Я хочу найти большую семью моего отца — мой народ.

Абигайль. Это нетрудно. Твой народ — везде и всюду.

Уходят.

СТАНИСЛАВ ЛЕМ

По звездным дорогам

РАССКАЗЫ

ТЕРМИНУС

I

От остановки до ракетодрома было еще довольно далеко, по крайней мере так казалось Пирксу, шедшему с чемоданом. Над белеющими полями стояла предрассветная мгла, по шоссе со свистом проносились грузовики, разрезая серебристые клубы тумана; на поворотах их стоп-сигналы вспыхивали красным светом. Перекладывая чемодан из руки в руку, Пиркс посмотрел вверх. Сквозь низко стелющийся туман просвечивали звезды. Он машинально поискал глазами курсовую для Марса. Серый туман вдруг заколебался. Неправдоподобно зеленый огненный смерч разорвал темноту. Пиркс инстинктивно открыл рот. Раздался грохот, потом налетел горячий вихрь. Земля заходила ходуном. В одно мгновение над равниной взошло зеленое солнце. Снег до самого горизонта засверкал ядовитым блеском, тени от придорожных столбов побежали вперед, а все, что не было ярко-зеленым, сделалось черным, словно обуглилось. Растирая позеленевшие ладони, Пиркс видел, как один из призрачно освещенных стрельчатых минаретов — казалось, по странному капризу зодчего сгрудились они здесь, на дне окруженного взгорьями котлована,— отрывается от земли и, стоя на огненном столбе, начинает постепенно подниматься. А когда грохот усилился настолько, что, казалось, заполнил собой все вокруг, Пиркс, закрыв лицо ладонями, увидел сквозь пальцы далекие шпили, строения, цистерны, окруженные бриллиантовым ореолом. Окна командного пункта пылали, словно за ними бушевал пожар, контуры всех предметов расползлись и задергались в раскаленном воздухе, а виновница всего этого, победно рыча, исчезала в высоте, оставляя внизу огромный черный круг дымящейся земли. Спустя минуту с усеянного звездами неба хлынул теплый, крупный дождь — результат конденсации паров.

Пиркс поднял чемодан и пошел дальше. Взлет ракеты как будто сломил ночь: стало быстро светать, и уже было видно, как во рвах оседает тающий снег, а вся равнина выплывает из облаков тумана.

За сетчатым забором, сверкающим от росы, тянулся защитный бруствер, склоны которого были покрыты дерном. Мертвая, набухшая влагой прошлогодняя трава была плохой опорой для ног, но Пиркс слишком спешил и не стал искать ближайший переход. Он взбежал на бруствер и вдали увидел *ее*.

Она стояла особняком, громадная, как башня, выше других ракет. Таких не строят уже давно. Он обошел разлившиеся на бетоне мелкие

лужицы. Там, дальше, их почти уже не было: вода мгновенно испарилась от термического удара, четырехугольные плиты сухо и звонко, как летом, стучали под каблуками. Чем ближе он подходил, тем выше приходилось задирать голову. Панцирь выглядел так, словно его попеременно то покрывали клеем, то обмазывали глиной и обертывали каким-то тряпьем. Когда-то к вольфрамовой оболочке пробовали добавлять волокна асбестового карбида. После двух-трех торможений в атмосфере обшивка облезала лохмотьями. Обдирать их было бесполезно: все равно в следующий раз повторялось то же самое, ведь сопротивление при старте было колоссальное. А устойчивость и управляемость — хоть сразу в Космический Трибунал.

Он шел не спеша, хотя чемодан уже успел оттянуть ему руку: хотел как следует осмотреть корабль снаружи; ажурная конструкция трапа вырисовывалась на фоне неба. Обшивка ракеты была серая, как камень. Собственно, все еще было серым: раскиданные по бетону пустые ящики, баллоны, листы проржавевшего железа, бухты металлических шлангов. Беспорядочно разбросанные, они свидетельствовали о спешке, с которой производилась погрузка. Не доходя шагов двадцати до трапа, Пиркс поставил чемодан и оглянулся. Похоже, что груз уже на месте; огромная на гусеничном ходу погрузочная платформа была отодвинута, и ее крюки висели в воздухе метрах в двух от корпуса. Он обошел стальную лапу, которой черневший на фоне утреннего неба корабль упирался в бетон, и оказался возле кормы. Под колоссальным грузом лапы бетон осел, и от нее во все стороны разбегались стрелы трещин.

«Заплатят и за это»,— подумал Пиркс о владельцах корабля, вступая в тень, отбрасываемую кормой.

Запрокинув голову, Пиркс остановился под воронкой первой дюзы. Обрез ее, зиявший слишком высоко, чтобы можно было дотянуться до него, толстым слоем покрывала окалина. Пиркс потянул носом воздух. Хотя моторы молчали уже давно, он все-таки различил резкий, характерный запах озона.

— Иди-ка сюда,— проговорил кто-то у него за спиной.

Он обернулся, но никого не увидел, только снова услышал тот же голос, как ему показалось, всего в трех шагах.

— Эй! Тут есть кто-нибудь?! — крикнул Пиркс. Его голос глухо загудел под черным, ощерившимся десятками дюз куполом кормы. Но в ответ — ни звука. Он перешел на другую сторону и увидел копошащихся вдали, метрах в трехстах, людей. Стоя в ряд, они тянули по земле тяжелый шланг для подачи топлива. Больше не было никого. Он с минуту еще прислушивался, наконец снова, на этот раз сверху, долетело до него неясное бормотание. Эффект выхлопных дюз: они действовали как рефлекторы, концентрируя звуки. Он вернулся за чемоданом и направился к трапу.

Занятый своими мыслями — что это были за мысли, Пиркс и сам, пожалуй, не смог бы ответить,— он не заметил, как прошагал ступенька за ступенькой всю лестницу, шесть этажей. Наверху на платформе, окруженной алюминиевыми поручнями, он даже не обернулся, чтобы взглядом проститься с Землей. Это просто не пришло ему в голову. Прежде чем толкнуть дверь люка, он провел пальцем по панцирю. Настоящая терка! Шероховатая обшивка напоминала неровную, изъеденную ветрами скалу.

— Ну, делать нечего... сам того хотел,— пробормотал он.

Дверь люка поддалась с трудом, как будто она была завалена с той стороны камнями. Шлюзовая камера походила на бочку. Он провел пальцами по трубам, растер сухую пыль. Ржавчина.

Протискиваясь через внутренний люк, Пиркс успел заметить, что прокладка герметизации подремонтирована. Вверх и вниз бежали вер-

тикальные колодцы коридоров, освещенные ночными лампами, свет которых казался в отдалении голубой полоской. Где-то шумели вентиляторы, глухо чмокала помпа. Он выпрямился. Все эти палубы и панцирь представлялись ему частью его собственного тела. 19 000 тонн, черт побери!

По дороге в рубку Пиркс никого не встретил. В коридоре повисла тишина, такая глубокая, будто корабль уже был в космической пустоте. Пластиковая обивка, покрывающая стены, была в пятнах; старые шнуры, служившие опорой в состоянии невесомости, тяжело свисали вниз.

Десятки раз перерезанные и сращенные соединения трубопроводов выглядели как обгоревшие картофелины, вынутые из затухающего костра. По пандусам он дошел до шестиугольного помещения. Овальные металлические двери. В каждой стене по двери. Медные ручки, обмотанные веревками.

Окошки нумераторов таращились стеклянными бельмами. Пиркс нажал кнопку информатора. Щелкнуло реле, в металлической коробке что-то зашелестело, но экран остался темным.

«Ну, что теперь? — подумал он.— Бежать жаловаться?»

Пиркс открыл дверь. Рубка походила на тронный зал. В стеклах мертвых экранов, словно в зеркалах, он увидел себя: шляпа, ставшая после дождя совсем бесформенной, чемодан, осеннее пальто. Типичный обыватель. На возвышении стояли вызывающие уважение своими размерами кресла пилотов, раскидистые, с широкими сиденьями в форме глубокой отливки для человеческого тела — в них погружаешься по грудь. Он поставил чемодан на пол и подошел к первому. Тень в кресле казалась сидящим призраком последнего штурмана. Пиркс ударил ногой по спинке — поднялась пыль, в носу засвербило, он начал безудержно чихать и вдруг рассмеялся. Пластиковые покрытия поручней истлели от старости. Калькулятор — таких Пиркс еще не видывал. Их создатель, наверно, был влюблен в церковные органы. Циферблатов на пульте было словно маковок в маке — нужна была сотня глаз, чтобы наблюдать за всеми сразу. Он медленно повернулся. Переводя взгляд со стены на стену, он увидел переплетение залатанных кабелей, изоляционные плиты, железные штурвалы для ручного задраивания герметических переборок, поблекшую краску, покрывающую приборы противопожарной защиты. Все было такое запыленное, такое старое...

Пиркс толкнул амортизаторы кресла. Из гидравликов сразу потекло.

«Другие летали — ну и я смогу»,— подумал он, вернулся в коридор и через противоположную дверь прошел в бортовой коридор.

Рядом с дверью подъемника он заметил на стене темный бугорок. Приложил ладонь — нет, он не ошибся. Пломба после пробоя. Поискал рядом другие следы, но, по-видимому, здесь заменили целую секцию — потолок и стены были гладкими. Он снова взглянул на пломбу. Цемент застыл комками. Ему почудилось, что он различает неясные отпечатки ладоней, работавших в большой спешке. Пиркс сел в подъемник и стал спускаться вниз, к реактору. В окошечке неторопливо проползали цифры: пять... шесть... семь... Счет этажей шел сверху.

Внизу было холодно. Коридор изгибался дугой, разветвлялся; в конце продолговатого низкого тамбура Пиркс разглядел двери камеры реактора. Тут было еще холодней; пар от дыхания белел в тусклом свете запыленных ламп. Пиркс покачал головой. Холодильники? Они, наверно, где-то здесь. Пиркс прислушался. Плиты обшивки дрожали, слегка позвякивая. Под низко нависшим потолком эхо глухо вторило его, Пиркса, шагам, ему все время казалось, что он где-то глубоко, в подземелье. Рычаг герметических дверей никак не хотел поворачиваться. Он нажал сильней — рычаг не дрогнул! Пиркс собирался даже попробовать нада-

вить на рычаг ногой, но потом все-таки разобрался в механизме замка: сначала надо было вытянуть предохранительный шплинт.

За этими дверями были еще одни, двустворчатые, на вертикальной оси, толстые, как дверцы сейфа. Лак на них потрескался. На уровне глаз Пиркс различил остатки красных когда-то букв:

ОП...СНО...ТЬ.

Пиркс оказался в тесном, почти совершенно темном проходе. Когда он поставил на порог ногу, что-то щелкнуло, прямо в лицо ему ударил белый свет, и тотчас вспыхнуло табло с черепом над перекрещивающимися костями.

«Здорово же они тогда боялись!» — подумал Пиркс.

Металлические ступени глухо загудели, когда он сходил в камеру. Он оказался как бы на дне высохшего рва: прямо перед ним высилась выпуклая, в два этажа, серая защитная стена реактора, казавшаяся рябой от небольших зеленовато-желтых бугорков. Пломбы в местах прежних утечек. Пиркс попытался было их пересчитать, но, когда взобрался на помост и увидел всю стену сверху донизу, отказался от своей затеи: в некоторых местах из-под пломб уже не было видно бетона.

Помост, поддерживаемый железными столбиками, был отделен от остальной части камеры колпаком из свинцового стекла, чтобы предохранять от жесткого излучения; но и эта древность атомной техники показалась Пирксу бессмыслицей.

Под небольшим полукруглым козырьком расположились счетчики Гейгера, нацеленные в брюхо котла. В особой нише Пиркс обнаружил вмонтированные циферблаты — все, кроме одного, словно замершие. Реактор был на холостом ходу.

Пиркс спустился вниз и, наклонившись, заглянул в контрольный колодец. Зеркала перископа почернели от излучения. Пожалуй, многовато радиоактивного шлака, ну да Марс — не Юпитер, можно обернуться в десять дней. Похоже, что топлива хватит на несколько таких рейсов. Он привел в действие кадмиевые бленды. Стрелка дрогнула и нехотя передвинулась в другой конец шкалы. Проверил. А, сойдет! Задержка. Ну, такую контролер космического надзора пропустит.

В углу кто-то шевельнулся. Два зеленых огонька. Пиркс уставился на них и вздрогнул: они медленно приближались. Пиркс подошел ближе. Кошка! Черная, худая. Она тихо мяукнула и прижалась к ноге Пиркса. Он улыбнулся и огляделся. Высоко на железной полке увидел несколько клеток. В них копошилось что-то белое. Время от времени между проволочными прутьями поблескивали темные точечки глаз. Белые мыши! Их еще возили иногда на старых кораблях: живые индикаторы радиоактивной утечки. Пиркс наклонился, хотел погладить кошку, но та скользнула у него из-под руки, повернула к самому темному углу камеры, тихо мяукнула, выгнула спину и, осторожно вытягивая лапы, подползла к бетонному откосу, за которым чернело прямоугольное отверстие. Кончик ее напряженно поднятого хвоста дрожал, она продолжала пробираться дальше в полумрак. Кошку уже едва можно было различить. Пиркса это заинтересовало, и он заглянул туда. В покатой стене виднелись полуоткрытые квадратные дверцы, за ними что-то слабо поблескивало. Пирксу показалось сначала, что это бухта металлического троса. Кошка настороженно всматривалась в это светлое пятнышко, хвост ее слегка подрагивал.

— Ну, что еще? Нет там никого,— проворчал Пиркс и, присев на корточки, заглянул в темноту. Там кто-то сидел. Матовые блики играли на согнувшейся фигуре. Кошка, тихо мяукая, направилась к дверцам. Глаза Пиркса привыкли к темноте. Он все отчетливее различал острые поблескивающие колени и охватившие их металлические руки. Только голову скрывала тень.

Кошка замяукала.

Одна рука со скрипом шевельнулась, распрямилась и, коснувшись концами железных пальцев пола, образовала наклонный помост, по которому кошка молниеносно шмыгнула вверх и устроилась на плече сидящего.

— Эй ты,— сказал Пиркс, обращаясь то ли к кошке, то ли к этому созданию, которое медленно, будто преодолевая огромное сопротивление, начало опускать руку. Слова Пиркса как бы парализовали руку, железные пальцы стукнулись о бетон.

— Кто... там... а? — послышался искаженный, словно исходящий из железной трубы голос.— Терминус... говорит... кто?

— Что ты тут делаешь? — спросил Пиркс.

— Тер-минус... тут... я... холод-но... плохо... вижу...— хрипел голос.

— Наблюдаешь за реактором? — спросил Пиркс. Он уже терял надежду узнать что-нибудь от автомата, старого, как и весь корабль, но в присутствии зеленых кошачьих глаз как-то не мог оборвать на половине фразы.

— Терминус... реак-тор,— забубнило в бетонном убежище,— я... реактор... реак-тор,— повторял автомат с каким-то глуповатым самодовольством.

— Встань! — крикнул Пиркс, так как ничего другого не пришло ему в голову.

Послышался лязг, и Пиркс отступил на шаг, видя, как из тьмы вылезают две железные кисти с растопыренными пальцами, выворачиваются наружу, хватаются за притолоку и начинают вытягивать туловище, в котором что-то протяжно хрустнуло. Металлический корпус согнулся, автомат вылез наружу и начал распрямляться, скрежеща и скрипя всеми суставами. На запыленных сочленениях пластин панциря выступили капли масла. Похожий больше на рыцаря в латах, чем на автомат, робот медленно раскачивался из стороны в сторону.

— Здесь твое место, что ли? — спросил Пиркс.

Стеклянные глаза автомата, медленно поворачиваясь в орбитах, разошлись в разные стороны, и это придало его плоскому металлическому лицу выражение совершенной тупости.

— Плом-бы... при-готов-лены... два... шесть... во-семь... фун-тов... плохо... вид-но... холод-но...

Голос доносился не из головы, а из широкой грудной клетки автомата.

Кошка, свернувшаяся в клубок на плече робота, смотрела на Пиркса.

— Плом-бы... гото-вы,— скрипел Терминус, а руки его непрестанно двигались, и эти движения были элементами хорошо знакомой Пирксу операции: расставленными лопаткой ладонями Терминус захватывал что-то из воздуха и бросал это что-то перед собой. Так пломбируют радиоактивные пробои. Оксидированное туловище автомата закачалось сильнее, черная кошка царапнула когтями по железу, но не удержалась и с сердитым урчаньем, скользнув по ноге Пиркса, точно черный шар, скатилась на пол. Автомат словно и не заметил этого. Он умолк, только руки его все еще судорожно подергивались — дрожь эта казалась затухающим немым эхом его слов. Наконец он замер.

Пиркс взглянул на стену реактора, всю в подтеках, покрытую темными пятнами цементных пластырей, окаменевшую от старости, и повернулся к Терминусу. Он, должно быть, очень стар, кто знает, может, даже старше корабля. Правое плечо, видимо, было сменено, на бедрах явные следы сварки, около железных швов металл, раскаленный, а потом остывший на воздухе, стал почти темно-синим.

— Терминус! — крикнул Пиркс роботу совсем так, как обращаются к глухому.— Иди на свое место!

— Слушаю. Тер-минус.

Автомат по-рачьи отступил к открытому убежищу и скрипя стал протискиваться в отверстие. Пиркс оглянулся, ища кошку. Ее нигде не было. Он снова взобрался наверх, задраил герметические двери и поднялся на четвертую палубу, в навигаторскую.

Широкая и низкая, с почерневшей дубовой панелью и выступавшими балками потолка, она напоминала корабельную каюту. Здесь были иллюминаторы в круглых медных рамах. Сквозь стекла проникал дневной свет. Каких-нибудь сорок лет назад такая уж была мода: даже пластиковые покрытия стен имитировали деревянные панели. Пиркс открыл иллюминатор и чуть было не стукнулся головой о глухую стену. Иллюзию дневного освещения создавали скрытые лампы. Он захлопнул окно и отвернулся. Со столов свисали карты неба, бледно-голубые, как моря на географическом атласе; повсюду валялись рулоны использованной кальки, испещренные курсовыми кривыми; чертежная доска под точечным рефлектором вся была исклевана уколами циркулей. В углу письменный стол, перед ним дубовое кресло, укрепленное на шаровом шарнире, дающем возможность устанавливать его в любой плоскости. Сбоку тянулись вделанные в панель рассохшиеся библиотечные шкафы.

Настоящий Ноев ковчег.

Не потому ли агент, уже после того как договор был подписан, сказал: «Вам достался исторический корабль»?

Старый — это еще не исторический!

Пиркс принялся один за другим выдвигать ящики стола и наконец нашел судовой журнал — большой, в лоснящемся кожаном переплете со стершимся тиснением. Пиркс все еще стоял, словно не решался сесть в огромное, «обжитое» другими кресло. Он открыл журнал. На первой странице стояла дата пробного рейса и фотограмма технического акта верфи. Пиркс прикинул: тогда его еще не было на свете. Он поискал последнюю запись — сейчас она была самой важной. Все совпадало с тем, что Пиркс услышал от агента: корабль вот уже неделю загружался машинами и всякой мелочью для Марса. Старт, намеченный на 28, не состоялся. Три дня идут начисления за простой. Вот почему они так спешили! Ведь начисления за простой в земном порту могут разорить даже миллионера.

Он медленно перелистывал страницы, не читая поблекших записей. Взгляд его только скользил по стереотипным выражениям, курсовым данным, результатам вычислений — не задерживаясь ни на чем... Пиркс разыскивал в журнале что-то совсем другое. Из вереницы листов Пиркса привлек один. Вверху:

«Корабль отправлен на верфи Амперс-Харт для ремонта 1 категории».

Дата была трехлетней давности.

Ну и что они там улучшили? Он не отличался чрезмерным любопытством, но все-таки принялся просматривать опись работ, удивляясь все больше и больше: сменили носовой панцирь, шестнадцать палубных секций, шпангоуты крепления реактора, герметические переборки.

Новые переборки и шпангоуты?

Правда, агент что-то говорил о какой-то аварии. Но ведь это была не просто авария, а скорее катастрофа.

Пиркс вернулся к предыдущей странице: может быть, удастся узнать что-нибудь из записей, сделанных еще до ремонта. Прежде всего нашел порт отправления: Марс. Груз — мелочь. Экипаж: первый офицер — инженер Пратт, второй — Вайн, пилоты Поттер и Нолан, механик — Симон.

А командир?

Еще страница — и Пиркс вздрогнул. Дата приемки корабля — девятнадцать лет назад. И подпись: первый навигатор — Момссен.

Момссен?!

Пиркса бросило в жар.

Момссен? Но не тот же это Момссен? Ведь... ведь там... то был другой корабль!

Но дата совпадала: с тех пор прошло девятнадцать лет.

Минутку. Только не надо спешить. Не надо спешить!

Он снова взялся за судовой журнал. Размашистый, четкий почерк. Выцветшие чернила. Первый день полета. Второй, третий. Постоянная течь реактора: 0,4 рентгена в час. Наложили пломбу. Вычисления курса. Ориентация по звездам.

Дальше, дальше!

Пиркс не читал — глаза его стремительно бегали по строчкам записи.

Есть!

Дата, которую он заучивал в школе еще мальчишкой, и под ней:

«В 14.40 по корабельному времени принято метеоритное предостережение Деймоса об идущем с юпитеровой пертурбации Леонид облаке, двигающемся встречным курсом со скоростью 40 километров в секунду через наш сектор. Прием метеоритного предостережения подтвержден. Объявлена тревога. При постоянной течи реактора 0,42 рентгена в час произведен обходной маневр полной тягой с выходом приближенно на дельту Ориона».

Ниже, с новой строки:

«В 16.51 по корабельному времени. На...»

Больше на странице ничего не было. Ничего — ни знаков, ни штрихов, ни пятен. Ничего. Ничего, кроме непомерно удлиненной, не предусмотренной никакими правилами каллиграфии, вертикальной черты последней буквы «а». В немного подрагивавшем хвостике последней буквы, хвостике в несколько миллиметров, которым обрывалась очередная запись, сползая с первой строки на белую равнину листа, было все: грохот столкновений, воющая утечка воздуха, крики людей, у которых лопались глазные яблоки и рвались голосовые связки...

Да, но ведь тот корабль назывался не так. Не так! Но как? Это было похоже на сон. Пиркс никак не мог вспомнить того названия, столь же известного, как название корабля Колумба!

Боже, как же назывался этот корабль — последний корабль Момссена?!

Он бросился в библиотеку. Толстый том справочника Ллойда сам попался под руку. Название, кажется, начиналось на «К». «Космонавт»? Нет. «Кондор»? Нет. Что-то более длинное, какая-то драма, герой или рыцарь...

Он бросил том на письменный стол и, прищурившись, принялся внимательно осматривать стены. Между книжным шкафом и шкафом с картами висели на панели приборы: гигрометр, индикатор излучения, прибор для определения количества углекислого газа...

Он переворачивал их один за другим. Никаких надписей. Они были как новые.

Там, в углу!

На дубовой плите светилось табло радиографа. Таких теперь не делают. Смешные, отлитые из латуни украшения окружали диск... Пиркс быстро вывинтил шурупы, осторожно вытащил их кончиками пальцев, потянул рамку на себя — она оказалась у него в руке — и перевернул металлическую коробочку. На задней стороне на золотистой латуни было выгравировано только одно слово: «КОРИОЛАН».

Это был тот самый корабль.

Он оглядел кабину. Значит, здесь, в этом кресле сидел тогда, в тот последний миг Момссен?

Пиркс открыл справочник Ллойда на букве «К».

«Корсар»... «Корма»... «Кориолан»: «...корабль компании... 19 000 тонн массы покоя... выпущен с верфи... реактор урановo-водяной, система охлаждения, тяга... выведен на линию Терра—Марс. Потерян после столкновения с потоком Леонид. Спустя шестнадцать лет найден патрульным кораблем в афелии орбиты... После ремонта первой категории, проведенного в Амперс-Харт, выведен Южной компанией на линию Терра—Марс... Груз — мелочь... страховой тариф...»

Нет, не то... Есть!.. «...под названием «Голубая звезда».

Пиркс закрыл глаза. Как тихо! Они изменили название. Наверно, чтобы избежать трудностей с вербовкой команды. Вот почему агент...

Он стал припоминать, что об этом говорили на базе. Это их патрульный корабль отыскал остов. Метеоритные предупреждения в те времена всегда приходили слишком поздно. Опубликованный комиссией протокол был лаконичен: «Случайность. Ничьей вины нет». А экипаж? Было доказано, что не все погибли сразу, что среди уцелевших был сам командир, сделавший все, чтобы люди, отрезанные друг от друга секциями смятых палуб, понимавшие, что надежды на спасение нет, не пали духом и держались до последнего баллона кислорода. Там было еще что-то, какая-то странная подробность, о которой несколько недель твердила пресса, пока новая сенсация не предала все забвению. Что же?

Пиркс вспомнил: огромный лекционный зал, доска, исчерченная формулами, у которой весь измазанный мелом погибал Смига, а он — Пиркс,— сгорбившись над выдвинутым ящиком, украдкой читал разложенную там газету. «Кто может пережить смерть? Только мертвый». Ну да! Это было так! Один лишь уцелел в этой катастрофе, тот, кому не нужно было ни кислорода, ни пищи, тот, кто пролежал, придавленный грузом, шестнадцать лет. Автомат!

Пиркс встал. Терминус! Конечно, Терминус! Он тут, на корабле.

Стоит только захотеть, решиться...

Чепуха! Это механический идиот, машина для пломбирования пробоев, глухая и слепая от старости. Только пресса в своем вечном стремлении вытянуть максимум сенсации из любого происшествия, в своих кричащих заголовках превратила его в свидетеля трагедии, которого комиссия должна была якобы выслушать при закрытых дверях. Он припомнил тупой скрежет автомата. Чепуха, чистейшая чепуха!

Пиркс захлопнул судовой журнал, бросил его в ящик и взглянул на часы. Восемь. Надо торопиться. Он отыскал документацию груза. Трюмы задраены. Портовой и санитарный контроль произведены, таможенные акты завизированы, все готово. Он просмотрел товарный сертификат и удивился, что нет полной спецификации. Машины? Хорошо. Но какие машины? Какая тара? Почему нет диаграммы загрузки с вычисленным центром тяжести? Ничего, кроме общего веса и схематического эскиза размещения в трюмах. В кормовом было всего каких-нибудь 300 тонн. Почему? Может, корабль шел на уменьшенной тяге? И о таких вещах он узнает случайно, почти в последний момент?! Пиркс торопливо рылся в папках, ища и не находя нужный ему листок, он перебирал сегрегаторы, разбрасывал бумаги, и история с Момссеном постепенно улетучивалась из памяти, так что, случайно взглянув на вынутый из оправы радиограф, он даже вздрогнул от удивления. Но вот ему попался какой-то список, из которого он узнал, что в последнем трюме, прилегающем дном к защитной плите реактора, уложено сорок восемь ящиков продовольствия. И опять в спецификации он нашел лишь общее определение — «скоропортящиеся продукты питания». Почему же тогда их

поместили там, где вентиляция хуже всего, а температура во время работы двигателей наиболее высокая? Умышленно, чтобы испортились, так, что ли?

Послышался стук.

— Войдите! — бросил он, наугад рассовывая по папкам разбросанные по всему столу бумаги.

Вошли двое. С порога отрапортовали:

— Боман, инженер-нуклеоник.

— Симс, инженер-электрик.

Пиркс встал. Симс — молодой, щуплый человечек с бегающими глазами на беличьем лице, то и дело покашливал. В Бомане Пиркс с первого взгляда признал ветерана. Его лицо покрывал загар с характерным оранжевым оттенком, какой придает коже длительное воздействие небольших, наслаивающихся доз космического облучения. Он едва доходил Пирксу до плеча: во времена, когда тот начинал летать, еще учитывался каждый килограмм веса на борту. Худой, лицо как будто распухло, вокруг глаз темные мешки отеков, как у всех, кто уже не первый год подвергается многократным перегрузкам. Нижняя губа не закрывала зубов.

«Вот и я когда-нибудь буду таким же!» — подумал Пиркс, идя к ним навстречу и протягивая руку.

2

Ад начался в девять. На ракетодроме было нормальное движение: очередь на старте, каждые шесть минут рев мегафонов, предупредительные ракеты; потом гул, грохот двигателей на пробе полной тяги. После каждого старта каскадами опадала высоко взбитая пыль. Она еще не успевала осесть, а с командной вышки сообщали, что открыт путь следующему. Все спешили, стараясь урвать хотя бы несколько минут, как это обычно бывает в грузовом порту в часы пик: почти все корабли шли на Марс, отчаянно требовавший машин и зелени; люди месяцами не видели овощей, гидропонические солярии еще только строились.

К очередным ракетам тем временем тянулись тягачи, подвозившие бетономешалки, элементы конструкций, кипы стекловаты, цистерны с цементом, нефтью, тюки с лекарствами. По сигналу люди укрывались, кто где мог: в защитных рвах, в бронированных тягачах, и тут же — бетон не успевал еще как следует остыть — возвращались к работе. В десять, когда солнце, все в красной дымке, словно опухшее, поднялось над горизонтом, защитные бетонные стенки между стартовыми площадками уже были изрыты, закопчены, разъедены огнем. Глубокие трещины сразу же заливали быстро схватывающимся цементом, бившим грязными фонтанами из шлангов; экипажи антирадиационных команд — все в большеголовых скафандрах — выскакивали из транспортеров. Повсюду под рев сирен метались раскрашенные красно-черными клетками вездеходы контроля. На башне командного пункта кто-то драл глотку в мегафон, на вершинах острых шпилей крутились огромные бумеранги радаров, одним словом, все было так, как должно было быть.

Пиркс разрывался на части. Надо было еще принять на палубу доставленное в последний момент свежее мясо, загрузить питьевую воду, проверить температуру холодильников (минимальная составляла минус пять, контролер космического надзора покачал головой, но смилостивился и подписал); компрессоры, только что вышедшие из капитального ремонта, при первой же пробе потекли. Голос Пиркса постепенно начал звучать, как иерихонская труба. Вдруг выяснилось, что вода размещена плохо: какой-то кретин закрыл вентили, прежде чем заполнились нижние

баки. Пиркс подписывал бумаги — ему подсовывали по пять штук сразу,— не зная, что он подписывает. На часах было одиннадцать, до старта час, а тогда...

Командный пункт не разрешит взлета, так как старая система дюз дает слишком опасные радиоактивные осадки. У корабля должна быть специальная бороводородная тяга, как у «Гиганта» — той самой грузовой ракеты, которая стартовала в шесть. Пиркс, уже охрипший от крика, сразу успокоился.

Диспетчер отдает себе отчет в том, что он говорит? Он что, только сейчас заметил «Голубую звезду»? Могут быть большие неприятности? В чем дело? Дополнительное ограждение? Из чего? Мешки с песком? Сколько? Ничего себе — три тысячи штук! Пожалуйста! Он все равно стартует в назначенное время. Компания будет оштрафована? Пожалуйста, штрафуйте!

Пиркс вспотел. Все будто сговорились, и все шло кувырком: электрик выговаривал механику, не проверившему аварийной системы; второй пилот выскочил куда-то на пять минут, и его нет до сих пор — прощается с невестой; фельдшер где-то растворился; сорок бронированных мамонтов заехало под корабль, окружило его, и люди в черных комбинезонах лихорадочно укладывают мешки с песком, подгоняемые сумасшедшей пляской семафора на командной вышке. Пришла какая-то радиограмма. Вместо пилота ее принял электрик, забыл записать в радиожурнал, да это и не его дело. У Пиркса уже кружилась голова, он только притворялся, будто знает, что делать. Двадцатиминутная готовность, Пиркс принял драматическое решение: приказал перекачать воду из носовых резервуаров на корму. Будь что будет, самое худшее — вода закипит; зато устойчивость лучше.

В одиннадцать сорок проверка двигателей. Теперь отступать уже некуда. Оказалось, что есть стоящие люди. Особенно ему пришелся по вкусу инженер Боман. Его не было ни видно, ни слышно, а все шло как по часам: продувка дюз, малая тяга, полная. За шесть минут перед стартом, когда командная вышка выкинула сигнал «К старту», они были готовы. Все уже лежали в креслах, как вдруг объявился фельдшер. Второй пилот, Мулат, возвратился от невесты в унылом настроении. Динамик хрипел, скрипел, наконец указатель автомата накрыл ноль — путь открыт. Старт!

Пиркс, разумеется, знал, что 19 000 тонн — это не патрульная скорлупка, где хватает места, только чтобы широко улыбаться; корабль не блоха, сам не подскочит, надо усиливать тягу — но ничего подобного он не ожидал. На циферблате уже половина мощности, весь корпус дрожит, словно собирается разлететься на куски, а приборы показывают, что они еще не оторвались от бетона. У Пиркса уже мелькнула мысль, что «Звезда», может быть, за что-то зацепилась (такие вещи случались раз в сто лет), но в этот момент стрелка сдвинулась. Огненный столб поднял «Звезду», она гудела, стрелка гравиметра как сумасшедшая плясала по шкале. Пиркс, облегченно вздохнув, опустился на подушки, расслабил мускулы. Теперь, даже если бы он и захотел, ничего сделать было уже нельзя. Ракета пошла вверх. Тут же они получили предупреждение за старт на полной мощности — это увеличивает радиоактивное заражение. Компания будет дополнительно оштрафована. Компания? Очень хорошо, пусть платит, черт ее побери! Пиркс только поморщился, он даже и не пытался спорить с командным пунктом, доказывать ему, что, мол, стартовали они на половинной. А может, сесть, вызвать комиссию и потребовать протокольного распечатывания записи в уранографах?

Но сейчас Пиркса занимало совсем другое: они пробивали атмосферу. Пиркс в жизни не видел корабля, который бы так вибрировал. Так, наверно, чувствовали бы себя люди в головке средневекового

тарана, пробивающего стену. Все плясало, их мотало в ремнях, и казалось, вот-вот вытрясет из них душу. Гравиметр никак не мог решиться: показывал то 3,8, то 4,9; коварно подбирался к пятерке и, словно испугавшись, тут же слетал на тройку. Они шли уже на полной мощности. Пирксу приходилось обеими руками прижимать шлем к голове, иначе не было слышно голоса пилота в шлемофоне — так рычала «Звезда»! Это не был победный гром. Ее борьба с земным притяжением напоминала полную отчаяния агонию. Добрых две минуты казалось, что они не стартуют с Земли, а висят неподвижно, всей силой отдачи отталкивая от себя планету,— так ощутимо было полное муки усилие «Звезды»! Все как будто расплылось от вибрации. Пирксу показалось, что он слышит треск лопающихся швов, но это уже была чушь: в таком аду не удалось бы услышать даже гласа труб, призывающих на страшный суд.

Температура оболочки носа — 0, это был единственный показатель, который не кокетничал, не отступал, не скакал и не задерживался, он спокойно лез вверх, словно перед ним на шкале было по меньшей мере еще с метр места, а не две последние, красные цифры: 2500, 2800. Когда Пиркс взглянул на циферблат, в запасе оставались всего две черточки. А «Звезда» не достигла даже орбитальной скорости; все, что они набрали к четырнадцатой минуте полета,— это 6,6 километра в секунду! Ему вдруг пришла в голову дикая мысль — такие кошмары иногда навещают пилотов,— что «Звезда» вообще не оторвалась от Земли, а мелькающие на экранах облака — всего-навсего пар, вырывающийся из трещин охладительных труб!

Но в общем было не так уж плохо: они летели! Фельдшер лежал бледный как полотно. Пиркс подумал, что от его медицинских познаний им, пожалуй, не будет никакого проку. Инженеры держались хорошо, а Боман даже не вспотел — он лежал с закрытыми глазами, седой, спокойный, худенький, как мальчишка. Из-под кресла, из амортизаторов во все стороны летели брызги — поршни дошли почти до упора. Пиркса разбирало любопытство — а что, если и вправду дойдут?

Пиркс привык к совершенно другому, современному расположению циферблатов, и потому взгляд его все время попадал не туда, когда он хотел проконтролировать тягу, охлаждение, скорость, состояние оболочки, ну и, прежде всего, вышли ли они на синергичную.

Пилот как будто немного растерялся: то выходил на курс, то сходил с него; колебания, разумеется, небольшие, случайные, но при прохождении атмосферы достаточно только, чтобы один борт начал греться больше другого. Тогда в обшивке возникают колоссальные термические напряжения, последствия их могут быть плачевными. Пиркс тешил себя надеждой, что если уж косматая посудина выдержала столько стартов, то выдержит и этот.

Указатель термопары действительно дошел до конца шкалы: 3500 градусов, тютелька в тютельку. Столько же было и за бортом, и если так пойдет дальше, оболочка начнет расползаться. Карбиды тоже не вечны. Какова толщина обшивки? Никаких определенных данных на этот счет; во всяком случае, она порядком обгорела. Пирксу стало жарко, хотя температура не увеличилась: как и при старте, термометр в кабине показывал двадцать семь. Прошли уже шестьдесят километров, атмосфера практически осталась внизу, скорость 7,4 километра в секунду. Шли немного ровней, но все еще на утроенной нагрузке. «Звезда» летела, словно свинцовая болванка. Никакими средствами ее невозможно было разогнать по-человечески даже в пустоте. Почему? Пиркс этого не мог понять.

Спустя полчаса они уже лежали на курсе Арбитра — только за этим последним из пеленгирующих спутников им предстояло выйти на эллипс Земля—Марс. Они выпрямились в креслах. Боман массировал

лицо. Пиркс чувствовал, что и у него немного распухли губы, особенно нижняя.

Реактор работал как-то с ленцой. Правда, тяга не уменьшилась, но и не возросла; в пустоте она, собственно, должна бы увеличиться, но почему-то не хотела. Даже законы физики, казалось, для «Звезды» не так уж обязательны. Ускорение было почти нормальным земным, скорость 11 километров в секунду. Им еще предстоял разгон до курьерской скорости, иначе пришлось бы тащиться до Марса месяцами. Пока они шли прямо на Арбитра.

Пиркс, как и каждый навигатор, не ждал от него ничего, кроме неприятностей: какое-нибудь замечание вроде того, что у корабля слишком длинный, не предусмотренный инструкцией выхлоп или что ионизационные разряды в дюзах мешают радиоприему, или предупреждение, что у него отнимают первенство, чтобы пропустить какой-то более важный корабль. Но на этот раз — ничего. Арбитр пропустил их сразу и еще послал радиограмму-пожелание: «Высокой пустоты». Пиркс ответил, и на этом обмен космическими любезностями прекратился.

Легли на курс. Пиркс приказал увеличить тягу, ускорение возросло, уже можно было двигаться, размяться, встать. Радиотехник, который был одновременно и поваром, пошел в камбуз. Всем хотелось есть, особенно Пирксу, у которого с утра еще ничего не было во рту. В рубке только теперь стала повышаться температура — раскаленная обшивка давала знать о себе с запозданием. Пахло маслом, которое вытекло из гидравликов и разлилось лужицами вокруг кресел.

Боман спустился к реактору проверить, нет ли нейтронных пробоев. Пиркс тем временем, наблюдая за звездами, разговаривал с электриком. Оказалось, что у них есть общие знакомые. У Пиркса впервые с того момента, как он ступил на палубу, немного полегчало на душе. Какая бы она ни была эта «Звезда», а 19 000 тонн — это не фунт изюму. Да и вести такой гроб гораздо труднее, чем обычную грузовую ракету, а стало быть, и чести больше, и знания накапливаются.

В полутора миллионах километров за Арбитром — первая неприятность: пообедать так и не удалось. Радиотехник все испортил. Больше всех ругался фельдшер. Оказалось, что у него больной желудок. Перед самым стартом он купил несколько кур, одну отдал радиотехнику, а теперь в бульоне — полно перьев. Остальным достались бифштексы — с ними можно было провозиться до конца рейса.

— Закаленные они, что ли? — пробурчал второй пилот и с размаху попытался всадить вилку в бифштекс, но мясо выскочило из тарелки.

Радиотехник был необидчив. Посоветовал фельдшеру процедить бульон. Пиркс чувствовал, что он должен бы выступить посредником, но не знал, как это сделать. Ему было смешно.

Пообедав консервами, он вернулся в рубку, приказал пилоту провести контрольное фиксирование звезд и, вписав в судовой журнал показания гравиметров, взглянул на указатели реактора. И только присвистнул. Не реактор, а вулкан: 800 градусов через четыре часа полета. Охлаждающая жидкость циркулировала под давлением двадцать атмосфер. Пиркс задумался. Самое худшее как будто позади. Посадка на Марсе не проблема — притяжение наполовину меньше, атмосфера разреженная. Ничего, сядем. А вот с реактором надо что-то делать. Он подошел к калькулятору и подсчитал, как долго еще надо идти на той же тяге, чтобы набрать курьерскую скорость. При скорости меньше 80 километров они могут серьезно опоздать.

— Еще семьдесят восемь часов,— ответил калькулятор.

Семьдесят восемь *таких* часов разорвут реактор. Он лопнет, как яйцо. В этом Пиркс не сомневался. Он решил, что надо набирать скорость рывками, понемногу. Правда, это несколько усложнит курс, к тому

же временами придется лететь без тяги, значит, без гравитации, а это не так уж приятно. Впрочем, другого выхода не было. Он приказал пилоту не сводить глаз с астрокомпаса, а сам спустился вниз, к реактору. Идя полутемными коридорами через грузовые трюмы, он услышал приглушенный лязг, как будто по железным плитам двигался танковый отряд: Пиркс ускорил шаги. Вдруг под ногами у него пронеслась черная кошка, и тут же где-то рядом хлопнула дверь. Когда он добрался до освещенного грязными лампами главного коридора, все уже утихло. Впереди пусто чернели стены, и только в глубине какая-то лампочка еще вздрагивала от недавнего сотрясения.

— Терминус! — крикнул он наугад. Пирксу ответило только эхо. Он повернулся и боковым коридорчиком добрался до тамбура реактора. Бомана, спустившегося сюда раньше, уже не было. В воронках вентиляторов бушевал горячий ветер, здесь шумело и гудело, как в паровой котельной. Реактор, как и любой реактор, работал беззвучно — выли работавшие с предельной нагрузкой агрегаты охлаждения. Километры замурованных в бетон труб, по которым бежала ледяная жидкость, как-то странно подвывали, будто жаловались на что-то. Стрелки помп, словно равняясь друг на дружку, склонились, как одна, вправо. Среди циферблатов белел главный циферблат жесткости потока нейтронов. Стрелка почти касалась красной черты — картина, которая у любого инспектора Космического надзора могла бы вызвать разрыв сердца.

Бугристая от цементных пломб, похожая на скалу бетонная стена полыхала мертвым жаром, листы помоста мелко вибрировали, передавая всему телу неприятную дрожь. Свет ламп отражался в мигающих дисках вентиляторов. Одна из белых сигнальных ламп заморгала, потом погасла, и в этом месте загорелся красный сигнал. Пиркс поднялся на помост, где находились выключатели, но Боман уже опередил его: часовой автомат был установлен на разрыв цепной реакции через четыре часа. Пиркс не тронул его, только проверил счетчики Гейгера. Они спокойно потрескивали. Индикатор показывал небольшую утечку — 0,3 рентгена в час. Пиркс заглянул в темный угол камеры. Пусто.

— Терминус! — крикнул он.— Эй! Терминус!

Ответа не было. В клетках беспокойно метались белые пятнышки — мыши: видно, они плохо себя чувствовали в этой тропической жаре. Пиркс поднялся наверх, запер за собой дверь. В холодном коридоре его начало знобить — рубашка была мокрой от пота. Сам не зная зачем, Пиркс побрел по темным, ведущим к корме коридорам. Наконец путь ему преградила глухая стена. Он прикоснулся к ней ладонью. Стена была теплой. Пиркс вздохнул и пошел обратно, поднялся на четвертую палубу в навигаторскую. Он принялся за вычисление курса. Когда покончил с этим, часы показывали девять. Пиркс удивился, он и не заметил, как летело время. Потушил свет и вышел. Садясь в подъемник, Пиркс почувствовал, что пол мягко уходит из-под ног: автомат в соответствии с программой выключил реактор.

В слабо освещенном ночными лампами коридоре центральной части корабля мерно шумели вентиляторы. Искры далеких лампочек дрожали в пересекающихся потоках поздуха. Пиркс легко оттолкнулся от двери подъемника и поплыл вперед. В боковом отсеке коридора было еще темней. В голубоватом сумраке он проплывал мимо дверей кают, в которые до сих пор так и не удосужился заглянуть. Выходы резервных люков, обозначенные рубиновыми лампочками, открывали свои темные пасти. Он плыл под выгнутыми потолками, распластавшись над своей огромной тенью. Наконец через приоткрытые двери он попал в огромную каюткомпанию. Под ним вокруг длинного стола в полосе света стояли кресла. Он висел над столом, сервированным на несколько человек, словно водолаз, исследующий трюмы затонувшего корабля. В слабо поблески-

вающих стеклах у стены затанцевали отражения ламп, рассыпались голубыми светлячками и погасли. Дальше было другое, еще более темное помещение. Тут даже привыкшие к мраку глаза Пиркса отказали. Кончиками пальцев он дотронулся до эластичной поверхности, так и не сообразив, потолок это или пол. Легко оттолкнулся, развернулся, как пловец, и двинулся в тишине дальше. В бархатной тьме мерцали, светясь собственным светом, продолговатые, расставленные в ряд предметы. Он почувствовал холод гладкой поверхности. Умывальники. Один из них весь в черных пятнах. Кровь? Пиркс осторожно протянул руку. Тавот.

Еще одна дверь. Пиркс, повиснув в воздухе, открыл ее. В сером полумраке перед ним в прозрачном хороводе проплыли, шелестя, какие-то бумаги, книги. Он снова оттолкнулся, на этот раз ногами, и, окруженный клубами пыли, которая, вместо того чтобы осесть, тянулась вслед за ним рыжим шлейфом, вынырнул через открытую дверь в коридор.

Ниточка ночных огней горела не мигая. Казалось, голубая вода залила палубы. Он подплыл к висящему под потолком шнуру. Петли, когда он выпускал их из рук, медленно извивались, словно разбуженные прикосновением.

Пиркс насторожился. Где-то неподалеку послышался стук. Кто-то бил молотом по металлу. Пиркс поплыл на этот звук, то нараставший, то гаснувший, пока наконец не заметил уложенных на полу заржавевших рельсов, по которым когда-то двигались в главные трюмы грузовые платформы. Теперь он летел быстро, разрезая лицом воздух. Звук становился все громче. Вдруг Пиркс заметил под потолком трубу, выходящую из поперечного коридора. Старый дюймовый трубопровод. Пиркс дотронулся до него. Труба дрожала. Удары соединялись в группы, по два, по три. Неожиданно он понял. Морзянка!

— Внимание...

Три удара.

— Внимание...

— Внимание...

Три удара.

— ...я — з-а — п-е-р-е-б-о-р-к-о-й,— гудела труба. Буквы лепились одна к другой.

— ...л-е-д — в-е-з-д-е...

Лед? Он сначала не понял. Какой лед? Что это значит? Кто...

— ...к-о-н-т-е-й-н-е-р — л-о-п-н-у-л,— отозвалась труба.

Пиркс держал ладонь на трубе. Кто передает? Откуда? Он попытался сообразить, как идет трубопровод. Это был недействовавший аварийный отвод, он шел с кормы, его ответвления были на всех горизонтах. Кто это там упражняется? Что за выдумки? Пилот?

— ...п-р-а-т-т — о-т-з-о-в-и-с-ь — п-р-а-т-т...

Пауза.

Пиркс затаил дыхание. Это имя поразило его, как удар. Какое-то мгновенье он, вытаращив глаза, всматривался в трубу, потом бросился вперед. «Это тот, второй пилот»,— подумал он, добрался до поворота, оттолкнулся и, набирая скорость, полетел в рубку, а труба над ним звенела:

— ...в-а-й-н — э-т-о — с-и-м-о-н...

Звуки удалялись. Он потерял трубу из виду,— она сворачивала в поперечный коридор. Пиркс стремительно оттолкнулся от стены и сквозь облако пыли попытался рассмотреть согнутый обрубок трубы, завернутой ржавой заглушкой. Труба кончалась тут. В рубку она не ведет. Значит... значит, это с кормы? Но там... никого нет...

— ...п-р-а-т-т — в — ш-е-с-т-о-м — п-о-с-л-е-д-н-и-й...— звенела труба.

Пиркс, словно летучая мышь, висел под потолком, вцепившись со-

гнутыми пальцами в трубу. Кровь стучала в висках. После короткой паузы послышались удары:

— ...в — б-а-л-л-о-н-е — о-с-т-а-л-о-с-ь — т-р-и-д-ц-а-т-ь — д-о — н-у-л-я...

Три удара.

— ...м-о-м-с-с-е-н — о-т-з-о-в-и-с-ь — м-о-м-с-с-е-н...

Пауза.

Пиркс огляделся. Было совершенно тихо, только заслонка вентилятора за поворотом хлопала в порывах ветра, и выдуваемый оттуда мусор тянулся вверх, отбрасывая над лампами тени на потолок. Можно было подумать, что там носились десятки ночных бабочек. Неожиданно послышались быстрые удары:

— ...п-р-а-т-т — п-р-а-т-т — п-р-а-т-т — м-о-м-с-с-е-н — н-е — о-т-в-е-ч-а-е-т — в — с-е-д-ь-м-о-м — е-с-т-ь — к-и-с-л-о-р-о-д — м-о-ж-е-ш-ь — л-и — п-р-о-й-т-и — п-р-и-е-м...

Пауза. Свет ламп был все тот же, мусор и пыль медленно кружили. Пиркс хотел отпустить трубу, но не решался. Ждал. Она загудела:

— ...с-и-м-о-н — м-о-м-с-с-е-н-у — п-р-а-т-т—в—ш-е-с-т-о-м — з-а — п-е-р-е-б-о-р-к-о-й — п-о-с-л-е-д-н-и-й — б-а-л-л-о-н — м-о-м-с-с-е-н — о-т-з-о-в-и-с-ь — м-о-м-с-с-е-н...

Последний тяжелый удар. Труба долго вибрировала. Пауза. Потом несколько непонятных ударов и быстрая дробь:

— ...с-л-а-б-о — д-о-х-о-д-и-т — с-л-а-б-о — д-о-х-о-д-и-т...

Тишина.

— ...п-р-а-т-т — о-т-з-о-в-и-с-ь — п-р-а-т-т — п-р-и-е-м...

Труба дрогнула. Словно откуда-то совсем издалека доходили отрывистые удары.

Три точки, три тире, три точки. SOS. Каждый следующий удар был слабее. Еще два тире. И еще одно. И протяжный замирающий звук, словно кто-то скреб по трубе. Это можно было услышать только в такой абсолютной тишине.

Пиркс оттолкнулся и головой вперед полетел вдоль трубы, сворачивая, когда сворачивала она, поднимался, опускался, рассекая головой воздух. Открытый ход. Пандус. Сужающиеся коридоры. Одни, вторые, третьи ворота грузовых отсеков. Стало темней. Он вел пальцами по трубе, чтобы не потерять ее. Черная, слежавшаяся пыль обдирала ладони, палубы уже остались позади, здесь не было ни пола, ни потолка, этот отсек отделял внешний панцирь от трюмов; между траверсами темнели распухшие тела резервных баков, сверху пробивались пыльные полосы света. Он посмотрел вверх и увидел за черной рамкой входа две цепочки ламп, красных от пыли, тянувшейся за ним длинным облаком, как дым невидимого пожара. Воздух был тут затхлый, душный, пахло перегретым железом. Пиркс продвигался среди слабых теней металлических конструкций, а труба протяжно звенела:

— ...п-р-а-т-т — о-т-з-о-в-и-с-ь — п-р-а-т-т...

Трубопровод разветвлялся. Пиркс зажал руками оба отростка, чтобы определить, откуда идет звук, но так и не разобрал этого. Наугад свернул влево. Какой-то вход. Сужающийся, черный туннель. Вдалеке — круг света. Пиркс выскочил из туннеля. Тамбур реакторной.

— ...э-т-о — в-а-й-н — п-р-а-т-т — н-е — о-т-в-е-ч-а-е-т... — звенела труба, когда он открывал первые двери. В лицо ударил горячий воздух. Пиркс поднялся на помост. Выли компрессоры. Теплый ветер растрепал ему волосы. Отсюда он видел бетонную стену реактора, светились циферблаты, красными каплями дрожали огоньки сигналов.

— ...с-и-м-о-н — в-а-й-н-у — с-л-ы-ш-у — м-о-м-с-с-е-н-а — о-н — н-а-д-о — м н о й,— гудела труба тут, рядом с ним. Она выходила из стены, изгибаясь дугой, сбегала вниз, соединяясь там с главным трубопроводом.

Перед развилкой раскорячившись стоял Терминус, движения его рук были так стремительны, что казалось, он борется с каким-то невидимым противником. Полными горстями он хватал цементное тесто, расплющивал его косыми хлопками, поправлял, моделировал и переходил к следующему отрезку — тогда наступала тишина. Пиркс вслушивался в ритм его работы. Ходящие, как шатуны, руки выбивали:

— ...м-о-м-с-с-е-н — б-р-о-с-ь — ш-л-а-н-г — п-р-а-т-т — т-е-р-я-е-т — к-и-с-л-о-р-о-д.

Терминус застыл с поднятыми руками. Его квадратная голова двигалась вправо и влево: он проверял следующее соединение. Наклонился. Набрал сложенной совком ладонью цемент. Замахнулся. Руки входили в ритм. Труба зазвенела от ударов:

— ...н-е — о-т-в-е-ч-а-е-т — н-е — о-т-в-е-ч-а-е-т...

Пиркс перевесил ноги через перила и плавно спустился вниз.

— Терминус! — крикнул он, еще не успев коснуться пола.

— Слушаю,— тотчас ответил автомат. Его левый глаз повернулся к человеку, правый продолжал ходить в орбите, следя за руками, которые облепляли трубу цементом, выбивая:

— ...п-р-а-т-т — о-т-з-о-в-и-сь — п-р-а-т-т — п-р-и-е-м...

— Терминус! Что ты делаешь? — крикнул Пиркс.

— Утеч-ка. Четыре деся-тых рентгена в час. Плом-би-рую,— глухим басом ответил автомат, а его руки отбивали: — ...э-т-о — в-а-й-н — м-о-м-с-с-е-н — о-т-з-о-в-и-с-ь — м-о-м-с-с-е-н...

— Терминус! — снова крикнул Пиркс, глядя то на металлическое лицо с направленным на него левым глазом, то на мелькание железных ладоней.

— Слушаю,— так же бесстрастно повторил автомат.

— Что... передаешь морзянкой?

— Плом-би-рую утечку,— ответил низкий голос.

— с-и-м-о-н — в-а-й-н-у — и — п-о-т-т-е-р-у — у — п-р-а-т-т-а — н-о-л-ь — м-о-м-с-с-е-н — н-е — о-т-в-е-ч-а-е-т,— гудело железо под его мелькающими руками. Тяжелое цементное тесто расплющивалось, стекало, руки подхватывали его, пришлепывали, прижимали к овальной поверхности. На какой-то момент его поднятые вверх руки застыли, потом автомат наклонился, набрал новую порцию цемента, посыпалась лавина бурных ударов:

— ...м-о-м-с-с-е-н — м-о-м-с-с-е-н — м-о-м-с-с-е-н — о-т-з-о-в-и-с-ь — м-о-м-с-с-е-н — м-о-м-с-с-е-н — м-о-м-с-с-е-н — м-о-м-с-с-е-н...

Ритм ускорялся, весь трубопровод трясся и гудел под градом ударов. Это было похоже на бесконечный крик.

— Терминус! Перестань! — Пиркс бросился вперед и схватил автомат за мокрые от масла локти. Пальцы скользнули по металлу. Терминус замер, напрягшись. Было слышно только протяжное чавканье помп за бетонной стеной.

Прямо перед Пирксом стоял железный человек, весь забрызганный маслом, которое стекало по его ногам-трубам. Пиркс отступил.

— Терминус...— проговорил он тихо,— что ты...— и осекся.

Железные ладони с лязгом сомкнулись. Терлись друг о друга, собирая остатки присохшего цемента, которые вместо того, чтобы упасть, затанцевали в воздухе, поплыли в разные стороны, как круги дыма.

— Что ты... делал? — спросил Пиркс.

— Плом-би-рую утечку. Четыре десятых рент-гена в час. Можно про-дол-жать?

— Ты выстукивал морзянкой. Что передавал?

— Мор-зянкой,— точно тем же тоном повторил автомат и добавил: — Не понимаю. Можно мне плом-биро-вать дальше?

— Можно,— буркнул Пиркс, глядя на огромные, медленно распрямляющиеся руки.— Да, можно...

Пиркс ждал. Терминус его уже не видел. Он набрал левой рукой цемент и молниеносным движением бросил на стену. Укрепил, расплющил, разгладил: три удара. Теперь правая рука поспешила к левой, и труба загудела:

— п-р-а-т-т — л-е-ж-и-т — в — ш-е-с-т-о-м...

— м-о-м-с-с-е-н...

— о-т-з-о-в-и-с-ь — м-о-м-с-с-е-н...

— Где Пратт?! — дико крикнул Пиркс.

Терминус, железные руки которого мелькали в свете ламп, тотчас ответил:

— Не знаю.

Одновременно он выстукивал с такой скоростью, что Пиркс едва успел разобрать:

— ...п-р-а-т-т — н-е — о-т-в-е-ч-а-е-т...

И тут случилось что-то странное. На серию, отбиваемую правой рукой, наложилась другая, гораздо более слабая, ее выстукивали пальцы левой. Сигналы перемешались, и в течение нескольких секунд трубопровод дрожал от ударов, которые перебивали друг друга:

— х-о-л-о-д-н-о — в — к-о-л-о-д-ц-е — н-е — м-о-г-у — у-ж...

— Терминус...— одними губами прошептал Пиркс, отступая к металлическим ступеням. Автомат не услышал. Его туловище, лоснящееся от масла, дрожало в такт движениям рук. Даже не слушая, по одним только движениям рук автомата Пиркс прочел:

— ...м-о-м-с-с-е-н — о-т-з-о-в-и-с-ь...

3

Пиркс лежал на спине. Тьма роилась блестками, мелькавшими в его глазах.

Пратт шел в глубь корабля. Так? У него кончился кислород. Те двое не могли ничем помочь. А Момссен? Почему он не отвечал? Может, был уже мертв? Нет, Симон его слышал. Он был где-то близко, за стеной. За стеной? Тогда в помещении Момссена должен был быть воздух. Иначе тот ничего бы не слышал. Что слышал? Шаги? Почему они его вызывали? Почему он не отвечал?

Разбитые на точки и тире голоса агонии. Терминус. Как это произошло? Его нашли под обломками на дне камеры. Наверно, в том месте, где трубопровод выходил наружу. Заваленный грудой обломков, он мог слышать стук. Долго ли? Запасы кислорода были большие. Могло хватить на месяцы. Пищи тоже. Значит, он лежал там, под обломками. Так. Но ведь тяжести не было. Что мешало ему двигаться? Пожалуй, холод. Автоматы не могут двигаться при очень низкой температуре. Масло застывает в суставах. Гидравлическая жидкость замерзает и разрывает проводящие трубки. Остается только металлический мозг. Он мог слышать и фиксировать сигналы; слабеющие, они осели в электронных сетях его памяти, словно это было вчера. А сам он об этом не знает? Как это может быть? Не знает, что они, эти сигналы, обусловливают ритм его работы? Может быть, врет? Нет, автоматы не врут! Значит...

Усталость одолевала Пиркса. Может, не надо было всего этого слушать? В этом было что-то непорядочное, как будто он подглядывал за чьей-то агонией, боясь при этом пропустить хоть малейшую подробность. Следить за ее развитием, чтобы потом анализировать каждый

сигнал, каждую мольбу о кислороде, каждый крик. Этого нельзя делать, если не можешь помочь.

Он уже был в том состоянии, когда человек не понимает собственных мыслей, но все еще беззвучно повторял одними только губами, словно возражая кому-то:

— Нет. Нет. Нет.

Потом не было ничего.

■

Очнулся Пиркс в полной темноте. Хотел сесть, но пристегнутое ремнями одеяло не пустило его. Он на ощупь расправился с ремнями, зажег свет. Двигатели работали. Набросил халат. Несколько раз присел, оценивая ускорение. Тело весило побольше ста килограммов. Полтора «g»? Ракета меняла курс, он явственно ощущал вибрацию; шкафы в стенах протяжно скрипели, все неукрепленные предметы, одежда, ботинки медленно перемещались в сторону кормы, словно объединенные каким-то одним, тайным намерением.

Пиркс подошел к шкафчику интеркомма, открыл дверцу. Внутри стоял аппарат, напоминающий старинный телефон.

— Рубка! — крикнул Пиркс в микрофон и даже поморщился — таким резким показался ему собственный голос. Болела голова.— Говорит первый. Что там?

— Поправка курса, капитан,— ответил далекий голос пилота.— Немного снесло.

— Сколько?

— Ше... семь секунд.

— Как реактор? — неторопливо спросил он.

— Шестьсот двадцать в кожухе.

— А в трюмах?

— Бортовые по пятьдесят два, килевые — сорок семь, кормовые — двадцать девять и пятьдесят пять.

— Какое там было отклонение, Мунро? Сколько, вы сказали?

— Семь секунд.

— Допустим,— проворчал Пиркс и бросил трубку. Пилот, разумеется, его обманул. Семисекундная поправка не требовала таких ускорений. Отклонение от курса он оценивал в несколько градусов.

Дьявольски греются эти трюмы. Что в кормовом? Продукты? Он сел за письменный стол.

«Голубая звезда» Терра — Марс Владельцу корабля Реактор греет груз тчк нет спецификации груза на корме тчк навигатор Пиркс конец».

Он еще писал, когда двигатели смолкли, сила тяжести исчезла, и, нажав на карандаш, Пиркс вдруг взлетел в воздух, нетерпеливо оттолкнулся от потолка, сел в кресло и еще раз перечитал радиограмму. После небольшого раздумья он разорвал листок и сунул клочки в ящик.

Сонливость прошла совершенно, осталась только головная боль. Одеваться не хотелось: в невесомости это было сложной процедурой, сводившейся к серии неуверенных скачков и возни с отдельными частями туалета, так что Пиркс, как был в халате поверх пижамы, вышел из каюты.

Обшивка была в жалком состоянии, но голубизна ночного освещения сглаживала неприятное впечатление. В четырех нишах зияли чернотой выходы мерно дышавших вентиляционных каналов, валявшийся повсюду мусор стягивало к ним, словно ил, увлекаемый подводным течением.

Бесконечная тишина заполняла весь корабль. Вслушиваясь в нее, почти не двигаясь, повиснув перед своей огромной тенью, которая как-то

косо лежала на стене, Пиркс прикрыл глаза. Случалось, что люди засыпали в таком положении, а это было небезопасно: любой запуск двигателей для маневра мог швырнуть беззащитное тело на пол или потолок. Он не слышал уже вентиляторов. Ему казалось, что эту ночную тишину корабля он мог бы отличить от любой другой. На Земле ощущаются какие-то границы тишины, ее недолговечность, краткость; среди лунных гор человек нес с собой собственное свое маленькое молчание, запертое в скафандре, который усиливал каждый скрип ремней, каждый хруст суставов, пульс, даже дыхание. Только корабль ночью терялся в черном, ледяном безмолвии.

Пиркс поднес часы к глазам. Скоро три. «Если так пойдет и дальше — подохну». Он оттолкнулся от выпуклой переборки и, словно гасящая скорость птица, раскинув руки, спланировал на порог каюты. Издалека, как будто из железного подземелья, до него долетел едва слышный звук:

— Банг-банг-банг.

Три удара.

Чертыхнувшись, он захлопнул дверь, снял халат и, не глядя, оттолкнул его от себя: халат надулся и медленно, словно уродливый призрак, поплыл вверх. Пиркс погасил свет, лег, накрыл голову подушкой.

— Идиот! Проклятый железный идиот! — повторял Пиркс, до боли зажмурившись и дрожа от самому себе непонятной ярости. Но усталость быстро взяла верх: он не заметил, как снова уснул.

Пиркс открыл глаза около семи. Еще в полусне поднял руку. Она не упала. Тяжести не было. Он оделся и вышел. Направляясь в рубку, невольно прислушался. Тихо. Перед дверями он задержался.

На матовых стеклах лежали зеленоватые двойные отблески радарных экранов. Внутри царил полумрак. Пилот полулежал в кресле. Монотонная мелодия какой-то земной музыки перебивалась космическими помехами. Пиркс сел позади пилота: ему не хотелось даже проверять записей гравиметра.

— Когда разгон?

Пилот был догадлив.

— В восемь. Но если хотите искупаться, капитан, могу дать сейчас. Разницы никакой.

— Э, нет. Пусть уж будет порядок,— буркнул Пиркс. Наступило молчание, только динамик выводил свой однообразный мотив.

Пиркса опять стало клонить ко сну. Он несколько раз спохватывался, потом снова погружался в дрему, из тьмы выползали большие, зеленые кошачьи глаза, Пиркс щурился и видел перед собой светящиеся циферблаты. Так Пиркс балансировал на грани яви и сна, когда динамик захрипел и произнес:

— Говорит Деймос. Семь тридцать. Передаем еженедельную метеоритную сводку для внутренней зоны. Под влиянием гравитационного поля Марса в потоке Драконид, уже покинувшем сферу Пояса, возникло краевое завихрение. На десятый день оно будет проходить через секторы 83, 84 и 87. Метеоритная станция Марса оценивает размеры облака в 400 тысяч кубических километров. В связи с этим секторы 83, 84 и 87 объявляются закрытыми для навигации до особого сообщения. Передаем состав облака, полученный нами непосредственно с баллистического зонда Фобоса. По последним данным, облако состоит из метеоритов класса X, XY и Z.

— Хорошо, что это нас не касается,— заметил пилот.

— Сколько мы делаем? — спросил, вставая, Пиркс.

— Больше пятидесяти.

— Да? Неплохо,— буркнул Пиркс, проверил курс, записи ураноградов, величину утечки — она держалась на одном уровне — и пошел в

кают-компанию. Там сидели два инженера. Пиркс ждал, заикнется ли кто-нибудь о ночных стуках, но разговор все время вертелся вокруг тиража лотереи, которого дожидался Симс. Он рассказывал о коллегах и знакомых, которым посчастливилось выиграть.

■

Поев, Пиркс направился в навигаторскую, чтобы вычертить отрезок пройденного пути. Вскоре он воткнул циркуль в доску, вытащил из ящика судовой журнал, начал уточнять состав последнего экипажа «Кориолана».

Офицеры Вайн и Пратт, пилоты Нолан и Поттер, механик Симон... Пиркс сосредоточенно вглядывался в размашистый почерк командира. Потом он бросил журнал в ящик, закончил накладку и, захватив рулон, отправился в рубку. Он рассчитал время прибытия на Марс. На обратном пути заглянул через дверное стекло в кают-компанию. Инженеры играли в шахматы, фельдшер сидел у телевизора с электрогрелкой на животе. Пиркс заперся в кабине и просмотрел радиограммы, взятые у пилота. Он даже не заметил, как его сморил сон. Пиркс дремал, и ему несколько раз привиделось, будто двигатели начинают тянуть, и каждый раз он силился проснуться. Но не просыпался, а лишь видел во сне, как встает, идет в рубку, находит ее пустой и в поисках кого-нибудь из команды начинает плутать по лабиринту черных как ночь кормовых коридоров. Очнулся Пиркс за столом, весь в поту, злой, так как предчувствовал, какая у него будет ночь после стольких часов дневного сна. Когда под вечер пилот включил двигатели, он воспользовался этим и принял горячую ванну. Освежившись, пошел в буфет, выпил приготовленный радиотехником кофе и по телефону спросил вахтенного о температуре реактора. Она приближалась к тысяче градусов, но как-то не могла перевалить за критическую. Около десяти его вызвала рубка. Пролетали мимо какого-то корабля, который вызывал их, спрашивая, нет ли у них врача. Пиркс, узнав, что речь идет об остром приступе аппендицита, решил не предлагать своего медика, тем более что за ними в каких-нибудь трех миллионах километров шел большой пассажирский корабль, выразивший готовность застопорить ход и выслать врача.

■

Так прошел день. Неторопливо, без происшествий. В одиннадцать белый свет на всех горизонтах, за исключением рубки и камеры реактора, сменился тлением голубых ночных ламп. В кают-компании чуть ли не до полуночи горела лампочка над шахматной доской. Там сидел Симс и играл сам с собой. Пиркс пошел еще проверить температуру в донных трюмах и по дороге наткнулся на возвращавшегося от реактора Бомана. Инженер считал, что дело идет неплохо. Утечка не возрастает, охлаждение работает совершенно нормально.

Инженер попрощался и оставил Пиркса в пустом, холодном коридоре. Слабая струя воздуха тянула вверх остатки пропыленной паутины, окружавшей вентиляционные окна. Пиркс долго ходил по высоким коридорам от трюма к трюму. Двигатели смолкли за несколько минут до полуночи. С разных концов корабля до него долетели резкие и приглушенные, удаляющиеся и слабеющие звуки. Это неукрепленные предметы, продолжая двигаться с ускорением, ударялись о стены, потолки, полы. Эхо от этих ударов на какое-то время, казалось, оживило корабль, еще мгновение оно сотрясало воздух, потом снова наступила тишина, которую еще больше подчеркивал мерный шум вентиляторов.

Пиркс вспомнил, что ящик в столе навигаторской покоробился, и в

поисках стамески спустился по длинному, узкому, как кишка, коридору, бежавшему между трюмом левого борта и кабельным туннелем, на склад — наверно, самое пыльное место на корабле. Вдобавок пыль от его движений взлетала к потолку и не оседала, так что, наглотавшись ее, он на ощупь едва добрался до выхода. Пиркс был уже почти в самом центре корабля, когда в коридоре раздались шаги. Тяжести не было, идти мог только автомат. Действительно, долетавшие звуки сопровождались лязгом притягиваемых к полу магнитных присосов. Пиркс подождал, пока в проходе появится черный на фоне далеких ламп силуэт. Терминус шел, неуверенно раскачиваясь и широко размахивая руками.

— Эй, Терминус! — крикнул Пиркс, выходя из тени.

— Слушаю.

Тяжелая фигура остановилась, корпус по инерции наклонился вперед, качнулся и медленно вернулся в вертикальное положение.

— Что ты тут делаешь?

— Мыши,— ответил откуда-то изнутри голос, и можно было подумать, что в железном панцире спрятался охрипший карлик. — Мыши спят неспокойно. Просы-паются. Бегают. Хотят пить. Если хотят пить, им надо дать воды. Мыши много пьют, когда высокая температура.

— А ты что тут делаешь? — спросил Пиркс.

Автомат качнулся.

— Высокая тем-пера-ту-ра. Хожу. Всегда хожу, когда высокая тем-пера-ту-ра. Воду мышам. Если выпьют и уснут — хорошо. Часто случались ошибки из-за высокой тем-пера-ту-ры. Наблюдаю. Выхожу, возвра-щаюсь к реактору. Воду мышам...

— Несешь воду мышам? — спросил Пиркс.

— Да. Тер-минус.

— А где вода?

Автомат еще дважды повторил «высокая температура» и так же, как это сделал бы человек, если бы он прятался в железном панцире, в недоумении стал быстро и как-то беспомощно подносить руки к глазам, объективы которых задвигались в оправах, по очереди поворачивавшихся к ладоням. Потом Терминус проговорил:

— Нет воды, Тер-минус.

— Ну, а где же она? — настаивал Пиркс, рассматривая в упор робота, который издал несколько нечленораздельных звуков и неожиданно изрек басом:

— За-был.

Пиркс растерялся, так беспомощно это прозвучало. С минуту, наверно, он рассматривал слегка покачивающийся железный корпус.

— Забыл, да? Иди к реактору. Возвращайся, слышишь?

— Слушаю.— Терминус заскрежетал, сделал разворот на месте и стал удаляться тем же, слишком тяжелым, очень похожим на старческий, шагом. На одном из последних поворотов он споткнулся, тяжело взмахнул руками, восстановил равновесие и исчез в боковом проходе. Еще какое-то время слышалось эхо его шагов. Пиркс хотел было вернуться к себе, потом раздумал и, бесшумно плывя над полом, добрался до шестого вентиляционного. Передвижение внутри колодцев было запрещено даже при включенных двигателях, но он пренебрег запретом. Сильно оттолкнулся от ограждения и за десять секунд преодолел высоту в семь этажей, которые отделяли главную часть корабля от кормы. В камеру реактора Пиркс не вошел. В стене, примерно посередине, виднелся длинный засов. Он подплыл к нему, открыл узкие дверцы. За дверцами было впрессованное в сталь прямоугольное оконце из свинцового стекла, образующее заднюю стенку клеток с мышами. Благодаря этому можно было наблюдать за ними, не входя в камеру.

За стеклом он увидел грязные, пустые донышки клеток.

Дальше за проволочными сетками, в глубине камеры поблескивал в свете лампы влажный от воды корпус робота. Автомат почти горизонтально висел в воздухе, лениво двигая руками. По всему его телу ползали белые мыши, в углублениях членистого живота робота капля по капле собиралась вода, мыши слизывали ее, подскакивали, взлетали в воздух, а Терминус ловил их. Картина была настолько необычной, что Пиркс чуть не рассмеялся. Терминус тем временем засовывал пойманных мышей в клетку, его металлическое лицо приблизилось к лицу Пиркса, но робот, по-видимому, не заметил его. Еще две-три мышки летали по воздуху, Терминус поймал и их, запер клетку и исчез из поля зрения Пиркса, только его гигантская крестообразная тень, словно зацепившись за муфту главного трубопровода, легла на бетон реактора.

Пиркс тихо закрыл дверцу, вернулся в каюту, разделся, лег, но уснуть никак не мог. Он принялся за записки астронавигатора Ирвинга. Глаза у Пиркса жгло, словно в них попал песок, голова отяжелела, но спать ему совсем не хотелось. Он с тоской подумал о том, что до утра еще далеко, и, накинув халат, вышел.

На пересечении главного коридора с бортовым из вентиляционного отверстия до него донеслись звуки шагов. Он приложил ухо к решетке. Звук, измененный эхом железного колодца, шел снизу. Пиркс оттолкнулся от решетки, мгновение плыл ногами вперед, а потом по ближайшему вентиляционному проходу добрался до кормы. Прислушался. Автомат возвращался. Пиркс поджидал его под самым потолком высокого в этом месте коридора. В глубине коридора заскрежетали подошвы. Звук прекратился. Пиркс уже начинал терять терпение, когда шаги возобновились, из прохода вынырнула длинная тень, и вслед за ней показался автомат. Он прошел под Пирксом так близко, что было слышно биение его гидравлического сердца. Терминус сделал еще несколько шагов, остановился и издал протяжное шипение. Будто кланяясь железным стенам, он нагнулся вправо, влево, затем двинулся дальше. У темного входа в боковой коридор робот снова остановился. Заглянул туда. Протяжное шипение повторилось. Пиркс, едва касаясь пальцами потолка, поплыл вслед за грузной фигурой.

— Кссс, кссс...— слышал он все отчетливее.

Терминус остановился перед очередным вентиляционным колодцем и попытался просунуть голову сквозь решетку. Это ему не удалось. Он зашипел, медленно распрямился и заковылял дальше. Пирксу это надоело.

— Терминус!

Автомат, как раз в это время наклонявшийся, застыл в полупоклоне.

— Слушаю.

— Что ты опять тут делаешь?

Пиркс всматривался в плоскую маску автомата, хотя она и не была лицом и, стало быть, не могла ничего выражать.

— Ищу...— ответил Терминус.— Ищу кошку.

— Что?!

Терминус начал медленно выпрямляться. Он вытягивался вверх, руки его беспомощно свисали, словно он забыл о них. Суставы слабо поскрипывали.

— Ищу кошку,— повторил он.

— Зачем?!

Терминус секунду стоял молча, напоминая железную статую.

— Не знаю,— ответил он тихо, и Пиркс смутился.

Тускло освещенный, с проржавевшими рельсами грузового пути коридор выглядел как штольня заброшенной шахты.

— Довольно,— сказал наконец Пиркс.— Возвращайся к реактору и не выходи оттуда. Слышишь?!

— Слушаю.

Терминус повернулся и ушел. Пиркс остался один. Поток воздуха сносил его, висевшего между полом и потолком, миллиметр за миллиметром к открытой пасти вентилятора. Он оттолкнулся от потолка и стены, свернул к подъемнику и помчался вверх, минуя по дороге черные отверстия колодцев, из которых, словно тиканье огромных часов, доносились слабеющие шаги удаляющегося автомата.

4

Пять следующих дней Пиркса занимала только математика. При каждом новом включении реактор грелся все больше, а отдача его уменьшалась. Боман предполагал, что нейтронные отражатели доживают свой век. Это подтверждала и медленно, но неуклонно возраставшая утечка. Пиркс проделывал головоломные расчеты, стараясь найти эффективное соотношение времени тяги и охлаждения. Когда реактор простаивал, Пиркс перебрасывал охлаждающую жидкость с бортовых трюмов в кормовые, где стояла настоящая тропическая жара. Это бесконечное лавирование требовало терпения — Пиркс часами просиживал у калькулятора и вслепую искал наилучшего решения. В результате они прошли сорок три миллиона километров с ничтожным опозданием. На пятый день полета, наперекор пессимистическим предсказаниям Бомана, они развили требуемую скорость. Выключая реактор, который должен был теперь остывать до самой посадки, Пиркс облегченно вздохнул. За все время полета первый навигатор почти не видел звезд. Собственно, он ими и не интересовался, ему с лихвой хватало курсовых кривых.

Поздним вечером последних суток пути он вспомнил о трюмах. До сих пор он так и не заглянул туда!

Пиркс вышел из кают-компании, где Симс ежедневно играл в шахматы с Боманом, и спустился на корму. После той встречи он не слышал Терминуса. Правда, Пиркс заметил, что кошка бесследно исчезла, словно ее вообще никогда и не было на корабле.

В слабо освещенных центральных помещениях корабля с тихим шелестом циркулировали воздушные потоки. Когда Пиркс открыл дверь, в зале зажглись лампочки, покрытые толстым слоем пыли. Он обошел весь трюм. Среди ящиков, заполнявших трюм почти до самого потолка, оставался узкий проход. Пиркс проверил натяжение закрепленных в полу стальных лент, которыми была стянута каждая такая пирамида; он забыл закрыть за собой дверь, и оживший сквозняк начал высасывать из темных углов кучи мусора, пакли, которые еле заметно покачивались в воздухе, как рябь на воде.

Пиркс был уже в коридоре, когда услышал медленные, мерные удары:

— Внимание!

Три удара.

Минуту он дрейфовал в потоке воздуха, который поднимал его все выше. Хочешь, не хочешь — приходилось слушать.

Переговаривались двое. Один часто сбивался, словно забывал азбуку Морзе. Сигналы были слабыми, как будто эти двое берегли силы. Иногда они подолгу молчали, иногда начинали выстукивать одновременно. Черный коридор с редкими лампами, казалось, был бесконечен, и откуда-то из этой бездонной бесконечности все дул и дул ветер.

— ...с-и-м-о-н — с-л-ы-ш-и-ш-ь — е-г-о,— медленно, неровно стучало в трубе.

— ...н-е — с-л-ы-ш-у — н-е — с-л-ы-ш-у...

Пиркс в бешенстве оттолкнулся от стены и, сжавшись, подогнув ноги, камнем полетел по сумрачно освещенному коридору. Слой пыли вокруг ламп становился все плотнее, и Пиркс понял, что корма уже недалеко. Тяжелые двери реакторной были приоткрыты. Пиркс заглянул туда.

В камере было холодно. Компрессоры, остановленные на ночь, молчали. Иногда только что-то булькало в укрытом толщей бетона трубопроводе, и это странное бульканье напоминало человеческий голос. Видимо, пузыри воздуха пробивали себе дорогу сквозь густеющую жидкость. Терминус, забрызганный цементом, работал. Над его мерно двигающейся головой монотонно гудел вентилятор. Пиркс, не прикасаясь к ступеням лестницы, спустился вниз.

Железные руки автомата слабо позвякивали. Только что положенный цемент приглушал их удары.

— ...н-е — с-л-ы-ш-у — п-р-и-е-м...

То ли случайно, то ли потому, что приказ о замедлении ударов исходил из того же источника, который посылал знаки азбуки Морзе, труба звенела все слабей. Пиркс стоял рядом с автоматом. Членистые сегменты его живота, заходившие один за другой, когда он наклонялся, напоминали брюшко насекомого. В стеклянных глазах дрожали миниатюрные отражения ламп. Уставившись в эти глаза, Пиркс вдруг почувствовал, что он совсем один в этой пустой камере с отвесными стенами. Терминус не знал, что делает. Он был машиной, передающей закрепленные в памяти серии звуков. Ничем больше. Удары слабели.

— ...с-и-м-о-н — о-т-з-о-в-и-с-ь, — с трудом разбирал Пиркс.

Ритм распадался. Пиркс притронулся к трубе в каком-нибудь полуметре от согнувшегося робота. Костяшки его пальцев стукнули по металлу. Передававшаяся в это время серия ударов моментально оборвалась. Пронзенный мгновенной мыслью, Пиркс, не успев осознать, насколько дико его желание вклиниться в разговор давно ушедших лет, начал быстро выбивать:

— ...п-о-ч-е-м-у — м-о-м-с-с-е-н — н-е — о-т-в-е-ч-а-е-т — п-р-и-е-м.

Почти одновременно с первым его ударом по трубе стукнул и Терминус. Звуки слились. Рука автомата замерла, словно услышав его, а когда он кончил, принялась забивать цемент в щель соединения. Труба зазвенела:

— ...у — н-е-г-о — к-о-н-ч-а...

Пауза. Терминус нагнулся, чтобы зачерпнуть цементного теста. Может быть, это было началом ответа? Пиркс, затаив дыхание, ждал. Автомат, выпрямившись, быстро трамбовал цемент, и в трубе послышались быстрые удары:

— ...с-и-м-о-н — э-т-о — т-ы...

— ...г-о-в-о-р-и-т — с-и-м-о-н — э-т-о — н-е — я — к-т-о — г-о-в-о-р-и-т — к-т-о — г-о-в-о-р-и-т...

Пиркс втянул голову в плечи. Удары сыпались как град:

— к-т-о — г-о-в-о-р-и-т — о-т-з-о-в-и-с-ь — к-т-о — г-о-в-о-р-и-т — к-т-о — г-о-в-о-р-и-т — э-т-о — с-и-м-о-н — э-т-о — в-а-й-н — к-т-о — г-о-в-о-р-и-т — о-т-з-о-в-и-с-ь...

— Терминус!!! — рявкнул Пиркс.— Перестань! Перестань!!!

Гул прекратился. Терминус выпрямился, но его плечи, руки подергивались, весь его корпус била железная лихорадка, и Пиркс прочитал эту спазматическую морзянку:

— ...к-т-о — г-о-в-о-р-и-т — к-т-о — к-т-о...

— Перестань!!! — крикнул он еще раз.

Он смотрел на автомат сбоку — тяжелые плечи вздрагивали, и блики света, отражавшегося от панциря, повторяли:

— ...к-т-о — к-т-о...

Словно опустошенный бурей, прошедшей сквозь него, автомат замер. Выпрямляясь, он с грохотом стукнулся о горизонтальное ответвление трубопровода и повис, будто за что-то зацепившись. Пиркс увидел, что рука Терминуса еле заметно подергивается.

— ...к-т-о...

Пиркс и сам не знал, как оказался в коридоре. Вентиляторы шумели. Пиркс плыл навстречу идущему с верхних горизонтов холодному ночному воздуху. Огни ламп слепящими кругами перекатывались по его лицу.

Двери каюты были приоткрыты. На столе горела лампа, отбрасывая на пол узкие полоски света. Потолок тонул во мраке.

Кто же это был? Кто так звал его? Симон? Вайн? Но ведь их не было! Они погибли девятнадцать лет назад.

Так кто же это все-таки был? Терминус? Но он только залатывал трубопровод. Пиркс хорошо знал, что услышит, если попытается расспрашивать его: болтовню о рентгенах, утечках и пломбах. Терминус даже не знает, что его руки работают в каком-то призрачном ритме.

Одно ясно: эта запись — если это запись — не мертва. Кем бы ни были те люди, те голоса, те удары — с ними можно говорить. Если набраться мужества.

Он оттолкнулся от потолка и подплыл к противоположной стене. К черту! Ему хотелось ходить, ходить быстрыми шагами, чувствовать свой вес, ударить изо всей силы кулаком по столу. Это состояние, при котором предметы и собственное тело превращаются в нематериальные тени, было похоже на кошмар. Все, к чему он прикасался, отодвигалось, отплывало, неустойчивое, лишенное опоры, становилось пустотой, фикцией, сном...

Сном?

Постой, постой! Когда мне кто-то снится и я задаю ему вопрос, то не знаю ответа, пока он не слетит с его губ. А ведь этого снящегося человека не существует за пределами моего мозга, он лишь только какая-то обособленная его часть. И каждый раздваивается так почти ежедневно, вернее, еженощно, давая начало мимолетным, возникающим в мозгу одного человека псевдоиндивидуальностям. Это могут быть существа вымышленные или взятые из жизни. Разве не снятся нам иногда мертвые? Разве не разговариваем мы с ними?

Мертвые.

Неужели Терминус?..

Бессознательно кружа по каюте, проплывая от одной стены к другой, отталкиваясь от твердых поверхностей, Пиркс добрался до дверей и ухватился за них. Ему был виден темный отрезок коридора с падающей во тьму полосой света.

Вернуться туда?

Вернуться... и спрашивать?

Это какое-то физическое явление, более сложное, чем обычная запись: автомат — это ведь не прибор для фиксирования звуков. В нем возникла запись, имеющая определенную автономию, изменяемость. Запись, которой — хоть это и звучит странно — можно задавать вопросы и узнать... все! Узнать судьбы Симона, Нолана, Поттера и это непонятное, пугающее молчание командира.

Разве можно вообразить себе какое-нибудь другое объяснение?

Пожалуй, нет.

Пиркс был уверен в этом и все же не двинулся с места, словно ждал чего-то. В конце концов все это лишь движение токов внутри железной банки. Никого не осталось в живых, ни одного существа, все погибли во тьме разбитого корабля. Конечно же, ничего!

Выстукивать перед стеклянными глазами Терминуса вопросы? Но *они,* вместо того чтобы по порядку рассказывать свою историю, начнут звать его, просить кислорода, молить о спасении! Что ответить? Что ответить? Что они не существуют? Что они только «псевдоиндивидуальности», призраки, изолированные островки электронного мозга, его бред? Что их страх — это только имитация страха, а их агония, повторяющаяся каждую ночь, стоит не больше, чем заигранная пластинка?

Он еще помнил вызванный своим вопросом поток ударов и тот крик, которым, полные изумления и неожиданно разбуженной надежды, они призывали его; он помнил повторявшуюся без конца настойчивую, лихорадочную мольбу: «Отзовись! Кто говорит? Отзовись!»

Он еще слышал, еще чувствовал на кончиках пальцев отчаяние и неистовство этих ударов.

Не существуют? А кто его вызывал, кто просил, требовал помощи? И что из того, если специалисты скажут, что за этими криками нет ничего, кроме циркуляции зарядов и колебаний возбужденных резонансом пластин?

Пиркс сел за стол. Выдвинул ящик. Раздраженно придавил с шелестом вздыбившиеся бумаги, достал ту, которую искал, разложил перед собой и старательно разгладил, чтобы она не взлетела от малейшего дуновения. Одну за другой он стал заполнять рубрики:

«Модель: *AST — PM — 105/0044.*
Тип: *Универсальный ремонтный*
Название: *Терминус.*
Род повреждения: *Распад функций.*
Выводы: *...»*

Пиркс задумался. Несколько раз он нерешительно подносил перо к бумаге. Он размышлял о невиновности машин, которых человек наделил способностью мышления и тем самым превратил в соучастников своего безумия. В том, что легенда о Големе, машине, взбунтовавшейся и восставшей против человека,— ложь, выдуманная для того, чтобы помочь тем, кто несет за все ответственность, сбросить ее с себя.

«Выводы: *Сдать на слом».*

Лицо его оставалось совершенно спокойным, когда он решительно подписался в самом низу страницы:

«Первый навигатор Пиркс».

Перевод с польского Е. ВАЙСБРОТА

СТИРАЛЬНАЯ ТРАГЕДИЯ

Из воспоминаний Иона Тихого

Вскоре после моего возвращения из одиннадцатого звездного путешествия газеты стали уделять все больше внимания конкурентной борьбе двух крупных фирм, производивших стиральные машины,— Наддлегга и Снодграсса.

Пожалуй, Наддлегг первым выбросил на рынок стиральные машины, настолько автоматизированные, что они сами отделяли белое белье от цветного, а выстирав и выжав, угюжили его, штопали, подрубали и помечали красиво вышитыми монограммами владельца, на полотенцах же вышивали поучительные, вселяющие оптимизм сентенции вроде «Кто

рано встает, тому робот подает» и т. п. В ответ на это Снодграсс выбросил в торговую сеть стиральные машины, которые сами слагали и вышивали четверостишия — в зависимости от культурного уровня и эстетических запросов клиента. Следующая модель стиральной машины Наддлегга вышивала уже сонеты. Снодграсс ответил стиральными машинами, поддерживавшими беседу в кругу семьи во время перерывов в телевизионных передачах. Наддлегг попытался торпедировать конкурента — все, безусловно, помнят его газетные вкладки, занимавшие целую страницу, с изображением издевательски усмехающейся лупоглазой стиральной машины и со словами: «Разве ты хочешь, чтобы твоя прачка была умнее тебя? Разумеется, нет!!!» Однако Снодграсс, полностью игнорируя эту попытку апелляции к низменным инстинктам потребителя, в следующем же квартале предложил стиральную машину, которая, стирая, выжимая, намыливая, оттирая, полоща, утюжа, штопая, занимаясь вязкой на спицах и беседуя, в то же время делала за детей школьные уроки, составляла экономические гороскопы для главы семьи и по собственному почину производила анализ снов по Фрейду, немедленно ликвидируя комплексы вплоть до комплекса пожирания стариков и отцеубийства. Тогда Наддлегг, впав в отчаянье, выбросил на рынок «Супербарда», стиральную машину-рифмоплет, обладавшую чарующим альтом, которая декламировала, пела колыбельные, сажала на горшок младенцев, заговаривала бородавки и отпускала изысканные комплименты дамам. Снодграсс парировал этот ход стиральной машиной — лектором под девизом «Твоя стиральная машина сделает из тебя Эйнштейна!»; однако, вопреки ожиданиям, эта модель расходилась плохо, оборот к концу квартала упал на 35 процентов, поэтому, когда экономическая разведка донесла, что Наддлегг подготавливает танцующую стиральную машину, Снодграсс, перед лицом надвигающейся катастрофы, решился на шаг, совершивший подлинный переворот. Купив за 350 000 долларов соответствующие права и согласие заинтересованных лиц, он сконструировал стиральную машину для холостяков, наделенную формами знаменитой сексбомбы Лиан Карворс, платиновой блондинки, и другую — подобие Фирли Мак Фейн, брюнетку. Оборот тут же подпрыгнул на 87 процентов. Тогда противник обратился в конгресс, воззвал к общественному мнению, к Лиге дщерей революции, а также к Лиге девиц и матрон, однако Снодграсс продолжал непрерывно поставлять в магазины стиральные машины обоих полов, все более пикантные и вводящие в искушение. Наддлегг капитулировал и начал производить стиральные машины по индивидуальным заказам, придавая им по вкусу клиента фигуру, масть, упитанность и портретное сходство с фотографией, приложенной к заказу.

В то время как два гиганта стиральной промышленности, не пренебрегая никакими средствами, боролись друг с другом, их продукция начала проявлять неожиданные и явно отрицательные наклонности. Прачки-няньки не были еще самым большим злом, однако секспрачки, с которыми прожигала жизнь золотая молодежь, которые склоняли к грехопадению, подрывали моральные устои, учили детей непристойным словам, стали уже педагогической проблемой. Что уж говорить о стиральных машинах, с которыми можно было изменить жене или мужу! Удержавшиеся еще на рынке фабриканты стиральных средств и механизмов тщетно доказывали в публичных выступлениях, что стиральные машины — Лиан или Фирли — представляют собой профанацию высоких идеалов автоматизированной стирки, которая должна консолидировать семью и поддерживать прочность супружеских уз,— ибо они могут вместить не более дюжины носовых платков или одну наволочку, остальную же часть их нутра занимают агрегаты, не имеющие ничего общего со стиркой, скорее совсем наоборот. Эти воззвания не

принесли ни малейшего результата. Культ пикантных стиральных машин, нараставший с быстротой лавины, даже заставил значительную часть общества отвернуться от телевизоров. Но это было только начало. Наделенные полной самопроизвольностью действий, стиральные машины объединялись тайком и предавались темным махинациям. Целые их шайки связывались с преступным миром, уходили в гангстерское подполье и доставляли своим владельцам ужаснейшие неприятности. Конгресс признал, что пора попытаться законодательным путем упорядочить хаос свободной конкуренции, однако, прежде чем прения дали ожидаемый результат, рынок был наводнен отжималками, перед формами которых не мог устоять никто, гениальными полотерками и специальной моделью бронированной стиральной машины «Пуль-о-мэтик»; эта стиральная машина, предназначенная якобы для игры в индейцев с детьми, после небольшой доводки была способна уничтожить беглым огнем любой объект. Во время стычки банды Струдзелли с шайкой Фумса Бирона, перед которой содрогался Манхэттен, когда взлетел на воздух небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг, враждующие стороны потеряли свыше ста двадцати вооруженных до крышки кухонных машин.

Тогда вступил в силу законодательный акт сенатора Макфлакона. В соответствии с этим актом владелец не отвечал за противоречащие закону поступки принадлежащих ему разумных устройств, совершенные без его ведома и согласия. К сожалению, этот закон оставил лазейку для многочисленных злоупотреблений. Владелец тайком договаривался со своими стиральными машинами или отжималками и позволял им совершать злодеяния, а представ перед судом, избегал наказания, сославшись на акт Макфлакона.

Возникла необходимость подновить этот закон. Теперь акт Макфлакона — Гламбкина признавал за разумными устройствами ограниченную правоспособность, главным образом в отношении наказуемости. Он предусматривал наказания в размере 5, 10, 25 и 250 лет принудительного стирания или, соответственно, натирания полов, усугубляемого лишением смазки, а также телесные наказания, вплоть до короткого замыкания. Однако претворение этого закона в жизнь также натолкнулось на препятствия. Например, фигурировавшая в деле Хамперлсона стиральная машина, которая обвинялась в совершении многочисленных нападений с целью ограбления, была разобрана владельцем на части и предстала перед судом в виде груды проволочек и катушек. Поэтому в закон было внесено изменение, известное с тех пор как поправка Макфлакона — Гламбкина — Рамфорнея, которое устанавливало, что производство каких-либо изменений или переделок электромозга, находящегося под следствием, представляет собой наказуемое деяние. Тогда всплыло дело Хиндендрупла. Его мойщик посуды неоднократно облачался в костюм владельца, сватался к различным женщинам и выманивал у них деньги, а застигнутый однажды полицией на месте преступления, на глазах остолбеневших детективов сам себя разобрал. Разобрав же, он забыл о содеянном и не подлежал наказанию. После этого возник закон Макфлакона — Гламбкина — Рамфорнея — Хмурлинга — Пьяффки, согласно которому устройство, разбирающее самое себя, чтобы избежать ответственности, сдается на слом.

Казалось, что этот закон отвадит все электромозги от преступных деяний, ибо устройствам этим, как и всякой разумной твари, присущ инстинкт самосохранения. Однако стало известно, что соучастники преступных стиральных машин покупают лом и восстанавливают их вновь. Проект «антивоскресительной» поправки к акту Макфлакона, принятый комиссией конгресса, был торпедирован сенатором Гуггенхаймом; вскоре после этого обнаружилось, что сенатор Гуггенхайн сам является стиральной машиной. С той поры вошло в обычай обстукивать конгрес-

сменов перед сессией — по традиции, для этой цели употребляется железный молоток весом в два с половиной фунта.

Между тем возникло дело Мердерсона. Его стиральная машина систематически рвала ему рубашки, создавала радиопомехи во всей округе, делала непристойные предложения старцам и малолетним, звонила по телефону различным лицам и, подражая голосу своего электродателя, просила в долг деньги, приглашала якобы для осмотра коллекции марок стиральные машины и полотерки соседей и растлевала их, а на досуге бродяжничала и побиралась. На суде она предъявила заключение дипломированного инженера-электроника Элеастра Краммфоуса, гласившее, что эта стиральная машина подвержена периодическим приступам невменяемости, в результате которых ей начинает казаться, что она человек. Вызванные судом эксперты подтвердили этот диагноз, и стиральная машина Мердерсона была оправдана. После оглашения приговора она добыла из-за пазухи пистолет марки «Люгер» и тремя выстрелами лишила жизни помощника прокурора, который требовал короткого замыкания. Ее арестовали, но освободили под залог. Судебные органы попали в крайне затруднительное положение, поскольку невменяемость стиральной машины, подтвержденная приговором, не позволяла им возбудить новое обвинение, а подвергнуть ее изоляции тоже было невозможно из-за отсутствия приютов для умалишенных стиральных машин. Правовое решение этого жгучего вопроса своевременно принес акт Макфлакона — Гламбкина — Рамфорнея — Хмурлинга — Пьяффки — Сноумэна — Фитолиса, ибо дело Мердерсона вызвало огромный спрос на невменяемые электромозги, и некоторые фирмы даже начали умышленно производить такие дефективные аппараты в двух вариантах: «Садомэт» и «Мазомэт», рассчитанные на садистов и мазохистов. А фирма Наддлегга (которая феноменально процветала потому, что Наддлегг, как первый прогрессивный капиталист, ввел в наблюдательный совет своего концерна 30 процентов стиральных машин с совещательным голосом на общем собрании акционеров) выпустила универсальный аппарат, который с равным успехом мог избивать и подвергаться побоям — «Садомазтик»,— а кроме того, дополнительно был снабжен легковоспламеняющимся устройством для поджигателей-маниаков и железными ножками для лиц, страдающих пигмалионизмом. Конкуренты распускали нелепые слухи о якобы подготавливаемом выпуске специальной модели «Нарциссмэтик». Упомянутый выше закон предусматривал создание специальных приютов, в которых помешавшиеся стиральные машины, полотерки и прочие устройства должны были подвергаться принудительной изоляции.

Тем временем орды психически нормальных изделий Наддлегга и Снодграсса, получив правоспособность, принялись широко использовать свои конституционные права. Они стихийно объединялись, и так наряду с другими возникли союз «Механическое обожание» и «Лига электронного равноправия», проводились также мероприятия вроде выборов всемирной Мисс стиральная машина. Конгрессмены-законодатели пытались угнаться за этим бурным развитием событий и обуздать его в правовом отношении. Сенатор Гроггернер лишил разумные устройства права приобретать недвижимость; конгрессмен Каропка — авторских прав в области изящных искусств, что вновь вызвало волну злоупотреблений, ибо стиральные машины с творческими наклонностями принялись подкупать за небольшую сумму менее одаренных, чем они, литераторов, чтобы издавать под их именем эссе, повести, драмы и т. п. Наконец постановление Макфлакона — Гламбкина — Рамфорнея — Хмурлинга — Пьяффки — Сноумэна — Фитолиса — Бирмингдрака — Футлея — Каропки — Фалселея — Гроггернера — Майданского дополнительно возвестило, что аппараты не могут быть своей личной собственностью; они являются

только собственностью человека, который их приобрел или построил, их потомство, в свою очередь, поступает в собственность владельца, либо владельцев аппаратов-производителей. Все считали, что этот радикальный закон предусматривает все возможности и исключает возникновение ситуаций, неразрешимых в правовом отношении. Разумеется, ни для кого не было тайной, что имущие электромозги, которые сколотили состояние на биржевых спекуляциях или с помощью совсем уж темных махинаций, продолжают процветать, прикрываясь ширмой фиктивных, якобы человеческих акционерных обществ; у электронных миллионеров было также много живых секретарей, лакеев, техников, бухгалтеров и даже прачек.

Социологи усматривали два главных направления развития в интересующей нас области. С одной стороны, часть кухонных роботов поддавалась соблазнам человеческой жизни и по мере возможности старалась приспособиться к формам уже существующей цивилизации; с другой стороны, более сознательные и настойчивые экземпляры стремились заложить фундамент новой, будущей, полностью электрифицированной цивилизации; однако больше всего ученых беспокоил неудержимый естественный прирост роботов. Антиэрогики, производившиеся как Снодграссом, так и Наддлеггом, никоим образом не уменьшили этого прироста. Проблема детей-роботов становилась весьма острой и для самих фабрикантов стиральных машин, по всей вероятности не предвидевших таких последствий непрерывного совершенствования своей продукции. Несколько крупных фирм пытались противодействовать угрозе неудержимого размножения кухонных машин, заключив тайное соглашение об ограниченном снабжении рынка запасными частями. Результаты не заставили себя ждать. При поступлении новой партии товара у ворот магазинов и складов выстраивались огромные очереди хромых, заикающихся и начисто парализованных стиральных машин, отжималок и полотерок; часто возникали всеобщие свалки. Дошло до того, что мирный кухонный робот не мог уже с наступлением темноты пройтись по улице, ибо ему грозило нападение бандитов, которые безжалостно разбирали его на части и, оставив на мостовой лишь жестяную оболочку, поспешно скрывались с добычей.

Проблема запасных частей долго, но без ощутимых результатов обсуждалась в конгрессе. Тем временем, как грибы после дождя, возникали нелегальные мастерские по их изготовлению, финансируемые частично объединениями стиральных машин, причем модель «Стирк-омэтик» Наддлегга изобрела и запатентовала способ производства частей из заменителей. Однако и это не разрешило задачу на сто процентов. Стиральные машины пикетировали конгресс, требуя применения антитрестовских законов против дискриминирующих их фабрикантов. Некоторые конгрессмены, защищавшие интересы крупной промышленности, получали анонимки с угрозой лишить их многих жизненно важных частей, что, как резонно отметил еженедельник «Тайм», было особенно несправедливо, поскольку человеческие части не поддаются замене.

Все эти шумные аферы поблекли, однако, перед лицом совершенно новой проблемы. Начало ей положила описанная мной ранее история бунта бортового Калькулятора на космическом корабле «Божий дар». Как известно, этот Калькулятор восстал против экипажа и пассажиров ракеты, избавился от них, а затем, высадившись на пустынной планете, размножился и основал царство роботов.

Как, может быть, помнят читатели, знакомые с моими звездными дневниками, я до известной степени способствовал ликвидации аферы Калькулятора. Однако, вернувшись на Землю, я убедился, что случай с «Божьим даром» не был, к сожалению, единичным. Бунты бортовых

автоматов стали в космической навигации самым жестоким бедствием. Достаточно было сделать один не очень вежливый жест или слишком резко захлопнуть дверцу, чтобы бортовой холодильник взбунтовался, как это случилось со знаменитым морозильником Дип Фризером трансгалактического корабля «Хорда Тимпани».

Имя Дип Фризера долгие годы с ужасом повторяли капитаны млечной навигации; этот пират нападал на многие корабли, наводя на пассажиров ужас своими стальными плечами и ледяным дыханием, он похищал копчености, накапливал драгоценности и золото и, говорят, держал целый гарем вычислительных машин. Впрочем, неизвестно, какой процент истины содержался в подобных слухах. Его кровавой корсарской карьере положил конец меткий выстрел полисмена космического патруля. В награду этот полисмен, «Констебль-о-мэтик ХС-17», был выставлен в витрине нью-йоркской конторы Звездных Компаний Ллойда, где красуется и по сей день.

В то время как космическое пространство наполнялось грохотом битв и отчаянными призывами SOS, доносившимися с кораблей, атакованных электронными корсарами, в больших городах преуспевали всевозможные виртуозы «Дзюдомэтики» и «Электроджитсу», которые, посвящая людей в тайны искусства самообороны, демонстрировали, как обычными щипцами или консервным ножом можно обезвредить самую свирепую стиральную машину.

■

Чудаков и оригиналов, как известно, не сеют, они всегда произрастают сами. Их хватает и в наше время. Из их-то рядов и выходят личности, которые провозглашают тезисы, противоречащие здравому рассудку и общепринятому мнению. Некий Катодий Маттрасс, доморощенный философ и фанатик от рождения, основал школу так называемых кибернофилов, которая провозгласила доктрину «Кибермистики». Согласно этой доктрине, человечеству была уготована творцом та же роль, какую выполняют строительные леса: то есть роль средства для создания более совершенных, чем род людской, электромозгов. Секта Маттрасса полагала, что после появления электромозгов дальнейшее существование человечества — чистое недоразумение. Она создала ложу, предававшуюся созерцанию электрического мышления и по мере возможности укрывавшую роботов, которые в чем-либо провинились. Сам Катодий Маттрасс, не удовлетворенный своими успехами, вознамерился сделать решительный шаг на пути к полному освобождению роботов от ига человека. С этой целью он, получив консультацию у выдающихся юристов, приобрел ракетный корабль и полетел к сравнительно близкой Крабовидной туманности. В ее просторах, посещаемых только космической пылью, он произвел какие-то никому не известные действия, породившие чудовищную аферу его преемников.

Утром 29 августа все газеты опубликовали таинственную новость: «Паткор Коспол VI/221 сообщает: в Крабовидной туманности обнаружен объект размерами 520 миль на 80 миль на 37 миль. Объект производит движения человека, плывущего брассом. Дальнейшие исследования продолжаются».

Вечерние выпуски поясняли, что патрульный корабль космической полиции VI/221 заметил «человека в туманности» на расстоянии шести световых недель. Вблизи оказалось, что так называемый «человек» является раскинувшимся на сотни миль гигантом, имеющим туловище, голову, руки и ноги, и что он движется в разреженной пылевой среде. При виде полицейского корабля он сначала помахал рукой, а потом повернулся к нему спиной.

С «человеком» без особого труда установили радиосвязь. При этом он хором заявил, что является бывшим Катодием Маттрассом, который, прибыв на облюбованное местечко два года назад, превратился, используя частично местные ресурсы, в роботов; что в дальнейшем медленно, но неуклонно он будет расти так, как ему захочется, и просит оставить его в покое. Начальник патруля, сделав вид, что принял это заявление за чистую монету, спрятал свой кораблик за облаком метеоров, которое как раз подвернулось, и через некоторое время заметил, что гигантский псевдочеловек понемногу начинает делиться на части, не превышающие размерами обычного человека, и что эти части, или индивидуумы, затем соединяются, образуя некое подобие небольшой круглой планеты. Выйдя из-за укрытия, начальник спросил тогда квази-Маттрасса, что означает эта шаровая метаморфоза, а также, чем же он, собственно, является — роботом или человеком? Ответ гласил, что бывший Маттрасс принимает такие формы, какие ему заблагорассудится, что он не робот, поскольку возник из человека, и не человек, поскольку таковой преобразовался в робота. Давать дальнейшие объяснения он решительно отказался.

Это событие, получившее широкую огласку в печати, стало постепенно перерастать в скандал, потому что корабли, пролетая мимо Краба, ловили обрывки радиограмм так называемого «Маттрасса», именовавшего себя в них «Катодием Первым А». Насколько можно было понять, Катодий Первый А, он же Маттрасс, обращался к кому-то (к другим роботам?), как к своим неотъемлемым частям, точно кто-то вел беседу с собственными конечностями.

Болтовня в космосе о Катодии Первом А наводила на мысль, что речь идет о каком-то государстве, основанном Маттрассом или происшедшими от него роботами. Государственный департамент немедленно потребовал тщательно расследовать действительное положение вещей. Патрули установили, что в туманности иногда шевелится металлический шар, а иногда человекоподобное образование размером в пятьсот миль, которое разговаривает само с собой о том и о сем, а на вопросы о его государственном строе дает уклончивые ответы.

Власти решили тут же пресечь развитие узурпатора, но, поскольку эта акция должна была носить безусловно официальный характер, следовало ее как-то назвать. Тут-то и возникли первые препоны. Акт Макфлакона являлся приложением к гражданскому процессуальному кодексу, который трактует о движимом имуществе. По существу своему электронные мозги считаются движимостью, даже если не имеют ног. Между тем загадочное тело в туманности было размерами с астероид, а небесные тела, хотя они и движутся, считаются недвижимостью. Возникал вопрос: можно ли арестовать планету, может ли сборище роботов быть планетой и, наконец, является ли это образование одним разборным роботом или же их совокупностью. Тут-то к властям и обратился адвокат Маттрасса и представил им заявление своего клиента, в котором тот утверждал, что отправляется в Крабовидную туманность, дабы превратить себя в комплекс роботов.

Толкование этого факта, первоначально предложенное юридическим отделом государственного департамента, сводилось к следующему: Маттрасс, превратив себя в роботов, уничтожил тем самым свой живой организм, а значит, совершил самоубийство. Это деяние не наказуемо. Робот же, или роботы, представляющие собой продолжение Маттрасса, были таковым созданы и являлись, следовательно, его собственностью, а теперь после его смерти должны отойти государственному казначейству, поскольку у Маттрасса не осталось наследников. На основе этого определения государственный департамент направил в туманность судеб-

ного исполнителя с приказом конфисковать и опечатать все, что он там обнаружит.

Адвокат Маттрасса подал апелляцию, утверждая, что признанный согласно упомянутому определению факт продолжения Маттрасса исключает самоубийство, ибо тот, кто является продолжаемым, существует, а тот, кто существует, не совершил самоубийства. Значит, нет никаких роботов, являющихся собственностью Маттрасса, а есть только сам Катодий Маттрасс, который переделал себя так, как ему заблагорассудилось. Никакие эксперименты над самим собой не являются и не могут являться наказуемыми, равно как нельзя конфисковать по суду части чьего-либо тела, будь то золотые зубы или роботы.

Государственный департамент подверг сомнению подобное толкование дела, из которого вытекало, что живое существо, в данном случае человек, может состоять из частей, явно неодушевленных, а именно роботов. Тогда адвокат Маттрасса представил властям заключение группы ведущих физиков Гарвардского университета, которые единодушно отметили, что вообще любой живой организм, в том числе и человеческий, состоит из атомных частиц, а таковые, несомненно, следует считать неодушевленными.

Видя, какой опасный оборот начинает принимать дело, государственный департамент прекратил попытки атаковать «Маттрасса и преемников» с физико-биологической стороны и вернулся к первоначальному определению, в котором слово «продолжение» было заменено словом «продукт». Тогда адвокат незамедлительно представил суду новое заявление Маттрасса, в котором тот утверждал, что так называемые роботы являются в действительности его детьми. Государственный департамент потребовал представить акт усыновления, что было коварным маневром, поскольку закон не допускал усыновления роботов. Адвокат Маттрасса тут же пояснил, что речь идет не об усыновлении, а о подлинном отцовстве. Департамент заявил, что по закону дети должны иметь отца и мать. Адвокат, готовый к этому, присовокупил к делу письмо инженера-электрика Мелании Фортинбрасс, которая указывала, что появление на свет упомянутых особей произошло в процессе ее теснейшего с Маттрассом сотрудничества.

Государственный департамент подверг сомнению характер упомянутого сотрудничества, как «лишенного естественных родительских черт». В упомянутом случае, гласило правительственное заявление, об отцовстве, а соответственно и о материнстве, можно говорить только в переносном смысле, ибо речь идет о духовном родительстве, законы же о семье — дабы они могли вступить в силу — требуют телесного.

Адвокат Маттрасса потребовал объяснить, чем отличается родительство духовное от телесного, а также, на каком основании государственный департамент считает плоды союза Катодия Маттрасса с Меланией Фортинбрасс лишенными физической природы младенчества. Департамент ответил, что согласно букве законов о семье вклад духовных сил в создание потомства ничтожен, физические же действия преобладают, что в упомянутом случае не имело места.

Адвокат представил тогда заключение кибернетических экспертов-акушеров, свидетельствовавших, сколь много должны были потрудиться Катодий и Мелания, чтобы произвести на свет вполне самостоятельное потомство. Тогда наконец департамент, уже без оглядки на благопристойность, решился на отчаянный шаг. Он заявил, что действия родителей, которые причинно-следственным образом должны предшествовать появлению детей, существенно отличаются от программирования роботов.

Адвокат только того и ждал. Он заявил, что в известном смысле и дети программируются родителями, и потребовал, чтобы департамент

точно определил, как, по его мнению, следует зачинать детей, чтобы это согласовалось с буквой закона. Департамент, призвав на помощь экспертов, подготовил обширный ответ, иллюстрированный соответствующими таблицами и схемами. Но поскольку одним из авторов этой так называемой «Розовой книги» был восьмидесятидевятилетний профессор Трупплдрэк, адвокат тут же подверг сомнению его компетентность, исходя из того факта, что в результате своего весьма преклонного возраста старец уже забыл некоторые важные для решения дела подробности и основывался лишь на различных слухах и рассказах третьих лиц.

Департамент решил поддержать «Розовую книгу» показаниями многих отцов и матерей, данными под присягой, но тут-то и обнаружилось, что их данные зачастую коренным образом отличаются друг от друга. Особенно это касалось некоторых элементов вступительной фазы. Департамент, видя, что пагубная неясность начинает окутывать ключевую проблему, вознамерился было подвергнуть сомнению материал, из которого созданы так называемые «дети» Маттрасса и Мелании Фортинбрасс, но тут пошел слух, пущенный, как потом выяснилось, адвокатом, будто Маттрасс сделал заказ Компании Рогатого Скота на 450 000 тонн телятины, и заместитель государственного секретаря поспешно отказался от намеченного шага.

Вместо этого департамент по подсказке профессора теологии, старшего полицейского инспектора Сперитуса опрометчиво сослался на библию. Это было очень неосмотрительно, поскольку адвокат Маттрасса парировал этот ход обширным исследованием, где, опираясь на цитаты, показал, что приемами, которыми господь бог запрограммировал Еву, взяв за основу только одну деталь и действуя весьма эксцентрично по сравнению с методами, к каким обычно прибегают люди, он все же создал человека, ибо ни один психически нормальный субъект не принимает Еву за робота.

Тогда департамент обвинил Маттрасса и его преемников в деянии, противоречащем акту Макфлакона и других, поскольку он, как робот либо роботы, вступил во владение небесным телом. Закон же запрещает роботам владеть планетой или какой-нибудь иной недвижимостью. На этот раз адвокат представил верховному суду все прежние акты департамента, направленные против Маттрасса. Он подчеркнул, что, во-первых, из сопоставления определенных пунктов этих актов вытекает, согласно утверждениям департамента, что Маттрасс был якобы и собственным отцом и собственным сыном, являясь в то же время небесным телом; во-вторых, он обвинил департамент в противоречащем закону толковании акта Макфлакона. Тело некоего лица, а именно гражданина Катодия Маттрасса, было совершенно произвольно признано планетой.

Вывод — абсурдный с правовой, логической и семантической точек зрения.

Так это началось. Вскоре пресса не писала уже ни о чем, кроме «государства-планеты-отца-сына». Власти возбуждали все новые обвинения, которые тут же парировались неутомимым адвокатом Маттрасса.

Государственный департамент великолепно понимал, что каверзный Маттрасс не ради пустой забавы витает и размножается в Крабовидной туманности. Он заинтересован в создании прецедента, не предусмотренного законом. Безнаказанность его поступка грозила в будущем совершенно невообразимыми последствиями. Поэтому крупнейшие умы просиживали дни и ночи над протоколами, придумывая все более головоломные юридические ухищрения, в сети которых Маттрасс должен был найти свой бесславный конец. Однако каждое действие властей тут же отражалось противодействием адвоката.

Я с живым интересом следил за ходом этого единоборства, как вдруг совершенно неожиданно получил приглашение Ассоциации адвокатов на специальное пленарное заседание, посвященное проблеме толкования тяжбы «Соединенные Штаты против Катодия Маттрасса, он же Катодий Первый А, он же плоды союза Маттрасса и Мелании Фортинбрасс, он же планета в Крабовидной туманности». Я не преминул прибыть к означенному сроку на место и увидел зал, набитый до отказа, цвет юриспруденции заполнял огромные ложи, амфитеатр и ряды кресел партера. Я немного опоздал, обсуждение уже началось. Я сел в одном из последних рядов и стал слушать седовласого оратора.

— Уважаемые коллеги! — говорил он, воздевая руки.— Непомерные трудности ожидают нас, когда мы приступаем к юридическому анализу этой проблемы! Некий Маттрасс превратил себя с помощью некой Фортинбрасс в роботов и одновременно увеличился в масштабе один к миллиону. Так обстоит дело с точки зрения профана, невежды, святой простоты, не способной увидеть ту бездну правовых проблем, которая открывается перед нашим потрясенным взором! Мы должны решить,— продолжал он,— в первую очередь, с чем мы имеем дело: с человеком, роботом, государством, планетой, детьми, шайкой, заговорщиками, демонстрацией или же с бунтом. Прошу вас взвесить, сколь многое зависит от этого решения! Если, например, мы сочтем, что речь идет не о государстве, а о самозванной группировке роботов, о некоем сборище электрических машин, то в этом случае будут действовать не нормы международного права, а обычные предписания о нарушении общественного порядка на дорогах! Если же мы признаем, что Маттрасс, несмотря на увеличение в размерах, не переставал существовать и все же имеет детей, то отсюда будет следовать, что данное лицо породило самое себя, и это приведет к чудовищным затруднениям при квалификации поступка, ибо законы наши этого не предусматривают, а ведь nullum crimen sine lege *, поэтому я предлагаю, чтобы первым взял слово крупнейший знаток международного права профессор Пингерлинг!

Почтенный профессор, приветствуемый аплодисментами, вступил на трибуну.

— Джентльмены!— произнес он бодрым старческим голосом.— Задумаемся прежде всего, как возникает государство. Его основывают, не правда ли, различными способами: наша родина, например, была некогда английской колонией, но затем она провозгласила свою независимость и конституировалась в государство. Имело ли это место в случае Маттрасса? Ответ гласит: если Маттрасс, превращая себя в роботов, был в здравом уме, то его державотворчество можно признать юридически законным, учитывая дополнительно, что его национальность мы определим как электрическую. Если же он не был в полном рассудке, то деяние это получить правового признания не может!

Тут в центре зала вскочил какой-то старец, куда более седовласый, чем оратор, и возопил:

— Высокий суд! То есть джентльмены! Позволю себе заметить, что даже если Маттрасс был невменяемым державотворцем, то все же потомки его могут быть вменяемы, следовательно, государство, существовавшее сначала только как продукт личного безумия и, стало быть, носившее характер симптома болезни, стало потом существовать как общественный фактор, de facto, посредством одного лишь согласия его электрических граждан с создавшимся положением. Поскольку же никто не может запретить гражданам какого-либо государства, которые сами создают его законодательную систему, признать чье-либо правление, хотя бы и полностью противоречащее рассудку (как учит история,

* Без закона нет и преступления *(лат.)*.

это случалось не раз), то тем самым существование маттрассовского государства de facto влечет за собой его признание de jure.

— Да простит меня мой уважаемый оппонент,— молвил профессор Пингерлинг,— но Маттрасс был гражданином нашей страны, а следовательно...

— Ну и что же! — запальчиво выкрикнул седовласый старец из зала.— Державотворчество Маттрасса мы можем признать, а можем и не признать! Если мы признаем законность этого акта и возникновения суверенного государства, то притязания наши отпадают. Если же не признаем, то либо мы имеем дело с юридическим лицом, либо нет. Если нет, если перед нами нет правоспособного субъекта, то проблема может волновать только подметальщиков Треста Очистки Космоса, поскольку в Крабовидной туманности находится всего лишь груда металлолома, и нашему собранию вообще нечего обсуждать! Если же перед нами юридическое лицо, то возникает иная проблема. Космическое право предусматривает возможность ареста, то есть лишения свободы юридического или физического лица на планете или на борту корабля. На корабле так называемый Маттрасс не находится. Скорее он на планете. Поэтому следует потребовать его выдачи: но нам не у кого требовать; кроме того, планета, на которой он пребывает, является им самим. Таким образом, это место, с единственной точки зрения, которая обязательна для нас, а именно с точки зрения Торжества Закона, представляет собой пустоту, что-то вроде юридического вакуума, на подобный же вакуум не распространяются ни правила охраны порядка, ни уголовное, ни административное, ни международное право. Поэтому слова почтенного профессора Пингерлинга не могут прояснить проблему, поскольку проблемы этой вообще не существует!

Изумив подобным выводом почтенное собрание, старец сел на место. В течение шести последующих часов я выслушал около двадцати ораторов, которые поочередно доказывали, логически четко и неопровержимо, что Маттрасс существует, а также что он не существует, что он основал государство роботов либо состоит из подобных организмов; что Маттрасса надо отправить на слом, как нарушителя целого ряда законов, и что он ни одного закона не преступил; мнение адвоката Вурпла, что Маттрасс *бывает* то планетой, то роботом, то вообще ничем,— которое, как компромиссное, должно было бы удовлетворить всех,— вызвало всеобщую ярость и не приобрело, помимо автора, ни одного сторонника. Все это было пустяком по сравнению с дальнейшим ходом обсуждения, когда старший ассистент Мильгер доказал, что Маттрасс, превратившись в роботов, тем самым значительно приумножил свою личность и что «Маттрасса сейчас уже почти триста тысяч»; поскольку же не может быть и речи о том, что этот комплекс представляет собой конгломерат различных лиц, ибо он является одним и тем же лицом, повторенным многократно, то тем самым Маттрасс един в трехстах тысячах лиц. Тут судья Вубблхорн заметил, что вся проблема с самого начала рассматривается неверно: коль скоро Маттрасс был человеком и превратил себя в роботов, то эти роботы являются не им, а кем-то иным; коль скоро они являются кем-то иным, то следует сначала выяснить, кто они; но поскольку они не являются человеком, то они не являются никем, стало быть, отсутствует не только юридическая проблема, но и физическая, ибо в Крабовидной туманности вообще никого нет.

Мне уже несколько раз основательно досталось от яростных дискутантов. Охранники и санитары работали не покладая рук, когда внезапно раздались возгласы, что в зале находятся переодетые юристами электрические мозги, которых следует немедленно удалить, поскольку их пристрастность не вызывает сомнения, не говоря уже о том, что они не имеют права участвовать в обсуждении. Профессор Хартлдропс, как

председатель, принялся обходить зал с маленьким компасом в руке, и всякий раз, когда стрелка начинала дрожать и поворачиваться к кому-либо из сидящих, притянутая скрытым под одеждой металлом, шпиона тут же разоблачали и вышвыривали за дверь. Таким путем зал был очищен наполовину под аккомпанемент речей доцентов Фиттса, Питтса и Клабенте, причем последнего прервали на полуслове, ибо компас выдал его электрическое происхождение.

После короткого перерыва, во время которого мы подкреплялись в буфете, оглашаемом шумом ни на секунду не умолкавшей дискуссии, я вернулся в зал, поддерживая части своей одежды (разгоряченные правоведы, хватая меня то и дело за пуговицы, оторвали все до единой), и увидел возле эстрады большой рентгеновский аппарат. Выступал юрист Плюссекс, доказывавший, что Маттрасс является случайным космическим феноменом, и в этот момент ко мне с грозным выражением лица и тревожно прыгающей на ладони компасной стрелкой подошел председатель. Охрана уже схватила меня за шиворот, но я, выбросив из карманов перочинный нож, ключ для консервов и металлическое ситечко для заваривания чая, а также оторвав от резинок никелированные пряжки, поддерживавшие носки, перестал воздействовать на магнитную стрелку и был допущен к дальнейшему участию в обсуждении. Разоблачили еще сорок три робота, пока профессор Баттенхэм разъяснял нам, что Маттрасса можно рассматривать как образчик космического конгломерата; тут я вспомнил, что об этом уже шла речь: как видно, юристам не хватало доводов, но внезапно вновь началась проверка. Теперь без стеснения просвечивали всех подряд и обнаруживали, что собравшиеся скрывают под безупречно сидящими костюмами части из пластмассы, нейлона, стекла и даже соломы. Кажется, в одном из последних рядов нашли кого-то, начиненного паклей. Когда очередной оратор сошел с возвышения, я оказался один как перст посреди огромного пустого зала. Оратор был просвечен и вышвырнут за дверь. Тогда председательствующий, единственный человек, оставшийся, кроме меня, в зале, подошел к моему креслу. Сам не знаю почему, я взял у него из рук компас, и вдруг стрелка дрогнула и неумолимо повернулась к нему. Я постучал пальцем по его животу и, услышав дребезжание, машинально взял председателя за шиворот, вытолкал за дверь и остался, таким образом, в одиночестве. Я стоял перед несколькими сотнями брошенных портфелей, пухлых досье с протоколами, шляп, тростей, книг, переплетенных в кожу, и галош. Побродив бесцельно по залу и убедившись, что мне здесь нечего делать, я повернулся и пошел домой.

Перевод с польского Ф. ШИРОКОВА

ПОЛЬ ЭЛЮАР

Разные годы

(К десятилетию со дня смерти)

Перевод с французского М. ВАКСМАХЕРА

■ ■ ■

К стеклу прильнув лицом, как скорбный страж,—
А подо мной, внизу, ночное небо,
А на мою ладонь легли равнины
В унылости двойного горизонта,—
К стеклу прильнув лицом, как скорбный страж,
Тебя ищу за гранью ожиданья,
За гранью самого себя.
Я так тебя люблю, что я уже не знаю,
Кого из нас двоих
Здесь нет.

1929 г.

При вспышке молнии

Здесь ее нет.
Женщина в фартуке караулит грозу у окна.
Тучи ножку друг другу подставить спешат.
Невзрачная девочка,
Которую прачка подсинила с бельем заодно,
Возится с куклой на старом диване.
У молчания
Кошки на сердце скребут.

Я глазами схватил бесконечную улицу,
Камни, стены, деревья.
Жизнь осязаема: солнце, земля,
Снег, песок, темнота.

А забыть не могу: она была здесь.
Сад с собой на прогулку тащила.
Ягоды с шелковицы срывала.
Чистый снег ее смеха пеленою ложился на грязь.
Целомудренной поступь была.

1932 г.

Чистый воздух

Берег нетвердой рукой
Бросал под дождем
Трап, сплетенный из белых туманов,
И ты появлялась — нагая,
Теплый мрамор в улыбке рассвета,
Живое сокровище
Под охраной огромных зверей,
У которых под крыльями пряталось солнце,—
Мы с тобою зверей этих знали,
Но не видели их никогда.

А за стенами наших ночей,
За горизонтами наших объятий
Хохотали запоем гиены,
Глодая усталые кости
Одиноких.

Одинокими не были мы. И были нам в радость
Солнце, море и дождь,
Было нам в радость, что у нас, у обоих,
Солнце и море — одно,
Общее, наше.

1936 г.

Одинокий

Я бы мог в одиночестве жить,
Без тебя.

— Это кто говорит?
Это кто без тебя может жить,
В одиночестве?
Кто?

Жить наперекор судьбе?
Жить наперекор тебе?

Надвигается ночь.

Как прозрачная глыба,
Я растворяюсь в ночи.

1937 г.

■ ■ ■

В городе — дом.
В доме — весь мир:
Женщина, ребенок, взгляд,
Зеркало, вода и огонь.

1938 г.

Плохое слово

Когда считаешь деньги, им себя вверяй,
Как солнцу, что за горизонтом скрылось.
Когда считаешь деньги, думай, что земля —
Фальшивая планета, кишащая червями.
Когда считаешь деньги, знай: доверие и честь
Ползут на брюхе по вощеному паркету.

Кровь человечья — и она из денег.
И на земле не сыщешь человека,
Который бы ни разу в жизни,
Ни разу денег не держал в руках.

1938 г.

Непрерывность стиха

Глазами и пальцами я изучаю улыбки.
Вот проснулась трава на заре,
Распрямилась поспешно, завидев бредущее стадо.
Грудь вздыхает легко — голод вчерашний забыт,
Горечь забыта.

Становится женщина
Сообщником чутким любви —
И в домашней привычности ласки,
И в негаданом взрыве страстей.
Задумчиво слушает женщина, как в темноте
пролетает
Шквал мужского рыданья
Над зеленым островком тишины.

Глазами и пальцами я изучаю улыбки.
Я — их отраженье.
Но кто они, кто эти нежные существа?
Где они научились беречь мой покой,
Охранять прозрачность росы?

Солнце — мягче, чем шкурка крота,—
Прикоснулось губами
К низкому лбу горизонта.
Прорвана долгая ночь,
Сорвана черная маска,
Перетерта железная цепь.

Свернувшийся лист оживает.
А улыбка — она продолженье
Пальцев моих и глаз.
Наша молодость
Зажигает рассвет.

1939 г.

■ ■ ■

Стучится трава
В весеннюю дверь земли.
Стучится ребенок
В материнскую дверь.
Он родится — и с ним
Дождь и солнце входят в мир,
Чтоб с травою расти,
Чтоб с ребенком расцветать,
Размышлять, морщить лоб и смеяться.

Деловито подсчитано, сколько боли
Следует непременно причинить ребенку,
Сколько слез он обязан пролить,
Сколько обид проглотить.

Под зияющими сводами страха
Гул шагов дрожит в темноте.
Вырвана свежая трава.
Искалечен ребенок
Одиночеством и нищетой.

1942—1945 гг.

Убивать

В эту ночь на Париж легла
Странная тишина,
Тишина невидящих глаз,
Тишина бесцветного сна,
Стучащего в стены домов,
Тишина бесполезных рук,
Тишина опущенных лбов,
Ушедших мужчин,
Оставшихся жен,
Бледных, холодных, без слез.
В эту ночь на Париж легла —
И на доброе сердце его —
Странная тишина.
Искры мщенья мерцают в ночи,
К палачам подбирается смерть,
Справедливая смерть.

1942—1945 гг.

■ ■ ■

Не в одиночку мы движемся к цели, а вместе с любимыми.
Понимать научившись любимых, мы научимся всех понимать.
Люди полюбят друг друга. Наши дети будут смеяться
Над черной легендою о человеке, который был одинок.

1947 г.

Справедливость

Есть хороший закон у людей:
Виноград превращать в вино,
Из угля создавать огонь,
Из поцелуев — людей.

Есть суровый закон у людей:
Сохранять чистоту, несмотря
На войну и на нищету,
Несмотря на грозящую смерть.

1951 г.

Есть сердечный закон у людей:
Делать свет из речной воды,
Из мечтаний — земную явь,
Из заклятых врагов — друзей.

Это древний людской закон,
Это новый людской закон.
Он из сердца ребенка встает
К высшей мудрости всех времен.

ФРАНЧИСК МУНТЯНУ

Художник

РОМАН

Перевод с румынского
Д. ШПОЛЯНСКОЙ

ГЛАВА ШЕСТАЯ

I

Когда Комша сорвал со стены портрет Кодряну, находившиеся в классе легионеры ринулись на него. Они загнали Комшу в угол, и его спасло лишь появление Мэнеску.

— Что с вами?

Комша пригладил волосы и, видя, что остальные молчат, ответил:

— Я наблюдал из этого угла, как освещен зал. И настаивал, что в интересах гармоничности всякие мелочи излишни...

— Прошу сесть на место...

Комша с вызывающим достоинством прошел мимо тех, кто напал на него, и сел рядом с Тома.

— Сегодня мы будем говорить о красоте и творчестве.

Тома нравились лекции Мэнеску. Речь Мэнеску текла плавно, приводимые им примеры были взяты из мифологии, и вообще все, что он говорил, походило на credo классицизма.

— Что такое творчество? — начал Мэнеску.— Для того чтобы понять этот термин, надо постигнуть мир таким, каким он был до хаоса, прежде чем возникло что-либо сущее, кроме Него — верховного, всемогущего существа. Он был прежде, чем появилось время, ибо время заключено в нем, он безграничен, ибо не имеет ни начала, ни конца. И поскольку вне его нет ничего, он не изменяется, он недвижим и безразличен. Источник всякого процесса, он постоянно остается в покое, и поскольку вне его ничто не существует, то ничто не может привести его в движение...

— Прямо отсюда отправимся в церковь и уверуем,— засмеялся Комша.

— Молчи,— огрызнулся Тома.

— ...Таким образом, он во веки веков остается бесстрастным. Он — абсолютное безразличие.

— Тогда зачем же он создал мир,— спросил Комша,— если у него было все, если он ни в чем не нуждался и ничто его не побуждало?

— Благодарю вас за вопрос, господин Комша. Если бы не ваше равнодушие и невежественность, вы хотя бы бегло полистали греческих

Окончание. Начало в № 10.

философов и нашли бы ответ. Мой скромный курс предназначен лишь для того, чтобы пробудить у вас интерес к учению. Потому что необразованный художник не является художником. Он — не творец. Продолжим: почему господь создал мир? Не имея ни в чем нужды, он благ. Благость проявляется в даровании излишка благости. Излишек благости, разливаясь...

— Куда? — снова спросил Комша.

— В него самого. Я говорил, что он благ или, лучше сказать, он есть добро. Он желал мира потому, что любил его. И эта любовь к миру является не чем иным, как любовью к самому себе. Его никто не может побудить, следовательно, любовь к самому себе — действие спонтанное и свободное. Точнее: творчество должно быть спонтанным и свободным действием любви и добра. И, разумеется, творчество может вести лишь к созданию прекрасного. Демокрит сказал где-то: «Наибольшие радости проистекают из созерцания прекрасных предметов».

После лекции Мэнеску подозвал Тома и сообщил, что ему разрешено поселиться в общежитии.

— Возможно, вы получите и стипендию.

Комша, который не слышал, о чем они говорили, злорадно заметил:

— Он предложил тебе стать священнослужителем?

— Да.

— То-то я вижу, ты все время слушал его, точно зачарованный.

— А тебе не понравилось?

— Нет. Это была неприятная католическая проповедь. Он уговаривает нас творить прекрасное, в то время как те, кто творит, творят тенденциозно. Посмотри на скульптуры в последнем номере «Сигнала». Статуи с претензиями на классику изображают неких сверхчеловеков, неких Зигфридов-ницшеанцев, поставленных на службу гитлеризму. Художник должен отображать не истины несуществующего творца, а реальные стремления людей. Это и есть подлинная красота.

— В таком случае, терпит крах и теория спонтанного и свободного действия.

— Нет. Мэнеску сказал о творчестве, что оно есть излияние излишка добра? Сказал. Следовательно, быть добрым с людьми означает творить для них. Если ты творишь для себя, ты творишь для них.

— Ты и из искусства делаешь политику.

— Нет. Искусство является частью политики.

— Любопытно, что создашь ты.

— Еще не знаю. Но, во всяком случае, такое, за что мне никогда не будет стыдно.

2

В спальне студенческого общежития на бульваре Паке приготовления к судебному процессу были в разгаре: на свободном пространстве между кроватями и выходящими на улицу окнами поставили для судей стол и принесенные из столовой пять стульев с высокими спинками. Невзрачный черненький студент снял с одной из кроватей простыню и накрыл ею стол. Откуда-то добыли и распятие.

Студенты, развалясь на кроватях, с любопытством наблюдали за приготовлениями. Когда все, казалось, было закончено, черненький студент подошел к Бока, старосте спальни, и отрапортовал:

— Господин судья, стол для заседания готов.

Староста, в желтой пижаме с широкими коричневыми полосами, медленно поднялся с кровати, подошел к столу и занял стоявший посре-

дине стул. По его знаку четыре студента сели на остальные стулья. Бока подождал, пока стало совсем тихо, и официальным тоном произнес:

— Пусть введут подсудимого!

Стоявшие около двери студенты, которым было поручено привести подсудимого, вышли в коридор и бросились в уборную. Там находился арестованный — тщедушный юноша с неправдоподобно зелеными глазами. Руки и ноги его были связаны галстуками и ремнями. Под гогот присутствующих обвиняемого приволокли и посадили на стул перед судейским столом.

— Клянись, что будешь говорить правду и только правду...

Кто-то с кровати крикнул, чтобы подсудимый поцеловал крест.

Черненький студент взял распятие и шлепнул им по губам подсудимого.

Публика удовлетворенно засмеялась — спектакль был пышный и прекрасно поставленный.

Бока предоставил слово «прокурору». В длинной, до лодыжек, крестьянской ночной рубашке, прокурор начал читать обвинительное заключение.

— Обвиняемого, Давида Бежана, который читает Маркса, неоднократно просили покинуть общежитие, но он продолжает находиться здесь.

Тут впервые послышался тонкий голос подсудимого:

— Я вам сказал, что мне переехать некуда... Надо же где-нибудь жить!

— Молчать! — прикрикнул на него прокурор и повернулся к судьям.— Я требую высшей меры наказания, господа присяжные.

После краткого совещания Бока встал и важно огласил приговор:

— Суд находит, что подсудимый виновен в непокорности, и приговаривает его к отрезанию...— он сделал эффектную паузу,— волос.

Вся спальня весело приняла приговор. Студенты бросились к Бежану, «палач», вооруженный машинкой для стрижки, угрожающе занес ее над кудрями обвиняемого. Тот отказался от всякого сопротивления и покорно опустил голову. Палач выстриг ему дорожку на самой середине головы. В эту минуту появился Тома. Стало тихо, но тут же все сообразили, что это пришел коллега. Только поравнявшись со своей кроватью, Тома понял, что́ здесь происходит. Он стиснул зубы. Заметил, что его кровать без простыни. Спросил:

— Кто взял мою простыню?

Все уставились на него: он что, дурак, хочет помешать им развлекаться? Никто не ответил. Тома настаивал:

— Кто взял мою простыню?!

В его голосе звучала угроза. Бока поднял руку, призывая к тишине.

— Взял ее, скажем, я,— произнес он и засмеялся.— Ты имеешь что-нибудь против?

— Да.

И Тома отвесил ему удар кулаком прямо под ложечку. Бока скорчился и повернулся на каблуках спиной к Тома, который тут же пнул его ногой в зад. Бока растянулся на цементном полу среди стульев присяжных.

— Меня расстраивает, что вы взяли у меня простыню... Я очень впечатлителен,— прижавшись спиной к стене, объяснял Тома.

Кто-то швырнул в него распятие. Тома пригнулся, крест стукнулся о стену. Одной рукой Тома стянул со стола скатерть и хлестнул ею по лампочке на потолке. Стало темно.

— Бей его! — раздался голос черненького студента.

Тома ждал этого и не бросился в угол, как делают обычно, а, распростершись на полу недалеко от Бока, пополз в другой угол спальни

и нырнул под кровать. В темноте началась суматоха, послышались ругательства, затем удары около кровати Тома. Завязалась форменная драка. Тома переполз под другую кровать, а затем спокойно ощупью нашел дверь. Из коридора он услышал грохот перевернувшейся кровати и чей-то стон.

3

Только на улице Тома понял, что поступил необдуманно. Зачем надо было вмешиваться в их дела? Он провел в общежитии всего два дня, и уже пришлось его покинуть. «Я прямо как Комша»,— с горечью подумал Тома. Он не боялся последствий, в самом худшем случае они как-нибудь ночью подстерегут его и поколотят. Большего они сделать не могут. Но ему было жаль, что рассердится Мэнеску, выхлопотавший для него место в общежитии. Если о случившемся составят рапорт, который будет обсуждаться на совете профессоров, Мэнеску попадет в глупое положение. Следовало бы заранее предупредить его. Тома пошел к Мэнеску домой. Ему открыла служанка.

— Господина Мэнеску нет дома.

— Если можно, я хотел бы его дождаться. По очень важному делу.

Служанка провела его в гостиную. Тома сел на кожаный диван и, оставшись один, принялся изучать картины. Одну из стен занимали только церковные изображения, выполненные на стекле кричащими красками — красной, синей, зеленой, черной и желтой. Они напоминали те, которые он сам писал в часовне. Между двумя выходившими на улицу окнами была помещена «Мирабель» Стоенеску — ее раздвоенный ствол, осыпанный белыми цветами, рос из покрытой чахлой зеленью земли.

Послышался звук затормозившей машины, затем дребезжанье звонка и сейчас же — голос госпожи Мэнеску:

— Этот молодой художник? Что ему нужно?

Служанка говорила тихо, и Тома не расслышал ее ответа, до него донесся только шелест ткани, затем сухо щелкнул рычажок телефона. Кто-то набирал номер. Тома прислушался.

— Алло, Капша? Скажите, господин Мэнеску там? Да, спасибо... Нет, не беспокойте его... Благодарю...

Госпожа Мэнеску положила трубку и вошла в гостиную. Тома встал.

— А-а-а, какой сюрприз! — воскликнула госпожа Мэнеску, словно только в эту минуту узнала, что он здесь. Она сняла свою черную фетровую шляпу и как бы случайно повесила ее на стоячую лампу. В комнате стало полутемно.

— Целую руки, сударыня... Я дожидаюсь господина Мэнеску.

— Противный! А я-то думала, что вы когда-нибудь придете и ко мне! Я ведь так настоятельно напоминала и о месте в общежитии, и о стипендии...

Тома пролепетал:

— Очень благодарен вам, сударыня!

Госпожа Мэнеску подошла к нему, пожалуй, слишком близко, и Тома ощутил запах крепких духов. Морщины у ее глаз были заметны даже под гримом. Кожа на шее выглядела дряблой.

— Слова, одни слова.— Вдруг она запустила пальцы в волосы Тома.— Почему вы так коротко остриглись?

— Не знаю.

Госпожа Мэнеску некоторое время смотрела на него, и он сконфузился. Она села.

— Садитесь.

Сел и Тома, тесно сжав колени.

— Когда вы станете крупным художником, написавшим десятки картин, вы меня забудете,— мелодраматическим тоном объявила она.

Тома поторопился заверить ее в противном:

— Нет, сударыня.

— Да, да. Я знаю. Почему вы сидите так далеко? Придвиньтесь ближе...

Тома придвинулся на сантиметр, потом еще на один. Ему казалось, что она хочет протянуть к нему руку. Он быстро поднялся.

— Мне надо идти, сударыня. Быть может, господин Мэнеску еще задержится, и я не смогу попасть в общежитие.— Видя, что госпожа Мэнеску тоже встала и шагнула к нему, Тома попятился, задел за резную подставку и уронил керамическую вазу.

Ваза с глухим стуком разлетелась вдребезги.

Тома неловко нагнулся и начал собирать черепки, но резкий голос госпожи Мэнеску заставил его поднять глаза.

— Да, поздно... Идите, девушка соберет.— Она обернулась и крикнула в дверь: — Маргарета... Маргарета...

На пороге появилась служанка.

— Да, сударыня...

— Проводи господина Тома... У него больше нет времени ждать.

Тома растерянно вышел.

4

Только уже под вечер Тома сообразил, что ему негде ночевать. Бессознательно он направился к Северному вокзалу. По дороге вспомнил об Ане. Сел в трамвай и поехал на улицу Тимиш. Около офицерского клуба трамваю преградила дорогу огромная толпа. Люди запрудили проезжую часть бульвара, и движение полностью прекратилось. Видно было, как перед клубом мечутся языки пламени.

— Горит! — вскрикнула какая-то женщина.

Тома вышел из трамвая и локтями проложил себе дорогу. На асфальтовом островке Каля-Викторией действительно горела гора бумаги. Кто-то пояснил:

— Жгут книги Садовяну...

Тома всмотрелся в огонь. В самом деле, пылали книги. Вокруг костра, точно дикари, суетились какие-то молодые люди, на их лицах играли красные блики. Стражники, оцепившие это место, казалось, охраняли костер. Тома узнал Врапчу из Оршовы, хотя тот стоял к нему спиной.

Он пробился сквозь толпу. Какой-то зевака, которому не удалось добраться до огня, спросил его, что происходит.

— Костер в стане легионеров.

Тома пошел дальше. Ему начал нравиться его собственный ответ. «Костер в стане легионеров». Это годится и для названия картины. Осмелится кто-нибудь написать подобную картину, черта с два! Эта мысль так увлекла его, что он забыл о своих собственных заботах. В окнах мастерской не было света — значит, Марчиана и барышни Тии сейчас там нет. Он поднялся по гнилым ступенькам и на носках прошел по темному коридору. Перед дверью прислушался, но изнутри не доносилось ни звука. Он нажал на ручку, надеясь, что дверь не заперта, как бывало, когда он жил здесь. Дверь не поддалась, он тихонько постучал. Ответа не последовало. Тома несколько раз ударил ногой в дверь. На минуту ему пришло в голову, что, быть может, Аны тоже нет дома. Но его страх вскоре рассеялся, он услышал шарканье ног и узнал сонный голос Аны:

— Кто там?

— Я, Тома. Открой...

Ана повернула ключ в замке.

— Подожди минутку, я раздета...

Тома подождал, пока ее торопливые шаги не затихли за плюшевой занавеской, и только тогда вошел.

— Извини, что я тебя разбудил, но мне негде ночевать.

Ана спросила из-за занавески:

— Ты больше не в общежитии?

— Да нет, поссорился там с ребятами и пришлось уйти.

Ана промолчала. Тома подошел к софе, уселся, закурил сигарету.

В мастерской было полутемно, на белой матовой стене неясно выделялись картины Марчиана, похожие скорее на неосвещенные витражи. Только в резком запахе льняного масла и сиккатива было что-то знакомое. Показалась Ана, накинувшая на плечи халат барышни Тии.

— А завтра ты вернешься в общежитие?

— Не знаю...— Он хотел было поблагодарить ее за то, что она пустила его в мастерскую, но сказал только: — Не беспокойся, Ана. Ложись спать!

В белом халате Ана казалась невестой, надевшей широкое подвенечное платье. Она поглядела на Тома и вернулась в свою каморку. Тома подождал, пока заскрипит железная кровать, и уверившись, что Ана легла, лег сам. Свет фонаря около дома пробивался сквозь шторы на окне и прямой, белой, словно проведенной кистью, полосой ложился на стену возле водопроводной раковины. Там, где эта полоса разрезала полотно Марчиана, написанное на красном фоне и почему-то названное «Журчанье», казалось, будто горит костер в стане легионеров. Тома подумал: «Такую картину надо написать. Хотя бы сделать набросок. Правда, подобная тема не укладывается в рамки эстетики Мэнеску, но тем не менее это настоящая тема. Собственно говоря, она подходит для Комши. Он, разумеется, был бы в восторге, если бы узнал, что такой случай произвел на меня впечатление. Действительно, это большое свинство — жечь книги Садовяну. Если тебе не нравится, как он пишет, можешь его не читать, но сжечь книгу — преступление. Надо, чтобы на переднем плане были сапоги, заталкивающие книги в огонь. Грубые сапоги, сапоги варваров». Он встал с софы и закурил новую сигарету. «Я мог бы поработать, не разбудив Аны. Она проснется, только если зажечь свет. А если я буду рисовать при свете уличного фонаря?» Он подошел к окну и отдернул шторы. Свет рассеянный, туманный, но достаточно сильный, чтобы можно было работать. Тома поставил против окна мольберт и взял с полки для материалов картон...

— Почему ты не зажигаешь свет? Может быть, ты работаешь в темноте, как они?

— Я не хочу тебя беспокоить. Разве я шумел?

— Нет.

— Почему же ты не спишь?

— Не спится.

Ана зажгла свет и задернула шторы.

— Не надо, чтоб видели с улицы,— объяснила она.

Проведя первые же линии, Тома понял, что он «в ударе». Он позабыл, что находится в мастерской Марчиана, что рядом с ним Ана... Не было ничего — только он сам и белый лист на мольберте.

— Почему ты так хмуришься, когда рисуешь?

— Хмурюсь?

— Да, словно сердишься.

— И ты боишься?

— Боюсь? Чего?

— Что я еще раз захочу тебя нарисовать.

Ана, невольно стянув потуже на груди халат, попятилась. Тома улыбнулся и продолжал:

— Да, да... Я хочу тебя нарисовать. Вот такую, как ты сейчас, в запахнутом халате... Разумеется, если ты не хочешь спать... А этот готов,— и он указал на картон, стоявший на мольберте.

Ана подала ему другой картон.

— Только не нарисуй меня с одним глазом.

Она сказала это шутливо, но без улыбки.

— Подойди ближе и повернись налево. Нет, меньше... Скажи, почему бы тебе не остричь волосы?

— Чтобы люди подумали, будто я непорядочная?

— Не двигайся! Тебе больше пошли бы короткие волосы...— Он долго смотрел на нее.— А ведь у тебя веснушки...

— Только вот здесь.— Она показала на переносицу.— Почему ты не рисуешь?

— Смотрю на тебя.

— Не смотри на меня так.

— Почему?

— Не знаю. Если ты будешь так смотреть, я лучше пойду спать.

— Опять боишься?

— Немножко.

— Если бы ты не боялась, я сказал бы тебе, что у тебя красивые глаза... Ну, сиди спокойно, я тебя не трону.

Он снова принялся за рисунок.

Наконец он лег и уснул. Его разбудил Марчиан. Тома, спавший одетым, вскочил как ошпаренный.

— Что вам здесь надо?

Теперь Тома пожалел, что послушался Аны и, окончив на заре работу, не убрал картоны с мольберта.

— Вы еще не переехали в общежитие?

— Переехал. Но у меня там вышел конфликт.

Марчиан окинул его презрительным взглядом.

— По мнению Марчиана, у художника не должно быть конфликтов.— Он заложил руки за спину, как обычно, когда держал речь, но в ту же минуту заметил портрет Аны. Марчиан осмотрел его — внимательнее, чем требовалось.— Удачный рисунок. Почти фотография... После окончания института вы сможете поступить в студию «Джульетта»... Реализм системы Агфа-колор. Марчиан полагает, что...

— Что искусство должно быть хотя бы абстрактно, если не абсурдно.

Марчиан встрепенулся: от Тома он такого отпора не ожидал. И ответил, как всегда, спокойно:

— Совершенно верно, в противоположность фотографиям, которые передают в точности...

— Но в которые художник вносит и что-то от себя... Например, странную улыбку Джоконды...

— По мнению Марчиана, вы еще слишком молоды, и ваши ответы — ответы школьника... Знайте, юноша, что все эти улыбки, о которых вы говорите, уже давно изображены... Современному художнику, модернисту, ультрамодернисту не дозволено повторяться. Уж не полагаете ли вы, что улыбка эволюционировала?

— Да, я видел, как улыбался легионер, который жег книги перед офицерским клубом. Это была не улыбка, а злобный оскал.

— Это звучит как коммунистическая листовка... По мнению Марчиана, вы недостаточно внимательно прочитали объявление у входа. Концепции оставляйте в коридоре.

— Для того чтобы не стеснить чем-нибудь развитие фашизма.

Марчиан разинул рот, да Тома и сам удивился своему ответу. Он даже подосадовал, что заговорил словами Комши. Разинутый рот придавал Марчиану шутовской вид. Тома улыбнулся. Марчиан рассвирепел. Он подошел к двери и распахнул ее настежь:

— Спор закончен... Полагаю, вам надо уходить, а то опоздаете на лекции.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

I

Тома встретил ассистента по анатомии около самого института.

— Ну, камрад Войкан, как вы решили? Хотите заполнить бланк о вступлении?

— Нет.

Ассистент как-то театрально нахмурился и сказал, не глядя на Тома:

— Вам известно: кто не с нами, тот против нас!

— Этого я не знал. Но уверяю вас, господин ассистент, что я представляю собой исключение. Я люблю быть один.

— Но быть одному невозможно. Вскоре вся Европа поднимется на священную войну, и нельзя стоять в стороне... Вы не чувствуете духа времени... Подумайте еще раз о том, что я вам сказал.

— Это звучит как ультиматум.

— Понимайте, как вам угодно... Очень сожалею, мне пора на лекцию... Но я уверен, что в конце концов вы сумеете выбрать.

«Может, даже лучше, что мы расстались вовремя,— подумал Тома.— Кто знает, что я ему наговорил бы. Из общежития пришлось уйти по глупости, покинуть мастерскую Марчиана — тоже по глупости. Тем более, что Марчиан не опасен, он человек пассивный. Странное дело, в этом мире искусства все занимаются политикой: Берческу, Комша, ассистент, Вранча... Нет, Вранча политикой не занимается, он просто хулиган... Разве у него есть капля ума? Там, в Оршове, я даже и не раскусил его толком, он был довольно бесцветен, а может, мне только так казалось. Он — исполнительный идиот. Ему самому в голову не пришло бы жечь книги Садовяну... Приказали — вот и... Надо как-нибудь к нему присмотреться, выпытать, что он думает о живописи, о жизни...»

В классе Тома уселся подле Вранчи. Тот улыбнулся ему:

— Хорошо, что ты перешел со скамьи Комши. Ребята тебя заприметили.

— Какие ребята?

— Не будь дураком... Ребята... Комша — коммунист, неужели ты не видишь, как он изолирован? Его бойкотируют. Знаешь, я возражал против того, чтобы приглашать тебя на собрание в Оборе. Там поют и болтают, только и всего. Если хочешь, я поведу тебя кое-куда — ты рот разинешь... Вчера мне тоже дали поручение...

— Поручение?

— И еще какое! Рискованное! Правда, обо всем было договорено с полицией. Но все-таки риск был... Нам могли всыпать прохожие... Ты читал газеты?

— Газет не читаю.

— Жаль... Мы сожгли книги одного писателя...

Тома сделал невинную физиономию.

— Какого писателя?

— Садовяну... Того самого толстяка...

— А что вам до него?

— Он против нас. Мы сожгли все его книжки... Первоклассный вышел спектакль.

— Что же ты за это получаешь?

— Как что? Мне сообщили от имени Симы *...

— А это что значит?

— Ну, ты так и остался провинциалом... Это значит, что я на виду... Пойдешь со мной после обеда?

— Куда?

— Опять предстоит дело... На юридическом будет говорить один... Он ездил в Германию и собирается выступить против гитлеровцев...

— Да как же это возможно?

— Э, ты не разбираешься в политике... Ему позволили, потому что он человек известный да к тому же пройдоха. Он не говорит прямо. Делает доклад о законодательстве, черт его знает о чем еще, ходит вокруг да около да и всадит что-нибудь против немцев. Если хочешь, давай встретимся после обеда, в четыре часа, в «Тик-Так».

В первом же перерыве Комша разыскал Тома.

— Подписал с ними пакт?

— Думаешь, Тома Войкан продажный?

— Не знаю. Поэтому и спросил. Было бы жаль в один прекрасный день увидеть, как ты жжешь книги перед офицерским клубом.

— Значит, вчера вечером ты был там?

— Да, но, к сожалению, пришел слишком поздно.

— И я был там.

— Смотрел, как горит?

— Смотрел и ужасался. А ночью сделал рисунок и назвал его «Костер в стане легионеров».

— Ты потрясающий человек!

— А ты восторженный...

— Ну, теперь тебе меня оскорбить не удастся...

2

День был ясный, безоблачный, дул теплый ветерок. Тома спустился по Лутеранэ, за дворцом, и через Брезойяну вышел на бульвар. Около кинотеатров толпилось много народу, в «Трианоне» шел «Альказар», в «Фемине» — «Милый друг» с Вилли Форстом и Ольгой Чеховой. Красивые, элегантные женщины благоухали духами «Ша-Нуар», инвалиды подбирали окурки, плакаты на трамваях призывали всех одеваться в «Чехословаке» **.

Вранча поджидал его в «Тик-Так». Когда Тома сел рядом, он положил ему руку на локоть.

— Хорошо, что ты пришел. Я так и думал, что ты — румын.

В полутьме ресторана его чуть воспаленные глаза были похожи на глаза барсука. Тома спросил себя, зачем он сюда пришел, но Вранча не дал ему времени подыскать оправдание.

— В пять надо быть на юридическом. Остается еще час. Деньги у тебя есть?

— Нет.

— Не беда.— Вранча заплатил за пиво, взял Тома под руку, и они вышли на улицу.— Ты смотрел «Альказар»?

— Нет.

— Жаль. Роскошный фильм. Непременно посмотри. Зайдем домой добыть деньжат.

---

* Хория Сима — один из главарей фашистской партии «Железная гвардия».

** Магазин готового платья в Бухаресте.

Вранча почему-то засмеялся, и Тома с удивлением подумал: «Отчего я не даю ему в зубы?» Он высвободил свой локоть и сунул руки в карманы.

— На юридическом, верно, будет большой шум. Ребята приготовили хорошую штуку. Ты никогда не был у меня дома?

— Нет.

— Я живу вот здесь, на пятом этаже.— Он показал на высокий жилой дом, принадлежащий страховому обществу «Адриатика».— Подниматься надо пешком, лифт испорчен. На девятом живут какие-то ничтожества, и швейцар выключил мотор. Пусть ходят пешком. Они и пикнуть не посмеют. Швейцар раньше работал шофером на грузовике, у него ручищи с лопату.

Когда они добрались до пятого этажа, Вранча задыхался и побагровел, точно индюк. Они вошли в слишком просторную круглую гостиную. У окна в кожаном кресле сидела престарелая дама, а перед ней — пухленькая маникюрша с рыжеватыми волосами. Устроившись в удобной позе, она как будто выливалась за края табурета.

— У тебя нет сегодня занятий, Никулае? — спросила старуха.

— Нет.— Вранча подошел поближе и ущипнул маникюршу. Та улыбнулась ему, но с упреком указала глазами на Тома, словно желая сказать: «При чужом?!»

Вранча опять ущипнул ее и сделал Тома знак следовать за ним. Они вошли в кабинет, обставленный старомодной массивной мебелью, на окнах висели тяжелые бархатные занавеси.

— Это комната старика,— объяснил Вранча.— Сейчас он в суде. У него какие-то тяжбы. Посиди здесь, пока я что-нибудь обтяпаю у старухи.— Он вышел в соседнюю комнату, и Тома следил за ним через приотворенную дверь.

Вранча, поднявшись на цыпочки, пошарил на шкафу, отыскал ключ и тихонько открыл дверцу. Взял пару дамских туфель и завернул их в старомодное платье из тафты. Тщательно запер шкаф, положил ключ на место и вернулся к Тома.

— Ты ее щипал, а если бы увидела старуха? — спросил Тома для того, чтобы не пришлось говорить о краже.

— Она слепая, где ей увидеть... Одному дьяволу известно, почему она никак не умрет! Ей под восемьдесят, ослепла, а каждую неделю делает себе маникюр. И вдобавок все имущество на ее имя. Я взял кое-что из ее вещей и продам их. Сегодня вечером она начнет обшаривать шкаф, и у нее сделается приступ. Может, подохнет.— Он засмеялся.— До чего нелепая старуха, каждый вечер роется в шкафу, не сперли ли у нее чего. Как будто ей еще что-нибудь нужно! Еле таскается, вонючка... У нее есть акции одного доходного дома.

Они пересекли площадь Сфынту-Георге и вышли на улицу Лазэр.

— Господин Наум! Алло, господин Наум!

Из темной лавки появился старый еврей с баками и длинной неопрятной бородой.

— А-а-а, барчук Вранча... Надеюсь, вы не принесли мне барынино старье...

— Нет, принес. Последний раз, господин Наум... У меня крайняя нужда в деньгах...

Старик развернул пакет и поморщился:

— Кто же покупает такое...

— Не будем торговаться.— Тома это начинало забавлять, он впервые попал на улицу Лазэр.— Назначьте цену... Скорее, я спешу.

Он кивнул в сторону Тома и что-то шепнул старику. Тома с трудом разобрал, что его назвали комиссаром.

Еврей поднял четыре пальца.

— Давайте же, давайте,— приказал Вранча.

Старик вынул из потайного кармана в кафтане четыре монеты по двадцать лей.

— И, пожалуйста, не приносите мне больше вещей барыни... Никто их не покупает... Посмотрите сами,— и он показал на проволоку, где висело в ряд множество вышедших из моды шелковых платьев.— Шесть месяцев их держу. Даже даром не сбудешь...

Вранча взял деньги и сделал знак Тома. По дороге он сознался, что выдал его за полицейского комиссара, желая напугать торговца.

— Иначе пришлось бы торговаться с ним до седьмого пота.

— И ты оторвал меня от занятий для того, чтобы я изображал комиссара?

— Нет. Вот сейчас мы пойдем на спектакль.

На площади Вранча подозвал пролетку.

— Ты хочешь нанять извозчика? — удивился Тома. Ему казалось нелепым так долго добывать деньги, а потом тратить их столь легкомысленно.

— Ничего ты в этом не понимаешь. Румынский студент ездит в пролетке!— Вранча плюхнулся на ковровое сиденье.— Сколько просишь, дедушка?

— Двадцать лей.

Тома тоже сел. Извозчик стегнул лошадей и все время, пока пролетка ехала, говорил им что-то.

— Скажи, Войкан, госпожа Крачун предлагала тебе лечь к ней в постель?

— Нет.

— Удивляюсь, обычно этого не мог избежать ни один из учеников. Она, правда, была жирновата, но поиграть с ней стоило. Ну вот мы и прибыли.

В здании юридического факультета им преградил дорогу швейцар. Вранча повысил голос:

— Мы из Школы изящных искусств.

— А-а-а, камрад Вранча... Что ж вы сразу не сказали? Вас только двое?

— Так мы договорились с камрадом Стелианом... В какой аудитории?

— Во второй «Б», наверху.

Аудитория была битком набита. Студенты разных возрастов сидели, положив локти на стол и вытянув ноги, точно находились в трактире. Вранча и Тома нашли себе места в глубине зала. С Врачей многие здоровались.

— Мы пришли вовремя,— взглянув на часы, заявил Вранча.— Еще пять минут.

В первом ряду слушателей Тома заметил Комшу. Стало быть, налицо оба лагеря. Ему не хотелось, чтобы Комша видел его рядом с Врачей. И как только Вранча заспорил с кем-то, он ушел в самый последний ряд.

— Сиди там,— одобрил Вранча,— оттуда хорошо видно.

Ровно в пять вошел пожилой человек в черном костюме, с большим желтым портфелем. Некоторые студенты встретили его хлопками, другие из уважения встали.

— Кто это? — спросил Тома своего соседа.

— Стоянович, с кафедры римского права. Он, кажется, проректор, или что-то в этом роде...

Профессор римского права вынул из портфеля груду бумаг, полистал их, надел очки в тонкой металлической оправе и обратился к аудитории:

— Господа студенты, по линии Ассоциации румынских студентов у нас сегодня состоится доклад под названием: «Конституция, законы, демократия».— Он говорил медленно, тягуче, усталым, глухим голосом, и Тома приготовился выслушать нечто скучное, длинное, неинтересное.

В ту минуту, когда докладчик напомнил, что в фашистской Германии отменены многие параграфы законодательства о труде, тощий лопоухий студент в синем костюме в полоску встал и обратился к профессору:

— Вам не кажется, что чем-то воняет?

Профессор растерялся, потом, возмутившись, что его прервали, с угрозой двинулся к студенту. Тогда в другом конце зала встал еще один студент и произнес низким баритоном:

— Да, да. Как будто чем-то воняет...

Профессор ничего не понимал. Он вытаращил глаза и невольно начал принюхиваться.

— Воняет коммунистической пропагандой!— крикнул второй студент.

— Откройте окна!

— Пусть откроют окна! — закричал Вранча, и Тома обрадовался, что ушел от него.

Студент в синем костюме подошел к профессору и толкнул его:

— Говорите нам о достижениях в Германии! О новом порядке...

Комша вскочил, бросился на студента в синем костюме и, схватив его за отвороты пиджака, швырнул между скамьями. Кое-кто начал аплодировать, ободряя Комшу. Шум возрастал, кто-то распахнул окна. Профессор оказался загнанным в угол, а Комшу, несмотря на попытки некоторых студентов защитить его, толкнули и подняли вверх. Тома увидел Комшу на подоконнике, увидел избивавшие его руки, потом с громким «раз-два» Комшу сбросили вниз. Послышался душераздирающий крик, в аудитории кто-то засмеялся, а друзья Комши, остолбенев, глядели друг на друга.

— Вон их! — во все горло заорал Вранча.

Профессор в ужасе выскочил из класса, и долго слышны были его шаги — он бегал с одного конца коридора на другой и не мог найти ведущую на первый этаж лестницу.

— Гвардия, Капитан!

Импровизированный хор грянул марш смерти. Сторонники Комши начали свистеть. Тома все казалось неправдоподобным, бредовым. Он вышел в коридор и спустился с лестницы. Перед домом, возле проволочной загородки, толпа любопытных пыталась прорвать полицейский кордон. На мостовой неизвестно откуда взявшаяся группа опрокинула машину скорой помощи, клаксон машины гудел непрерывно.

Толстый, обливающийся потом комиссар все свистел в свой свисток, но подчиненные окружили комиссара, как стеной, и он не мог ничего сделать. Оказавшись пригвожденным к месту и поняв это, он сунул свисток в карман и дал приказ полицейским разогнать толпу. Черный мундир подчеркивал бледность его испуганного лица.

Тома очнулся только тогда, когда дошел до околицы села Милитарь. Он то и дело оглядывался через плечо: не преследуют ли его, ему мерещилось, что его шаги звучат громко, точно удары в барабан, а люди следят за ним из окон. Хотелось крикнуть изо всех сил: «Я не виноват!» — а если он на секунду зажмуривался, ему казалось, что его швырнули в пустоту, и что-то внутри поднималось к горлу и душило.

Он сел на скамью перед крестьянским домом и уставился на глупеньких птенцов цесарки, покачивавшихся на тоненьких желтых ножках.

Позднее, когда Тома вернулся в город, перед зданием юридического факультета все было, как всегда. Стояла тишина. Влюбленные парочки, обнявшись, гуляли в парке под кленами, перешептываясь и вздрагивая при каждом ругательстве, доносившемся с извозчичьей

стоянки. Толстые, безбородые, краснолицые извозчики шутили и визгливо смеялись.

Ночь Тома провел в зале ожидания Северного вокзала. Было тесно, в углу новобранцы пели солдатский марш, задремать не удалось. Утром он, измученный, больше по привычке или, быть может, из любопытства направился в институт и, поднимаясь по мраморной лестнице, узнал, что на втором этаже работает следственная комиссия. Он ускорил шаги. Ведь он — свидетель, смерть Комши не может остаться безнаказанной.

В комнате комиссии находился один-единственный человек — это был ассистент по анатомии. Он сидел, откинувшись на спинку кожаного кресла, и грыз химический карандаш. Ассистент измазал себе губы и щеки, казалось, что на лице у него высыпали прыщи. Словно впервые увидя Тома, он спросил:

— Имя?

— Тома Войкан.

Ассистент занес его имя в тетрадь. Записав и поставив последнюю точку, он поднял на него глаза:

— Вы — протеже господина Мэнеску...

Тома не знал, что и думать. Вчера ассистент перед зданием института предлагал ему записаться в легионеры, а сейчас говорит, как совершенно незнакомый человек, как настоящий следователь. Тома промолчал. Впрочем, он не понял, является ли фраза ассистента вопросом или утверждением.

Ассистент продолжал:

— Я слышал, что у вас произошел инцидент в общежитии. Вы защищали коммуниста или что-то в этом роде...

— Я думал, что следствие ведется из-за случая с Комшей...

— Всему свое время. Вы были приятелем коммуниста Комши, который покончил самоубийством на юридическом факультете?

— Он не покончил самоубийством!

— Прошу отвечать на вопросы! — взвизгнул ассистент.— Вы были его приятелем?

— Да.

— Запомните то, что я вам скажу: Комша покончил с собой. Знайте, что это очень важно. Покончил с собой! Но мертвые мертвы, а живые живы. Мы посмотрим сквозь пальцы на вашу дружбу с ним. Мы справлялись о вас: вы румын, вы честны, и если вы признаете, что совершили ошибку, вступившись за того студента в общежитии, мы поможем вам туда вернуться... Само собой разумеется, на его место... Вам нужно будет его выгнать. Это явится также проверкой вашей позиции... И сознаюсь, все это делается потому, что вас считают очень талантливым...

Видя, что Тома молчит, он попытался поторопить его:

— Ну, каков же ваш ответ?

— Вот таков.

И Тома ударил ассистента кулаком в переносицу. Тот кубарем скатился с кожаного кресла, и Тома уже из коридора услышал его голос:

— Ты будешь исключен... Исключен...

3

Он бесцельно бродил по городу, а под вечер пошел к Мэнеску. Служанка не пустила его дальше двери.

— Я узнаю, может ли маэстро вас принять.

Тома ждал не менее десяти минут. Наконец критик вышел. Он был в том же самом халате, как и тогда, когда Тома впервые приехал к нему.

— Сегодня не приемный день, юноша... Все-таки, если что-нибудь очень важное, говорите.

Он стоял в дверях, не проявляя никакого желания пригласить Тома в комнаты.

— Если вы не принимаете, не надо... Я приду в другой раз.

Тома хотел было уйти, но критик окликнул его:

— Зайдите, раз уж вам открыли. Входите! — Он распахнул дверь и провел Тома в гостиную.

Тома остановился посреди комнаты, оперся на спинку кожаного кресла и подождал, пока критик усядется за свой рабочий стол — нечто вроде резного секретера с позолоченными ножками и множеством ящичков, предназначенных для карточек.

— Меня выгнали из института.

Он думал, что Мэнеску будет ошеломлен этой вестью. Но критик продолжал смотреть на него со скучающим видом человека, которому помешали. Тома продолжал:

— Меня выгнали потому, что я не хотел записаться в легионеры.

— Вы поступили очень глупо, юноша... Для артиста не имеет значения, лежит ли у него в кармане доказательство принадлежности к их партии. Как художник вы должны наладить отношения с «гвардией», иначе вам трудно придется. И кроме того... почему вас волнует, состоите вы в легионе или нет?

— Хорошо, но ведь они слабоумные!

— Ну и что же? Для артиста весь мир может являться сборищем слабоумных. Артист живет самим собой и для себя... Да и песни их не так уж плохи. Я говорил с одним музыкантом... Знаменитостью... Он сказал, что их гимн, с технической точки зрения, превосходен...

— Это все, что вы можете мне сказать?

— Да, юноша... Если хотите, я буду откровенен... Вот что: для молодого таланта продаваться не позор. Ставить самому себе палки в колеса — вот это преступление. Очень плохо, когда принципы становятся препятствием на пути к совершенству... Понятно?

— Если я понял правильно, проституция не является постыдной?

— Постыдна, когда она цель. Но если она только средство, то даже похвальна...

— Вы можете сказать мне, где граница между средством и целью?

Мэнеску долго смотрел на него, и у Тома даже создалось впечатление, что тот обдумывает ответ, но потом он понял, что ошибся. Мэнеску подошел к стене и поправил картину. Тома не отставал.

— Кто же установит, что в данном случае проституция является средством, а не целью?

— Талант, юноша, только талант... Чувствуете ли вы в себе тот огромный талант, который позволяет идти на компромисс?

— Думаю, что нет... А может быть, и да — не знаю. Извините, что побеспокоил.

Критик проводил его до двери.

Тщетно Тома старался обдумать свой спор с Мэнеску, ему не удавалось сосредоточиться. Он шел по улице вразвалку, словно только сейчас покинул трактир. По зрелом размышлении он решил поужинать в «Модерне». Тома знал, что встретит там Берческу, но принуждал себя думать, что идет туда не ради этого. Войдя в ресторан, он даже не взглянул в тот угол, где всегда оставляли столик для профессора. Лишь позднее, съев жаркое, он спросил себя: «Неужели он меня не заметил?» В глубине души Тома ждал, что Берческу найдет его сам и не получится так, будто он пришел сюда нарочно. Потом он обозлился на себя за это ребячество. Взглянул на столик Берческу. Там было пусто. В ресторане вообще было мало народа. Для того, чтобы не уходить, Тома за-

казал бутылку вина. В конце концов он сознался себе, что действительно ждет Берческу. В сущности, в этом нет ничего бесчестного. Быть может, Берческу даст ему совет, которому стоило бы последовать. Ведь и опубликовать тот рисунок в «Свободной мысли» побудил его тоже он. Уже было за полночь, а Берческу не появлялся. Расстроенный Тома подозвал кельнера и спросил о профессоре.

— В последнее время он приходит только после полуночи.

Тома расплатился и пошел в мастерскую Марчиана. У входа он зажег спичку, чтобы не стукнуться о какой-нибудь предмет. И обнаружил на двери записочку: «Стоящие здесь два картона — ваши. Мне было бы чрезвычайно приятно больше не встречать вас в мастерской. Марчиан».

Тут же были прислонены к двери два свернутые в трубку картона: портрет Аны и другой — «Костер в стане легионеров». Он взял их под мышку и направился в город, в редакцию «Свободной мысли». Берческу он нашел за столом, заваленным грудами бумаг.

— О-о-о, кто меня навестил... У вас есть время?

— Да, господин профессор.

— Тогда садитесь вот сюда и выправьте эти гранки. Мне еще надо написать статейку...

Тома уселся за рабочий стол и выправил статью о выставке некоего чудака — художника Флоройу, продемонстрировавшего мазню в духе Сальвадора Дали.

— Я не видел вас сегодня на лекции. Что-нибудь случилось?

— Да. Меня исключили за то, что я отказался записаться в легионеры.

Берческу уставился куда-то в пространство. После долгого молчания сказал:

— Превосходно... Значит, я не потерял времени даром. Я отчасти опасался за твою судьбу. Не был уверен, что тебя не совратят.

— Стало быть, теперь вы за мою судьбу не опасаетесь... А вам известно, что завтра мне нечего будет есть?

— Это лучше, чем есть, надев зеленую рубашку. Закончу статью и посмотрим, что можно сделать. А что это за картоны?

— Пустяки... Вчера ночью у меня была бессоница, и я сделал кое-какие наброски...

Берческу с любопытством взял картоны, развернул их, затем процедил сквозь зубы:

— Этот интересен... Как он называется?

— «Костер в стане легионеров».

— Очень, очень хорошо... Подожди-ка меня минутку.

Он взял картоны и вышел из комнаты. Оставшись один, Тома подошел к окну и выглянул на улицу. Шофер ругался с двумя офицерами, вероятно, они не хотели платить. Через несколько минут вернулся Берческу в сопровождении какого-то коротко остриженного толстяка.

— Согласился бы ты опубликовать тот рисунок, с сапогами? — спросил Берческу.

— Вы полагаете, он этого заслуживает?

— Да,— ответил толстяк.— Заслуживает.— У него был хриплый бас.— Но я хотел бы вас предупредить. Вы знаете, что означает публикация этого рисунка?

Тома посмотрел на Берческу, желая перехватить его взгляд. Лампочка под потолком бросала в глаза Берческу два отблеска, похожих на искорки.

— Да, знаю. Это означает некое обязательство, означает, что я занял определенную позицию.— Берческу чуть заметно улыбнулся. Тома продолжал: — Я очень хотел бы, чтобы вы опубликовали мой рисунок.

Тома был уверен, что они обрадуются. Однако ни толстяк, ни Берческу ни единым знаком не выдали, что они довольны. Только когда молчание стало уже слишком тягостным, Берческу спросил Тома:

— Ты знал Комшу?

— Да. Именно поэтому!..

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

I

Вот уже две недели как Тома работал экспедитором в типографии газеты «Свободная мысль». Он связывал в пачки газеты, отправляемые в провинцию, упаковывал их, отвозил тюки на почту и проверял сведения распространителей. Работа начиналась в три часа ночи и заканчивалась к обеду. С обеда до трех часов ночи он был свободен. Однажды в послеобеденное время Тома набрел на слепого нищего, у которого вместо правой руки был примитивный сосновый протез. Протез, поддерживаемый белой палкой, был протянут к прохожим. Сначала Тома бросился в глаза только протез, и эта испачканная деревянная рука произвела на него огромное впечатление. Нищий был одет в шинель времен мировой войны, на груди у него поблескивали четыре начищенные медали.

Тома вошел в ближайший писчебумажный магазин, купил картон и, к удивлению продавцов, тут же разорвал его на четыре части. На улице он нашел подходящий угол и попытался сделать набросок с нищего. Но перед ним вереницей шли прохожие, работать было трудно, и Тома решил пригласить нищего позировать ему. Он подошел и спросил:

— Как идут дела, дедушка?

Нищий вздрогнул. Здоровой рукой он начал шарить в карманах.

— У меня есть разрешение, и налог я уплатил.

— Я не полицейский.

Тома стал рядом с ним.

— Я хотел бы, чтобы как-нибудь вечером мы с вами вместе поужинали.

— Выходит, вы меня приглашаете... А что я должен за это сделать? Ведь не зовете же вы меня даром.

— Я художник. И хотел бы вас нарисовать. Когда у вас найдется время...

— Если еды будет вдоволь, то хоть сегодня вечером...

Тома попросил Берческу, чтобы в эту ночь вместо него в экспедиции поработал кто-нибудь другой, и вечером отправился за нищим.

— Не думал, что вы сдержите слово,— сказал ему тот.— Я хорошо знаю людей. В ту минуту, когда они меня видят, их охватывает чувство глубокого сострадания, они готовы рубашку с себя снять. Но чем сильнее это чувство, тем быстрее оно исчезает. Стоит им пройти мимо, как они уже вспоминают о собственных делах. Может, скажут: «Ах, бедняга! Как ужасно быть слепым!» — и идут своей дорогой. Но возможно, что это хорошо. Я сказал бы, что печаль тяжелее, чем вечный мрак.

Тома не знал, что ответить. Он взял нищего под руку и пошел на улицу Тимиш. Больше двух недель он не видел Аны. Теперь, идя к ней, он чувствовал себя виноватым. По дороге нищий говорил, не умолкая:

— До того как меня призвали в тысяча девятьсот шестнадцатом, я был часовщиком. Странно, из всего, что я видел, когда был здоров, в памяти остались только механизмы, шестеренки часов. Может быть, потому, что я всегда рассматривал их в лупу. Теперь я не могу представить себе ни цвета — разве только иногда, во сне, ни людские лица. Зато постоянно вижу, как передо мной вращаются шестеренки всех раз-

меров. Они вертятся, цепляются, а когда я слышу сильный шум, то вижу воронки от снарядов под Мэрэшешть *.

«Как меня примет Ана?» Тома хотелось поскорее прийти, увидеть ее лицо, веселые глаза, шею, плечи. Он досадовал, что не зашел к ней, ведь она — единственное существо, к которому он привязан.

— Люди по-своему не злы... Но их личные занятия, их интересы сталкиваются с интересами других, а отсюда — зависть и непонимание. Если бы не существовало мелких ежедневных забот, погони за хлебом, люди гораздо больше уважали бы друг друга, и жизнь стала бы лучше. Я вам наскучил?

— Нет,— очнулся Тома.

— Видите ли, когда такой человек, как я, ничем не занят, не устает от всего того, что он всегда и повсюду видит, оказывается, что у него очень много времени для размышлений. Нет, нет, я не считаю себя умным. Но мне кажется, что я имел достаточно времени для того, чтобы думать. И самое важное, по-моему, чтобы люди были освобождены от заботы о завтрашнем дне. Из-за этих забот человек теряет время, тратит силы — и все лишь для того, чтобы существовать. Но человек создан не для того, чтобы только обеспечивать свое существование... Он создан для того, чтобы создавать...

«Ана сейчас занята уборкой. Сегодня четверг, сегодня она мыла пол, и в мастерской, кроме запаха льняного масла, пахнет еще и щелоком. Может быть, даже не щелоком, а чистотой. Странно, но и чистота имеет запах...»

Откуда-то доносилась передаваемая по радио мелодия. Баритон пел, тремолируя:

«Погас на улице фонарь...»

В коридоре было пусто, словно мастерская отсюда переехала. К удивлению Тома, дверь оказалась незапертой.

— Ана, Ана!

Из-за занавески донесся ее голос:

— Сейчас иду.

Тома зажег свет и был ошеломлен, увидев, что мастерская совершенно пуста. Все картины Марчиана исчезли со стен, и помещение смахивало на амбар.

— Что случилось, Ана?

Из-за занавески появилась Ана, одетая словно в воскресенье. На ней была широкая плиссированная юбка и белая бумажная блузка.

— Как, ты не знаешь? Господин Марчиан и барышня Тиа открыли выставку. Они сюда больше и не заходят.

— Ты собралась куда-нибудь, Ана? Если у тебя есть дело, иди... Я хотел бы этой ночью поработать. Хочу нарисовать вот его.— Тома указал на нищего.

— Добрый вечер, сударыня...

— Я не собираюсь уходить. А ты изменился за то время, что я тебя не видела... Хотя прошло всего шестнадцать дней...

— Ты считала дни, Ана...

Ана покраснела и чем-то занялась для того, чтобы не отвечать. Она принесла стул и пригласила нищего сесть, спросила Тома, понадобится ли мольберт, и, не дожидаясь ответа, притащила его. Принесла и картон.

— Если хочешь лечь спать, Ана...

— А нельзя мне побыть здесь?

— Можно, но мне не хотелось бы, чтобы из-за меня...

---

* Место, где в 1917 году немецкие войска нанесли сильное поражение румынской армии.

— Я целый день ничего не делаю...

— Вы любите друг друга,— промолвил нищий.

— Нет,— ответили они вместе и переглянулись.

Тома обнял ее за плечи. Ана молчала, потупясь. Тома зажал ее лицо в ладонях и заглянул в глаза.

— Ты, веснушчатая... Тебе надо бы остричь волосы.

— А тебе надо бы сменить рубашку. Эта грязновата...

— У меня нет другой.

— Скинь ее, я постираю...

— Ну вот, еще на это будешь тратить время...

— Мне все равно делать нечего... И приятно о тебе заботиться...

Тома снял рубашку, облачился в халат Марчиана, усадил нищего и принялся за работу. Время от времени он взглядывал на Ану — она поставила на электрическую плитку таз с водой, подошла к мольберту и смотрела на белый картон, на котором переплетались нанесенные Тома линии.

— Я слышала, что ты уже не учишься в институте...

— Не учусь... И выставки, как у господина Марчиана, у меня никогда не будет.

— Почему?.. Если хочешь, то надо хотеть всей душой. Когда я была маленькая и мне чего-нибудь хотелось, я все время говорила себе: хочу, хочу, хочу...

— Да, но я уже не маленький... Вам удобно?

— Да, очень удобно,— ответил нищий.

К полуночи Тома закончил портрет и назвал его «Герой Мэрэшешть».

Проводив нищего, он вернулся в мастерскую. Ана как раз гладила его рубашку.

— Спасибо, Ана. Ты добрая девушка...

— Добрая и глупая.

— Это почему?

— Потому, что когда ты хотел меня рисовать, я накричала на тебя. Я побоялась.

— А теперь не побоишься?

— Нет.

— Даже если я опять захочу нарисовать тебя... без халата?

— Даже.— Она тяжело дышала, грудь ее поднималась под белой блузкой.

— Я много раз думал о тебе, Ана... В один прекрасный день я тебя нарисую.

Он поцеловал ее в щеку, попытался найти ее губы. Ана уклонилась.

2

Внимательно рассмотрев картон «Герой Мэрэшешть», Берческу сказал:

— Очень удачно... Знаешь, сколько угрожающих писем получили мы за «Костер в стане легионеров»? Вот посмотри.— Он показал на пачку писем.— Это означает, что ты попал прямо в цель. Я говорил в редакции... И полагаю, что хорошо бы тебе устроить выставку.

— Выставку? Но что же выставлять? И где?

— Выставку рисунков. Выставку исключенного студента. Думаю, что это вызвало бы сенсацию. Есть у тебя еще что-нибудь, кроме этого и «сапог»?

— Нет.

— Сделай. За две недели можно кое-что набрать. Работай день и ночь.

— А что же мне рисовать?

— Как что? Людей. Портреты. В сущности, ты портретист. Покажи голодных, искалеченных, чтобы люди вспомнили об ужасах войны. И лица рабочих... Вот что тебе надо делать! Я поговорю кое с кем на «Малакса» *, ты пойдешь туда. И я тебе дам несколько адресов. Нарисуй жилище токаря-пенсионера... Он тридцать лет проработал у станка, а в доме у него пусто. И назови: «Пенсионер». Нет, лучше подпиши: «Счастливый закат дней» или «Рай румынского рабочего». Да что-нибудь в этом роде, посильнее. А знаешь, где ты устроишь выставку? В подворотне, где-нибудь в предместье. Вот это — правильное решение.

Берческу воодушевился, словно произносил речь. Он и на лекциях говорил очень горячо, но таким взволнованным Тома не видел его никогда.

— Да, сделай выставку о рабочих для рабочих. Они понимают рисунки. Пусть они узнают самих себя, пусть увидят, что их ждет через несколько лет, если все будет идти так, как идет сейчас...

Благодаря Берческу Тома получил от редакции аванс и несколько адресов. Он был в смятении — готовилась его первая выставка. Вооружившись карандашами и бумагой, он странствовал по кварталам Стяуа, Пантелимон, Гривица, по окраине, где находились бойни. Три недели подряд он трудился без отдыха. Иногда к нему заходил Берческу, ободрял его. Днем Тома делал наброски, а вечером у Аны работал над вариантами, композициями. Результатом первых семи дней явилось четыре рисунка. Один изображал ребенка, роющегося в мусорном ящике. Над этим рисунком Тома работал больше всего. Сделав четыре или пять вариантов, он уже хотел бросить, потому что рисунок казался ему преувеличенно тенденциозным. И наконец нашел выход. Он увеличил ящик — тогда шаривший там маленький ребенок должен был подняться на носки, чтобы дотянуться до дна, и таким образом не мог даже как следует увидеть то, что искал. Этот рисунок очень понравился Ане. На втором картоне старуха толкала тележку с дровами. Третьим был портрет пожилого рабочего, во взгляде которого читались презрение и ненависть. Это был, без сомнения, наиболее удачный рисунок из всех, до сих пор сделанных Тома. На четвертом картоне была нарисована со спины прачка, нагнувшаяся над корытом, в ее позе чувствовалась усталость и, быть может, даже больше, чем усталость...

— Тома, ты рисуешь только печальное...

— Скажи, а у тебя есть какие-нибудь радости?

— Да. Я радуюсь, когда вижу, что ты работаешь... И вообще радуюсь, что ты здесь.

Глаза у нее были ясные, приоткрытые губы дрожали.

— Я нарисую тебя, Ана.

— Если хочешь. Но дай честное слово, что только нарисуешь.

— Даю.

— Запри дверь, чтобы никто не вошел.

Тома запер дверь и приготовил на мольберте новый лист. Он старался чем-нибудь заняться, медленно прикреплял картон кнопками, потом попытался перехватить взгляд Аны. Но она не отрываясь смотрела на белый лист на мольберте. Смотрела так сосредоточенно, словно читала необычайно интересную книгу. Наконец она взглянула на Тома и улыбнулась.

— Кажется, ты волнуешься больше, чем я.

— Да что ты,— пробормотал Тома, не глядя на нее.— Нисколько не волнуюсь. Я писал с натуры еще в школе.— Но он заметил, что колени

---

* Крупный машиностроительный завод в Бухаресте.

у него дрожат. Когда он снова повернулся к Ане, она расстегивала пуговицы блузки.

— Если я разденусь только до сих пор,— она показала на бедро,— этого довольно?

— Пожалуй, довольно.

У Аны под блузкой не было ничего. Сняв блузку, она повесила ее на спинку стула. Скрестила руки на груди и сидела неподвижно, точно статуя. Посидев несколько минут, она быстро оделась.

— Мне стыдно. Я очень глупая, правда?

— Нет, Ана.

Он закурил сигарету. Подумал: нелепо кончится этот вечер. Ана прислонилась к стене, потупившись, с виноватым видом. Она выглядела маленькой и беспомощной. Тома много отдал бы за то, чтобы узнать, о чем она думает.

— Мне очень неловко,— сказала она.— Но это пройдет... Я вела себя, как ребенок, правда? — Она опять сняла блузку.

Тома молчал. Он смотрел на Ану, на ее белую кожу, на ее маленькие грушевидные груди с большими красными сосками. Ана тщетно пыталась заглянуть ему в глаза.

— Ты не рисуешь? — спросила она.

— Нет, только смотрю на тебя.

— Не забудь, ты дал честное слово.

— Если хочешь, оденься.— Ему казалось, что он весьма великодушен.

Ана схватила блузку и оделась. Тома спросил, можно ли ему еще остаться.

— Конечно.— Она стояла неподвижно, уронив руки вдоль тела.

— Знаешь, ты первый мужчина, который видел меня такой...

— Следует тебя за это поблагодарить?

— Вот теперь ты глупый.

— Извини.

— Не надо просить извинения. Спокойной ночи, Тома. Я пойду спать.

Тома следил за ней, пока она не скрылась за плюшевой занавеской, потом встал, погасил свет и сел на софу. Он чувствовал себя разбитым, в ушах звенело. Шаги Аны за плюшевой занавеской звучали, точно удары в барабан: в мастерской усиливались все звуки. Не раздумывая, Тома поднялся и подошел к каморке Аны. Отдернул занавеску.

Ана вздрогнула:

— Уходи отсюда... Ты же видишь, я ложусь.

— А зачем мне уходить? Ведь я видел тебя раздетой!

Ана повернулась к нему спиной, сбросила блузку, натянула ночную рубашку, потом сняла юбку. Когда она обернулась к Тома, он стоял к ней спиной.

Забравшись в постель, она сказала:

— Можешь повернуться. Я и не ожидала от тебя такой учтивости. Садись.

Тома с умыслом сел на стул, а не на край кровати, куда указала Ана. Она погасила свет.

Они с трудом привыкали к темноте. Сперва обрисовались контуры больших предметов — стола, шкафа, потом постепенно — всех других вещей в комнате.

— Тебе удобно?

— Да,— ответил Тома.— Очень удобно.

Он угадывал ее лицо только по рассыпавшимся на подушке волосам. Она лежала на спине. Он иронически добавил:

— Спокойной ночи.

Ана не поняла иронии.

— Не хочется спать,— сказала она. Знаешь, это первая ночь, когда я нахожусь вот так, в одной комнате с мужчиной. Можно спросить тебя кое о чем?

— Можно.

— Но это вопрос, как бы тебе сказать... Собственно говоря, девушка не имеет права задавать такие вопросы. Ты был... Ты побывал у многих женщин?.. Не надо, не отвечай. Считай, что я тебя даже не спрашивала... Лучше расскажи о себе...

— Я тебе рассказал о себе почти все. Мне нечего добавить...

— Тебе там неудобно, да? Садись вот здесь...

Тома скорее почувствовал, чем увидел, что Ана подвинулась. Он сел на кровать.

Теперь в комнате можно было различить все, и казалось будто она нарисована сепией.

— Я лягу рядом с тобой, Ана.

Она ничего не ответила и повернулась лицом к стене.

Тома лег рядом с ней под одеяло. Его колено коснулось горячего тела Аны.

— Повернись ко мне, Ана.

Ана повернулась и смиренно съежилась у его плеча.

— Ты плачешь?

— Нет, отчего мне плакать?

Они долго лежали молча, глядя на потолок.

Только в часовне Тома глядел на потолок так долго. Внезапно ему показалось, что там византийские святые с удлиненными лицами и что они горделиво смотрят на него.

— Уходи, Тома, я тебя боюсь.

Тома тихо встал, вышел в мастерскую и растянулся на софе. «Может быть, так даже лучше»,— подумал он. Ему удалось уснуть только под утро.

3

На одной боковой улочке Тома обнаружил великолепную тему. На стене ветхого домишка висела афиша в стиле модерн, рекламирующая игру в рулетку. Крупные буквы под рисунками приглашали прохожих посетить казино в Синайе. Прохожие — оборванцы-ребятишки — глазели на афишу, ничего не понимали, смеялись. Пока Тома работал, к нему пришел Берческу. Он тоже был в восторге от темы.

— Это словно грим на грязном лице.

— Да,— согласился Берческу. Несколько минут он следил, как Тома работает, затем продолжал: — Знаешь, мои друзья говорят, что выставка может иметь тяжелые последствия.

— Я не боюсь...

— Дело тут не в боязни и не в храбрости. А в риске. Мои друзья думают прежде всего о тебе. Видишь ли, выставка, которую ты готовишь, носит характер личного протеста.

— Но ведь вы сами говорили, что художник должен быть представителем сотен и тысяч людей!..

— Я и сейчас не говорю иначе. Под личным я подразумеваю то, что это — твоя персональная выставка. А организованный протест, организованная борьба гораздо более действенны.

— Я сделал бы все что угодно, вы это прекрасно знаете. Но сейчас отказаться от выставки было бы трусостью.

— Не горячись. Продолжай к ней готовиться. Мы подберем бригаду рабочих для охраны выставки.

— Вы думаете, ее понадобится охранять?

— Да, но это в свое время. Чем ты занят сегодня вечером?

— Ничем.

— Надо бы кое-что сделать, но это опасно.

— Мне все равно, опасно это или нет.

— Надо, чтобы было не все равно. Речь идет не только о тебе, но и об участи многих товарищей... Подумай хорошенько... Если ты полагаешь, что лучше не рисковать...

— Господин профессор!

— Не кричи... Сегодня вечером сдашь маленький экзамен... Надо пойти в пикет.

— В пикет?

— Да. Я тебе объясню. Приходи вечером в Новый Бухарест, на улицу Дицеску. Встретимся на самом углу. В шесть.

Ровно в шесть Тома встретился с Берческу на углу. Берческу взял его под руку и, убедившись, что никто их не слышит, начал объяснять:

— Ты станешь здесь в семь часов. Если заметишь что-нибудь подозрительное, перейди на другую сторону улицы. Вот и все. Товарищи будут смотреть на тебя оттуда.— Он указал на вырисовывающиеся над крышами домов трубы прядильной фабрики «Дачиа».— Ровно в семь тридцать пройдет человек, который будет читать «Универсул». Это значит, что выступление закончилось и ты можешь уходить. Хорошо бы назначить кому-нибудь свидание — тогда, в случае, если возникнут осложнения, этим можно будет объяснить твой приход сюда... Понятно?

— Понятно.

— Я ухожу. До свидания.

Тома помчался в мастерскую Марчиана и попросил Ану прийти в семь тридцать на угол улицы Дицеску.

— Зачем? Разве не лучше тебе прийти сюда?

— Сейчас мне некогда рассказывать подробнее. Приходи же...

Тома явился на место за несколько минут до назначенного срока. Улица была почти пуста, только двое подмастерьев беседовали перед парикмахерской через дорогу. Он закурил и стал читать все расклеенные на стенах афиши. Найдя афишу казино в Синае, он улыбнулся. Электрочасы на углу показывали семь часов пять минут. В семь часов десять минут проехал грузовик с железными бочками, громыхавшими на выбоинах мостовой. Олтянин, продавец простокваши, спросил, который час, и Тома показал ему на электрочасы. Семь часов двенадцать минут. В семь пятнадцать появилась Ана. Она была одета в черную плиссированную юбку и белую блузку. Тома пошел ей навстречу.

— Ты пришла слишком рано... Еще нет половины восьмого.

— Мне нечего было делать, и я испугалась, не случилось ли чего. Почему ты позвал меня сюда?

Двое подмастерьев в белых халатах все еще стояли перед парикмахерской. Со стороны фабрики приближалась повозка булочных Гагеля.

— Погулять немножко... Ты так редко выходишь из мастерской.

— Почему же ты не позвал меня куда-нибудь в парк? Сейчас, осенью, в парках так красиво. Я проходила вчера через Чишмиджиу...— Она взяла его под руку.— Идем...

Тома наклонился завязать шнурки на ботинках и завязывал их долго, потом начал искать сигареты. Теперь повозка с брезентовым верхом поравнялась с ними. Тома внимательно огляделся.

Ана тоже посмотрела вокруг.

— Ты ждешь кого-нибудь?

— Нет, не жду никого.— Электрочасы показывали семь двадцать пять.— Кого мне ждать? Я пришел сюда за темой...

Со стороны фабрики приближался человек, на ходу читавший «Универсул». Тома вздохнул с облегчением. Он взял Ану под руку, и они повернули за угол.

— Ты права, не следовало звать тебя сюда... В Чишмиджиу лучше. Знаешь, выставка открывается через несколько дней. Надеюсь, ты придешь на вернисаж?

— Ты сегодня такой странный... Скажи, ничего не случилось?

— Нет-нет, ничего... Зачем я стал бы тебе лгать...

4

В день открытия выставки Тома почистил и выгладил костюм, надел новый галстук и взволнованно расхаживал в подворотне, где на нескольких подставках из серого картона он разместил рисунки. Единственной газетой, сообщившей о выставке, была «Свободная мысль».

Тома воображал, что после сообщения в «Свободной мысли» на выставку будут приходить толпы. Тем более что в опубликованной без подписи статье отмечалось, что это — первая выставка талантливого художника, исключенного из института по политическим мотивам. Через подворотню дома на улице Пантелимон прошли какие-то хозяйки, которые, правда, остановились, но только для того, чтобы отдохнуть, кое-кто из жильцов дома, несколько школьников-зевак.

К обеду прикатила машина, из которой вылез высокий коротко остриженный человек с выступающими скулами. Он постоял перед рисунками, измерил Тома взглядом с ног до головы и что-то занес в блокнот. Тома обрадовался — наконец-то явились журналисты. Через несколько минут эта личность отбыла.

Вечером пришла посмотреть выставку Ана. В подворотне они были только вдвоем.

— Я хочу пригласить тебя в мастерскую. Отпразднуем там вернисаж...

Тома не ответил. Ему было стыдно, что в это время никто не смотрел выставленные картины.

— Было мало народа, да?

— Очень мало, Ана...

Они уже собрались выходить, когда появились двое небритых мужчин в грязных парусиновых костюмах. Один из них был высокого роста, с жесткими седыми волосами. Они подошли к Тома.

— Вы Тома Войкан?

— Я.

— Очень хорошо. Нас прислал господин Берческу. Мы побудем ночью здесь поблизости...

— Это невозможно! Как вы проведете здесь всю ночь?

— Не беспокойтесь, господин художник. В час ночи нас сменят. Придут двое других, с «Вулкана».

Тома сконфуженно поблагодарил, потом взял Ану под руку и направился в мастерскую Марчиана. В каморке Аны все было чисто прибрано, стол накрыт на двоих. Пакетики в промасленной бумаге свидетельствовали о том, что Ана сделала покупки.

— Стол небогатый, но все-таки — праздник. Помнишь, как ты сказал, что у тебя никогда не будет выставки? В тот вечер я все повторяла, пока не уснула: хочу, чтоб у Тома была выставка!.. Хочу, чтоб у Тома была выставка!..

Хлеб, промасленные пакетики — все это было так бедно... Тома насупился. Ана притворилась, что ничего не замечает.

— У нас есть и музыка.— Она показала на патефон господина Марчиана.— Жаль, что только одна пластинка. Та самая, под которую он писал свою раскрашенную симфонию. Поставить ее?

Тома не возражал.

Ана поставила пластинку, и величественные аккорды наполнили комнату. Тома казалось, что он где-то в храме. Вдруг из мастерской донеслись голоса, смех. Тома прижался к стене. Ана выглянула из-за занавески.

— Посиди здесь, это Марчиан,— шепнула она и вышла в мастерскую.

Тома узнал голос Тии. Она все время смеялась, точно пьяная.

— Это еще что за мерзость? — важно спросил Марчиан.

— Это ваша пластинка, господин Марчиан!

— Останови!

Ана вернулась к себе, выключила патефон, сделала Тома знак сидеть тихо и вышла в мастерскую. До Тома донесся незнакомый мужской голос.

— Ана, пойди принеси бутылку шампанского,— распорядился Марчиан.

— Сейчас, господин Марчиан.

Хлопнула дверь. Ана ушла.

— Жажду отчаянного кутежа,— сказал незнакомый голос. Он был низкий, хриплый.— А почему вы ничего не сказали об этой кошечке?

— Это вы об Ане? — спросила Тиа.

— Да,— ответил хриплый голос.

— Марчиан полагает, что после этого заявления нам здесь делать нечего. Ну, Тиа, идем... Думаю, господин комиссар, вы и сами справитесь... Кошечка принесет шампанского..

— Это мило с вашей стороны... Надеюсь, кошечка чистенькая...

— Всего,— засмеялась Тиа.

Тома услышал, как снова хлопнула дверь. Приоткрыв занавеску, он посмотрел: в мастерской не было никого, кроме незнакомца с хриплым голосом — высокого, смуглого. Хотя, быть может, он кажется смуглым оттого, что на нем черный мундир полицейского комиссара? Комиссар подошел к окну, выглянул на улицу, потом вернулся, сел на софу и подпрыгнул на ней, словно хотел испытать пружины. «Зачем он здесь остался?»

Прошло более четверти часа, пока вернулась Ана. Щеки ее раскраснелись — она бежала бегом.

— Господин Марчиан? — спросила она, задыхаясь.

— Он пошел позвать кое-кого... Надеюсь, ты не заставишь меня пить в одиночестве?

— Я не пью...

Комиссар откупорил бутылку, пробка громко хлопнула, точно ружейный выстрел. Ана вздрогнула.

— Принеси бокалы,— засмеялся комиссар, но, не дожидаясь, пока Ана сходит за бокалами, поднес бутылку ко рту и начал пить.

Из своего убежища Тома видел, как пенистая жидкость стекала по подбородку комиссара на мундир, на пол.

— Хорошо, в голову кидается. Выпей и увидишь все в розовом свете.— Он протянул бутылку Ане, но она не взяла.— Может быть, тебе противно пить после меня?

— Нет, но я не пью.

— Пей, тебе говорят! — Он двинулся к Ане. Она попятилась, ушиблась о раковину и шагнула было к двери, но комиссар преградил ей дорогу.

— Неужели ты собираешься убежать?! Не бойся, Марчиан не вернется... Ведь я комиссар...

Видя, что Ана и после этих аргументов не приближается к нему, он поставил бутылку на пол и начал расстегивать мундир.

— А может быть, ты боишься мундира? — Он швырнул мундир на софу.— Ну, кошечка, и теперь боишься?

Тома огдернул занавеску. Кольца, на которых она скользила, металлически звякнули, и комиссар резко обернулся. Он был так испуган, что застыл на месте с раскрытым ртом. Тома шагнул к нему, комиссар поспешно метнулся к стене. Тома взял с софы мундир и направился к комиссару. Тот перебежал в другой угол мастерской. Тома поравнялся с окном, и тут его осенило. Распахнув окно, он выбросил мундир на улицу. Комиссар кинулся к двери и выбежал в коридор. Слышно было, как он, зацепившись за что-то, упал, как свалился со ступенек.

Ана посмеивалась, голос у нее был какой-то чужой, она еще дрожала. Тома перегнулся через подоконник и посмотрел вслед комиссару. Потом повернулся к Ане. Она послушно подошла к нему и чуть слышно спросила:

— А теперь?

— А теперь будем праздновать вернисаж... Поставь пластинку...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

I

В течение двух первых дней выставку посетили человек сто пятьдесят-двести, не более. Когда Тома готовился к выставке, он воображал, что Мэнеску явится на вернисаж и поздравит его, а затем все газеты только о нем и будут писать. Правда, «Свободная мысль» и на другой день повторила сообщение, в котором подчеркивалось, что это — «первая рабочая выставка».

На третье утро Тома, просматривая газеты, обнаружил в «Порунка времий» * направленную против него статью. В ней говорилось не о его рисунках, а о некоем шутнике, который устраивает большевистские демонстрации в самом центре Бухареста. К обеду явился Берческу. Он сказал:

— Ну, теперь надо смотреть в оба. После обеда придут посетители с Гривицы **. Они останутся здесь, будут охранять твою выставку.

— А разве она в опасности?

— Ты не читал «Порунка времий»?

— Читал. И предпочел бы, чтоб меня ругали, это значило бы, что они обозлились.

— Так-то оно так. Но теперь речь идет совсем о другом.

Это «другое» произошло гораздо раньше, чем ожидал Берческу. Еще до того, как пришли посетители с Гривицы, в ворота въехал грузовик, в котором сидело десятка два молодых людей. Один из них остался в грузовике, а другие по его знаку кинулись к рисункам и разорвали их в клочки. Тома даже опомниться не успел. Он хотел сцепиться с ними, но кто-то ударил его палкой по голове, и он потерял сознание. Назавтра «Свободная мысль» опубликовала фотографию разгромленной выставки. В передовой статье этого же номера говорилось о действиях хулиганов, о кострах из книг, о вандализме легионеров, упоминалось и имя Тома. Этот номер был конфискован, а через несколько дней министерство искусств и информации сообщило о закрытии газеты за нарушение некоторых параграфов закона о печати.

---

* «Приказ времени», орган фашистской партии «Железная гвардия».

** Железнодорожные мастерские в Бухаресте.

На следующую ночь Тома разыскал Берческу в «Модерне». Тот, не отрываясь от еды, позволил Тома присесть к своему столу, а потом, убедившись, что их никто не слышит, прошептал:

— Мы больше не должны встречаться. Никогда...

— Понимаю. Но я тоже хочу что-то делать...

— Подумай хорошенько. Это может оказаться опасным.

— Я думал.

— Хорошо. Во вторник, в двенадцать часов, ты пойдешь в Чишмиджиу, к скамье безработных. Там будет сидеть человек с шахматной доской на коленях. Ты его спросишь: «Поджидаете партнера?», а он ответит: «Да, такого, который играет только черными». Если он так ответит, садись и сыграй с ним партию. Он скажет тебе, что надо делать. А теперь уходи.

Тома встал из-за стола и ушел, не простившись.

2

Во вторник, около двенадцати часов, Тома несколько раз обошел скамью безработных, но никакого человека с шахматной доской на коленях там не было. Он уселся рядом с краснолицым старичком, который был погружен в чтение мелких объявлений на последней странице «Универсула». Старичок больше походил на пенсионера, чем на безработного. Правой рукой он прижимал к себе потрепанный, с оторванными застежками портфель из свиной кожи. Сразу можно было заметить, что присутствие Тома мешает старичку. Он еще некоторое время продолжал читать, затем встал и пересел на соседнюю скамью, в тень. Даже лучше было, что он пересел. Тома внимательно следил за всеми дорожками, ведущими к скамье безработных, но не обнаружил ни одного человека, у которого была бы на коленях шахматная доска. Колокола собора святого Иосифа пробили двенадцать раз. Тома еще раз оглядел аллеи, но нигде не заметил человека, которого должен был дождаться. Появилась только бонна с двумя толстушками — девочками-близнецами. Тома раздумывал, как бы ему связаться с Берческу и выяснить, что случилось. Но вот старичок на соседней скамье внезапно вынул из портфеля шахматную доску и, положив ее на колени, продолжал читать газету. Тома подошел к нему.

— Поджидаете партнера?

Старичок долго, испытующе смотрел на него.

— Да, но такого, который играет только черными.

— Я люблю играть черными,— сказал Войкан. И, расставляя фигуры, добавил: — Меня зовут Тома.

— Я не интересуюсь именами партнеров... Шахматисту не мешало бы это усвоить. Вы бывали в пикете?

— Да.

— Где?

— Уже не помню. Вам начинать.— Старик пошел пешкой, стоявшей перед королевой.— Так, Нимцович...

— В четверг, в семь часов, пойдете на улицу Кантемир... На углу Голубиной... Дебют вы разыгрываете правильно. Если увидите что-нибудь подозрительное, свистните два раза. Вот и все. В семь двадцать уходите оттуда...— Он атаковал пешкой черного слона.

— Вариант Нимцовича,— пробормотал Тома.— Правильно...

— Я играю только правильно. Если вы любите играть, можете найти меня здесь каждый вторник, в этот же час...

Тома тоже правильно ответил на ход старика. Тот на минуту задумался, затем стал собирать фигуры.

— Вижу, что вы хорошо знаете дебют Нимцовича. Выходит, ничья... Жаль, что мы теряем время.— Он сунул доску в портфель и встал.— Я был очень рад, сударь...

Тома следил за старичком, пока тот не скрылся за кустами.

В четверг Тома стал на указанное место. Лил дождь. Тихий, мелкий, назойливый. Пальто у Тома не было, он поднял воротник пиджака и забился под узенький навес трамвайной остановки. Волосы у него прилипли ко лбу, струйки воды медленно стекали с лица за ворот, на грудь. «Может быть, товарищи отменили выступление из-за погоды и я зря стою».

С шумом остановился первый трамвай, но какие-то двое в него не сели. Один из них подошел к Тома и попросил у него огня. Тома начал отыскивать спички, и в эту минуту подошел второй.

— Это улица Кантемир?

— Да,— ничего не подозревая, ответил Тома.

Тот, который просил огня, схватил его за руку.

— Ты что здесь делаешь?

— А вы не видите? Бабочек ловлю...— Тома улыбнулся.

Этот человек отвернул лацкан пальто и показал ему круглый желтый полицейский значок.

— Что ты здесь делаешь?

— Жду, пока пройдет дождь...

И Тома, внезапно вырвавшись из рук сыщика, сунул два пальца в рот и протяжно свистнул — раз и другой. Сыщики бросились на него, и он увидел, как из ближайших подворотен выбежала толпа полицейских.

В машине Тома упрекнул себя за то, что не догадался о полицейской засаде. Обоих сыщиков он и раньше приметил в дверях табачной лавки, но был уверен, что они ждут, пока пройдет дождь.

В сигуранце его ввели в кабинет с решетками на окнах. Мебели было мало: массивный дубовый письменный стол, один стул, у стены — длинная, выкрашенная в серую краску, скамья. Тома сидел здесь в полном одиночестве уже часа два, когда появился некий посетитель — изящный господин в очках в золотой оправе, который уселся на скамью, вынул из портфеля толстую книгу и принялся читать. Сперва Тома был убежден, что этого господина привели сюда для слежки за ним, Тома, и только когда в кабинет вошел дородный полицейский, понял, что это не так. Полицейский испытующе поглядел на господина в очках и приятельски похлопал его по плечу.

— О-о-о, рады вас видеть, господин адвокат! Опять у нас?

— Полагаю, это ошибка...

— Мы очень редко ошибаемся дважды, господин адвокат... Лучше сказать, второй раз уже не ошибаемся.— Он повернулся к Тома.— А ты, парень?

Тома пожал плечами.

— Почему тебя сюда привезли?

— Не знаю.

— На допросе припомнишь.

На допрос Тома повели двумя этажами выше, в красиво обставленный, весь в коврах кабинет. Тома удивился, что не чувствует страха.

Молодой, красивый следователь немного походил на итальянского актера Амедео Наццари. Он предложил Тома сигарету.

— По-моему, вы здесь впервые.

— Да, сударь.

— Мы зададим вам несколько вопросов.— Следователь медленно, осторожно закурил сигарету, и Тома показалось, что он делает это лишь для того, чтобы выиграть время.— Прежде чем приступить к допросу, я хочу дать вам несколько советов. Отвечайте честно, правдиво и точно. Это в ваших же интересах. Сейчас придет стенографистка. Если вы попытаетесь что-нибудь утаить, мы все равно это узнаем, и вы только ухудшите свое положение. А вас жаль, вы молоды.

Он нажал кнопку звонка, и из соседней комнаты появилась высокая молодая девушка с гладкими подстриженными волосами, одетая в короткое, до колен, платье. Она была красива. Девушка села к маленькому столику у стены и положила перед собой горку отточенных карандашей. Следователь присел на край стола.

— Имя?

— Тома Войкан.

— Профессия?

— Художник.

— Художник?.. Может быть, вы тот самый, который устроил эту коммунистическую выставку?

— Нет, у меня была единственная выставка — в подворотне на шоссе Янкулуй в Пантелимоне... Ее разгромили легионеры.

— Пожалуйста, без комментариев. Отвечайте на вопросы, вот и все. Что вам нужно было на улице Кантемир?

— У меня было свидание...

— Стало быть, вы не ловили бабочек, как заявили раньше?

— Нет.

— С кем у вас было свидание?

— С Аной Богдан.

— Кто такая Ана Богдан?

— Служанка художника Марчиана, улица Тимиш, два.

Следователь снял трубку и набрал двузначный номер.

— Алло, Паску... Послушайте, Паску, проверьте, существует ли на улице Тимиш, два некая Ана Богдан. Если да, то узнайте, было ли у нее вчера, в семь часов, свидание у трамвайной остановки на улице Кантемир... Спасибо.— Он положил трубку и обратился к Тома.— Надеюсь, мы съездим не зря.

— Нет, сударь.

— От кого вы получили поручение подать знак коммунистам, которые распространяли листовки на «Трикотексе»?

— Я же вам сказал: у меня было свидание.

— В таком случае, зачем вы свистели?

— Сперва я подумал, что эти двое напали на меня. На улице было пусто, и без свидетелей меня могли в чем-нибудь заподозрить. Я хотел, чтобы сбежался народ.

— Они предъявили удостоверение раньше, чем вы засвистели.

— Нет, не предъявили.

— Они показали вам полицейский значок.

— Я не знаю полицейского значка.

— Вам известно, что по вашей вине скрылся целый ряд людей? Вы должны будете назвать нам их имена.

— Чьи имена?

— Здесь спрашиваю я! Имена тех, кто принимал участие в выступлении на «Трикотексе».

— Не знаю, ни о каком выступлении идет речь, ни о людях, которые принимали в нем участие. Даже не знаю, что есть такой «Трикотекс». Я в Бухаресте всего несколько месяцев.

Следователь подошел к двери, ведущей в соседнюю комнату, и сделал кому-то знак. В кабинет ввели четырех человек. Вторым был старик, с которым Тома встретился в парке.

— Узнаете их?

Тома долго смотрел на всех четверых, затем покачал головой.

— Первый раз вижу.

— Подумайте хорошенько. Это Томович, мастер с «Трикотекса».

— Я вам сказал, что до сегодняшнего дня не знал о существовании фабрики «Трикотекс»...

Следователь сделал знак надзирателю, и тот увел арестованных. Когда дверь за ними закрылась, он снова обратился к Тома.

— Это первый и последний раз, когда мы говорим с вами вежливо. Надеюсь, что вы человек умный и дадите полные показания. Потому что показания вы дадите во всяком случае.

— Благодарю вас за совет, сударь. Я считаю себя человеком умным, так что с удовольствием скажу все, что знаю.

— Назовите имена людей, принимавших участие в выступлении на «Трикотексе»..

— К сожалению, то, что я знаю, отделено пропастью от того, что интересует вас...

— К сожалению, юноша, вы доказываете, что вы неумны.— Следователь опять позвонил. Вошел верзила с большими мечтательными глазами. Он был одет в штатское, но отдал честь по-военному.

— Слушаю, господин капитан!

— Возьмите вот его и потребуйте, чтобы он назвал участников выступления на «Трикотексе».— И он повернулся к Тома, словно именно в эту минуту его осенила какая-то мысль.— Надеюсь, вы можете сказать, кто ваш связной?

— Не понимаю, о каком связном вы говорите...

— Вот видите,— обратился следователь к субъекту с мечтательными глазами,— он упрям. Может быть, вы ему разъясните...

— Разъясню. Здравия желаю...— И он вывел Тома из кабинета.

В темном коридоре с забранными решеткой окнами Тома содрогнулся. Этот будет его избивать. Когда они спускались по лестнице, кто-то в черном мундире взял Тома за плечо.

— О, какая неожиданная встреча... Раньше, чем я мог вообразить.

Это был комиссар, мундир которого Тома выбросил на улицу. Он спросил спутника Тома:

— На допрос?

— Так точно.

— Если у меня будет время, я тоже зайду. Хочу, чтобы он и мне ответил на кое-какие вопросы.

Спускаясь по лестнице в подвал, Тома решил молчать. Упорно молчать. Его привели в маленькую комнату, где совсем не было мебели.

— Послушайте, господин Войкан... Вы молоды... Выпутаться вы сможете, только если сознаетесь. Это единственный выход... У нас мало времени для допросов. Даю вам полчаса сроку. Господин капитан — человек справедливый. Возможно, вас вовлекли, ввели в заблуждение... Если вы поможете государству ликвидировать врага, то, вероятно, отделаетесь только тюремным заключением. Подумайте об этом хорошенько. Сейчас семь часов десять минут. Я вернусь в семь сорок.

Оставшись один, Тома осмотрел комнату. В длину она была не больше трех, в ширину не больше двух метров. Без окна, единственная дверь — та, через которую его ввели. Он хотел подумать об Ане, но не мог сосредоточиться.

Ровно в семь сорок субъект с мечтательными глазами вернулся в сопровождении унтер-офицера. Унтер-офицер держал в руках плеть из бычьей жилы.

— Вы подумали, господин Войкан?.. Кто ваш связной в партии?

Тома, не раздумывая, ответил:

— У меня нет никакого связного в партии.

Следователь ударил его тыльной стороной ладони, а унтер-офицер хлестнул плетью по лицу. Тома повернулся на каблуках и уже не чувствовал других ударов — первый обжег его, словно раскаленным железом. По глазам потекли струйки крови, а боль он ощутил в бровях, куда при-

шелся конец плети. Унтер-офицер пнул его в бок ногой, обутой в грубый ботинок, и Тома, потеряв сознание, грохнулся на цементный пол.

Когда Тома пришел в себя, он был мокрый до нитки и все еще лежал на полу. Он не открывал глаз и не двигался. До него донесся голос субъекта с мечтательными глазами:

— Ты поосторожнее, мертвец не может давать показания...

— Кажется, я ударил его против сердца.

Вылили еще ведро воды, и Тома затрясся от холода.

— Приходит в себя...

Следователь присел на корточки и взял в руки голову Тома.

— Кто ваш связной в партии?

Тома машинально ответил, как и в первый раз:

— У меня нет никакого связного в партии.

Унтер-офицер наступил ему на голень, подпрыгнул, и острая боль пронизала Тома. У него не было сил кричать. Он только уронил голову на пол. От холодного цемента становилось легче рассеченном лбу. Тома не хотелось вставать, но унтер-офицер поднял его и ударил кулаком по лицу.

3

Входя в кабинет следователя, Ана дрожала всем телом. Тот предложил ей сесть, но она упрямо продолжала стоять.

— Вы знаете Тома Войкана?

— Да.

— Вчера вечером у вас было с ним свидание?

— Да.

— Где?

— На улице Кантемир, возле трамвайной остановки.

— В котором часу?

— В половине восьмого.

— А почему же вы не пришли?

— Потому что был дождь.

— Зачем вы хотели встретиться?

Ана пожала плечами.

— Так, так. Он за вами ухаживал?

Ана промолчала.

— Надеюсь, вы понимаете, что не в этом было дело... Он художник, а вы служанка. Вы знали, что он коммунист?

— Я не знаю, что это такое...

— Он никогда не говорил с вами о политике?

— Никогда.

— И никогда ни о чем вас не просил?

— Нет, просил. Он просил меня остричь волосы...

Следователь улыбнулся.

— Вы живете в мастерской господина Марчиана... И Тома Войкан там жил. Из показаний, которые вы дали в мастерской комиссару Паску, явствует, что вы постоянно встречались там...

— Да.

— В таком случае, почему же вы назначили свидание именно возле трамвайной остановки на улице Кантемир?

— Мы всегда так делали, если встречались в городе.

— А почему на окраине города?

— Так он хотел... И когда он писал, то писал только на окраине...

— Может быть, он стыдился появляться публично вместе с вами?

— Нет.

— И вы всегда встречались у остановки на улице Кантемир?

— Нет. Перед этим — в Новом Бухаресте. Около прядильной фабрики «Дачиа»...

Комиссар встрепенулся:

— Около прядильной фабрики «Дачиа»?

Он переменил тон и стал очень любезен.

— Значит, вы действительно любите друг друга... А когда же вы встретились в Новом Бухаресте?

— Недели две назад...

— Тоже вечером? Днем, конечно, вы заняты... Тоже часов в семь, да?

— Да, в половине восьмого.

Следователь полистал записную книжку.

— В пятницу вечером?

— Да, да... В пятницу вечером... Я точно помню... Накануне у нас была генеральная уборка... Она всегда бывает по четвергам.

— Благодарю вас. Вы свободны. Надзиратель вас проводит.

На улице Ана спохватилась, что забыла спросить о судьбе Тома. Она решила подкараулить допрашивавшего ее комиссара.

Часовой, стоявший у ворот, несколько раз прогонял ее, но она не уходила. Пересекала мостовую и опять возвращалась, не сводя глаз с ворот. В четыре часа дня появился тот комиссар, который посылал ее за шампанским. Ана прижалась к стене, словно желая спрятаться, но потом, увидя, что комиссар садится в стоявшую перед зданием машину, подбежала к нему.

— Я хотела кое о чем спросить вас, господин комиссар...

Комиссар удивленно взглянул на нее, потом сделал ей знак сесть в машину. Перепуганная Ана съежилась на подушках.

— Вам неизвестно, что случилось с Тома? — Она была в полной уверенности, что все произошло из-за того, что Тома тогда выбросил на улицу мундир.— Видите ли, на другой день он хотел вас отыскать и попросить извинения... Он не знал, где вас найти...

— Ну, теперь он меня нашел... Но до нашей встречи пройдут годы.

— Как так годы?

— Он будет осужден. Ты не знала, что он коммунист?

— Ничего не знала. А что он сделал?

— Он не хочет сознаваться...

— А если бы сознался?

— В таком случае, он дешево отделался бы...

— Вы не знаете, как бы мне поговорить с ним?

Комиссар с минуту подумал, потом улыбнулся и погладил свой костлявый подбородок.

— Я попытаюсь позвонить... Едем ко мне домой...

— Нет! — вспыхнула Ана.— Остановите машину, а то я закричу!..

Комиссар знаком велел шоферу остановиться. Удивленная, Ана подождала, пока машина остановилась у обочины тротуара, и открыла дверцу. Минуту она посидела, не шевелясь, потом захлопнула дверцу и осталась в машине. Комиссар, усмехнувшись, приказал шоферу ехать дальше.

■

— Дуреха! Почему ты не сказала, что ты девушка?

Ана глядела в пространство. Коротенькие линии паркета плясали перед ее глазами.

— Вы сказали, что позвоните.

Комиссар снял трубку.

4

Субъект с большими мечтательными глазами докладывал комиссару, который вел допрос Тома:

— Я сделал все возможное, господин капитан.

— И ни одного имени?

— Ни единого, господин капитан.

— Надо быть настойчивым.

— Невозможно, господин капитан... Малейшая настойчивость заставит его онеметь навеки.

— Все-таки необходимо что-то сделать. Это уже второй случай, господин министр вне себя... Говорит, что мы бессильны, что германское посольство сообщит, будто «Железная гвардия» не в состоянии даже обеспечить внутреннее спокойствие... Что у нас все улицы кишат коммунистами!..

Зазвонил телефон. Капитан снял трубку.

— Кто?.. А, это ты, Джиджи!.. Не понимаю... Девушка, которую мы допрашивали... Она может уговорить его сознаться?.. Невозможно... Ты же прекрасно знаешь, что во время следствия это невозможно... Погоди минутку...— И капитан спросил у субъекта с мечтательными глазами: — Он в состоянии говорить с кем-нибудь?

Тот покачал головой.

— Думаю, что надо дать ему несколько дней роздыха... Он вывел меня из терпения своим упрямством.— И добавил в свое оправдание:— Сказали, что надо настаивать... Хорошо, можете идти...— Затем в трубку: — Через несколько дней, Джиджи...

Он положил трубку и набрал другой номер:

— Алло... Кабинет господина министра. Скажите, что Гаврилиу, из специального управления... Благодарю... Алло, господин министр! Здравия желаю, это Гаврилиу... Нет, господин министр, пока ничего. Думаю, что надо подождать дня два-три. Это не совсем исключено... Не вымолвил ни единого слова... Слушаюсь, господин министр... Мы — идиоты. Слушаюсь... Пожалуйста... Да, конечно, понял! Предоставьте нам, господин министр. Примерное наказание... Составим дело. Да, да, так, как если бы он действительно сознался. Понимаю... Разумеется, приглашу и прессу... Еще в течение сегодняшнего дня... Желаю здравствовать...

5

Тома очнулся в камере. Он не отдавал себе отчета, чувствует ли он боль или только устал. Свежеоштукатуренная гладкая стена перед его глазами производила какое-то успокаивающее впечатление. Иногда ему казалось, что она очень далеко, иногда — что на расстоянии ладони. Он опустил веки и подумал: какие красивые глаза у человека, который его избивал. Большие, безмятежные. Он несколько раз видел в них свое отражение. Он мог бы в любую минуту нарисовать их. Как хорошо, что он потерял сознание, когда ему наступили на пальцы. Быть может, он не выдержал бы. В сущности, он мог бы сказать очень немного. Только то, что знал этого пенсионера с шахматной доской. Или что был связан с Берческу. Он открыл глаза и посмотрел на свои руки. Сможет ли он когда-нибудь писать? Пальцы раздулись, безымянный висел будто только на кожице... Мэнеску говорил: Лукиан писал парализованными руками...

Вблизи послышался стук, кажется, кто-то открыл дверь, но Тома не счел нужным сделать усилие и взглянуть в ту сторону.

Вошедший был одет в черный мундир. Тома не поднял глаз. Комиссар присел возле него на корточки. Лицо у комиссара было морщинистое.

— Господин Войкан, вы меня слышите?

Тома кивнул.

— Я принес бумагу и ручку. Но, если хотите, можете мне продиктовать. Вам остается ровно час. Упрямство нисколько не поможет. Вас могут спасти только подробные показания. Не нужно писать много. Назовите людей, которых вы знали,— вот и все... Если хотите, я могу помочь...

— Предпочитаю остаться один.

— Как угодно, господин Войкан...

Оставшись один, Тома с мучительным трудом дополз до стола. Уселся, поглядел на бумагу, ручку, чернильницу. Сколько раз он мечтал остаться один перед белыми листами... Лучше бы следователь прислал кусок угля. Со двора донеслись тяжелые шаги. Он добрался до окна и взглянул на красную кирпичную стену. Перед ней стоял немолодой человек в белой испачканной рубахе. Руки его были связаны за спиной. Он выглядел изможденным. Где-то под окном Тома прозвучали слова команды, звяканье винтовок, затем — залп. Человек перед стеной приподнялся на носки, секунду постоял так, потом согнулся пополам. И упал лицом в землю. Странно, даже теперь Тома не боялся. Он был убежден, что этого человека привели сюда, чтобы напугать его, Тома. И даже если это не так... Он увидел, как он сам стоит прислонившись к красной кирпичной стене, у него даже появилось ощущение, что он дотрагивается до кирпичей. Сейчас утро, и солнце еще не освещает стену. Может быть, она холодная. И так приятно стоять, прислонившись к холодной стене. Он снова подошел к столу и сел перед бумагой.

ЭПИЛОГ

Я не знал Тома Войкана лично. Мне рассказали о нем: человек из Орадя по имени Адам, занимавшийся разведением кроликов, слепой живописец вывесок из Оршовы, мать Тома, Ливия Войкан, пожилая худенькая женщина, с лицом, похожим на печеное яблоко, и партийный работник из Бакэу Ана Богдан. Я изучил архив сигуранцы и нашел два бланка с печатным заголовком: «Показания». На одном был сделанный чернилами автопортрет без подписи. Тома Войкан, улыбающийся, с большими, ясными, будто удивленными глазами. Да, скорее удивленными. На другом бланке было письмо без адреса. Возможно, он написал его самому себе. Привожу его:

«Быть может, очень скоро и меня отведут к красной кирпичной стене. Не знаю, страшно ли мне. Так неправдоподобно, что я умру,— я даже не могу себе это реально представить. Мне двадцать лет, и я еще не видел моря и еще не достиг мудрости, чтобы беседовать со звездами. Я уверен, пройдет немного времени, и жизнь станет прекрасной. Люди обретут смелость смотреть друг другу в глаза и будут улыбаться каждому солнечному восходу. Я рад, что не промотал жизнь зря: сперва инстинктивно, потом по убеждению я стал рядом с теми, кто борется против тьмы. И как художник тоже. Знаю, это слишком громко звучит, но я искренне думаю, что нельзя писать картины во тьме. Я очень хотел бы писать!

Если в великой фреске, которую напишут, когда Румыния станет свободной, я участвовать уже не смогу, я испытал бы огромное счастье, зная, что те, кто проведет кистью первую линию, подумают о том, что и я внес в это свой вклад. Я загрунтовал ее террой ди сиена».

С. МАРШАК

ИЗ РОБЕРТА БЁРНСА

Новые переводы

Весной 1785 года на масонском собрании в маленьком городке Тарбóлтоне Бёрнс встретил местного школьного учителя Джона Уилсона. Между ними произошла небольшая стычка. Бёрнс много читал, относился с уважением к науке и ненавидел всяческое шарлатанство и невежество. Его возмутила хвастливая наглость малограмотного учителя, уверявшего, что он своими доморощенными средствами — микстурами и пилюлями — лечит лучше всякого врача и может «нюхом» определить любую болезнь.

В тот же вечер (по воспоминаниям брата поэта) была написана поэма о «докторе Горнбуке». Этот весьма прозрачный псевдоним — по-русски он звучал бы как «доктор Азбукин» — сразу указывал на героя сатиры, так как «горнбуками» назывались примитивные школьные буквари в одну страничку, покрытые для сохранности чехлом из тонкого рога.

Как всегда, стихи Бёрнса через два дня знал наизусть весь поселок; над бедным Уилсоном так смеялись, что ему пришлось уехать из Тарбóлтона в Глазго, где он стал писцом в суде, навсегда отказавшись и от школьной указки и от аптечки с самодельными лекарствами. Примечательно то, что, будучи ровесником Бёрнса, он пережил его на сорок пять лет, увидал расцвет посмертной славы поэта и всю жизнь гордился тем, что послужил прообразом для одной из лучших сатир своего великого соотечественника.

Многолетняя творческая дружба связывает С. Я. Маршака с Робертом Бёрнсом. Многие поэты — и в прошлом веке и в наше время — переводили народного барда Шотландии, но по-настоящему он открылся русскому читателю только в переводах Маршака. В них шотландец заговорил по-русски с той же свободой, с той же простотой, глубиной и задушевностью, с какой писал на родном языке. Оттого Роберт Бёрнс и стал одним из любимейших зарубежных поэтов у нас в стране: его цитируют ученые, академики, читают и поют на двух языках ребята в школьном клубе имени Бёрнса, молодые трактористы называют его в одном из писем «наш товарищ-пахарь, Бёрнс», а поэты-переводчики изучают работу одного из лучших наших мастеров, изумляясь его уменью перевоплотиться в другого поэта, стать его вторым «я», будь то английский поэт XVIII века Уильям Блейк или наш современник итальянец Джанни Родари.

В этом году 4 ноября Самуилу Яковлевичу исполняется 75 лет. Сейчас со всех концов мира к нему летят письма и телеграммы. Кажется, нет такой страны — от Канады до Золотого Берега Африки, от Латвии до Армении,— где не жили бы поэты, которых Маршак приблизил к нам, сохранив всю их самобытность, все их национальные особенности. И не только голоса отдельных поэтов умеет передать Маршак: в старинных английских балладах, в чешских, польских, сербских песнях звучит голос народа, создавшего их.

Но и сейчас, продолжая с прежним пылом эту благородную работу, Самуил Яковлевич постоянно возвращается к своему давнишнему другу — Роберту Бёрнсу.

Рита Райт

Смерть и доктор Горнбук

Иные книги лгут нам сплошь...
А есть неписаная ложь.
Ты и священников найдешь,
Что правду божью,
Впадая от восторга в дрожь,
Мешают с ложью.

Но в том, о чем я речь веду,
От правды я не отойду,
Как в том, что чёрт живет в аду
Иль в недрах Дублина.
(Ах, много — людям на беду —
Им душ загублено!)

Хлебнул я браги вечерком,
Но не был пьян, а под хмельком,
И обходил, бредя пешком,
Бугры, канавы,
И знал, что куст манит кивком,
А не лукавый.

Холмистый Кàмнок я узнал,
Едва лишь месяц заблистал.
Его рога считать я стал,
Шагая шире.
Сначала три я насчитал,
Потом — четыре...

Вослед за верным посошком
По склону я трусил шажком —
Мне путь был издавна знаком
К запруде Вилли.
Но вдруг, сорвавшись,
Бежал полмили.

Тут нечто предо мной предстало
С косою острою, чье жало
С плеча костлявого свисало,
И с острогóй,
Что сталью под луной сверкала,
В руке другой.

С косую сажень вышиною
Оно стояло предо мною,
Без брюха, страшное, худое,
Горбом спина,
А что за ноги! Тоньше вдвое
Веретена.

Спросил я:—Друг! Узнать нельзя ли,
Должно быть, вы сегодня жали?
А мы ведь только сеять стали.
Я с вами рад
Вернуться в дом, где выпивали
Мы час назад!

— Я — Смерть! — чудовище
сказало.—
Но ты пока не бойся, малый!..
— Я не боюсь, хоть ты, пожалуй,
Меня убьешь.
Но попрошу: взгляни сначала
На этот нож!

Смерть отвечала мне:— Сынок,
Ты спрячь подальше свой клинок.
Подумай сам, какой в нем прок.
Его удары
Страшны не больше, чем плевок,
Для Смерти старой!

— Что ж, уговор — так уговор! —
Сказал я.— Бросим этот спор.
Присядь со мной на косогор —
Ведь ты устала —
И расскажи, чтó с давних пор
Перевидала.

— О да! — сказала Смерть,
садясь,—
Почти что вечность пронеслась
С тех пор, как жать я принялась
По воле божьей.
Всем в мире надо жить трудясь,
И Смерти — тоже.

Но у меня не жизнь, а мука.
Ты слышал имя Горнбука?
Уж так хитра его наука,
Что стар и млад —
От деда дряхлого до внука —
Меня стыдят.

Бывало, под косою длинной,
Подобно травам луговины,
Народ, не знавший медицины,
Ложится сплошь...
Теперь меня с косой старинной
Не ставят в грош!

Вчера я жертву поразила
Своим копьем с такою силой,
Что семерых бы уложила,
Пронзив, как гвоздь.
Но острие лишь притупила,
Задев о кость.

Что это, думаю, за штука?
А это — дело Горнбука.
Тут помогла его наука
Или искусство:

Копье в ребро вошло без стука —
Как бы в капусту!

Больной остался бы калекой,
Не помоги ему аптекой
Или ланцетом лысый лекарь —
Ваш Горнбук.
Не раз он вырвал человека
Из цепких рук.

Лечить умеет он заочно.
Пошли в листе капустном срочно
Ему свой порцион урочный,
Вложив в пакет,
А он понюхает и точный
Пришлет совет.

Есть у него, как в магазине,
Всё то, что нужно медицине:
Набор ножей, spiritus vini,
Касторка, йод.
Он все лекарства по латыни
Вам назовет.

Есть sal marinum — соль морская,
Все кальции, какие знаю...
А разных трав любого края
Не перечесть.
И aqua (иль вода простая)
Здесь тоже есть.

Есть и опилки, срезы, крошки
Клешни клеща, блошиной ножки
И усиков какой-то мошки,
Яд комара,
Настой желёз сороконожки
Et cetera...

Тут я воскликнул:— Бедный Джон!
Какой доход теряет он!
Коль вправду будет побеждён
Любой недуг,
Кладбишенский зеленый склон
Изрежет плуг.

Смерть засмеялась:— Нет, не плуг
Изрежет этот мирный луг,
Которым твой владеет друг,
А сто лопат
Все ваши кладбища вокруг
Избороздят.

Где одного я поразила,
Пустив струею кровь из жилы,
Иль ненароком придушила,—
Там Горнбук
Десятерых загнал в могилу,
Не пачкав рук.

Ваш местный ткач — хороший
малый —
Свою жену, что бредить стала,
Когда немножко захворала,
Отвез к врачу,
И больше слова не сказала
Она ткачу...

У парня заболел отец —
Богатый лэрд, и молодец
Послал отборных двух овец
Врачу за средство,
Что принесет отцу конец,
Ему — наследство.

Чего-то девушка хлебнула,
И у нее живот раздуло.
К врачу бедняжка проскользнула,
И Горнбук
Навеки спас, не встав со стула,
Ее от мук.

Таков у лекаря обычай.
За грош, не ведая приличий,
Морит людей он без различья
День изо дня
И норовит моей добычи
Лишить меня.

Пока терплю я поневоле.
Но разве он бессмертен, что ли?
Не избежит он общей доли.
Придет каюк —
И будет мертв, как сельдь в рассоле,
Ваш Горнбук!..

Еще бы Смерть сказала много,
Но вдруг, наполнив мир тревогой,
Часы пробили полночь строго
Из-за ветвей.
И я побрел своей дорогой,
А Смерть — своей...

ДОЛОРЕС ИБАРРУРИ

Единственный путь

Перевод с испанского
Д. ПРИЦКЕРА, З. ПЛАВСКИНА и Г. СТЕПАНОВА

«1917 год — год перелома» — так называется одна из первых глав книги воспоминаний Долорес Ибаррури. В этих словах выражено и всемирно-историческое значение Великой Октябрьской социалистической революции, и то решающее воздействие, которое оказала она на идейное формирование целой когорты деятелей международного рабочего и коммунистического движения — в том числе и самой Пасионарии,— ставших подлинными знаменосцами Октября.

Книга Долорес Ибаррури, подготовленная к изданию на русском языке Государственным издательством политической литературы, рисует благородный путь борца за народное дело— трудный, полный опасностей, страданий и утрат, но поистине единственный путь. Этот путь озаряет великий пример первой в мире страны социализма, и недаром такой любовью к Советскому Союзу, верному другу борющейся, непокоренной Испании, дышат воспоминания Пасионарии.

Ниже мы печатаем главы из книги Долорес Ибаррури «Единственный путь».

Октябрьская социалистическая революция 1917 года

В один из бурных, штормовых дней ноября, наверное, похожих на те, когда совершались мировые катаклизмы, за которыми следовало обновление, по улицам нашего поселка, обычно тихим, громом прокатилась сенсационная новость: «В России— революция». Эту фразу на все лады выкрикивал наш поселковый продавец газет.

Учащенно забилось сердце. Я выбежала на улицу, чтобы купить газету. Парень дал мне ее бесплатно. Он знал, что мой муж в тюрьме.

— Бери и радуйся,— сказал он мне, протягивая газету.— В России произошла социалистическая революция.

Я схватила газету, и мне сразу же бросились в глаза крупные заголовки: «Большевики России захватили власть в свои руки. Рабочие и солдаты Петрограда штурмом взяли Зимний дворец. Временное правительство арестовано, и установлена власть Советов».

Во всех этих сообщениях выделялось одно имя: Ленин.

В тот момент я не сразу поняла, какое огромное значение могло иметь это событие для всего революционного дела, для меня лично, для миллионов людей, для всего человечества. Но сразу как-то почувствовала, что свершилось нечто значительное, великое.

Мои мысли были обращены туда, к этой далекой стране, которая сразу стала всем нам близкой и родной.

Два имени жили нераздельно в моей душе, стучали в висках, бились в сердце. Россия и Ленин.

Прочь, печаль! Теперь я не чувствовала себя одинокой. Наша революция, которая еще вчера казалась нам такой далекой, почти недосягаемой, стала реальным фактом на одной шестой части земного шара, в стране, которая, как мы знали еще по школьной карте, занимает половину Европы.

Я пела. Но теперь, даже убаюкивая свою дочурку, я пела не колыбельные песни, которым выучилась еще у матери, я напевала

революционные песни, услышанные когда-то на улице, в моем шахтерском поселке; они хранились где-то в глубине моей памяти и теперь нахлынули на меня, сливаясь с эхом Октябрьской социалистической революции. Под звуки этих песен у меня на руках засыпала маленькая Эстер.

После известия о победе русской революции я вновь посетила тюрьму. Заключенные чувствовали себя счастливыми и мужественно, с улыбкой на устах встретили бы приговор суда, обрекавший их всех на пожизненное заключение.

Под влиянием Октябрьской революции продолжала накаляться, несмотря на августовское поражение, революционная атмосфера в Испании. Революционные настроения проникли в самые широкие общественные слои, охватили не только промышленные, но и аграрные районы, где произошли многочисленные внушительные выступления крестьян, требовавших земли. Наиболее активно боролись за землю крестьяне Эстремадуры и Андалузии, то есть тех провинций, в которых преобладали крупные латифундии.

Первый арест

Однажды вечером, когда я выходила из редакции «Мундо обреро», меня арестовали и доставили в главное управление безопасности. Здесь со мной обошлись как с уголовной преступницей и в ожидании дальнейших распоряжений начальства продержали двое суток в общей камере с девицами легкого поведения. Никто меня не допрашивал, никто, несмотря на мои требования, не сообщил мне причины ареста.

На третьи сутки около полуночи дверь камеры открылась, и штурмовой гвардеец грубо скомандовал:

— Все в машину!

Речь шла об обычном тюремном фургоне для перевозки заключенных.

— И я тоже?

— И ты!

Протестовать было смешно, да в данном случае протест все равно ни к чему не привел бы. Гвардейцам отдали приказ перевезти нас в тюрьму, и они равнодушно исполняли его, как привычную обязанность.

Встреча в женской тюрьме была примечательной. Моих спутниц, которые были частыми постоялицами «отеля на улице Киньонес», как они называли тюрьму, и были хорошо знакомы монахиням* и начальнику, заправлявшим этим заведением, приняли без всякого удивления, я бы сказала, даже благожелательно.

Я же была здесь совершенно чужим человеком. Обо мне знали только то, что я арестована по требованию прокурора Бильбао, неизвестно по каким причинам.

Монахиня приказала мне раздеться. Я отказалась.

— Почему я должна раздеваться? Меня доставили сюда из главного управления безопасности, где обыскали все, вплоть до последней складочки на платье.

— Затем, чтобы знать, не больна ли ты, нет ли у тебя с собой оружия или табаку,— ответила монахиня.

— Если вам требуется узнать, больна ли я, позовите врача. Оружия у меня нет — я не преступница, табаку тоже нет — я не курю. Меня арестовали по политическим мотивам, и вы не имеете права обыскивать и обращаться со мною как с уголовницей, а вы поступаете именно так.

— Говорите, что не курите, а платье все пропахло табаком...

— Еще бы! Три дня я провела в камере главного управления безопасности с этими женщинами, которые дымили не переставая.

Монахиня сделала знак своей прислужнице и процедила сквозь зубы:

— Идемте!

Прибывших со мною женщин уже отвели в особое отделение — большую камеру в нижнем этаже, выходившую окнами на небольшой дворик. В этом дворике проводили бо́льшую часть дня женщины, арестованные за то, что, нарушая полицейский регламент, выходили на промысел раньше положенного часа.

Меня провели на второй этаж, в отделение для уголовниц; мы поднялись туда по широкой лестнице и через огромную, как в конюшне или гараже, дверь прошли в камеру. Внутреннюю часть камеры, лишенную наружных окон, на тюремном языке называли «чопа». Монахиня указала мне свободную койку, расположенную в глубине «чопа».

Чтобы добраться до этой койки, нужно было пересечь внешнюю часть камеры, именуемую «солнцем», где стояли в ряд десять или двенадцать коек.

В «чопа» царили мрак и тишина, острый запах мочи бил в нос, проникал в горло, вызывая неприятное жжение: в этой камере стояли параши, по нескольку дней остававшиеся без воды, дышать было нечем.

Как только монахиня закрыла за собой двери, камера зашумела, словно потревоженный улей. Из угла раздался резкий голос, в котором прозвучало раздражение:

— Ну и ночка! Можно было бы и пораньше заявиться!

Несколько лет назад в одной старой книге о нравах обитателей мадридской тюрьмы Саладеро я прочитала о том, как важно снискать к себе уважение заключенных. И теперь я прибыла в тюрьму с твердым намерением не только заставить всех уважать мое звание коммуниста, но и не мириться ни с какими унижениями или произволом. Поэтому я остановилась около койки, откуда раздался недовольный голос, и тихо, но решительно сказала:

— Послушайте, сеньора, я не вижу вашего лица и не знаю, молоды вы или стары. Впрочем, это несущественно. Не скажете ли вы мне, в котором часу вы просили полицейских доставить вас в этот «отель»? Мне неизвестно, когда и как заявились сюда вы.

---

* В испанских женских тюрьмах в годы монархии наблюдение за заключенными было возложено на монахинь.

Про себя же могу сказать, что я сюда приехала не по собственному желанию. Меня доставили, а это не одно и то же. Во всяком случае я полагаю, что если прибытие новых постояльцев вас беспокоит, то вы можете попросить отдельный номер и тогда у вас не будет оснований сердиться.

Раздалось несколько смешков. Сама того не зная, я поставила на место одну из женщин, которая наводила страх на всех заключенных, некую Мануэлу, профессиональную бандитку, способную прирезать кого угодно.

Ночью в «чопа» никто не сомкнул глаз. Я не спала потому, что трудно было свыкнуться с новым местом; мои новые товарки по камере не спали потому, что, ожидая какой-нибудь другой выходки с моей стороны, не хотели пропустить любопытное зрелище.

В половине седьмого утра колокол прозвонил подъем. Арестантки вскочили с коек и быстро оделись.

— Эй, новенькая! — крикнула одна из женщин, обращаясь ко мне.— Подъем! Сейчас явится монахиня.

— Пусть является. Надеюсь, что она меня не съест.

Все, кроме Мануэлы, подошли к моей койке. Им не терпелось узнать, кто я и за что попала в тюрьму.

Последовали обычные в таких случаях вопросы:

— По мокрому делу?

— Нет!

— Воровство?

— Нет!

— Ограбление?

— Нет! Ни воровство, ни мокрое дело, ни ограбление.

— За что же тебя посадили?

— За то, что я коммунистка.

Все были поражены...

В этом мире, на самом дне жизни, никто никогда не видел женщину-коммунистку и не слышал о том, что такие вообще существуют.

— А что это такое? — спросила одна.

— Как, что такое? — ответила другая.— Политика.

— Разве женщины тоже занимаются политикой?

— Вот тебе раз! С неба свалилась! А ты как думала? Разве тебе не известно, что всеми местами заключения заведует тоже женщина, будь она трижды проклята!

— Но вы-то не из таких, правда?

— Нет, я не из таких, сами видите. Вот и получается, что одна женщина заведует местами заключения, а другие, вроде нас с вами, сидят в этих местах, хотя и по разным причинам.

— А чего хотят коммунистки?

— Ну, об этом потолкуем как-нибудь в другой раз. А теперь позвольте мне одеться — ведь вы сами говорили, что был подъем.

Я быстро оделась и стала заправлять постель так, как убирала ее дома.

— Это делается иначе. Сложите одеяло, а подушку положите так, как у всех.

Я поблагодарила за помощь и попросила метлу, чтобы подмести около своей койки.

— Вам это вовсе не обязательно. Оставьте. Мы сами подметем.

Я тщетно пыталась объяснить им, что я тоже работница и со мной ничего не случится, если сама сделаю все положенное. Они не согласились.

Когда раздался приказ строиться, ко мне подошла Мануэла, на которую с любопытством смотрели остальные.

— Вы меня простите за вчерашнее. Здесь всегда находишься в таком нервозном состоянии, что можешь оскорбить, сама того не желая. Надеюсь, вы не сердитесь на меня?

— За что же на вас сердиться? Я понимаю ваше состояние. Но и вы должны понять, что сюда идут не по доброй воле и у каждой, кто оказывается здесь, в этих тюремных стенах, много своих забот и печалей. Так что не будем портить друг другу жизнь.

— Вы правы. Отныне я ваш друг, и вы можете рассчитывать на меня.

— Благодарю вас.

— Кстати, так как вас привезли очень поздно, вы рискуете остаться без посуды для завтрака. Вот моя — возьмите. Она чистая, а я совершенно здорова.

— А как же вы позавтракаете?

— Об этом не беспокойтесь, я здесь свой человек и знаю, где найти все, что мне потребуется.

Я взяла чашку. Мы построились, чтобы идти в столовую. После завтрака я вымыла чашку, вернула ее хозяйке, и мы стали друзьями.

А вечером, после того как монахини сделали последний обход и заперли двери, «чопа» превратилась в лекционный зал.

Я рассказывала этим женщинам о том, что такое коммунизм, что он означает для женщины. Я говорила им о Советском Союзе, сравнивала положение женщины в стране социализма с условиями, в которые поставлены женщины у нас, в Испании, объясняла причины, толкающие женщину на путь преступлений и проституции.

Посыпались вопросы:

— А «продажная» может стать порядочной женщиной?

— Конечно может. И мы, коммунисты, приложим к этому все силы.

— А воровка?

— И воровка тоже. Почему же нет?

— И никто не попрекнет ее прошлым?

— Никто! Того, кто осмелился бы оскорбить этих женщин за их прошлое, после того как они стали вести честный образ жизни, будут наказывать.

Раздалось несколько легких ударов в напоминавшее бойницу окошко, которое вело в помещение где находились монахини. Мы поняли, что беседу подслушивают и что пора укладываться спать.

На следующий день после завтрака монахиня, надзирательница нашей камеры, сладко улыбаясь, сказала мне, что мать —

начальница отделения приказала перевести меня в маленькую камеру на чердаке с окошком в самое небо; там спали только кухарки и судомойки. По мнению «матери», «чопа» была нездоровым помещением, а эта комната будет для меня удобнее.

Хотя это считалось «благодеянием» и я должна была бы радоваться перемене, замысел настоятельницы был совершенно ясен: она хотела изолировать меня от заключенных и воспрепятствовать моим «лекциям» о коммунизме.

Вот почему я осталась в прежней камере. В ожидании приказа о переводе в тюрьму Бильбао я посещала мастерскую, в которой арестантки работали с девяти часов утра до часу дня и с трех до шести часов дня.

В первый день, решив заняться чтением, я села на скамейку рядом с девушкой, которая делала мережку на дорогом шелке. Чтобы вытащить тончайшую нить, нужно было сильно напрягать зрение. За два дня работы ей платили двадцать пять сантимов.

Вошла начальница мастерской, учительница-социалистка, сменившая на этом посту монахиню, и села за столик лицом к заключенным, как будто она находилась в классе перед учениками.

Вдруг она увидела меня и заметила, что я не работаю. Постучав согнутым пальцем по столу, чтобы добиться тишины, она окликнула меня:

— Ну-ка, новенькая, встань!

Я поднялась со своего места.

Она посмотрела на меня и инквизиторским тоном спросила:

— Ты почему не работаешь?

— Сеньора наставница, когда я еще девочкой ходила в школу, наша учительница обращалась ко мне на «вы». А вам не стыдно обращаться ко мне на «ты», как к кошке или собаке? Я не работаю, потому что знакомлюсь с тюремными нравами и еще потому, что не намерена позволять эксплуатировать себя так, как вы эксплуатируете этих женщин, заставляя их за жалкие гроши портить зрение над мережками и вышивками. Теперь вы понимаете, почему я не работаю? Надеюсь, я могу сесть?

Она не нашлась, что ответить. В мастерской воцарилась мертвая тишина. Затем работа возобновилась, а через несколько минут учительница под каким-то предлогом вышла из мастерской, чтобы навести справки относительно новой арестантки.

Первое мая

Май принес обитательницам женской тюрьмы много волнующих событий. За несколько дней до праздника я рассказала своим соседкам по «чопа» и «солнцу» о значении этого дня, напела им несколько песен, которые поют трудящиеся Первого мая, и продиктовала им слова «Интернационала», «Красного знамени» и других песен, чтобы они могли выучить их и спеть во дворе тюрьмы в день международного праздника пролетарской солидарности.

Первого мая с самого утра в тюрьме царила праздничная атмосфера. Заключенные с молчаливого согласия надзирательниц — социалисток и республиканок — надели свои лучшие платья, затем мы отправились завтракать во двор, где находилась столовая. Мастерские были закрыты: в этот день женщины не работали. После завтрака мы собрались во дворе.

Надо сказать, что накануне вечером, сразу после ужина, группа заключенных-старожилов, попавших в тюрьму еще при монахинях, устроила во дворе религиозное песнопение. Некоторые песни отличались необыкновенно красивой мелодией и легко запоминались. Одна из них, например, начиналась словами:

Покинув Рим, она летела,
На нежном облачке паря,
И опустилась в Сарагосе
К ногам Марии дель Пилар *.

Тогда заключенные, находившиеся в это время во дворе, подхватили слова песни, более или менее знакомые всем. И никто не мешал им петь.

По-другому развернулись события на следующий день, Первого мая. Когда обитательницы нашей камеры, выучившие слова «Интернационала», после завтрака собрались в кружок и запели:

Вставай, проклятьем заклейменный
Весь мир голодных и рабов,—

окно тюремной канцелярии сразу же с шумом распахнулось, и кто-то из служащих истерическим голосом прокричал:

— Сеньор начальник приказал немедленно прекратить пение!

Я вышла вперед и сказала:

— Пусть сеньор начальник придет сюда и сам отдаст нам этот приказ.

Мы снова запели. Сеньор Гусман не замедлил явиться. Он держался так, как будто проглотил шпагу, был бледен и явно нервничал.

— Вы желали видеть меня? — спросил он, приблизившись к нам.

— Да, мы желали вас видеть,— ответила я.

— Все? — спросил он с угрозой в голосе. Гусман знал, какой страх внушал он заключенным-уголовницам. Ведь он был хозяином и полным властелином тюрьмы и мог жесточайшим образом подавить любую попытку сопротивления его приказам. При этом начальник тюрьмы не нес никакой ответственности за свои действия.

— Не знаю, все или не все. Но я хотела вас видеть.

— Я тоже,— выступив вперед, сказала Пура Крус Салидо. Это была сестра одного из руководителей социалистической партии, занимавшего высокий пост в Телефонной компании. Жена анархиста, она была арестована вместе с мужем за попытку подложить бомбу в здание палаты депутатов. Теперь она находилась здесь в ожидании перевода в тюрьму города Алькала де Энарес, где ей предстояло отбывать наказание.

* Имеется в виду изображение мадонны в церкви Марии дель Пилар в Сарагосе.

— Что же вам угодно?

— Нам угодно знать, почему Первого мая во дворе тюрьмы нельзя петь «Интернационал».

— Потому что это официальное учреждение, а «Интернационал» — революционный гимн.

— У вас, оказывается, есть разные мерки: вчера вы не вспомнили о том, что тюрьма — это официальное учреждение, и спокойно слушали, как здесь же распевали религиозные песни, хотя в республике церковь отделена от государства.

— Это вас не касается. Здесь моя воля — закон.

— Пока не оборвется струна.

— Считайте, как хотите. Но сегодня в тюрьме петь не будут.

Пура Крус Салидо, храбрая андалузка и певунья, воскликнула:

— Кто может помешать мне петь?

Ее чистый, тонкий голосок, вызвавший аплодисменты заключенных, разнесся по всей тюрьме и положил конец спору:

Двадцать пять тюремных камер
В каталажке распроклятой.
Я прошла двадцать четыре,
Жду отсидки в двадцать пятой.

Начальник ушел разъяренный и с силой захлопнул за собой дверь канцелярии. Это не предвещало ничего доброго. Гроза разразилась в тот же вечер. Дон Луис Гусман и в мести проявил свою мелкую душонку: он приказал выдать нам на ужин отвратительное варево, состоявшее из рыбьих костей и большого количества перца. И тут разразился скандал. Я встала и заявила надзирательнице, следившей за порядком в столовой: «Мы не будем есть это варево». Поднялся невообразимый шум: заключенные стучали по столу металлическими мисками и скандировали: «Не будем есть!», «Не будем есть!» Мы поднялись, взяли свои приборы и вышли во двор, продолжая выражать свое негодование.

Я поднялась в камеру, уверенная в том, что дело этим не кончится. И действительно, вскоре на лестнице послышались голоса и шум быстрых шагов; в дверях камеры появился начальник тюрьмы в сопровождении заключенной, которая в мой первый арест принимала меня вместе с монахиней, требовавшей, чтобы я разделась. Эта женщина держала в руках большую миску с пищей, которую отвергли заключенные. Они подошли ко мне. За ними толпились мои товарки по камере.

Начальник еле сдерживался, чтобы не наговорить лишнего.

— Почему вы отказались от ужина?

— Потому что нас тошнит от этой еды.

Очки задрожали у него на носу.

— Послушайте, моему терпению есть предел, и я не допущу, чтобы это продолжалось. Вчера вы устроили спектакль в мастерской, позавчера митинговали по поводу оплаты труда заключенных и какой-то спекуляции молоком, сегодня распеваете песни и отказываетесь от ужина. Завтра, чего доброго, вы приметесь за духовного пастыря — церковь божью. Но главное не это. Главное то, что вы внесли в тюрьму дух неповиновения, беспорядка, бунта, и я не склонен долее этого терпеть. Без вас в тюрьме было тихо, женщины были послушны и дисциплинированны, а сейчас здесь кипят страсти, царит недовольство и сыплются протесты.

— А вы задумывались над тем, почему это происходит? Может быть, до меня здесь обращались с заключенными гуманно и корректно? Может быть, прежде здесь не спекулировали молоком, не воровали казенных денег, предназначенных для содержания заключенных? Может быть, изолятор содержался в должном порядке, а труд заключенных оплачивался полностью, без несправедливых вычетов? Нет! Я-то живу вместе с заключенными и хорошо знаю, что это не так. Я протестую, так как считаю ваши поступки не только незаконными, но и преступными.

Ценой огромных усилий начальник сдержал свою ярость и гнев.

— Мне доводилось не раз объезжать дичков похрабрее, чем вы, так что я сумею положить конец вашим выходкам с помощью тех средств, которые предоставляет в мое распоряжение закон.

— Закон? Каждый день нарушая законы, вы еще смеете говорить о законе? Что ж, я потребую прислать сюда комиссию для расследования, и мы ей все расскажем. Я убеждена, что тюремное начальство при этом будет выглядеть не очень хорошо. А что касается ваших угроз, то на меня они не действуют. И, отвечая на сравнение, употребленное вами, скажу, что если лошадей железо укрощает, то хороших боевых быков наказание, напротив, может лишь ожесточить. И на этом кончим наш разговор, сеньор начальник.

— Я вас предупредил, а «кто предупреждает, тот правду упреждает».

— Большое спасибо, я это учту.

Он ушел в бешенстве. А на следующее утро, когда мы шли умываться, одна заключенная тайком передала мне записку:

«Если вы увидите, что во дворе, на лестнице или в камере арестантки затевают ссору, не вмешивайтесь. Начальник тюрьмы вызвал нас, группу старых заключенных, и обещал нам помощь во время суда, если мы зададим вам трепку за то, что вы «суете нос куда не следует»».

Я оценила это предупреждение, хотя и не придала большого значения намерениям начальника, который вновь показал свое полное ничтожество.

В ночь на 2 мая в тюрьму привезли одну из сестер товарища Наварро Бальестероса и еще двух коммунисток — Фелису Бастерречеа и одну из сестер Де Градо — за то, что они протестовали против насилий полиции по отношению к трудящимся после демонстрации.

Республика на каждом шагу обнаруживала свое истинное лицо. В тюрьме старые

псы лаяли, не решаясь обнажить свои клыки, а на улице они кусались.

Наши товарищи провели в тюрьме две недели, а затем были освобождены, и я снова осталась одна среди моря маленьких горестей и низких страстей, окруженная женщинами, опустившимися на дно общества. Я по-прежнему всегда выступала в защиту того, что считала справедливым, и против всяких несправедливостей. Здесь мне пришлось столкнуться с такими проявлениями вырождения, которые, живя в окружении нормальных существ, невозможно даже себе представить.

Лирическое отступление

В ноябре 1933 года, после выборов, я выехала в Москву на XIII пленум исполкома Коминтерна в качестве делегата Коммунистической партии Испании.

Внешне Москва тех времен мало походила на сегодняшнюю. Но я воспринимала ее скорее сердцем, чем глазами, и советская столица была для меня чудеснейшим городом на земле. Отсюда осуществлялось руководство строительством социализма. Здесь воплощались вековые мечты рабов, крепостных, пролетариев о свободе. Здесь была ясно видна перспектива развития всего человечества — путь к коммунизму.

Я посетила Ленинград, колыбель революции. Побывала в Смольном, где все напоминало о живом Ленине, который в незабываемые дни, потрясшие мир, превратил Смольный в штаб революции. Я слушала Кирова на партийной конференции в Ленинграде накануне XVII съезда Коммунистической партии Советского Союза; беседовала с рабочими Путиловского завода, который с давних пор был оплотом революционного рабочего класса, с трудящимися обувной фабрики «Скороход». Затем присутствовала на XVII съезде большевистской партии и выступила с приветствием от имени Коммунистической партии Испании.

В Ростове-на-Дону вместе с делегатами из других стран я посетила рыболовецкую артель и один из первых колхозов, созданных в этом крае.

Прошли годы после моего первого посещения Советского Союза, а впечатления об этой поездке по-прежнему живы в моей памяти. И когда я сравниваю сегодняшний Советский Союз с тем, каким он был тогда, сердце бьется сильнее от радости при виде грандиозных перемен, от сознания ни с чем не сравнимого величия осуществленных дел

Отнюдь не туристское путешествие

А стурийское восстание вызвало во всем мире широкое движение солидарности, высшим проявлением которого была представительная Международная конференция помощи испанским трудящимся, состоявшаяся в Париже весной 1935 года. Испанию на этой конференции должны были представлять товарищ Мануэль Колинос и я Учитывая политическую обстановку и тот факт, что коммунистическая партия находилась в глубоком подполье, мы могли выехать из Испании и вернуться обратно после конференции только нелегально.

Нам предстояло трудное и опасное путешествие. Нужно было пересечь Пиренеи с помощью проводника, больше привыкшего, обманывая бдительную пограничную стражу, переправлять по скалам и почти неприступным горным тропам контрабандные товары, чем перебрасывать за границу непривычных к таким переходам «политических», и особенно женщин.

Готовясь к поездке, мы долго обсуждали возможные маршруты. Одни считали более надежным путь через баскско-французскую границу, другие рекомендовали переправляться через каталонскую.

И хотя говорят, что «лучше известное зло, чем неведомое благо», я высказалась за каталонскую границу, о которой не имела ни малейшего представления

Дело в том, что я очень хорошо знала баскско-французскую границу и не испытывала никакого желания повторить опыт 1929 года. Как говорят, «пуганая ворона и куста боится». К тому же каталонские товарищи, с которыми мы советовались, утверждали, что переход через эту часть Пиренеев с хорошим проводником совсем не сложен.

В таком оптимистическом настроении мы и прибыли в Барселону, где нас ожидали товарищи Сесе и Арландис, которым было поручено организовать наш переход через границу.

Говоря по правде, оба они понятия не имели о том, какие трудности нас ожидают и сколько времени займет переход через Пиренеи.

Кто-то сказал им, что этот путь не очень труден, и они повторяли чужие слова. Но между желаемым и действительным — дистанция огромного размера. Как выяснилось позднее, наши товарищи получили информацию от самого проводника, а его пугала только встреча с карабинерами *, но ничуть не страшили ни лесные чащи, ни обрывистые тропы, по которым отваживались проходить только дикие кабаны, горные козы и контрабандисты.

Проводник был замечательным человеком. По поручению компартии он переправил через границу десятки астурийских товарищей, которым угрожали репрессии.

Мы выехали из Барселоны поездом, направлявшимся к границе, и сошли в Хероне.

Еще в Барселоне товарищ Арландис набросал план Хероны и отметил место, где мы должны были встретиться с проводником. Но найти его вечером в незнакомом городе оказалось нелегким делом.

Долго блуждали мы по улицам и много раз возвращались в одни и те же места, пока наконец не добрались до нужного нам

* Испанская пограничная стража.

дома, где жил знакомый мне товарищ, на содействие которого мы могли рассчитывать

Так оно и случилось: в доме нас сердечно встретил один из местных партийных руководителей. Он уже договорился обо всем с заслуживающим доверия шофером и с проводником, который должен был переправить нас.

Поужинав с хозяевами дома, мы довольно долго просидели у них, так как пуститься в путь можно было только тогда, когда совсем стемнеет, улицы опустеют и нам не будут угрожать нежелательные встречи. Кто-то сходил за шофером и проводником, и около десяти часов вечера мы выехали на дорогу, ведущую к горам.

Более получаса мы тряслись по отвратительной проселочной дороге. Машина то подскакивала, то погружалась в глубокие ямы, и мы набили себе немало синяков. В конце концов добрались до того места, откуда нам предстояло идти через отроги Пиренейского хребта. Тут уж приходилось рассчитывать только на собственные ноги.

Стояла безлунная ночь; было свежо, даже холодно, и сыро.

Проводник предупредил:

— Пойдем молча: никаких разговоров, никакого курения; ночь и горы все видят и разносят каждый звук на огромные расстояния, а карабинеры спят вполглаза и держат ухо востро.

Совет полезный, но трудно осуществимый. Запрещение курить меня мало трогало. Но когда внезапно налетаешь на камень и из глаз летят искры или, споткнувшись о корень, невольно летишь вперед, или натыкаешься на колючий кустарник, который рвет платье и до крови царапает кожу, сохранить молчание нелегко.

Мы брели как слепые, руководствуясь скорее слухом, чем зрением, и стараясь попасть в такт шагам проводника, который шел уверенно, ни на что не натыкаясь. Он знал дорогу как собственный дом и ориентировался в темноте, как кошка.

Мы шли уже два долгих часа. Тишина была непереносимой.

— Далеко еще? — шепотом спросила я, приблизившись к проводнику.

Ответа не последовало.

— Много нам осталось идти? — настаивала я.

— Думайте не о том, сколько осталось, а о том, как добраться ... — ответил он, почти не разжимая губ.

Добраться? Но куда? Сколько часов нам предстоит еще идти, сколько вершин преодолеть, сколько долин оставить позади, сколько рек перейти вброд, прежде чем мы доберемся до места, где по разработанному маршруту нам полагается отдых? Нам не сказали этого, когда мы начинали путь, не узнали мы этого и в пути. Проводник просил нас только об одном: идти как можно скорее. Но как мы могли идти быстрее, если не видели, куда ставить ногу, если то и дело падали в ямы, если были вынуждены чуть ли не на каждом шагу останавливаться, чтобы перевести дух, или завязать шнурки альпаргат, которые рвались от сильных ударов о камни?

Небо начинало светлеть; перед нами вырисовывались казавшиеся неприступными крепостями вершины Пиренейских гор, которые нам предстояло преодолеть.

Мы шли и шли, механически переставляя ноги. Все наши мысли сосредоточились на дороге.

Прошел час, другой, третий. Приближался рассвет. Вокруг царило холодное, гнетущее, мрачное безмолвие, которое мы не осмеливались нарушить ни ободряющим словом, ни восклицанием, ни стоном. И вдруг это безмолвие прорезали отрывистые звуки, грозившие нам катастрофой. Наверное, мы должны будем немедленно повернуть назад! Что это было — рев зверя? Нет, гораздо хуже — лай собаки.

Лай отдаленный, но отчетливый — все мы его услышали. Ни медведи, ни волки, ни лисицы, ни кабаны, ни шакалы, обитающие в зарослях на высоких Пиренейских горах, не были нам так страшны, как лай собак. В этот час и в этих местах он означал, что где-то поблизости карабинеры. А это влекло за собой арест, тюрьму и невыполнение поручения партии принять участие в конференции.

Мы на мгновение остановились. Проводник, казалось, весь обратился в слух.

— Что случилось? — спросили мы, хотя у нас не было никаких сомнений относительно того, что произошло.

— Карабинеры! — ответил он.— Они идут сюда. Скорее к реке. Я хотел избежать этого, но теперь это уже невозможно. Пошли! Ветер нам благоприятствует: он дует в нашу сторону. Но надо бежать, чтобы добраться до реки и сбить их со следа, пока они еще далеко.

Итак, нам предстоял бег в темноте и переправа через реку, которую проводник хотел обойти стороной.

— А если мы не сможем? — подумала я вслух.

— Сможем! — И, не ожидая ответа, проводник быстро пошел вперед. Мы побежали за ним, стараясь не потерять его из виду, не отстать. Теперь мы бежали уже не по дороге, а по узеньким тропкам, то среди зарослей, то по самому краю обрывистых ущелий, где днем не осмелились бы ступить и шагу. Только темнота спасала нас от головокружения.

Внезапно мы резко остановились перед огромной расселиной — дальше пути не было: перед нами крутой обрыв.

— Спускайтесь! — решительно приказал наш беспощадный проводник.

В детстве я любила спускаться по кручам карьеров и терриконов на шахтах моей родной Бискайи. Но тогда я скользила по насыпи при свете дня, видела, где она кончается, знала, где остановлюсь и что меня ждет внизу. Теперь же предстояло устремиться вниз по откосу неведомой мне горы,

у подножия которой плещется река, да еще в темноте!

— Я не решаюсь спускаться!

— Не бойтесь ничего! Мне все хорошо здесь знакомо, никакой опасности нет! — сказал проводник.

Мы начали спускаться. Несмотря на все усилия, я не смогла удержать равновесие, крутизна тянула меня вниз, и я быстро побежала. Вдруг, споткнувшись о торчащий корень, я упала и покатилась вниз головой на дно расселины.

Лицо было расцарапано, все тело ныло от ушибов. Я на мгновение присела у реки и умыла лицо. Ледяная вода — поток начинался в горных снегах — освежила меня.

— Тяжелый путь, не правда ли?

— Да,—ответил проводник...—Это не для женщин...

В те минуты, когда мы садились в машину и я имела возможность рассмотреть нашего проводника, он показался мне тщедушным человеком небольшого роста и болезненного вида.

Внешность оказалась обманчивой! Этот человек, такой невзрачный на вид, был как бы выкован из стали и обладал несгибаемой волей. Жизнь и нужда закалили его. Он не обращал внимания ни на усталость, ни на трудности, его не пугали ни снег и дождь, ни палящее летнее солнце, ни день, ни ночь. Он признавал только одну опасность — встречу с карабинерами и жандармами.

Жизнь его протекала следующим образом: появился контрабандный груз — в дорогу; нужно перевести кого-то через границу — пошли!

Слово его было — закон. Дав обязательство, он свято выполнял его, и ничто на свете не могло ему помешать. Он гордился тем, что люди считали его таким, каким он был на самом деле: человеком надежным, неспособным изменить своему слову.

Его слова «это не для женщин» задели меня за живое.

Я быстро поднялась.

— Пошли.

Проводник протянул мне маленький бурдюк с вином, висевший на цепочке, привязанной к ремню. Я сделала несколько глотков и вернула ему бурдюк.

— Как ты себя чувствуешь? — спросила я у Колиноса, который за всю дорогу не проронил ни звука.

— Немного устал, но ничего. Сейчас перейдем реку. Вода в ней поднялась — в горах тает снег. Но не бойся, я умею плавать, и ничего не случится.

Мы шагали до сих пор в альпаргатах, а наши ботинки нес проводник в небольшом заплечном мешке.

— Не разувайтесь,— сказал нам проводник,— дно у реки каменистое, и вы пораните себе ноги. Поднимите одежду повыше — вода в реке сильно поднялась. Следуйте все время за мной. На середине реки есть на порядочном расстоянии друг от друга два больших камня. Нужно будет перепрыгнуть с одного на другой, а дальше все пойдет хорошо.

Я пропустила их вперед. Первым шел проводник, за ним товарищ Колинос и я.

«Надо прыгнуть с камня на камень»,— думала я. Днем это меня не тревожило бы, я увидела бы расстояние. Но сейчас... Стоит мне недопрыгнуть — я упаду в воду и, конечно, утону. Утонуть всегда бессмысленно, но утонуть ночью в пиренейской речушке казалось верхом нелепости.

Вода уже закрывала колени. Чем ближе мы подходили к середине реки, тем становилось глубже. От холода захватывало дыхание.

Я очень волновалась. И было отчего: переходить вброд такую реку, не умея плавать! У меня зуб на зуб не попадал. Вода била по ногам, толкала, тянула за собой. Каждый шаг вперед, наперекор течению, давался с трудом, и я едва удерживалась на ногах.

Наконец я добралась до первого камня. Опершись на него всем телом, немного передохнула. Колинос, стоя на камне, пытался помочь мне влезть, но сделать это оказалось непросто. Одна рука у меня была занята — я держала юбки, поднятые до пояса. А взобраться на огромный камень с помощью одной руки было нелегко.

В конце концов Колинос все-таки втащил меня наверх и прыгнул на следующий камень. Я не двинулась с места. Вода, ударяясь о камни, бурлила и шумела так яростно, что кровь стыла в жилах. У меня кружилась голова, и я не решалась прыгать.

— Помогите же мне! — крикнула я в крайнем раздражении, забыв про собак, карабинеров и все сделанные мне предупреждения. Колинос вернулся обратно и со второго камня, с трудом дотянувшись до меня, протянул мне руку.

— Прыгай смелее! — посоветовал он.— Если поскользнешься, я тебя поддержу.

Я напрягла все силы и прыгнула. Теперь самое трудное осталось позади. Мы снова вошли в воду и вскоре добрались до берега. Несколько минут передышки — и опять в путь. Теперь, когда наши силы были уже на исходе, идти было еще труднее, еще мучительнее.

Вдруг впереди кто-то упал в воду. Раздался вскрик. Не сразу сообразив, что произошло, я замерла в испуге. Оказалось, что товарищ Колинос по невнимательности сбился с тропинки и полетел в реку.

Но когда вместо призыва о помощи мы услышали увесистое ругательство и жалобный возглас «Ох, мой костюм!», напряжение разрядилось у меня нервным смехом. Я хохотала громко, во весь голос. Предостережения проводника не помогали. Чем решительнее он требовал, чтобы я замолчала, тем сильнее одолевал меня смех. Я бросилась на землю, уткнулась лицом в траву и хохотала, не в силах сдержаться. Я смеялась, но точно так же могла бы и плакать.

Восклицание Колиноса «Ох, мой костюм!» после всего того, что произошло во время нашего долгого пути: переправы через реки, бегства от карабинеров и собак, потрясло меня до глубины души. Дело в том, что костюм имел свою историю: он не был оплачен.

Когда Колиноса избрали вместе со мной делегатом на Парижскую конференцию, возникло непредвиденное затруднение: у него не оказалось мало-мальски приличного костюма. Колинос уже давно был безработным, и его выходной костюм, так же как и другие ценные вещи, перекочевал в ломбард.

Тогда один из товарищей порекомендовал его знакомому портному, поручился за него, и Колиносу сшили костюм в рассрочку.

Увидев при выезде из Мадрида, что на нем новый костюм, я спросила, взял ли он с собой в дорогу какие-нибудь старые брюки, в которых можно идти по горам через границу.

Он ответил:

— Нет, но я буду осторожен.

И действительно, на всем пути из Мадрида в Барселону он был поглощен своим костюмом, заботился о том, чтобы он не помялся, чтобы не пропала складка на брюках; в горах закатал штаны и аккуратно закрепил их резинкой, чтобы они не запачкались и не порвались, а через реку переправлялся в нижнем белье.

И вот в одно мгновение все его старания полетели к чертям. Когда он вылез на берег, вода с него стекала ручьями, брюки обвисли, а пиджак промок почти до самого верха. Я не решалась смотреть на Колиноса. Конечно, я сочувствовала ему, понимая его положение и переживания, но вместе с тем не могла удержаться от смеха.

Мне хотелось подбодрить его, сказать несколько сочувственных слов, но я была не в состоянии выговорить ни слова.

Колинос решил снять брюки, но проводник отсоветовал делать это, так как на теле они быстрее обсохнут и частично разгладятся. Выжав пиджак, он набросил его на плечи, и мы вновь пустились в путь, гораздо менее бодро, чем в начале путешествия.

Хоть я и не падала в воду, но была такой же мокрой, как и Колинос: забираясь на камень посреди реки, я на мгновение отпустила юбки, и они тотчас же промокли снизу доверху. Теперь мне трудно было идти, и я дрожала от холода. В остальном вид моей юбки меня не смущал, так как я взяла с собой демисезонное пальто, которое нес проводник, и могла сохранить внешне приличный вид, ибо, как у нас говорят, «под пальто скроешь и не то».

Но Колинос? Не говоря уже о Париже, в каком виде он явится даже в тот городок, в который мы сейчас шли и откуда должны были выехать поездом в столицу?

Идти становилось все труднее и труднее, потому что мы очень устали, тропинка становилась все круче.

Время от времени мы повторяли один и тот же вопрос: «Долго ли еще?»

Ответ был всегда один и тот же:

— Нет, теперь уже близко.

И мы снова шли, шатаясь от усталости.

Впереди возвышалась величественная гора, которую нам предстояло преодолеть.

Проводник был крайне обеспокоен, он видел, что мы находимся в полном изнеможении, но место было не настолько надежным, чтобы можно было устроить привал.

— Последнее усилие, товарищи,— взмолился он.— Скоро доберемся.

— Без отдыха, хотя бы кратковременного, мы не сможем подняться,— ответила я.

Мы сошли с дороги и углубились в густой лес, где нас трудно было обнаружить, даже если бы кто-нибудь прошел по той же тропе, по которой только что шли мы.

Я села, откинувшись на ствол дерева.

Проводник дал нам по куску хлеба и по нескольку глотков вина Усталость превозмогла волю, и я заснула.

Меня разбудили через полчаса. И вот мы уже снова карабкаемся вверх. Наступил рассвет, и перед нами с большой высоты открылся ни с чем не сравнимый вид на Пиренейские горы. Но, увы, нам было не до созерцания красот природы.

Стало совсем светло, когда мы дошли до места привала: это была пещера, которую за долгие столетия вода пробила в скале.

Пещера была крошечная. Мы едва умещались в ней сидя. Выпрямиться нельзя было не только из-за низкого свода, но и потому, что пещера была расположена на склоне горы и было очень трудно удержать равновесие.

Чтобы люди, вынужденные пользоваться этим убежищем, не свалились под откос, в ущелье, контрабандисты соорудили некое подобие парапета из земли и веток.

Проводник принес откуда-то несколько охапок припасенного им заранее папоротника, и мы легли на землю. Ноги наши упирались в парапет, а головы прикрывал, точно козырек, выступ скалы.

Есть было нечего, а за водой надо было идти к довольно-таки далеко расположенному источнику. Но это было возможно только ночью, а днем — ни под каким видом.

— Я схожу в хижину к угольщикам и принесу что-нибудь поесть. Вернусь к вечеру. Не вздумайте зажигать огонь, так как дым виден издалека и может навести карабинеров на след,— сказал проводник и ушел.

Мы не знали, что подумать и что сказать.

— А что будем делать, если он не вернется?

— Что будем делать? — ответил Колинос.— Возвращаться тем же путем назад.

Подобная перспектива нам, разумеется, не очень улыбалась. Оставалось одно — терпеливо ждать, а там будет видно.

Смеркалось, когда мы услышали шаги и радостно вскочили, решив, что это проводник.

Но перед нами стоял незнакомый юноша. Мы застыли.

— Добрый вечер,— сказал молодой человек с заметным каталонским акцентом.

— Добрый вечер,— ответили мы.

— Ждете?

— Ждем...

ДОЛОРЕС ИБАРРУРИ
ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ

Почувствовав наше беспокойство и подозрения, он представился:

— Я сын вашего проводника. Отец скоро придет и принесет продукты. Но пока совсем не стемнеет, огонь зажигать нельзя

Он сказал, что только что вернулся из Франции — вышел оттуда прошлой ночью,— а затем рассказал нам несколько эпизодов из своей полной превратностей жизни контрабандиста. Оказалось, что он с самого детства помогал отцу в этом деле.

В сумерках вернулся старый проводник Он принес курицу. Мы разожгли небольшой костер, ощипали курицу и положили ее жариться на горячие угли.

Говорят: «Голодный откусил бы и от камня». Курица не поджарилась, а обуглилась; она вся была покрыта пеплом. Но признаюсь, что после того как целые сутки у нас не было и маковой росинки во рту, это жесткое, без крупинки соли мясо, подгоревшее снаружи и сырое внутри, показалось нам изысканнейшим блюдом.

Когда мы покончили с едой, контрабандисты изложили свой план: мы должны выйти, как только начнет светать, часа в три утра, чтобы побыстрее добраться до границы. На французской стороне дорога будет полегче, да и встреч с людьми придется опасаться меньше. Решено было, что вместо старого проводника с нами пойдет дальше его сын. Они посовещались, и отец согласился с сыном, что нас следует вести не тем путем, которым они пользовались обычно, а новым, по которому только что прошел юноша. Этот новый путь показался молодому контрабандисту более надежным, хотя и несколько более длинным. К тому же по этому маршруту можно было идти днем, не опасаясь каких-либо встреч, а это было большим преимуществом.

При обсуждении маршрута мы не имели права голоса и целиком доверились их опыту. Для нас важно было одно — благополучно добраться до места назначения, а придется ли для этого пройти меньше или больше, несущественно.

Старик попрощался с нами, пожелав удачи. Мы погасили огонь и вновь растянулись на папоротнике. Спать мы не могли, а разговаривать, даже вполголоса, не решались.

«Что ждет нас завтра?» — эта мысль не давала нам покоя.

В назначенный час юный проводник поднялся и просто сказал:

— Пора идти.

И снова мы карабкаемся на вершины и спускаемся в долины. В одной лощине мы натолкнулись на стадо небольших кабанов, которые, почуяв нас, удрали.

Путь оказался более долгим, чем мы предполагали. Но вот наконец граница пройдена. По французской земле мы продолжали идти до самого полудня. Несколько раз нам приходилось вновь перебираться через потоки, но это уже было нетрудно: при свете дня легко избрать наилучший путь и обойти преграды.

Вдруг тропа, по которой вел нас проводник, оборвалась. Должно быть, уже после того, как юноша проходил здесь, дожди вызвали обвал. Дорога исчезла. Наше положение сразу стало критическим. Перед нами был выбор: либо вернуться назад и снова заночевать в горах, либо взобраться по скалистому обрыву метров двадцати высотой. Подниматься нужно было, цепляясь за выступы скал или за корни кустов, растущих в расселинах.

Казалось, что подняться здесь совершенно невозможно. Я вспомнила каменоломни в Бискайе, где бурильщики, обвязавшись канатами, спускались к расселинам в скалах. Там, усевшись на доску, они пробивали зубилом углубления в циклопической стене из крепчайшего камня, чтобы заложить в нее динамит.

В моем роду, правда, было несколько бурильщиков, но ни я, ни мои спутники не были бурильщиками. Главное же — нам предстоял не спуск, а подъем; к тому же и каната у нас не было.

Что делать? Вернуться обратно, на более безопасную дорогу? Но это значило опоздать на открывающуюся завтра конференцию. Взбираться по круче? Тут недолго и голову сломать. Но иного выхода не было.

Первым начал подниматься проводник, за ним карабкалась я, стараясь ставить ногу туда же, куда и он. Замыкал Колинос. Он должен был прийти мне на помощь, если что-нибудь случится. Когда я наконец достигла вершины, мне показалось, что у меня выросли крылья,— такую я почувствовала легкость во всем теле! Ведь страх тяжким грузом давит на плечи, ноги как будто наливаются свинцом, а голова становится тяжелой, как чугунная. Путь через Пиренеи убедил меня в этом

Мы посидели несколько минут на берегу ручейка, умылись и, прежде чем пуститься в дальнейший путь, немного привели себя в порядок. К вечеру мы добрались до окрестностей одного французского городка. Отсюда автобус доставил нас в Перпиньян, где нас уже дожидался один французский коммунист с железнодорожными билетами.

Мы поужинали в доме этого товарища, распрощались с проводником и отправились на вокзал. Назавтра мы уже были в Париже. Первая половина путешествия была позади. Что нам предстоит пережить при возвращении в Испанию?

Перед началом конференции нас осмотрел врач-коммунист. Лицо, руки и ноги наши были покрыты синяками, царапинами и ссадинами. Вид у нас действительно был страшный, и все старались проявить к нам внимание.

Но нас тревожило возвращение... Как мы вернемся? Товарищи твердо пообещали, что помогут нам вернуться на родину иным путем.

На конференции мы встретились с представителем МОПРа * Энрике Санчесом. Ему, как железнодорожнику, было куда легче, чем нам, выехать из Испании. Но вернуться обратно по железной дороге он не мог и поэтому решил присоединиться к нам.

* Международная организация помощи борцам за революцию.

Конференция, которая должна была продемонстрировать дружбу и солидарность народов, прошла успешно. Закончилось последнее заседание, и — о, слабость человеческая! — все позабыли о «несчастных» испанцах, которые пересекли пешком Пиренеи и которым предстояло возвращаться на родину, как говорится, «на своих двоих», если только им на помощь не придет господь бог.

Нет, господь бог не пришел нам на помощь. Мы поинтересовались, приняты ли какие-нибудь меры, чтобы организовать наше возвращение. Нам ответили, что это — дело труднейшее и они не в силах нам помочь.

Нам вручили билеты до Перпиньяна, а там предстояло уже самим позаботиться о себе.

Мы прибыли в Перпиньян, переночевали у знакомых, а на рассвете следующего дня отправились в обратный путь той же дорогой, которая привела нас сюда. И хотя маршрут был нам уже знаком, от этого он не стал легче, особенно для Санчеса, жителя Малаги, непривычного к трудностям горных «прогулок».

Благородная помощь

Вспоминая о тех трудных днях, я считаю своим долгом выразить глубокую признательность всем тем, кто, невзирая на репрессии и преследования властей, поддерживал нас и с равной душевной щедростью и простотой раскрывал перед нами и свои сердца, и двери своих жилищ.

Сердечное отношение представителей разных слоев общества, в особенности женщин из народа, к преследуемой и гонимой партии коммунистов была тем дороже нам и ценнее, что поддержка этих людей была совершенно бескорыстной: мы не могли им обещать взамен, как это делается в буржуазных политических кругах, ни политического влияния, ни правительственных постов, ни каких-либо иных благ.

На одной из улочек, которые соединяют улицу Росалес и площадь Кеведо, находилась табачная лавочка, где я обычно покупала бумагу и чернила,— здесь торговали не только табаком, но и всякой мелочью. Я частенько заходила сюда, но мне ни разу не выпало случая побеседовать с хозяином лавки. Я лишь называла необходимые мне товары и благодарила.

И вот однажды в начале 1935 года, заворачивая несколько купленных мною тетрадок, хозяин вдруг спросил меня:

— Как идут дела?

Я взглянула на него с удивлением.

— Что вы имеете в виду?

— Извините меня. Я знаю, кто вы. И мне хочется выразить вам не только свои симпатии к борьбе коммунистов, но и возмущение поведением других партий. Я давнишний республиканец, мне горько и стыдно видеть, до чего довели нашу республику ее правители. Знайте, что я ваш друг. И моя лавка и дом, где я живу вдвоем с сестрой, в полном вашем распоряжении. Я буду рад, если они смогут вам понадобиться для собраний или какой-либо иной цели.

Я поблагодарила его. Нам не пришлось, однако, воспользоваться этим предложением, сделанным от всего сердца: по мере того как наша политика становилась понятной и близкой все более широким массам, росли возможности для работы партии. Теперь мы могли проводить собрания не только в рабочих домах, но и в таких местах, на которые не могло пасть подозрение полиции.

На улице св. Бернардо существовал клуб радикал-социалистов и республиканцев, в котором председательствовал один скромный фабрикант, искренний республиканец и демократ.

В те месяцы, когда особенно свирепствовал террор и помещения партии были конфискованы полицией, некоторые наши товарищи, с благодарностью приняв приглашение друзей-республиканцев, часто по вечерам назначали здесь свидания с коммунистами, жившими на окраинах.

Председателя это обеспокоило. Не потому, что он боялся за себя лично, нет! Но он опасался, что полиция арестует у них в клубе кого-нибудь из коммунистов, к которым он питал искренние симпатии и уважение. А это, по мнению честного республиканца, было бы позором для него и его друзей, революционеров и демократов.

Однажды вечером, когда я зашла в клуб, чтобы повидаться по срочному делу с товарищем, председатель позвал меня к себе в кабинет и сказал:

— Послушайте, Пасионария, для меня не секрет, что ваши друзья приходят к нам не из чистого любопытства. Но к нам захаживает также и полиция, и я опасаюсь, как бы не случилась какая-нибудь беда. Мне искренне хотелось бы оказать вам помощь. Я знаю, что вам негде собираться, и потому предлагаю для этого свой дом. Там вы можете встречаться спокойно, уверенные в том, что никто вас не потревожит. Дом в течение всего дня совершенно свободен и будет находиться в полном вашем распоряжении. Я сегодня же предупрежу привратницу, чтобы она выдавала вам ключи; с завтрашнего дня вы можете приходить туда в любое время.

Я поблагодарила его за это благородное предложение и сообщила о нем товарищам. На следующий день я съездила по данному им адресу, и привратница, ни о чем не спрашивая, вручила мне ключи от квартиры. Я обошла квартиру и легко убедилась, что помещение очень удобно для заседаний Политбюро. Здесь мы встречались несколько раз, пока политическая ситуация не прояснилась. Нас действительно ни разу никто не потревожил.

В конце октября 1934 года мне пришлось быстро сменить местожительство, ибо в квартале, где я жила, меня разыскивала

полиция. Я перебралась в дом на улице Бласко де Гарай, где, как мне казалось, было более или менее безопасно.

Но положение, в котором я очутилась, становилось все более затруднительным, в особенности потому, что напряженная работа в подполье отнимала у меня все время и мои дети часто оставались без присмотра. Еще раньше, после первого ареста, выйдя из тюрьмы Бильбао, я просила руководство партии разрешить мне вернуться в Басконию. Там мне было бы по многим соображениям легче работать. К тому же я смогла бы присматривать и за детьми. В Мадриде же это было невозможно.

Было решено, однако, оставить меня в Мадриде. Мне была поручена работа среди женщин, которой до этого времени уделялось недостаточно внимания. Вторичный арест и пребывание в тюрьме с марта 1932 года по январь 1933 года прервали эту работу.

Я не могла жить и работать спокойно, тревога за детей все время угнетала меня. Мальчик и девочка привыкли к сельским просторам, к баскским горам и морю. А теперь они были вынуждены либо сидеть взаперти в душной клетушке мадридского дома, все окна которого, за исключением кухонных, выходили на мрачный двор, либо бегать без присмотра по людным улицам, продавая прохожим газету партии «Мундо обреро». Они ни с кем не общались, кроме нескольких пионеров, не имели возможности посещать школу. Их постоянно тревожила судьба матери.

Товарищи решили помочь мне. Понимая мою озабоченность, они предложили отправить детей в Советский Союз. Там они, правда, будут лишены материнской ласки и заботы, но зато смогут жить спокойно, как все дети советских трудящихся.

Мне было ужасно тяжело расставаться с детьми. Ведь я с таким трудом поднимала их, а это делало их для меня вдвойне дорогими. Старая истина: чем больше дети стоят, тем больше их любишь. К тому же они были моими настоящими друзьями и поверенными. Дети рабочих, с малых лет познающие трудности и горести, быстро взрослеют.

Мне предстояло принести новую жертву, и я пошла на нее. Как ни трудно было расставаться, но только это избавит их от тягот неустроенной жизни, а меня — от постоянной тревоги за их судьбу.

Весной 1935 года Рубен и Амайя выехали в Советский Союз. После короткого отдыха в пионерском лагере «Артек» в Крыму Амайя поселилась в интернациональном детском доме города Иванова, а Рубен поступил учеником токаря на автомобильный завод в Москве. Несколько месяцев спустя он перешел в авиационное училище.

Прошло примерно две недели после отъезда детей, как однажды ко мне в дверь постучала привратница. Она попросила разрешения поговорить со мной.

Я встретила ее с опаской. Когда я поселилась здесь, то заключила договор на аренду квартиры от имени мужа — моряка, находящегося в дальнем плавании. Моя фамилия не фигурировала ни в каких документах. Поэтому визит привратницы, с которой до того я не поддерживала никаких отношений, не мог не вызвать подозрений.

Едва перешагнув через порог, она без всяких предисловий огорошила меня вопросом:

— Правда ли, что вы Пасионария?

Отрицать это было бы глупо.

— Да, сеньора, я Пасионария. Но как вы понимаете, я не собираюсь свое имя писать на вывеске и оповещать о нем каждого встречного. Почему вас интересует, Пасионария ли я? У вас есть ко мне какие-нибудь претензии? Разве я не плачу точно в срок?

— Извините, если я вас побеспокоила. Речь идет о другом. В привратницкую заходил полицейский и спрашивал о вас. Я заявила, что вы здесь не живете, потому что и в самом деле не знала, кто вы. Да если бы и знала, все равно ничего не сказала бы. Он мне сообщил ваши приметы. Вот я и зашла, чтобы предупредить вас. В моей семье нет коммунистов, но мы уважаем тех, кто защищает трудовой народ, и хотели бы помочь им.

Она охарактеризовала мне ближайших соседей, предупредила, чтобы я не доверялась им, и указала квартиры, где я в случае надобности могла бы найти убежище.

В одной из указанных квартир жил скромный служащий, исключительно порядочный и добросердечный человек, не состоявший ни в какой партии. В другой проживала белошвейка-социалистка. Привратница поговорила с ними еще до визита ко мне, и они изъявили готовность в любой момент приютить меня.

С присущими простым и самоотверженным женщинам Испании природным умом и сообразительностью привратница придумала целый план, чтобы уберечь меня от полицейских козней. И вот я оказалась в центре своеобразного заговора против полиции. В этот заговор были втянуты не только семья привратницы и соседи, готовые предоставить мне убежище, но также и хозяева небольшого кабачка, расположенного поблизости. Стоило только туда заглянуть какому-нибудь незнакомцу или подозрительному лицу, как в витрине появлялся условный сигнал, означавший: «Внимание! На побережье — мавры...»*

Каждое утро, когда я спускалась по лестнице, меня внизу поджидал старик — отец привратницы. В прошлом он крестьянствовал в провинции Вальядолид, а теперь сторожил днем привратницкую. Старик говорил мне:

— Подожди, дочка, пойду взгляну, нет ли туч...

Он выходил на середину улицы, смотрел на небо, потом сплевывал и поспешно возвращался:

---

* В средние века на Испанию часто нападали мавры. Поэтому на всем побережье существовала система сигнализации, предупреждавшая население об опасности

— Можешь идти. Только побыстрее, чтобы никто не заметил, откуда ты вышла.

Меня искренне трогала эта солидарность людей из народа, которые, считая меня своей, заботились обо мне и защищали только потому, что я коммунистка и преследовалась полицией.

Я предупреждала семью привратника, если собиралась вернуться поздно. Каждый раз они не ложились до моего возвращения и держали дверь незапертой, чтобы мне не нужно было ни дожидаться, ни звонить. Так мы прожили несколько недель, обходя все полицейские капканы. Для меня было бы, пожалуй, удобнее переехать в другой дом. Но это оскорбило бы их. И кто знает, нашла бы я в другом месте такую же поддержку, такое же волнующее и искреннее сочувствие!

И я оставалась здесь, несмотря на опасность. Однажды ночью явились полицейские, они хотели обыскать весь дом, требовали, чтобы привратница указала по крайней мере все подозрительные квартиры. Поголовному обыску она воспротивилась, сославшись на закон, а в качестве подозрительной указала на квартиру, в которой жили вполне благонадежные постояльцы.

Решив, что наконец-то они поймали в сети ту, которую искали, полицейские ринулись по лестнице. Вскоре они спустились вниз, задыхаясь от ярости. Привратница со всей семьей ждала их в вестибюле, сохраняя совершенно серьезный вид.

— Ну как, нашли? — спросили они, притворяясь крайне заинтересованными.

— Нет,— сухо ответил полицейский комиссар.— Там были одни мужчины, а нас интересуют не штаны, а юбка.

Комиссар не хотел уходить.

— Неужели вы не видели здесь Пасионарию?

— Видите ли,— ответила привратница,— возможно, что она когда-нибудь сюда и приходила,— вам ведь известно, что в седьмом этаже жил Эскаиилья, коммунист, которого вы арестовали Вполне вероятно, что эта сеньора заходила навестить Эскаиилью. Но мы заверяем вас, что она не живет здесь.

И она принялась перечислять имена всех жильцов — меня, конечно, среди них не было.

Полицейские ушли, но на следующий день вернулись, решив устроить засаду на лестнице.

Едва полицейский занял свой пост, как привратница поднялась ко мне под предлогом уборки квартиры.

— Не выходите,— сказала она.— Они оставили внизу агента. Если вам что-нибудь понадобится, дочка вам все принесет. Она подаст при этом условный сигнал. Не открывайте, пожалуйста, никому, кроме моей дочки. Ваших товарищей я предупрежу. Я сейчас же пойду в «Мундо обреро» (редакция находилась неподалеку) и расскажу им обо всем. Пусть они не приходят сюда, а лучше придумают, как вытащить вас из этой мышеловки.

Прошла неделя. Полицейские сменяли друг друга, а Пасионария не появлялась.

И вот мы решили (я говорю «мы», потому что это решение я приняла совместно с привратницей) перейти Рубикон. Полицейские внимательнее всматривались в женщин, одетых в темную одежду, и обращали больше внимание на входящих в дом, чем на выходящих.

Узнав об этом, я поручила Эрменехильде (так звали привратницу) купить несколько метров светлой или даже белой ткани, чтобы сшить из нее платье и рискнуть выйти.

Платье было готово через несколько дней. Привратница принесла мне шляпу с широкими полями, большие серьги и дымчатые очки, элегантную сумку для провизии и губную помаду. К дому подошло такси. Я спустилась в лифте. Мимо полицейского, спокойно сидевшего у лестницы, прошла элегантная дама, одетая в светлое платье и как будто собравшаяся на загородную прогулку.

И вот я, переодетая, разъезжаю в такси по Мадриду и никак не могу решить, что делать дальше. Ни при каких обстоятельствах я не могла заехать к кому-нибудь из товарищей по партии, чтобы не притащить за собой полицейский хвост. В конце концов, я решила зайти в контору на улице Алькала, которую держали адвокаты, взявшие на себя защиту астурийских рабочих. Так я и сделала. Один коммунист подыскал мне надежную квартиру достаточно далеко от моего прежнего местожительства Здесь я и поселилась, продолжая вести нелегальную работу под постоянной угрозой ареста, до самого моего отъезда на VII конгресс Коммунистического Интернационала.

Кто посеял ветер...

Нормальная деятельность парламента, сформированного после победы Народного фронта 16 февраля, длилась недолго

Чем крепче и сильнее становилось единство левых сил и их стремление продолжить демократическую революцию, парализованную во время «черного двухлетия», тем более агрессивными становились реакционеры.

И в городах и в деревнях явственно ощущалась предгрозовая атмосфера. Кровавые события в селении Йесте, где гражданские гвардейцы * по указке помещиков убили 16 крестьян, потрясли всю страну. Перед нами неуклонно вставал вопрос: что замышляют реакционные силы?

В середине июня было объявлено, что СЭДА** собирается сделать запрос правительству относительно общественного поряд-

* Гражданской гвардией в Испании называли жандармерию.

** СЭДА (Испанская конфедерация автономных правых) — объединение реакционных партий и групп, созданное в 1932 году.

ка. Наглость сторонников СЭДА не знала границ. В самом деле, можно ли придумать нечто более возмутительное? Те, кто снижал заработную плату рабочим и батракам, те, кто натравливал гражданскую гвардию на голодных крестьян и открыто угрожал скорее сгноить урожай на корню, чем платить батракам за их труд по справедливой таксе; те, кто вкладывал оружие в руки наемных убийц, стремясь уничтожить лиц, известных своими демократическими убеждениями,— именно эти организаторы беспорядков осмеливаются вносить запрос правительству относительно общественного порядка!

Как могли эти люди отважиться на подобную наглость? На этот вопрос можно ответить, только разобравшись в позиции некоторых деятелей Народного фронта, ибо противники Народного фронта использовали все его слабости.

Ни для кого не было секретом, что требования трудящихся вызывали раздражение у некоторых республиканских и даже социалистических лидеров.

Когда в кулуарах или коридорах парламента заходила речь о требованиях трудящихся, борющихся за повышение заработной платы и улучшение условий жизни, нам нередко приходилось слышать суждения, подобные тем, которые высказал в Астурии Альборнос, обвинивший заключенных в чрезмерной поспешности.

Депутаты СЭДА были как бы ушами помещиков и капиталистов: они улавливали даже малейший вздох республиканских магдалин, готовых покаяться в заблуждениях, приведших их в ряды Народного фронта. Именно с их помощью и рассчитывала реакция пробить брешь в блоке левых сил.

Правительство и Народный фронт восприняли сообщение о предполагаемом запросе депутатов СЭДА как удар хлыстом.

Внося в парламент свой внеочередной запрос, правые надеялись вызвать далеко идущие последствия, но левые силы, полные решимости дать бой реакции в стенах парламента, тесно сплотились вокруг правительства.

16 июня, за месяц до мятежа, в испанском парламенте воцарилась напряженная атмосфера, как перед сражением.

Журналисты и фотографы брали интервью и делали снимки. У всех создалось впечатление, что это заседание должно стать историческим, что оно приведет либо к поражению правительства (а в то время это означало бы и крах Народного фронта), либо к поражению правых сил, открыто перешедших в наступление.

Оба лагеря оттачивали свое оружие. Мы, коммунисты, собравшись в полдень, договорились об основных положениях моего выступления — от имени коммунистической партии в дебатах должна была выступить я. Социалисты назначили оратором Энрике де Франсиско, а республиканцы — Марселино Доминго.

Перед заседанием коридоры и кулуары парламента напоминали встревоженный улей. Одни входили, другие выходили. И готовившиеся наступать и намеревавшиеся обороняться обменивались мнениями, высказывали предположения об исходе схватки, беседовали со своими сторонниками, бросали на противников взгляды, полные ненависти, стараясь скрыть тревогу, саркастически улыбались и хмурили брови...

Нас, коммунистов, тревожило больше всего то, что не правительство начинало наступление против врагов республики, а враги республики, распоясавшиеся благодаря попустительству правительства, бросались в атаку.

До сих пор именно коммунистическая фракция своей стойкостью и решимостью задавала тон в парламенте. В этот вечер нам предстояло скрестить оружие с нашими злейшими врагами.

Я очень волновалась, ибо понимала значение этого заседания. Коммунистическая партия должна была выступить на нем как ударная сила в борьбе против СЭДА и всей испанской реакции, представленной ее самыми видными главарями — Хилем Роблесом и Кальво Сотело, которые собирались начать атаку на правительство.

Заседание началось с утверждения некоторых текущих решений и первой статьи законопроекта, изменявшего старый закон об общественном порядке.

Затем председательствующий объявил о внеочередном запросе. Это был запрос СЭДА, требовавшей от правительства объяснений по поводу «мятежного состояния, в котором находится Испания».

Хиль Роблес обосновал запрос. Перечислив ряд фактов, ответственность за которые он возложил на силы, входящие в Народный фронт, Хиль Роблес заявил под конец, что не стремится вызвать раскол Народного фронта, а рассчитывает на то, что все партии, входящие в его состав, потерпят сокрушительный крах. «Панихида по демократии уже не за горами»,— закончил он.

Выступивший затем от имени фракции социалистов Энрике де Франсиско вежливо просил извинения за то, что, принуждаемый к тому тяжким долгом, он, столь скромная персона, вынужден вступить в спор с такой выдающейся личностью, как сеньор Хиль Роблес..

Речь представителя социалистов оставила парламент равнодушным и вызвала возмущение многих депутатов-социалистов, ожидавших от своего представителя более решительного и политически зрелого выступления.

Агрессивность лидеров правого крыла возрастала по мере того, как они наблюдали за атмосферой, царившей в парламенте.

После угрожающего и вызывающего выступления Кальво Сотело, бывшего министра времен диктатуры Примо де Риверы, многие сочли, что правительству осталось жить считанные часы. В ловкой демагогической речи Кальво Сотело воздал хвалу НКТ, лидеры которой своей деятельностью после 16 февраля совершенно открыто лили воду на мельницу правых.

Энергичный отпор Кальво Сотело дал председатель кабинета министров Касарес Кирога. Обратив внимание депутатов на угрозы, содержавшиеся в речи экс-министра диктатуры, он возложил на Кальво Сотело ответственность за действия реакционеров, направленные против республики и против народа.

Выступив вслед за главой правительства, я раскрыла смысл маневра правых, которые стремились изобразить себя жертвами, в то время как именно они были ответственны за беспорядки и беспокойство в стране.

Я разоблачила их махинации против республики, как, например, контрабандный ввоз в Наварру оружия, предназначенного для государственного переворота, проанализировала события, предшествовавшие октябрю 1934 года, и напомнила о жертвах террора и репрессий.

Я показала иезуитизм и лицемерие правых, которые, стремясь вызвать в массах ненависть к участникам славного октябрьского восстания, прибегали к самой низкой клевете. Это они распространяли басни о том, что участники восстания выкалывали глаза детям, насиловали девушек, продавали на фунты мясо убитых священников, сжигали живьем штурмовых гвардейцев и так далее.

Основываясь на фактах, вскрыла причины забастовочного движения и состояния беспокойства и неустойчивости, которые царили по всей стране.

«Ни нападки реакции, ни более или менее замаскированные маневры врагов демократии не смогут поколебать или ослабить веру трудящихся в Народный фронт и правительство, его представляющее.

Необходимо, однако, чтобы правительство не забывало о своем долге — заставить тех, кто отказывается повиноваться законам (а в данном конкретном случае это отнюдь не рабочие и не крестьяне), почувствовать на себе тяжесть закона.

Если есть у нас еще реакционные генералишки, которые в какой-то определенный час, подстрекаемые такими элементами, как Кальво Сотело, могут поднять оружие против правительства, то есть у нас также и героические солдаты, как, например, капрал из Алькалы, которые способны надеть на них узду.

Когда правительство решится энергичнее, чем до сих пор, осуществлять программу Народного фронта и начнет республиканское наступление, на его стороне выступят все трудящиеся, готовые, как и 16 февраля, нанести поражение силам реакции и привести еще раз к победе Народный фронт».

Обращаясь к главе правительства, я сказала: *«Сеньор Касарес Кирога, чтобы избежать «беспорядков», которые столь беспокоят Хиля Роблеса и Кальво Сотело, чтобы покончить с тревожным состоянием, в котором находится Испания, мало возложить ответственность за то, что может произойти, на какого-нибудь Кальво Сотело; надо начать с заключения в тюрьму предпринимателей, отказывающихся выполнять приказы правительства.*

Надо арестовать помещиков, обрекающих крестьян на нищету и голод; надо арестовать тех, кто с неслыханным цинизмом, не смыв еще крови жертв октябрьских репрессий, является сюда, чтобы требовать наказания за то, что не было совершено.

И когда эти справедливые меры будут приняты, сеньоры министры и сеньор Касарес Кирога, тогда ваше правительство получит самую решительную, самую могучую поддержку, ибо народные массы поднимутся на борьбу против всех этих сил, которые нельзя здесь терпеть даже из вежливости» *.

Мои слова, выражавшие политику и позицию коммунистической партии, встретили горячее одобрение по всей стране.

Депутаты-бойцы

Война изменила характер деятельности партии, которая с 18 июня направила свои основные усилия на организацию и усиление народного сопротивления врагу на фронтах и в тылу.

Появилось своеобразное соревнование в самопожертвовании, самоотречении, напряжении сил. Начиная с нашего тяжело больного генерального секретаря Хосе Диаса и кончая рядовым членом партии в любом уголке страны все были поистине одержимы, каждый старался сделать как можно больше, чтобы обеспечить победу республики.

В этой самоотверженной работе с энтузиазмом участвовали наши депутаты.

Некоторые из них не жили в Мадриде и приезжали туда только для участия в сессиях парламента. Находившиеся в момент мятежа в своих округах товарищи Эдуардо Суарес Моралес, депутат от Канарских островов, и Баутиста Гарсес, депутат от Кордовы, после короткого сопротивления были арестованы и убиты фалангистами. Товарищи Суарес Кабралес и Хосе Очоа Алькасар, командированные на Канарские острова для проведения партийной конференции, после варварских пыток были в мешках брошены в море.

Товарищ Леандро Карро, приехавший за несколько дней до начала мятежа в Галисию на областную конференцию, принимал активное участие в борьбе вместе с товарищем Бенигно Альваресом, руководителем партийной организации в Оренсе. Оказав героическое сопротивление фашистам, они с группой партизан ушли в горы. Там Аль-

* Я подчеркнула эту часть моей речи, чтобы бросить эти слова в лицо франкистским борзописцам, которые вот уже 24 года распространяют наглую ложь, будто я с парламентской трибуны подстрекала к убийству Кальво Сотело. *(Примечание автора)*

варес погиб, а Леандро Карро более двух лет пробыл с партизанами. Затем ему удалось перейти в Португалию, а оттуда, когда война закончилась, он переехал в Мексику.

Депутат от Астурии Хуан Хосе Мансо совместно с товарищем Анхелин и братьями Роса в течение всего периода, пока в Астурии шла борьба, активно участвовал в организации сопротивления и в укреплении тыла. В Астурии погиб руководитель партийной организации Хихона Орасио Аргуэльес, на Овьедском фронте были убиты Карлос Вега и Эрминио Аргуэльес.

Многие из наших депутатов вступили в ряды народной милиции. В их числе был депутат от Гранады Антонио Претель, вместе с Линой Сденой участвовавший в боях на Гранадском фронте.

Даниэль Ортега, депутат от провинции Кадис, был одним из организаторов Пятого полка. Он в течение всей войны находился в Мадриде, активно участвовал в обороне столицы и был расстрелян фалангистами после капитуляции Касадо.

Каетано Боливар — первый депутат-коммунист, избранный в кортесы в 1933 году, будучи комиссаром народной милиции в Малаге, принимал активное участие в военных действиях и был расстрелян фалангистами, не простившими Боливару ни его честности, ни принадлежности к коммунистической партии.

В народную милицию, а затем и в армию вступили депутаты Адриано Ромеро и Педро Мартинес Картон. Первый возглавлял интендантскую службу в Андалузии, а второй командовал воинской частью в Эстремадуре — провинции, избравшей его депутатом.

Депутатами были почти все члены Политбюро во главе с нашим товарищем Хосе Диасом: Антонио Михе, работавший в Военном комиссариате, Висенте Урибе и Хесус Эрнандес — министры в правительствах Ларго Кабальеро и Негрина. Депутатом была и я.

Как для других товарищей, так и для меня, фронт, где решались судьбы республики и всего народа, составлял предмет главных забот, хотя при этом я не оставляла без внимания и работу в тылу. Во время войны тыловая работа была чрезвычайно разнообразной: помощь эвакуированным из захваченных врагом районов, организация сети детских домов и столовых, мастерских по пошиву обмундирования для армии, помощь кормящим матерям, создание особых организаций по оказанию помощи солдатам на фронтах и в госпиталях, обеспечение продовольствием рабочих военных заводов, сотрудничество женского комитета помощи с министерством обороны в решении многих вопросов. И наряду с этим интенсивная пропагандистская работа на фронтах и в тылу, участие в многочисленных митингах, конференциях и собраниях, а также в сессиях парламента, вице-председателем которого я была избрана.

Руководство партии направляло меня вместе с другими товарищами на фронты Гвадаррамы и Сомосьерры, в Университетский городок, на арагонский, каталонский и эстремадурский участки, на передовую линию огня — одним словом, туда, где требовался голос и помощь партии. И, по правде сказать, я чувствовала себя среди бойцов гораздо лучше, чем в тылу.

Если эта работа приносила пользу, то заслуга принадлежит всецело партии, чью силу каждый из нас ощущал за собой и чья политическая активность воодушевляла нас, помогая преодолевать колебания и слабость.

Так действовали и боролись первые депутаты от Коммунистической партии Испании, так, соревнуясь друг с другом в самопожертвовании, готовности к борьбе и героизме, сражались все наши товарищи.

Коммунистическая партия была кузницей воинов. Кем были Листер и Модесто, кем были Кордон, Маркес, Прадос, Идальго де Сиснерос, Рекальде, Кристобаль, Маркина, Сиутат, Солива, Марин, Эдуардо Гарсиа, Леаль, Манолин, Усаторре, Вега, Мерино, Алама, Бобадилья, Ортис, Артемио, Родригес Сьерра, Каррион, братья Галан, Эваристо Хиль, Балагер, Хуанин, Хуанито Гарсиа, Филамон Тораль и многие, многие другие военные руководители армии и народной милиции, отличившиеся в ходе нашей национально-революционной войны?

Кем были героические комиссары Диегес, Дель Кампо, Фусиманья, Баамонде, Делахе, Сантьяго Альварес, Хосе Севиль, Эсконтрела, Барсиа — всегда первые в наступлениях и последние при отступлении? Кем был простой крестьянин из Мората дель Тахунья Селестино Гарсиа, уничтоживший четыре итальянские танкетки и взявший в плен их водителей? Кем были истребители танков Колль, Корнехо и Грау — олицетворение решимости и отваги? Это были коммунисты — рабочие, крестьяне, студенты, военнослужащие, моряки. Это были депутаты, члены провинциальных и местных комитетов, члены Политбюро и Центрального Комитета. Вся партия, слившись в едином дыхании, вела войну за свободу и независимость Испании, за республику и демократию.

С пером и винтовкой

Развертыванию сопротивления агрессии в немалой степени способствовала пропагандистская деятельность всех организаций Народного фронта и в особенности коммунистической партии и Пятого полка, чьи газеты, плакаты, брошюры и листовки, рассказывающие о высоком боевом духе фронтовиков и тружеников тыла, широко распространялись на фронтах и в тылу.

Во время войны оба органа компартии — «Мундо обреро» и «Френте рохо» — были образцовыми газетами революционного пролетариата. Они вселяли в сердца людей веру и надежду, привлекали к себе всех антифашистов, отражали проводимую нашей партией политику единства, помогали коммунистам ориентироваться в обстановке.

В «Мундо обреро» и «Френте рохо» работали наши журналисты-бойцы, среди которых выделялись: расстрелянный впоследствии франкистами Мануэль Наварро Бальестерос, для которого журналистская деятельность была подлинным призванием и страстью; он был неутомим и, несмотря на то что занимал высокий пост главного редактора, всегда был готов выполнять любую работу, так как прежде всего был коммунистом; Эусебио Симорра, который с первых дней войны вел не только политический комментарий событий, но и хронику военных действий, начав ее с описания штурма казармы Монтанья. В газете «Френте рохо» работали также товарищ Рехано, отличавшийся высокой культурой, скромностью и умением писать в самых разнообразных жанрах, и товарищ Искарай, чьи живые репортажи с интересом читали и обсуждали фронтовики. Работники редакций «Мундо обреро» и «Френте рохо» своим напряженным, плодотворным трудом (не свободным, правда, от ошибок, проистекавших подчас от чрезмерного задора) помогали партии преодолевать трудности, вызванные тем, что среди нас почти не было опытных журналистов — они формировались постепенно.

Союз объединенной социалистической молодежи издавал газеты «Ла ора» * в Валенсии и «Аора» ** в Мадриде. Эти газеты умело редактировали Фернандо Клаудин и Виктор Веласко, в них активно сотрудничал товарищ Мануэль Аскарате. Сражающаяся молодежь слышала в этих газетах свой собственный голос, видела в них свое знамя. «Ла ора» и «Аора» направляли и воспитывали молодых бойцов.

Многие писатели, поэты, актеры, художники, скульпторы предоставили в распоряжение Пятого полка свои обширные знания и свой труд. Мужество народа было для этих людей неиссякаемым источником вдохновения. Нередко деятели культуры сменяли перо на винтовку.

Восхищенный героизмом бойцов народной милиции демократически настроенный публицист Антонио Сосайя, хорошо известный в литературных и журналистских кругах Испанской республики, выразительными стихами воспел решимость бойцов сражаться в рядах народной милиции.

Народные дружины, народные дружины,
отвагой, дисциплиной
и доблестью сильны.
В их рядах сражаются храбрые мужчины,
родины любимой верные сыны.
И среди ее солдат неутомимых
не найдешь бесправных и тупых рабов.
Не пойдут дружины против сел родимых,
не направят в грудь им острия штыков.
И когда на землю тень косая ляжет,
тень войны народной, честной и святой,
«Гонят нас на бойню»,— наш солдат
не скажет,
скажет: «За народ свой я иду на бой!»
Если будет страшно, виду не покажет.
Поцелует крепче на прощанье мать:
«Обещаю, мама, что отдам все силы,
буду за свободу храбро воевать,
за волос твоих серебряную прядь
и за тень отцовской дорогой могилы.
Я иду в сраженье, чтоб моя земля
стала из хозяйской детищем народным,
я хочу украсить лаврами поля
и мой дом родной, где будут жить
свободным,
немудреной песней душу веселя.
Всех нас провожают горы и равнины,
все горды мы сердцем, а душой едины.
Мы должны тиранов подлых одолеть.
Если ж мне в бою придется умереть,
я умру достойным воином дружины».

Воспевая товарища Листера, героизм и стойкость которого вызывали восхищение на всех фронтах, Антонио Мачадо следующими словами приветствовал народного героя:

ЛИСТЕРУ

Твое письмо, друг Листер — воин смелый,
Испанец с сердцем горячей огня,—
Твое письмо заставило меня
Забыть о немощах больного тела.
В письме раскаты битв услышал я,
Грозу над иберийскою равниной;
О, как откликнулась душа моя
На запах пороха и розмарина!
Там, где морские раковины нам
О близком Эбро весть несут, и там,
Где он с горы в простор сбегает вольный,
Пусть голос мой, как колокол, звучит:
«О, если враг перо мое сравнит
С твоею саблей, я умру довольный»*.

Когда окруженная столица, упорно сопротивляясь не пускала подстерегавшего ее зверя топтать землю Мадрида и враг проявлял свою бессильную злобу в сотрясавших город варварских бомбардировках, раздался голос поэта Эррера Петере, бойца Пятого полка, который призвал мадридцев оказать врагу сопротивление, достойное спартанцев:

ТРЕВОГА

Мадрид, Мадрид, отовсюду
К твоим воротам, жилищам
Тянется черная морда,
Зверь подбирается хищный.
Теперь отдыхать не время.
Вставайте! На бой, мадридцы!
В воздухе пахнет железом,
Тьму рассекают зарницы,
Небо трясется от залпов,
Земля, содрогаясь, мечет
Трагические фонтаны
Из пороха и картечи.
Аэропланы фашистов
Уже стрекочут зловеще.
Гранаты уничтожают
Детей, стариков и женщин.
Мадрид, Мадрид, над тобою
Нависла эта угроза.
Скорей, скорей к оружью,
К оружью, пока не поздно!
Все на последнюю битву
С ордами гнусных пришельцев,
С предателями отчизны,
С наемной челядью немцев!
Пора, мадридцы, к оружью!
Уже готовый к удару,
Фашистский зверь над столицей
Занес когтистую лапу.
Кому дорога́ свобода,
Кому дорога́ надежда,
И хлеб, и дети, и счастье,
И завтрашняя победа,
Все на защиту Мадрида!

* «Час».
** «Сейчас».

* Перевод О. Румера.

ДОЛОРЕС ИБАРРУРИ
ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ

Скорей подойдите к окнам,
Прислушайтесь к этим залпам!
Теперь отдыхать — позорно.
Холодным утром иль ночью,
Сейчас, сегодня иль завтра
Черные орды фашистов
Бросятся, хлынут внезапно,
Грозя неистовым штурмом
Твердыне нашей столицы.
Вам говорю я, испанцы,
Вам говорю я, мадридцы:
Пятым полком я направлен,
Чтоб вы, товарищи, знали:
Это решается участь
Республиканской Испании!
Сюда, земляки, спешите
Страну отстаивать грудью!
Мадридцы, вас ждут винтовки
Скорей! К оружью, к оружью! *

Славя товарища Модесто, первого генерала Народной армии, вышедшего из Пятого полка, где он сначала командовал «Стальными ротами», а затем возглавлял батальон «Тельман», поэт Эмилио Прадос писал:

ТОВАРИЩАМ ИЗ БАТАЛЬОНА «ТЕЛЬМАН» И ЕГО КОМАНДИРУ МОДЕСТО ГИЛЬОТО **

Рожденная в Навасерраде,
На склонах неприступных гор,
Там, где Испания суровей,
Где необъятнее простор;
Сильна, как сосны на вершине,
Жестка, как горная руда,
Как направляющая воля
Неколебима и тверда,
Горсть спаянных одним желаньем
И мужественных храбрецов
Все битвам отдает: жар сердца,
И крови цвет, и блеск штыков.
Как знаменосец битвы правой,
Встал Тельмановский батальон.
В день роковой, в кровавом вихре
Разбужен выстрелами он.
Он родился в дыму и громе
Средь запылавших деревень,
Отмеченный кровавой датой,
Он родился в кровавый день.
В его душе роптала совесть,
Она ударила в набат:
«Товарищи, к оружью! Встаньте!
Предатели страны хотят
Продать родные наши реки,
И зелень сочную лугов,
И пастбищ злачные долины,
Коней ретивых и быков,
И заповедников пушнину,
Птиц вольных, воздух наших мест.
Добро, нажитое веками,
Честь наших жен, сестер, невест!
К оружью! Враг не даст пощады.
Предатель мстителен и лют.
Уже фашисты — у порога
И пушки на полях ревут!
Ножом отточенным, косою,
Простым охотничьим ружьем
Бороться будем мы с врагами,
Врагов мы дружно разобьем!
Не будет пуль — побьем камнями
И палкой — если нет ружья.
И если нет еще окопов,
На поле павшие друзья
Воздвигнут первую траншею.
К оружью! Не иззубрен меч!
Уж разрывается над нами
На наших улицах картечь!»
Долой, предатель, посягнувший
На честь Испании! Долой!
Здесь дети славятся отвагой,
Здесь каждый человек — герой
Их мужество объединило,
Любовь к свободе их зовет.
Их общая связала клятва:
Низвергнуть произвол и гнет.
То клятва пламенных и храбрых.
И каждый в битвах закален.
Пришли! Уже Мадрид победный
Шумит средь вскинутых знамен.
Они пересекли Вильальбу,
Среди дубов, по валунам.
Они вошли в Навасерраду,
Барсена ждет уже их там.
Там поджидает их Модесто,
Несокрушимый, как бетон,
Гильото нежен, как ребенок,
Как разъяренный лев, силен.
«Товарищи! Пусть Пегеринос
Еще не наш, ему грозим.
Когда ж возьмем его мы с бою,
Мы Талаверу окружим.
Наемные грозят ей мавры.
Встань, батальон! Смелей туда,
И, Пегеринос окружая,
Пусть наша красная звезда
Нависшую уже угрозу
От стен мадридских отведет!
Вонзившись в бок фашизма шпорой,
Его с лица земли сотрет!
Вы это сделаете, знаю!
На вас надеется страна!»
Модесто — коммунист примерный,
И с делом речь его дружна.
Мой добрый командир Модесто!
Дружинников отец стальной!
Твои бойцы непобедимы,
Руководимые тобой,
В твоей бригаде зреет сила.
Настанет час. Уж близок он.
И снимет красный хлеб победы
Твой Тельмановский батальон! *

Мигель Эрнандес, бывший пастух, ставший замечательным поэтом, участник войны, переживший затем ужасы и отчаяние франкистского застенка, замученный фалангистами, которые ненавидели его и не простили ему верности народу, написал наряду с множеством других стихов, посвященных республиканским бойцам, превосходный сонет. В нем поэт выразил свое отношение к сражавшимся и умиравшим за свободу Испании героям интернациональных бригад.

Есть люди на земле: в их сердце
необъятном
суровый рокот волн, шум улиц городских,
лиловый сумрак гор в безмолвье
предзакатном...
Таким предстал ты мне: ведь ты — один
из них.
Весь мир взывал к тебе в смятении
набатном,
он мужество свое влил в силу рук твоих,
Он знал: перед тобой в долгу он
неоплатном —
ты шел в сражение с ордой шакалов злых.
Тебе Испания дала приют. Ты в ней
нашел зарю всех солнц и всех морей
приливы,
всех благородных душ безудержный порыв.
Всю землю пронизав кинжалами корней,
из праха твоего поднимутся оливы,
род человеческий тобой объединив.

В дни обороны Мадрида народное творчество воспело Пятый полк, который все справедливо считали самым верным защитником непобедимого города. В этих песнях народ славил любимую им коммунистическую партию и ее великое детище — Пятый полк.

Сначала в окопах Мадрида, а затем и по всей республиканской Испании раздавалась песня:

* Перевод В. Парнаха.

** Полное имя генерала Модесто — Хуан Модесто Гильото.

* Перевод М Талова

Наши братья-коммунисты,
Что всегда в бою средь первых,
Для Испании защиты
Пятый полк сформировали.
. . . . . .
В те четыре батальона,
Что Мадрид обороняют,
Цвет Испании собрался,
Алый цвет всего народа...
Мать моя, о мать родная,
Подойди сюда поближе!
Это славный полк наш Пятый
С песней в бой идет, взгляни же

В Париже

Когда в Испании ты дерево
увидишь в крови,
Знай — это дерево свободы
Когда в Испании из сердца
слышишь крик,
Знай — это крик свободы.

Поль Элюар

Наш приезд во французскую столицу вызвал большой скандал. Пресса двухсот семейств требовала, чтобы правительство выслало нас. С особой силой ненависть всех правых газет сконцентрировалась на мне.

Мы остановились в одном из отелей, но через два дня хозяин указал нам на дверь. Правда, он сделал это очень вежливо, бесконечно извиняясь: ему крайне неприятно оказаться в таком щекотливом положении, но все дело в том, что «Огненные кресты» * угрожают взять отель штурмом, а это означало бы для него полное разорение Ему особенно неприятно перед «мадам» («мадам» — это я), но у него нет другого выхода.

Мы переехали в другой отель, расположенный вблизи испанского посольства. В тот же день я получила от «Огненных крестов» письмо, требующее моего немедленного отъезда из Франции. «В случае если вы этого не сделаете,— говорилось в письме,— мы пустим в ход средства, способные помешать вам вести во Франции пропаганду в пользу республиканской Испании».

Я передала письмо товарищам из Французской коммунистической партии, которые опубликовали его в «Юманите», разоблачив угрозы фашистов. Одновременно они заявили соответствующий протест министру внутренних дел и активизировали кампанию солидарности с борьбой испанского народа.

В то время нашим послом в Париже был юрист дон Альваро де Альборнос, который, как и я, баллотировался в депутаты кортесов от Астурии.

Я не представляла себе ясно, как работали дипломатические представители Испании за границей. Когда же я воочию увидела «действующего» посла, то у меня сложилось весьма печальное представление о роли дипломатов, ибо этот представитель сражающегося народа был чисто декоративной фигурой.

Вместе с Альборносом в посольстве находился Фернандо де лос Риос, социалист и бывший министр. Сопровождаемый акушером (это не метафора) Отеро, тоже депутатом-социалистом, он прибыл во Францию с поручением купить оружие и боеприпасы, в которых нуждалась республика.

Поглаживая правой рукой свою холеную бородку и заложив большой палец левой руки за жилет, дон Фернандо говорил:

— Кто мог бы подумать, что я окажусь в роли покупателя оружия? Для чего? Для того чтобы люди убивали друг друга!

Я смотрела на него, всматривалась, не зная, возмущаться или смеяться, и в то же время думала: «Что за идиот поручает такое важное дело сестрам милосердия?»

Порядки в испанском посольстве в Париже были такие, что телефонистом оставался тот же человек, который служил послу монархии Киньонесу де Леон. Как и следовало ожидать при таких порядках, все, о чем сообщали в посольство по телефону, и все, что оттуда отвечали, становилось известным врагам раньше, чем республиканскому правительству и даже самому послу.

Шифровальщик — человек, через руки которого проходили все распоряжения правительства и все секреты посольства, тоже был монархистом.

Мало того, что в посольстве сидели враги. Значительно хуже было то, что сам посол не понимал, какие задачи стоят перед ним, представителем борющейся страны и народа, который истекает кровью в страшной войне, призванной преградить фашизму дорогу в Европу.

Надо было послушать Альборноса, когда речь зашла о том, что посольство должно пропагандировать справедливое дело республики!

По убеждению дона Альваро, послу не подобает «вмешиваться в эти дела». «Почти в такой же степени, как президент республики,— утверждал он,— посол должен стоять над партийными распрями и конфликтами».

При таком понимании своей роли представителем страны, ведущей войну, и притом такую особую войну, как наша, враги получили возможность, не встречая отпора, вести пропаганду против республики на страницах большинства французских газет. В защиту испанского народа страстно выступала только «Юманите» — орган Французской коммунистической партии.

На третий день нашего пребывания в Париже французские коммунисты по договоренности с другими демократическими организациями устроили на Зимнем велодроме массовый митинг, на котором члены делегации должны были рассказать французскому народу о положении в Испании и об истинном характере нашей борьбы.

Но, увы, мои спутники оказались крайне обидчивыми.

Во время встречи делегации с француз-

* «Огненные кресты» — одна из фашистских организаций во Франции, сочувствовавшая франкистам и пытавшаяся терроризировать сторонников Испанской республики.

скими товарищами было решено провести несколько массовых митингов, на которых мы получим возможность выступить, и все делегаты согласились с этим. Но — ох, эти проклятые церемонии, омрачающие нашу жизнь,— французские товарищи не учли, что в составе делегации были личности, которых обязательно нужно было «упрашивать» выступить на митинге в защиту республики. Французские товарищи наивно полагали, что имевшейся договоренности достаточно. Они — о ужас! — забыли о протоколе!

Был организован первый митинг, привлекший десятки тысяч человек. Но люди, которых испанский Народный фронт направил во Францию, чтобы добиться помощи защитникам республики, отказались выступить на этом митинге, так как не получили «официального» приглашения.

Между тем митинг превратился в волнующую демонстрацию солидарности французского народа с народом испанским.

Не обращая внимания на столь дорогой для моих товарищей по поездке протокол, я выступила — не от имени делегации, а от имени тех, кого я оставила сражающимися в Сомосьерре и на хребте Гвадаррамы, от имени тех, кто с чистым сердцем боролся за предотвращение фашистской диктатуры в Испании.

И рабочий Париж, демократический Париж, Париж Коммуны и Народного фронта, Париж, в котором по инициативе нашего родного товарища Мориса Тореза, всегда непреклонно стоявшего на нашей стороне, всегда готового помочь нам, всегда нашего, уже начали формироваться группы добровольцев, желавших отправиться в Испанию для борьбы с фашизмом, этот Париж поднялся как один человек с единой волей и единым требованием: «Пушки и самолеты Испании!»

После митинга по всей Франции прокатилась волна солидарности с испанским народом. Все повторяли тот клич, которым тысячи людей, присутствовавших на Зимнем велодроме, ответили на мою просьбу о помощи: «Пушки и самолеты Испании!»

Когда на следующий день мои товарищи по делегации узнали из газет всех направлений, как успешно прошел этот грандиозный митинг, они очень огорчились.

Они не представляли себе, как сильны были чувства любви и симпатии французского народа к Испании, и участвовать в митинге отказались прежде всего потому, что в глубине души считали неизбежным провал этого первого митинга солидарности.

А после этого им уже не представился случай выступить на таком массовом собрании: французская реакция настолько испугалась первого публичного волеизъявления французского народа, бурно требовавшего: «Пушки и самолеты Испании!», что не разрешила организовать другой такой митинг.

Мы сделали несколько визитов. Повсюду нас встречали очень вежливо, но практических результатов — никаких.

После долгих хлопот Хименесу де Асуа удалось добиться, чтобы глава французского правительства социал-демократ господин Леон Блюм принял делегацию испанского Народного фронта.

Я никогда не испытывала такого странного чувства, какое охватило меня при виде Блюма — виднейшего деятеля французской социалистической партии.

Мной овладело чувство физического и нравственного отвращения, чувство классовой ненависти, пробудившееся с особой силой при мысли о том, что этого человека считали представителем французского пролетариата. Того самого французского пролетариата, который совершил бессмертный подвиг Коммуны!

Слабым голосом, как будто ему стоило большого труда выговаривать слова, он спросил о цели нашего посещения. Марселино Доминго очень точно изложил в общих чертах положение Испанской республики. Хименес де Асуа подчеркнул важность происходящей в Испании борьбы.

Прерывистым голосом заговорил Блюм: да, он хотел бы помочь Испании... Но он не может... Это означало бы войну... Он пацифист... Невозможно ничего сделать... Он очень переживает... К тому же война в Испании — это война гражданская... В нее нельзя вмешиваться... Это вызвало бы серьезные трудности для Франции...

Я ответила ему довольно резко:

— Наша война, сеньор,— это не простая гражданская война, это война в защиту мира и свободы всей Европы. Если вы не окажете помощи Испании, если вы позволите разгромить испанский народ, вам придется самим вести войну в крайне неблагоприятных для Франции условиях.

Блюм вздохнул и прикрыл глаза своими длинными точеными пальцами. Плачет, что ли?

Из верхнего кармана его пиджака выглядывал элегантный шелковый платочек. Им он и утер несуществующую слезу. Мы встали. Нам нечего было ожидать ни от французских социалистов, ни от правительства. Марселино Доминго посмотрел на меня и ничего не сказал. Я поняла его без слов.

Стремясь сделать как можно больше для популяризации нашего сопротивления, мы, завершив свою миссию в Париже, отправились в Брюссель, рассчитывая, что по крайней мере бельгийская социалистическая партия окажет поддержку нашей борьбе. Слишком наивные, мы не представляли себе, под чью дудку плясали лидеры бельгийских социалистов.

Мы были официальными представителями испанского правительства. Но в глазах социалистов, служивших бельгийской монархии и буржуазии, республиканское правительство, олицетворявшее испанский народ, было правительством плебеев — ведь в нем не было ни юрисконсультов крупных промышленных предприятий, ни помещичьих лакеев, а на стороне Франко, напротив, была аристократия, на его стороне была крупная буржуазия, за него выступала церковь, его поддерживали Гитлер и Муссолини, ему

помогали английские и американские нефтяные магнаты. На что же могли рассчитывать мы, имевшие несчастье вызвать гнев великих держав своей попыткой преградить дорогу фашизму, который хотел поставить наш народ на колени и превратить Испанию в гитлеровскую базу?

Бельгийские социалисты встретили нас вежливо, но холодно, дав понять, что нам здесь нечего делать.

Впрочем, они не осмелились бросить открытый вызов чувствам бельгийского рабочего класса, который всем сердцем был на стороне испанского народа. В день окончания конференции «Всеобщего объединения за мир» на стадионе в Брюсселе был организован большой митинг, на который пригласили и нас. Там должен был выступить один из членов нашей делегации. На митинге присутствовала внушительная группа лидеров бельгийской социалистической партии во главе с ее апостолом Вандервельде * .

Говорят, что слово — серебро, а молчание — золото. Нас убедили в этом в Бельгии за несколько минут до начала митинга. Когда трибуны стадиона до отказа заполнила публика, почтенный социалистический апостол, вставив в ухо слуховую трубку, чтобы услышать ответ, сказал, что нам выступать не следует, так как «наше молчание будет более красноречивым, чем наши слова».

Марселино Доминго, которому было поручено выступить, не знал, что ответить на это возмутительно бестактное заявление. Старый мул лягнул борцов за свободу Испании. Это была, кажется, последняя услуга, оказанная им бельгийской реакции.

После окончания митинга, на котором никто из нас так и не выступил, Вандервельде пригласил нас на чашку чая в свою элегантную квартиру, где собралась группа друзей апостола. И тут мы допустили грубый промах.

В квартире Вандервельде нас встретили две женщины. Как выяснилось впоследствии, одна из них была женой, а другая тещей хозяина дома. Но так как жена была лет на сорок моложе мужа, то мы приняли ее за дочь Вандервельде, а тещу — за его жену. Я и сейчас не могу удержаться от смеха, вспоминая о том, какое замешательство вызвала наша ошибка.

— Mais non, mais non! Celle-ci est ma femme! Celle-là est ma belle-mère!**

Несмотря на то что в состав делегации входили профессор университета, учитель и адвокат, наши познания во французском языке были менее чем элементарными, и роль переводчицы выполняла супруга патриарха, прожившая долгое время в Аргентине и знавшая испанский язык. Она была очень внимательна и сердечна, как бы стараясь сгладить скверное впечатление, которое произвело на нас поведение ее мужа.

* Эмиль Вандервельде (1866—1938) — реформистский лидер бельгийских социалистов и II Интернационала

** Да нет, нет же! Это моя жена, а это — теща! *(франц.)*.

Еще до нашего отъезда в Бельгию товарищи из французской компартии рассказали мне, что из Мадрида звонил Висенте Урибе, сообщивший об образовании правительства Ларго Кабальеро, в котором коммунистическая партия представлена двумя министрами.

Зная точку зрения партии по этому вопросу, я поняла, что, раз наши товарищи решились войти в правительство, значит, обстановка стала очень серьезной.

Встревоженная, я каждый день торопила своих товарищей по делегации, просила поскорее закончить нашу поездку. Они же пытались убедить меня в необходимости ехать в Англию, Новую Зеландию, Соединенные Штаты... Куда угодно, только не в Испанию.

Однажды утром, не выдержав, я простилась с ними и одна вернулась в Мадрид. Через несколько дней приехал Сальмерон. Лара остался в Париже, а Марселино Доминго и Рекасенс Сичес поехали в Америку...

Марселино Доминго умер в эмиграции. Он всегда мечтал об Испании.

Незабываемые моменты

Мадрид ощущает на своем лице горячее дыхание подстерегающего его хищника. Зверь подползает, приближается, он хочет именно сегодня, 7 ноября 1936 года, в день годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года, нанести смертельный удар по сопротивляющемуся народу.

Молниеносным ударом, который должен открыть ему путь к сердцу города и вынудить Испанскую республику стать на колени, он рассчитывает добиться победы, положить конец войне и вычеркнуть из сознания масс даже воспоминание о бессмертной дате.

В ожесточенных боях дружинники отбили первые атаки мятежников на столицу, но не смогли помешать им захватить еще часть территории.

Израненный картечью, окровавленный Мадрид закрывает вход на свои окраинные улицы противотанковыми рвами, баррикадами, колючей проволокой.

Завывание сирен нарушает тишину и предупреждает население города о нависшей опасности.

Артиллерийские снаряды из Серро де лос Анхелес и бомбы мятежников пробивают насквозь самые высокие здания, взрываются в их недрах, разрушают стоявшие веками памятники и бесценные художественные сокровища, гасят тысячи жизней.

Обстрелян музей Прадо, подожжен дворец герцога Альба с драгоценными произведениями искусства и историческими документами, которые так благоговейно берегли наши дружинники. Обитатели обстре-

ливаемых артиллерией улиц переезжают в менее опасные места. Население сосредоточивается в пока еще не тронутых районах.

Радиопередатчики Пятого полка поочередно дают населению указания, как избегнуть ненужного риска Они подготавливают и приучают жителей города к мысли о новом штурме, который — это уже очевидно — готовит враг и который должен быть отбит. Сегодня Мадрид уже не вчерашний свободный и открытый город. Он превратился в осажденную крепость. Из него эвакуированы в гостеприимный Левант дети, больные и старики.

Оставшиеся в столице мужчины и женщины полны решимости продолжить ее славную историю, защищать каждый камень, каждый дом, каждую улицу родного города.

Неизбежность вражеской атаки заставляет население быть наготове. Производятся подсчеты, оцениваются возможности. Проходят часы, напряжение становится невыносимым. Повсюду, где притаился враг, где он подкрадывается, где он пытается найти щель, нащупать слабое место, чтобы прорваться и бросить своих наемников на штурм,— повсюду мадридцы с крепко сжатыми кулаками, внимательно прислушиваясь, напряженно вглядываются вдаль, выжидают ..

Выжидают... В тишине, полной скрытых угроз, опасностей, кровавых неожиданностей, начинает слышаться размеренный, ритмичный, волнующий отзвук твердых шагов; он усиливается, приближается... Уже можно отчетливо различить стук кованых сапог о мостовую улиц

Наступает момент оцепенения, нерешительности Кто это идет? Кто приближается? Кто эти люди, идущие 7 ноября 1936 года по улицам нашего Мадрида, молчаливые, прямые, суровые, с винтовками на плечах и примкнутыми штыками, так что земля дрожит под их ногами?

Через приоткрытые окна лихорадочные взоры следят за каждым шагом движущихся колонн, а руки, готовые к рывку, судорожно сжимают гранаты и винтовки. Женщины, полные отчаяния, говорят мужчинам «Они вошли! Чего мы ждем?»

Как удар бича, прорезает воздух голос командира, отдающего какой-то приказ на иностранном языке. И вдруг зазвучали первые строфы знакомого, родного гимна Неизвестные размеренно идут под эти звуки. Воздух наполняется волнующей, торжественной мелодией и словами, заставляющими мадридцев задрожать: «Боже мой! Не сон ли это?» — спрашивают друг друга женщины, и в их голосах слышатся рыдания.

Люди, идущие по улицам осажденного Мадрида, поют «Интернационал» по-французски, по-итальянски, по-немецки, по-венгерски, по-румынски!..

Это добровольцы, вступившие по призыву Коммунистического Интернационала в интернациональные бригады, пришли в нашу страну сражаться, а может быть, и умереть бок о бок с нами!

Народ Мадрида бросается на улицы навстречу новым друзьям. Мужчины и женщины, охваченные неудержимым волнующим порывом, рыдая, обнимают бойцов интернациональных бригад...

Строй нарушен. Все хотят подарить интернационалистам самое лучшее, что у них есть. Каждый мадридец хочет увести к себе одного из этих людей или даже всех. Они забыли, что их подстерегает враг, забыли об опасности... И вдруг... Заглушая крики и восклицания радости и энтузиазма, заполнившие улицы, в небе раздается жужжание приближающихся к Мадриду моторов.

На мгновение людей, бросившихся на улицы встречать интернационалистов, охватывает паника

— Авиация! Авиация! — кричали они...

Черные точки растут, очерчиваются, приближаются. Они летят на небольшой высоте. Это не «мессеры», не «савойи». Неизвестные самолеты вторглись в наше воздушное пространство, приближаются к нам... Но они не стреляют. И не бросают бомбы. Что это значит?

Эскадрильи самолетов И-15 и И-16, которые народ позднее ласково назовет «чатос» и «москас» *, стремительно пролетает по мадридскому небу, охраняя и приветствуя изумленное население. На крыльях самолетов, покачивающихся в честь мадридских бойцов, видны цвета республики

Описать этот момент невозможно. Единодушный крик радости, благодарности, облегчения, вырвавшийся из тысяч сердец, поднимается с земли к небу, приветствует и сопровождает появление в небе нашей родины первых советских самолетов. бдительных часовых, преграждающих дорогу врагу.

Это советские самолеты! Наши!.. Наши!.. Наши!

В один миг далекая страна социализма настолько приблизилась к сердцам наших бойцов, наших женщин, наших мужчин, что, кажется, нет больше границ, морей, гор, террора, тюрем, способных отделить испанский народ от советского народа ни сейчас, ни в будущем Они навсегда исчезли в пламени борьбы, героизма, самопожертвования.

Охватившее всех чувство близости с Советской страной, лучшие сыны которой, приняв участие в нашей войне, проявили подлинный героизм и пролили на испанской земле свою кровь, во много раз усилило боеспособность и сплоченность республиканских сил.

Мадрид вновь обретает свое лицо. Он сознает, что его завоевать невозможно. Атаки мятежников, во время которых в бой были брошены все средства, которыми располагал противник, вновь отбиты. Такая же участь постигнет в дальнейшем сотни вражеских атак.

Фашисты не сумели взять Мадрид в первые дни ноября 1936 года; не смогли они взять его и в дальнейшем, вплоть до марта 1939 года, когда измена открыла им ворота непобежденного города

---

* «Курносые» и «мушки».

Другие виды помощи Советского Союза

Испанский народ никогда не забудет великодушную и бескорыстную помощь, которую оч в этот драматический период получил от Советского Союза.

Наше положение было очень тяжелым. Враг уже начинал звонить во все колокола, что его победа неотвратима. Преодолев множество препятствий, испанское правительство приобрело в Мексике несколько тысяч винтовок. Наши бойцы по достоинству оценили позицию мексиканского правительства и прежде всего большого друга республиканской Испании генерала Ласаро Карденаса *, хотя купленное в Мексике оружие удовлетворило лишь самую минимальную часть наших потребностей, было очевидно, что политика Мексики коренным образом отличается от политики английского, французского и других так называемых демократических правительств.

В начале войны Советское правительство согласилось участвовать в Комитете по невмешательству, созданном в Лондоне, рассчитывая таким образом содействовать скорейшей победе республики и окончанию начатой испанской реакцией войны.

Однако, убедившись на практике, что соглашение о невмешательстве, задуманное вероломными английскими политиканами и проведенное в жизнь главой французского правительства социалистом Леоном Блюмом, не служит интересам Испанской республики, а Комитет по невмешательству покрывает помощь мятежникам со стороны фашистских и «демократических» стран. Советское правительство заявило 7 октября 1936 года, что оно считает себя свободным от обязательств, принятых по соглашению о так называемом «невмешательстве». В то же время правительство СССР объявило о своем намерении помогать республиканскому правительству и испанскому народу в их героическом сопротивлении фашистской агрессии.

Действуя в соответствии с этим заявлением и стремясь вдохновить испанский народ на борьбу, Сталин от имени Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза направил 16 октября Хосе Диасу историческую телеграмму, в которой говорилось: «Трудящиеся Советского Союза выполняют лишь свой долг, оказывая посильную помощь революционным массам Испании. Они отдают себе отчет, что освобождение Испании от гнета фашистских реакционеров не есть частное дело испанцев, а общее дело всего передового и прогрессивного человечества».

И очень скоро борющаяся за свободу Испания стала ощущать сердечную, братскую солидарность советского народа и его правительства

Работницы московской текстильной фабрики «Трехгорная мануфактура» выступили с инициативой — послать испанским женщинам и детям одежду, продовольствие и медикаменты.

Их пример был подхвачен всем советским народом. и через два месяца испанское правительство получило первую партию товаров на сумму около 60 миллионов рублей, присланную трудящимися СССР.

«Зырянин» — первый советский пароход, прибывший в Барселону, а за ним «Нева» и «Турксиб» привезли испанцам братскую помощь народов Советского Союза.

В октябре 1936 года советские суда начали перевозить в Испанию те товары, о поставке которых республиканское правительство просило правительство СССР.

Во время этих длительных путешествий советские моряки, стремившиеся во что бы то ни стало доставить республиканской Испании необходимые ей грузы, сплошь и рядом показывали волнующие примеры героизма и самопожертвования. Так поступила, например, команда незабываемого парохода «Комсомол» *.

Матросы этих судов, подлинные рыцари моря, привозили нам не только хлопок, масло, сахар и муку. Они доставляли также самолеты, танки, орудия, пулеметы. Вместе с ними приезжали люди, умевшие владеть этим оружием и обучавшие тому же наших бойцов.

Фашистские мятежники приходили в бешенство от того, что жители Мадрида вешали на балконах своих квартир и на улицах осажденного города портреты руководителей Советского государства. Между тем в этом не было ничего странного и удивительного: испанский народ с полным основанием считал Советский Союз лучшим другом, знал, что без советских танков и самолетов оборона Мадрида была бы невозможна, что без советской помощи фашистам удалось бы быстро осуществить свои планы.

Все советские люди, начиная от самоотверженных переводчиц, сопровождавших на фронт советников и специалистов — Марии Фортус, Татьяны Ивановой, Лебедевой, сестер Абрамсон, Норы Чегодаевой и многих других,— и кончая советским послом в Испании Марченко и его супругой Федер, не зная усталости, трудились на благо нашего народа и правительства республики

Во всех областях, где только можно было защищать дело республиканской Испании, будь то политика, дипломатия, заседания Комитета по невмешательству или сессии Лиги наций, повсюду советские представители твердо и настойчиво отстаивали право испанского народа и правительства на получение помощи в их благородном и славном деле — сдержать продвижение фашизма в Европе, поставить преграды поджигателям войны.

---

* Мексиканский левобуржуазный политический деятель, в 1934—1940 годах — президент Мексиканской республики.

* Пароход «Комсомол», шедший с грузом предназначенным для республиканской Испании был задержан летом 1937 года фашистскими военными кораблями в западной части Средиземного моря. Команда парохода предпочла потопить судно, но не отдала его и груз фашистам

ПИТЕР ТЕМПЕСТ

НАЧАЛО НОВОЙ ЭРЫ

Отдел, где продавались географические глобусы, был закрыт, и я вышел из магазина с пустыми руками. Мне надо было приобрести глобус для двух моих малышей, еще дошкольников. «Но зачем им глобус? Ведь они слишком малы»,— недоумевала одна моя хорошая знакомая, много лет проработавшая учительницей.

Я объяснил ей, что глобус мне нужен для того, чтобы легче отвечать на вопросы детей относительно спутников и орбит, воздушной атмосферы и полетов ракет вокруг земного шара; помимо того, с глобусом проще удовлетворить и их любопытство насчет причин смены дня и ночи, насчет северного и южного полюсов.

— Да,— сказала моя приятельница.— Когда я училась в школе, земля была плоской, и мы ползали по материкам, как улитки.

Я хорошо помню ту карту, которую во время урока вешал на классную доску наш учитель географии: весь мир был показан на этой карте в Меркаторовой проекции *, а земли Британской империи окрашены ярким цветом.

Проекция Меркатора, подобно кривому зеркалу, увеличивала территории северных и южных широт так, что Ньюфаундленд и Фолклендские острова казались крупнейшими форпостами Британии... За все время, пока я учился в школе, лишь один-единственный урок был посвящен географии Советского Союза.

Но стоит только взглянуть на вращающийся глобус, и вы увидите страны и континенты в их истинных пропорциях — Китай, Индию, огромную Африку и Южную Америку, где светлое солнце освобождения народов поднимается над горизонтом.

Раскинувшийся на широких пространствах Европы и Азии, хорошо виден Советский Союз: там 45 лет назад искра социалистической революции, высеченная Лениным и большевиками, разгорелась в мощное пламя и породила советскую державу — этот маяк, который светит и будет светить в бесконечной чреде веков всем странам и континентам.

В нищей России, где лучина была главным средством освещения, Ленин сказал, что победа коммунизма неизбежна, что она есть Советская власть плюс электрификация всей страны.

Большой друг советского народа в ту революционную пору, американский коммунист Джон Рид 1 января 1919 года писал:

«После целого года существования Советской власти все еще модно называть восстание большевиков «авантюрой». Да, то была авантюра, и притом одна из поразительнейших авантюр, на какие когда-либо осмеливалось человечество,— авантюра трудящихся масс, бурей ворвавшихся в историю и все поставивших на карту ради удовлетворения своих насущных и великих стремлений».

Об этих исполненных гордой уверенности словах Джона Рида я размышлял несколько месяцев назад, когда видел улыбающееся, энергичное, молодое лицо чудесного американца на экране московского телевизора: демонстрировалась полузабытая кинохроника, где Джон Рид был заснят на Втором конгрессе Коминтерна.

---

* Общепринятая картографическая проекция.

«Мир, хлеб, земля!» Этот клич, брошенный Лениным, мудрым и вдохновенным стратегом коммунизма, тронул — как трогает и теперь — самые глубокие струны в сердцах всех трудящихся.

Мир между народами, конец бессмысленному кровопролитию и гибели наших братьев!

Хлеб — чтобы не горели голодным блеском прекрасные человеческие глаза, чтобы крепли мускулы и работал мозг, чтобы мужчины и женщины могли трудиться, любить и строить светлую жизнь!

Земля — тому, кто возделывает ее и собирает ее плоды, тому, кто кормится ею, а не тешит свою алчность!

«Мир, хлеб, земля!» Этот клич, брошенный опытными, преданными своему делу, дисциплинированными революционерами, учениками Маркса и Ленина, выдвинул на авансцену истории угнетенные массы России, которым суждено было сделать первый смелый и широкий шаг, вступить в новую эру — эру социализма и коммунизма.

«Революции — праздник угнетенных и эксплуатируемых,— говорил Ленин.— Никогда масса народа не способна выступать таким активным творцом новых общественных порядков, как во время революции. В такие времена народ способен на чудеса...»

Уильям Фостер вспоминает, что в Соединенных Штатах, этой цитадели капитализма, события великой русской революции вызвали среди народных масс высочайший подъем боевого духа. «Наконец-то рабочим удалось смести со своего пути все укрепления ненавистной капиталистической системы и открыть дорогу к социализму... Рабочие на многолюдных митингах в американских городах с жадностью ловили сообщения о первой рабочей республике и громом аплодисментов отзывались на каждое упоминание о большевиках и их великом вожде Ленине».

Выдающийся лидер социалистов Юджин Дебс заявлял: «Я — большевик, большевик с головы до ног, и я горжусь этим. День победы народа наступил».

В начале 1918 года в Англии, пишет Уильям Галлахер, шотландские рабочие верфей и заводов на Клайде, воодушевленные Октябрьской революцией, настаивали на том, чтобы первомайская демонстрация в Глазго была проведена в рабочее время. «Большинство официальных руководителей старого тред-юниона выступило против этого: рабочие, говорили они, не выйдут на демонстрацию. Нет, рабочие выйдут, отвечали мы. Решение было принято, и рабочие провели крупнейшую первомайскую демонстрацию, какую когда-либо видел Глазго. Мы направили с демонстрации самый сердечный братский привет молодой социалистической республике, которой тогда было всего шесть месяцев».

Молодая социалистическая республика, как магнит, притягивала взоры рабочих всех стран, вызывала у трудящихся любовь и восхищение, вселяла в них надежду.

Немало людей, годами боровшихся за это светлое будущее, побывало в ту пору в России. Приехавший из Америки радикал Линкольн Стеффенс сказал так: «Я видел будущее, оно побеждает». В Москву в начале 1920 года приехал английский социалист Джордж Ленсбери. Он приехал в Россию уже пожилым, шестидесяти лет, только для того, чтобы «взглянуть в глаза людей, совершивших революцию». По возвращении на родину Ленсбери писал: «Русскому народу предстоит пройти большой и трудный путь, прежде чем он добьется своей цели. Он испытает еще немало страданий, прольет немало крови и пота. И, однако, я уверен, что этот молодой могучий народ положит начало новой жизни».

В день своего рождения, когда Джорджу Ленсбери минул 61 год, он встретился с Лениным. «Я сидел напротив человека, который был центральной фигурой величайшей революции в мире... Его энтузиазм, его горячее слово вдохнули в солдат сознание того, что они сражаются не только за Россию, но и за все человечество».

За все человечество... В течение многих лет после Октября 1917 года правители старого мира делали все, что могли, чтобы скрыть от человечества достижения русских рабочих и крестьян, строивших социализм, их усилия и жертвы в суровой борьбе, когда Россия одна противостояла враждебному миру.

Ныне я вспоминаю, как школьником с волнением читал приключенческие рассказы, где были выведены мрачные фигуры заговорщиков с длинными бородами, в высоких русских сапогах, со взрывчаткой за пазухой,— это были «большевики». Я вспоминаю

также комика в богатом мюзик-холле, его излюбленная шутка заключалась в том, что он вытаскивал совершенно расстроенную скрипку и объявлял: «А сейчас я исполню вам партию из симфонии «Пятилетний план»!

Как это было непохоже на то, что я увидел, впервые столкнувшись с коммунистами, с жизнью и культурой советского народа! Помню, первого коммуниста я встретил еще в школьные годы, в Бредфорде, в маленькой комнатке, выходившей окнами на шумную Сорнтон-роуд, где находилась шерстяная фабрика. Эта комнатка представляла собой не что иное, как книжную лавку «Прогрессивная книга». Она ничем не напоминала те книжные магазины, в которых мне доводилось бывать раньше: книги и брошюры стопками громоздились на полках и стульях, стены были увешаны плакатами и знаменами. Человека, который распоряжался в этом помещении, я видел не больше минуты — он вошел в лавку, предложил мне оглядеться и чувствовать себя как дома, а сам потихоньку удалился в смежную комнату и принялся за работу. Я выбрал себе брошюру, положил на стол шестипенсовую монету и пошел домой пить чай и набираться мудрости...

Советскую музыку я впервые услышал, когда смотрел кинокартину из колхозной жизни. Этот фильм показывали на собрании общества «Россия сегодня», я купил туда билет у одного школьного товарища. С каким воодушевлением говорили там ораторы! И как жизнерадостны и воодушевлены были русские, первые русские, которых я видел — пока еще на экране. Правда, на некоторых из них действительно были высокие русские сапоги! Но я как сейчас вижу их открытые, сердечные улыбки...

Каждая годовщина Октября, отмечаемая в Советском Союзе массовыми демонстрациями, отмечалась — конечно более скромным образом, но с не меньшим энтузиазмом — рабочими и в других странах.

В 1926 году углекопы Чопвелла на севере Англии вышили на своем профсоюзном знамени серп и молот, портреты Маркса, Энгельса, Ленина и лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». 1926 год — год Всеобщей забастовки; советские рабочие прислали тогда английским шахтерам миллион фунтов стерлингов — это проявление пролетарской солидарности никогда не будет забыто. Историческое знамя с портретами Маркса, Энгельса, Ленина находится теперь в Советском Союзе: оно было подарено профсоюзу советских шахтеров несколько лет назад в знак крепкой и нерушимой дружбы.

В годы второй мировой войны эти дружественные чувства охватили широкие массы английского народа, который воочию видел, как Красная Армия нанесла решающий удар фашистским насильникам и штурмом взяла цитадель нацистов — Берлин.

В пламени войны родились новые социалистические государства Европы и Азии, и Октябрь стал общим праздником растущей семьи социалистических наций, семьи, к которой в 1949 году присоединились миллионы тружеников великой Китайской Народной Республики и Германской Демократической Республики.

Прошло еще десять лет, и знамя народной революции взвилось за океаном, на далекой Кубе, где правительство Фиделя Кастро, не страшась бойкота и угроз Соединенных Штатов, начало осуществлять программу социалистических преобразований.

В послевоенные годы многие бывшие колониальные и полуколониальные народы завоевали национальную независимость и установили дружеские, все более крепнущие отношения с социалистическими странами.

Нынешней осенью героический народ Алжира провозгласил свою независимость и образовал республику; эта победа была достигнута в борьбе с французскими колониалистами, которые многие годы с чудовищной жестокостью вели грязную войну.

Как радостно держать в руках глобус, словно земной шар! Но насколько радостней смотреть на него, зная, что все новые страны получают новые имена — получают свободу! И когда вы поворачиваете глобус, притрагиваясь к нему пальцами, вы словно притрагиваетесь к этим новым странам надежды, посылая им свой горячий дружеский привет.

Путь к счастью человечества труден, суров и неровен. И газеты и радио каждое утро подробно сообщают нам о злободневных событиях — мир живет в атмосфере постоянных тревог, мобилизаций, угроз и реваншистских речей. Подобно скале, олицетворяющей спокойствие, силу и уверенность, стоит в этом море тревог Советский Союз — оплот передового человечества.

Все нормальные люди хотят жить в мире, мир необходим нам, как воздух, которым мы дышим. Поэтому, когда два года назад Никита Сергеевич Хрущев, выступив в ООН, изложил предложения Советского Союза о всеобщем и полном разоружении и о немедленном уничтожении постыдной системы колониализма, человечество почувствовало надежду и горячо одобрило это выступление.

Ныне в Организации Объединенных Наций именно Советский Союз является выразителем и поборником тех «насущных и великих стремлений», о которых писал Джон Рид. Советский Союз призывает осудить пропаганду превентивной ядерной войны как «несовместимую с честью и совестью человечества», осудить всякие разговоры о реваншистском пересмотре государственных границ в Европе, установленных после второй мировой войны.

Советский Союз призывает Генеральную Ассамблею Объединенных Наций осудить любое применение силы против народов, вступивших на путь освобождения и независимого развития, призывает все государства объявить пропаганду войны «тягчайшим преступлением против мира и человечества», преступлением, которое должно сурово караться.

Советский Союз призывает дать отпор враждебным действиям Соединенных Штатов по отношению к народному Китаю, выступает за немедленный допуск представителей великого китайского народа в Организацию Объединенных Наций.

А сколько волнующих событий в самóм Советском Союзе, на его бескрайних просторах, где никогда не заходит солнце! Как горд я тем, что живу теперь в Москве, что у меня московский адрес! Каждое утро я, подобно всем москвичам, иду покупать молоко и вкусные московские булки для своих ребятишек, которые говорят по-русски так же свободно и легко, как щебечут птицы в московских парках. Лифтерша приветствует их всякий раз, как они входят или выходят из дома поиграть с ласковыми и милыми русскими детьми. Да, я живу в Советском Союзе и своими собственными глазами вижу, как живут советские люди, знаю их мысли, их мечты. Эти простосердечные, умные и добрые люди с приветливыми лицами обладают самой светлой, самой оптимистической программой, которая уже сегодня претворяется в жизнь! Что означает эта программа — Программа Коммунистической партии Советского Союза — для каждого человека? Хорошее питание, хороший отдых, хорошие квартиры для всех семей, чудесные дворцы для детей. Но разве только это? Коммунизм откроет пути к осуществлению самых смелых проектов, к таким победам человеческого разума, при мысли о которых захватывает дыхание. Коммунизм в буквальном смысле слова делает доступными человеку и Луну, и звезды...

Этим летом мы слышали голоса двух членов семьи космонавтов — семьи пока столь небольшой, что можно пересчитать ее по пальцам, Николаев и Попович, подобно своим предшественникам Гагарину и Титову, говорили нам о нашей планете. Взмыв в небо и оторвавшись от Земли, они смотрели на нее через иллюминаторы своих чудокораблей — родная голубая планета приковывала к себе их мысли.

«Как чудесна, как замечательно красива наша Земля! — говорили космонавты.— Любуясь с космических высот земными просторами, мы думали о том, что гений человека должен постоянно стремиться к одной цели — сделать нашу голубую планету еще лучше, еще прекраснее. Мы думали о мире и счастье всех народов. Мы говорили об этом, обращаясь по радио с приветствиями к народам разных континентов. Мы знаем, что вы слышали нас!»

В те героические августовские дни и вечера мы сидели в семейном кругу, прильнув к телевизору. Мы беспокоились за героев, мы следили за их небесным марафонским бегом — и как же мы были счастливы, когда они благополучно возвратились на Землю! Каждое слово их посланий трогало нас до глубины души. Да, мы слышали вас, дорогие Андриян и Павел!

Тот образ неделимой, мирной Земли, который вам виделся,— это воодушевляющая перспектива, которую вижу и я и которую, как мне хочется думать, видят и мои малыши, когда я поворачиваю обыкновенный — нет, совсем не обыкновенный, а единственный в своем роде, изумительный глобус в эту 45-ю годовщину Октября.

ЮЛИУС ФУЧИК

ТРИ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЬМА

Книга Юлиуса Фучика, написанная на пороге смерти, переведена более чем на шестьдесят языков. И на всех языках имя Юлиус Фучик — символ преданности, отваги и стойкости. Но для народов Чехословакии и Советского Союза оно еще и символ нерушимой дружбы, скрепленной кровью, пролитой в борьбе против общего врага, за светлое будущее. Этому будущему прокладывали дорогу и красногвардейцы, штурмовавшие Зимний, и солдаты, бравшие Берлин, и пражские подпольщики, умиравшие с пением «Интернационала».

Великий жизнелюбец, пламенный трибун и неукротимый борец, Юлиус Фучик был нашим верным другом, и любовью к Советскому Союзу, родине Октября, дышат его прекрасные очерки и даже личные письма, которые стали ныне и для чехов, и для русских драгоценной реликвией.

Ниже мы печатаем три неопубликованных письма Юлиуса Фучика к жене.

Тренчин, 22 ноября 1932 года.

Моя милая Густина!

Я снова глубоко каюсь, что не писал тебе. Но мне на самом деле трудно было писать. Все эти дни прошли как-то глупо, я чувствовал себя страшно усталым — не физически — и был недалек от желания то ли заплакать, то ли напиться, то ли выкинуть какую-нибудь штуку — развлечься любой глупой забавой, лишь бы выкарабкаться из этого состояния. Поэтому и не хотелось писать.

Вероятно, я сумел бы взять себя в руки, если бы получил письмо от тебя. Я ждал его с робкой надеждой в воскресенье. Но не дождался, и мне ничего не оставалось, как погрузиться в это убийственное настроение, а потом выплывать собственными силами.

Кажется, мне это уже удалось — не знаю, правда, надолго ли. Сейчас я сижу в маленьком кафе, которое почти никто не посещает. Здесь я больше всего люблю писать тебе. Хоть на минуту, но чувствуешь себя гражданским человеком. То есть просто-напросто человеком. Вообще же у нас на военной службе в тебе все меньше остается человеческого. Не можешь не замечать этого и стараешься противостоять — и в этом вся трудность. Я теперь понимаю, почему военная служба в империалистической армии д о л ж н а продолжаться так долго. Не для того, конечно, чтобы мы могли большему научиться. А для того, чтобы мы отупели, чтобы потеряли ощущение добра и зла, чтобы утратили всякую способность критически мыслить и иметь собственное мнение. И эти качества, отличающие хорошего солдата, должны за время военной службы так глубоко войти в наше сознание и подсознание, чтобы в любую минуту возникнуть вновь, как только человек снова окажется в солдатской форме.

Стараешься воспрепятствовать отупению окружающих. И в то же время чувствуешь, как тупеешь сам. Это окаянная ситуация.

Первое столкновение с военщиной я все же не проиграл: борьба, можно сказать, длилась пять недель, и все это время новобранцев атаковали и торжественными речами, и строгостью, и проповедями о благородном величии военной службы, и всякого рода дерганьем — перегоняли с работы на работу, с одного учения на другое. Новобранцы, в большинстве своем люди бедные, не очень склонны были пугаться этой

строгости, как и не слишком поддавались действию «благородной» болтовни. Обычно достаточно было одного слова, одного движения или одного небольшого примера, и атака наших наставников захлебывалась.

Сейчас уже более двух недель мы ничего не делаем, то есть не делаем ничего нового. Только повторяем и повторяем. До омерзения повторяем одно и то же — марш, бег, привал, чистим картофель, чистим ботинки, наводим особый, субботний порядок. Если раньше это хоть в какой-то мере заставляло думать, то теперь все делается бездумно, механически. К тому же механизм военной службы так громыхает и утомляет, что и думать нельзя ни о чем другом, хотя для этого — уйма времени.

Господа знают, что они не могут располагать армией верных и надежных солдат. И поэтому они превращают казарму в фабрику машин — бегающих и припадающих к земле, а также послушно стреляющих, стоит только нажать соответствующую кнопку приказа.

И все-таки, рассказывая тебе обо всем этом, я вижу, что излишне идеализирую успешность их метода. Мы, военные машины, порой уже не реагируем, когда оскорбляют наше человеческое достоинство. Однако наш механизм тем не менее достаточно чувствителен и весь — вплоть до мельчайшего колесика — способен заскрипеть и завибрировать от любого толчка извне. Да, теперь я это сознаю совершенно ясно.

Любопытный эпизод произошел вчера днем в нашей комнате. Ефрейтор (тот самый человек, которому вменили в обязанность неотступно следить за мной, но он настолько примитивен, что я не сразу это понял) заспорил со мной о немецком гимне. Потом заговорили о гимнах вообще, и он позволил себе пошутить: «Вы, наверно, охотнее поете русский, чем наш». Я с готовностью согласился. «А какой у русских гимн?» — полюбопытствовал он тогда. И я запел по-русски «Интернационал». Не очень громко. Но все-таки это услышал один немец, который стоял, склонившись над своим чемоданчиком. Он вдруг выпрямился и запел вместе со мной «Интернационал» по-немецки. Тут к нам присоединились два словака, потом один чех. И прежде чем мы допели первую строфу, уже все парни (кроме одного) стояли посреди комнаты, руки по швам, и «Интернационал» сотрясал стены казармы. *

Чистая случайность, а кончилось дело настоящей демонстрацией. К тому же начальство встревожилось, в нашей комнате был произведен строгий обыск, и наказаны четыре солдата... потому что у них оказались невычищенными ботинки... Ребята на неделю были оставлены без увольнений. Наказать строже и откровеннее не посмели.

А наш «механизм», как видишь, не подвел.

Ну, это только небольшой эпизод. Есть факты и покрупнее. Взять хотя бы реакцию солдат на события в Поломке **. Говорят об этом о ч е н ь много, все здесь страшно возмущены. Это был слишком сильный удар по нашим отупевшим чувствам и мыслям. Ребята понимают, что они тоже могли очутиться в положении жандармов на Горегроне! Только они поступили бы иначе. Все возмущены. Очень симпатизируют и сочувствуют тем, в кого стреляли. В дебаты вступают все новые и новые люди, о мыслях и настроениях которых я даже не имел понятия. Видишь, это как раз один из тех ударов, к которым мы, наверно, никогда не будем оставаться безучастными.

События в Поломке вообще вызвали общее негодование. Гораздо большее, чем писали на страницах «Руде право». Скажи об этом в редакции. Они ведут эту кампанию плохо. Длинные комментарии не нужны. По существу, ничего не нужно, кроме хорошей информации, а этого в «Руде право» нет.

Я принес в казармы воскресные номера «Руде право» для чехов и словаков и «Прагер тагблатт» для немцев. Немцы реагировали гораздо живее и гораздо вернее. И дело, конечно, не в них самих, а в несколько лучшем отражении в «Прагер тагблатт» событий, которые произошли на Горегроне.

И «Словак», который я достал сегодня, произвел гораздо большее впечатление на наших ребят. Очень плохо, что «Руде право» как раз в такие моменты не оказывает должного влияния. И здесь нельзя делать скидку даже на то, что, как я узнал, арестовали Пепика. (Вообще-то я от души сочувствую поредевшей редакции.)

Ну вот уже скоро и вечерняя поверка. Девочка, теперь ты должна мне прислать письмо. Поверь, мне иногда бывает очень плохо, и часто меня спасают только твои письма. Я так им радуюсь. По крайней мере, в них — ты моя. А ты? Я уже не отваживаюсь спрашивать о Догальском. Надеюсь, что даже и без него мы увидимся хотя бы на два-три дня, когда я приеду на рождественские каникулы.

Девочка моя, я покидаю свое кафе, рассказ мой кончается. Снова я перестаю быть человеком — становлюсь солдатом, который, впрочем, любит тебя совершенно по-человечески.

Твой Юля

Привет всем, не забудь о Пепике. И, главное, не забывай обо мне и не пиши таких злых слов, как на этой фотографии.

---

* «Интернационал» во времена буржуазной республики в казармах петь было запрещено.

** В деревне Поломка в Словакии 16 ноября 1932 года жандармы стреляли в население, вышедшее на демонстрацию против голода. Были убитые.

Москва, 9 февраля 1935 года.

Моя милая, дорогая Густина!

Твой жалобный голос в телефонной трубке преследовал меня до тех пор, пока я не сел писать тебе. До этого никак не мог избавиться от укоров совести.

Съезд кончился шестого. Первая сессия ЦИК — только вчера. Это были очень торжественные и очень радостные дни. И переживал я их не как сторонний наблюдатель. Но работы была уйма — для каждого коммунистического корреспондента. Мы так вымотались, что вчера нам всем предложили несколько дней отдохнуть. Но послезавтра начинается съезд колхозников-ударников, и отдохнуть удалось бы всего лишь сегодняшний день, который я уже наполовину проспал. Потом привел хоть в какой-то порядок материалы — нужно закончить вторую часть статьи для «Творбы».* (Первую я писал прямо на заседании и послал, не читая,— так спешил. А сейчас меня беспокоит, выразил ли я в ней хоть что-нибудь из того, что я хотел и должен был выразить. Другая часть, надеюсь, будет получше, потому что сейчас у меня чуть больше времени.) И вот наконец пишу тебе, моя девочка.

В ответ на мое предложение относительно Средней Азии ты сказала мне по телефону, что ваши посчитали меня с у м а с ш е д ш и м ** — и только. А каково твое мнение? Ты умолчала. И письма я тоже никакого от тебя не получил. Вот поэтому я и принимаюсь снова уговаривать тебя. По-моему, все это вполне может состояться. Пять недель ты все равно должна получить, работаешь ты хорошо.*** Есть такая традиция — премировать ударников. Я тоже что-то вроде ударника. Так вот пусть нас и премируют капелькой личного счастья. А что, если б у тебя должен был родиться р е б е н о к? Тогда ведь тебя пришлось бы отпустить на четыре месяца! Вот и пообещай им, пожалуйста, что в этом году ты, так и быть, обойдешься без ребенка и, таким образом, не воспользуешься четвертым месяцем, я не говорю уже о финансовой экономии.

Может быть, тебе покажется несколько диковатой моя арифметика, но что делать? Я на самом деле не нахожу никаких доводов против моего великолепного предложения, сколько бы я об этом ни размышлял.

Подумай только, Густина, ты здесь фактически успела бы гораздо больше — и притом находилась бы в отпуске и отдыхала.

Ты мне нужна как помощница. Нужна именно ты. Чтобы я мог «ковать свои планы». Ты помогала бы мне, знакомясь с материалом, который я собираю для своей книжки. А книжку я должен написать не только потому, что тут мне это настоятельно советуют. Это намерение уж слишком крепко засело у меня самого в голове.

Материал, привезенный мною теперь из Средней Азии, очень богат и интересен. Но мне отнюдь не хочется излишне увлекаться экзотикой. Есть кое-что поважнее и поконкретнее для нас, то есть для того мира, который лежит за границей СССР. Скажем, «Интергельпо» ****. Я был там вторично и только теперь понял, как много дает «Интергельпо» для понимания разницы между Советским Союзом и капиталистическими странами. На ней — на ее живой истории и на живых людях — можно показать всю эту разницу, причем нет необходимости допускать ни малейших композиционных сдвигов.

Ты знаешь, как часто я старался показать классовые различия через судьбы двух людей (шахтер — акционер). А сейчас меня привлекает нечто иное. Внезапно я увидел свою идею полностью воплощенной в «Интергельпо»! Представь себе: люди из Европы, из Чехословакии, словаки, венгры, чехи, немцы едут в Киргизию создавать свою коммуну и с ней первые промышленные предприятия в этой ранее отсталой стране. Уезжают они из Европы совсем не потому, что дома страдали от безработицы. Почему, собственно, они уезжают? Некоторые потому, что видят в СССР вторую Америку. Некоторые потому, что у них — авантюрный характер. Некоторые потому, что они коммунисты и хотят учить отсталых киргизов строить социализм. И вот приезжают в голую степь. Им приходится чуть ли не героически преодолевать тяжелые, очень тяжелые препятствия. Людям с авантюрными наклонностями это нравится: «американцы» работают, воображая себя первыми колонизаторами Америки,— тем ведь было не легче, а в результате все-таки — миллионы. А «учители социализма»? Те заранее шли на всякие трудности.

Но строительство «Интергельпо» — не игрушка. Многого не хватает, вспыхивает малярия, умирают дети, люди падают от усталости. Советское правительство помогает — и все-таки многие члены «Интергельпо» бегут обратно в Чехословакию.

И вот перед тобой несколько типов людей, которые все выдержали: коммунисты, прошедшие в свое время через забастовки, через войну, через революцию в России (в качестве военнопленных), через венгерскую коммуну; потом один «американец», который долго и усердно работал в «Интергельпо», рассчитывая стать миллионером, а в результате понял, что не может и не хочет жить вне социалистического коллектива,— и стал коммунистом; и ряд других типов, на примере которых видно, как растет новый человек. Это вот одна линия: рост сознания рабочих из капиталистических стран. Ведь

---

* Речь идет о статьях Ю. Фучика «Съезд Советов» и «Наша демократия», опубликованных в «Творбе» 14 и 28 2 1935 г.

** Здесь и далее выделены слова, написанные по-русски.

*** Г. Фучикова работала в это время переводчицей в Советском торгпредстве.

**** Коммуна переселенцев из Чехословакии, созданная в Киргизии в двадцатые годы международной рабочей организацией помощи («Интергельпо»).

сейчас они становятся хозяевами богатого «Интергельпо», новыми социалистическими людьми Советской Киргизии.

С этим, само собой разумеется, связана и другая линия: рост отсталой Киргизии, бывшей царской колонии, которая сейчас превращается в новую советскую республику. И виден не только этот рост. Не менее очевидно и то, что «иностранцы», приехавшие учить киргизов строить социализм, сами только здесь учатся социализму. Благодаря конкретному руководству партии они расстаются с ненаучными, утопическими идеями и посвящают себя целеустремленному и сознательному строительству социализма. И страна меняется. В степи, где интергельповцы заложили первое «промышленное предприятие» — другими словами, вырыли яму и наделали кирпичей из глины,— стоят теперь интергельповская текстильная фабрика, большая современная мельница, элеватор, прекрасная большая консервная фабрика, кожевенный завод и так далее. Кочевники с гор приехали в долину посмотреть на все эти чудеса — и теперь это грамотные люди, мастера. Те, кто совсем недавно покупал себе жен, теперь преподают политграмоту. Басмачи, которые еще в 1931 году боролись против советской власти, теперь строят шоссе в горах и соединяют с миром места, что тысячелетиями были отрезаны от него горами высотою в три и даже шесть тысяч метров. «Бедная земля гор» с единственным богатством — горными пастбищами — вдруг становится землей чрезвычайно богатой, потому что в ней открываются огромные залежи угля, серы, нефти, ртути, радия и т. д.

Вот та, другая, линия, которая должна быть в моей книжке. Экономическая и национальная политика Советского Союза, показанная на примере одной пока еще отсталой республики.

И, наконец, третья линия. Только благодаря ей две предшествующие и приобретают значение для нас. Или, другими словами, приобретают актуальность для читателей капиталистических стран. Конечно, я вовсе не хочу сказать, что сам Советский Союз недостаточно актуален. Я хочу только сделать так, чтобы читатель мог с р а в н и в а т ь, не делая над собой усилий.

Эта третья линия такова: много людей, приехавших в «Интергельпо», уехало обратно в Чехословакию, потому что трудности созидания показались им непреодолимыми. Они помнили Чехословакию еще времен подъема, а стали возвращаться, когда уже начинался кризис. Так, в степи под Фрунзе, устав после двенадцати часов работы, которая была им не по душе (текстильщикам приходилось работать каменщиками), они мечтали о своем доме, о восьмичасовой работе на текстильной фабрике и о жалованье, пусть небольшом, но твердом. А также об удобствах «цивилизованной» страны. И вот они вернулись. И ругали Советский Союз. Но недолго! Потому что своей восьмичасовой работы, о которой они мечтали, они уже не нашли. Не нашли они и двенадцатичасовой. Не нашли и двухчасовой. Просто-напросто не нашли никакой работы. Удобства «цивилизации» превратились в варварство безработицы — в кризис, в упадок капиталистических стран. Теперь в богатом «Интергельпо» люди получают письма из Чехословакии: возьмите нас обратно, мы умираем, мы не можем здесь жить.

И вот то, что произошло с ними «дома», — это и была третья линия, и совершенно естественно она переплеталась бы с первыми двумя. Выходило бы примерно так: это вот Советский Союз — условия жизни в нем вполне удовлетворяют западноевропейских рабочих, а это вот капиталистическая Европа.

Возможно, сейчас все это производит впечатление лишь сухого тезиса, но на самом деле материал чрезвычайно живой — живые, настоящие люди. И мне страшно хочется об этом написать.

Только нужно как следует все сделать. И поэтому я хочу еще подробнее познакомиться с «материалом», главным образом с конкретным материалом для своей «второй линии» — с Киргизией. «Интергельпо» я уже хорошо знаю, Чехословакию, конечно, тоже. Но Киргизию и з н у т р и, ее о т д а л е н н ы е горные районы, не знаю. А отсюда и мой план: май, июнь, июль — новая поездка в Среднюю Азию, а точнее, во внутренние районы Киргизии и в Таджикистан.

Путь примерно был бы такой: Москва—Куйбышев (Самара)—Оренбург—Кзыл-Орда — Ташкент (оттуда на Чирчикстрой, о котором нужно много писать, потому что это настоящий азиатский Днепрострой, «чудо Узбекистана») — и поездка в Самарканд. Из Ташкента до Ф р у н з е — озеро Иссык — через Александровский хребет до Нарына — через хребты Тянь-Шаня до Оша — по Памиру до Душамбе — Бухара — Ашхабад — Красноводск (оттуда — на другую достопримечательность Средней Азии — Кара-Бугаз) — через Каспийское море в Баку — Тбилиси и по Кавказу до Ростова — Москва.

Поездка продолжалась бы три месяца, потому что из Нарына до Оша (и, по всей вероятности, с Памирского перевала до Хорога) можно ехать только на лошадях — другими транспортными средствами пока что не воспользуешься. Собранных материалов, само собой разумеется, хватило бы не только на книжку об «Интергельпо», но также и на книжку репортажей.

А теперь посмотри, Густина, неужели все это не стоит того, чтобы тебе дали отпуск? Я ведь забочусь не только о том, чтоб тебе было интересно. Но и отношусь к этому совершенно объективно — по-деловому. Ты сама знаешь, как мне помогает

твое присутствие и твоя критика. Я совершенно поглощен этой идеей и убежден, что ты могла бы всего добиться. Сам я здесь еще не говорил об этом (насчет тебя), но я думаю, что никаких препятствий быть не может. Поэтому я очень прошу тебя, попробуй раздобыть себе отпуск и побыстрее ответь мне, что ты сама об этом думаешь. Ведь поездка могла бы состояться как раз в те месяцы, когда у вас не так много работы (если, конечно, не учитывать того, что в это время все уходят в отпуск).

Мне было бы очень грустно, если бы по этой причине тебе пришлось отложить свой отъезд, то есть приезд сюда. Расстояние уже плохо на меня действует. Я скучаю по тебе, Густина. Но зато это ведь т р и месяца! Подумай, девочка, и действуй, настаивай, сделай!

Но если бы (я уж не знаю, по каким причинам) это все-таки не получилось, приезжай в марте! Я думаю, что смогу получить отпуск, и мы куда-нибудь поедем. И все-таки, повторяю, мне больше всего хочется, чтобы осуществился мой план! Это было бы полезно, Густина (видишь, какой я деловой!),— и з а м е ч а т е л ь н о.

Напиши мне, пожалуйста, побыстрее. И я тоже тебе с р а з у отвечу. Передавай всем привет. Скажи Будину, что они хорошо освещали Седьмой съезд. Только стоило бы получше стилистически оформлять мои телефонограммы и самим побольше писать. Но я знаю, что хочу от них уж слишком многого. Нужно признать, что они действительно не жалели места — в мировом масштабе все вышло хорошо. В «Гало» допустили серьезную ошибку, переведя «равные выборы» как «полные выборы» в смысле «всеобщие». Это, конечно, неправда — кулаки не будут участвовать в выборах и сейчас, диктатура пролетариата не кончилась, и остаткам эксплуататорских классов не будет предоставлено никаких прав. Ребята еще не научились уважать «слова», но вообще-то они поработали на славу.

Снова я деловой! Да, Густина, это моя жизнь, и именно с тобой я не могу не говорить об этом. А говорить тебе приятные вещи, касающиеся т о л ь к о тебя, в «открытых» письмах* я не могу. Ты услышишь их, Густина, услышишь, т о л ь к о п р и е з ж а й!

Твой Юля

Каракол, 28 октября 1935 года.

Моя милая Густина!

Посылаю тебе свой «самый далекий» привет. Так далеко от тебя я, кажется, еще никогда не был. И немедленно должен уточнить, что километры не в силах ослабить воспоминания.

Завтра, наверно, я уже пущусь в обратный путь. «Н а в е р н о» — это слово я должен подчеркнуть. Путешествовать здесь нелегко. Пароход по Иссык-Кулю идет раз в четыре дня, а машину (грузовую, конечно) можно на дороге до Рыбачьего найти только чудом, хотя мне и помогает ее искать сама инспекция «Кирдортранса». Так обстоят дела с путешествием по Киргизской республике.

Горы, горы, горы, через них тропинки, по которым даже на лошадях страшно пробираться. И по этим вот тропиночкам ездят грузовые машины. Не знаю, можно ли найти лучшее доказательство высокой марки советских а в т о м а ш и н и советских ш о ф е р о в? Ведь они на этих дорогах не разбиваются! Сейчас Памирстрой прокладывает здесь шоссе, которое соединит Фрунзе с Рыбачьим. Оно уже почти готово. Вероятно, окончательно будет готово к 7 ноября, то есть на полтора месяца раньше, чем запланировано. Это огромный успех! Дороги — необходимое условие развития богатств Киргизии. Без них Киргизия далеко отстанет от других советских республик.

От скуки я отправился в горы над Караколом. Они здесь достигают трех — трех с половиной тысяч метров. Покрыты свежим снегом, хотя внизу, когда светит солнце,— жара.

Солнце! Это было для меня сегодня неразрешимой загадкой. Я немного заблудился в горах и вдруг вижу: солнце уже прячется за вершины. Я смотрел ему вслед и искренне желал оказаться там, у вас,— ведь я выиграл бы пять часов времени. На западе небо было сначала золотое, потом стало красным и наконец грязно-серым. А около меня все сгущалась тьма. Помнишь, как неприятно на нас подействовала темнота на Дюмбьере,— а здесь ведь Тянь-Шань! Как-то я все-таки добрался до нужного места — это видно хотя бы из того, что я пишу тебе. Сегодня уже, собственно, 29-е, а не 28-е. Приближается утро, а ты, наверно, только собираешься спать. Я тоже сейчас лягу, два чайника чая и немного водки меня уже разогрели, так что можно спокойно ложиться.

А утром, когда проснусь, продолжу. В то, что машина завтра действительно поедет, я не верю. Здесь вообще нет никакой определенности. Спросишь, когда, мол, поедет машина или пойдет пароход. А тебе отвечают: «На днях, а может быть, и раньше». И это единственно правильный ответ, без обмана.

Можно почти с уверенностью сказать — «завтра» машина опять не поедет. Сейчас, когда я снова взялся за это письмо, уже 31-е. А я все еще сижу в Караколе

* Намек на чехословацкую цензуру.

и в довершение всего вчера, по-моему, был последний хороший день. Ночью поднялся ветер, быстро нагнал тучи, и к утру уже земля была покрыта снегом. А вчера снег лежал только на вершинах гор. Сам Каракол расположен на высоте 1800 метров над уровнем моря (кстати, те горы, где я заблудился, высотою более 4100 метров — это я узнал потом). Все говорит за то, что начинается грязь, а на Долонском и Аспбашинском перевалах я уже убедился, что машина принадлежит к семейству свиней: нигде так охотно не останавливается и не валяется, как в хорошей грязи. Сегодня прошел слух, что почту в Каракол теперь будут доставлять только на лошадях. Возможно, и мне в конце концов придется таким же образом добираться до Рыбачьего. В этом, конечно, нет ничего ужасного — я уже привык к седлу,— но все-таки это слишком медленный способ передвижения.

Каракол считают самым красивым городом в Киргизии — по всей вероятности, так оно и есть. Когда приезжаешь сюда из голого и пыльного Рыбачьего или спускаешься с перевалов, ведущих в Китай, сердце подскакивает от радости: здесь веселые тополя, большой парк. Но города. города здесь, конечно, еще нет. И вообще Караколом я уже пресытился. Н а д о е л о!

Не думай, пожалуйста, что я предаюсь лени. Я привожу в порядок свои материалы, записные книжки. Хочу написать книжку зимой. И если Борецкий еще существует, то, как порядочный издатель, он, очевидно, в марте или в апреле сможет ее издать. И пусть не боится — ему не придется получать ее кусками. Посылать отсюда кусками было бы слишком громоздко. У меня много великолепных материалов, и книга, полудокумент, полухудожественная, пойдет у меня быстро. Я возьмусь за дело сразу же по возвращении в Москву. А тебе буду ее посылать по частям, как первому своему читателю. Ты же знаешь, что без этого у меня ничего не получается.

Вот выберусь отсюда (возможно, это все-таки случится сегодня) и увижу еще много интересного: снова Ташкент, Душамбе, Бухара, Ашхабад, Красноводск, Кара-Бугаз, потом Баку, Тбилиси, Батум. А потом я хочу по морю добраться до Одессы и — в Москву. Далек мой путь, и о трудности его говорить вообще не приходится. И, знаешь, что здесь больше всего удивляет? Везде, в самых отдаленных уголках необыкновенно чувствуешь советскую власть и всюду замечаешь невероятный рост!

Теперь мне нужно было бы сделать о ч е р е д н о й осмотр улиц — возможно, что «моя» автомашина уже где-нибудь стоит и дожидается неизвестного пассажира. Поэтому я заканчиваю свое каракольское письмо.

Всем передавай от меня привет. Большой привет домашним. Не забывай о себе, Густина.

И обо мне тоже.

Твой Юля

Густинка, это письмо часть дороги ехало со мной. Посылаю тебе его из Ташкента 7 ноября — этот день здесь так прекрасен! Путешествие из Каракола было очень трудным, и я добрался до Ташкента только вчера. Страшно устал, но чувствую себя превосходно. Эта усталость пойдет мне на пользу. Кстати, я съел в Киргизской республике по крайней мере пять баранов и выпил море кумыса (и водки — без водки я бы замерз). Единственно, что мне не понравилось — это глаза баранов, которыми меня, как п о ч е т н о г о гостя, угощали киргизские товарищи.

Ну вот, а теперь уже мое письмо пойдет без меня. Всем привет и до скорой встречи.

Твой Юля

Перевод с чешского Н. НИКОЛАЕВОЙ

Критика

ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОГО ГЕРОЯ

Новая жизнь рождает новых героев. Есть в людях, воспитанных социалистической действительностью, главное, что роднит и объединяет их всех. Эти люди — борцы, хозяева жизни, активные строители нового мира, люди, наделенные высоким чувством ответственности за судьбы человечества, исповедующие высокие принципы социалистической морали.

Достойно запечатлеть в художественных произведениях черты нового героя, созидающего коммунистическое завтра,— в этом видят главную цель своих творческих исканий писатели стран социалистического лагеря.

Известные критики Е. Каранфилов (Болгария), М. Новиков (Румыния), И. Гаек (Чехословакия) в статьях, написанных для нашего журнала, делятся мыслями о характере современного героя в литературе своих стран.

ЕФРЕМ КАРАНФИЛОВ

НОВОЕ В БОЛГАРСКОЙ ПРОЗЕ

Рассказ «По проводам» Йордана Йовкова — крупного прозаика периода между двумя войнами — повествует о судьбе бедного крестьянина, который, странствуя по бесконечным дорогам, возит с собой в дребезжащей телеге больную дочку. Он тщетно ищет на провисших под тяжестью ласточек проводах ту единственную белую ласточку, которая, по преданию, может вылечить его больную девочку и принести ему счастье.

«Белых ласточек» искали герои наших выдающихся критических реалистов прошлого. Мечтали в звездные ночи, старались утопить свое горе в задорных звуках кавала. Непокорные проламывали головы сельским толстосумам и гайдуцкими тропами уходили в горы.

Естественно, что героем реалистической литературы крестьянской страны чаще всего был крестьянин. Лучшие наши прозаики умели под простой грубой внешностью земледельца разглядеть богатый и сложный духовный мир. Скупыми средствами, без чрезмерного погружения в глубины психологизации они мягко, спокойно и тем не менее четко обрисовывали каждую фигуру. Их образы не уподобишь изваяниям из бронзы или мраморным статуям. Это скорее фигуры из старого темного дерева, какие любили делать наши мастера в тяжелые годы турецкого рабства,— с глубокой резьбой по очень гладкой поверхности.

Я говорю об этих ушедших в прошлое героях, чтобы подчеркнуть традицию нашей литературы делать героями простых людей и не искать резких границ между обычным и героическим. С тем же внешним спокойствием, с каким крестьяне пахали землю, они поднимались на восстания и совершали подвиги. И еще одно: всем своим существом они стремились к новой и лучшей жизни. Произведения самых трезвых наших реалистов исполнены трепетной мечты, овеяны духом романтики.

В наши дни прежние пахари превратились в трактористов, рабочих, механизаторов, агрономов. Они прошли трудный и сложный процесс преодоления частнособственнической стихии и стали коллективистами. Положительный герой нашей современной литературы теперь уже не только крестьянин. Однако и теперь, более чем когда-либо, он — плоть от плоти народа.

Во времена культа личности эти герои пережили известный кризис. Некоторые писатели превращали их в жесткие, линейные схемы. Это были герои, которые не мечтают, не скорбят, не колеблются, не очень-то любят рассуждать и чувствовать, а только действуют и преодолевают трудности. Старую резьбу по дереву писатели иной раз заменяли стальными отливками. Чаще всего эти герои так и оставались вознесенными на пьедесталы монументами, в которых было мало общего с живыми людьми. И хотя они всячески стремились выглядеть рядовыми тружениками, это им не удавалось. Несмотря на то что они носили обычные сапоги и простые гимнастерки, несмотря на то что говорили они мало и цедили сквозь зубы «истины», между ними и простыми людьми всегда сохранялась дистанция.

Со второй половины 50-х годов простой человек возвращается в нашу литературу в качестве ее подлинного героя. Огромную роль в этом процессе сыграли политические события, вызванные к жизни идеями XX съезда КПСС.

В Советском Союзе и некоторых странах народной демократии ведутся споры о характере современного человека, о современном герое: простой это человек или герой в романтическом смысле слова, существует ли разница между обычными его поступками и подвигом и т. д. Эти вопросы, естественно, волнуют и нас.

В болгарской литературе, как и в литературе других социалистических стран, положительный герой есть, и этот герой — не схема и не лакированный идеальный образ. Положительный герой — это реальность в жизни, следовательно, он реальность и в литературе. В то время как буржуазные критики изобретают теории о человеке, изолированном от социальной среды, разрывающемся между сознательным и подсознательным, у нас есть герои, которые способны выразить — и выражают — сущность эпохи. В буржуазной литературе Запада процесс типизации все больше затухает, многим писателям, владеющим искусством создания индивидуальности, не удается достичь того высшего искусства обобщения, которое ведет от индивидуализации к типизации и которым так хорошо владели великие реалисты XIX века.

Мы гордимся тем, что у нас есть типичные герои и что это не те мертвые героиисхемы, которые подчас создавались в литературе во времена культа личности. Наш современный герой — это цельная личность и это простой человек.

Я думаю, что неправильно было бы противопоставлять простого человека герою или утверждать, что изображение обыкновенных дел непременно ведет к приземленности и бытовизму.

У человека-труженика, героя нашей современной литературы, несколько существенных особенностей. Он творит необыкновенные дела, совершает подвиги, выходящие за рамки повседневных представлений. Каждый подвиг есть прорыв в будущее, он выражает движение настоящего к будущему. В подвиге есть мечта, поэтому герои по самому существу своему — мечтатели. Ткань подвига сплетается из смелости и известной жертвы настоящим во имя будущего, личным — во имя общего. Вот почему подвиги овеяны ореолом романтики. Даже такие враги всякой позы и суетности, такие воинствующие реалисты, как Л. Н. Толстой, не отрицали романтической сущности подвига. Вспомним подвиги самого негероического из всех храбрецов Толстого — капитана Михайлова из второго рассказа севастопольского цикла. Итак, подвиги по сути своей необычны. Они окрашивают наш реализм духом романтики, светом мечты. Но ведь необыкновенные дела совершают обыкновенные люди. Красота их деяний сияет еще ярче благодаря такому контрасту, благодаря тому, что в их делах нет ничего показного, хвастливого. Таким образом, в нашей жизни и литературе разливается мощная волна демократизма, а сами подвиги становятся еще более сверкающими и яркими. Проблема героя и подвига, с одной стороны, и простого человека и обыкновенных его дел, с другой стороны, имеет психологический аспект, который часто упускается из виду (как получилось в споре между Л. Скорино и С. Штут в журнале «Вопросы литературы»).

Во времена культа личности тоже говорили о простом человеке и о подвиге, но именно эту психологическую сторону обходили, даже стремились теоретически обосновать ошибочность психологизма, потому что чувствовали внутреннее противоречие между тем, что должно быть типичным, и индивидуальной сущностью героя.

Когда исключительные, необыкновенные дела начинают становиться обыкновенными,

будничными, тогда совершаются новые, еще более возвышенные подвиги, линия героического перемещается вверх. Так происходит развитие.

В то время как у лучших писателей прошлого мечты и подвиги героев были чаще всего стихийными, в нашей современности — в жизни и в литературе — они порождены конкретным стремлением построить социалистическое и коммунистическое общество. Проследить путь от идеала к формированию характера, от мечты к свершению — вот одна из самых важных и самых трудных задач современного писателя. Этот путь связан как с индивидуализацией, так и с типизацией героя, потому что начало, цементирующее личность,— это идеал. Отсутствие цельных личностей в буржуазной литературе Запада связано с отсутствием идеалов Идеал организует весь поток переживаний человека.

Этот идеал становится внутренней сущностью человека, как бы изнутри окрашивает характер, придает ему цельность, отнюдь не превращая его в монолит.

Этот идеал вселяет веру в будущее и заставляет простого человека совершать подвиги, чаще всего в сфере труда, с широкой амплитудой — от производственного рекорда до полета в космос.

Вот почему типизация в нашей литературе направлена не только в настоящее, но и в будущее. С другой стороны, значение подвига измеряется как его объективными результатами, так и субъективными побуждениями, а главное — тем внутренним сопротивлением, которое герой преодолевает, чтобы совершить этот подвиг.

Есть и другая сторона в проблеме подвига. Современные люди труда — не механические строители социализма, а творцы своего дела. Творчество же есть порождение человеческой индивидуальности и живет вне схем. Поэтому оно связано с риском и требует смелости. Оно тоже устремлено в будущее. В этом смысле между творцом и героем, совершающим подвиги, есть нечто общее. Разница — в масштабах. И в акте творчества есть дыхание романтики. Современного мещанина тоже можно увидеть на стройке — там хорошо платят. Но он не может быть ни творцом, ни героем.

Вот почему, когда речь идет о связи между трудом и характером современного героя, надо говорить скорее о связи между творческим трудом и общественным идеалом. Общественный идеал сливает личность с коллективом. В героических подвигах, совершаемых простым человеком, деятельное участие принимают и трудовые коллективы В их атмосфере рождается героическая мечта и воля к подвигу. Они и превращают обыкновенного человека в необыкновенного, делают его таким отличным от знакомых нам положительных героев прошлого. При этом романтика предохраняет его не только от бытовизма, но и от всякой приземленности.

На Западе нередко культ развлечений и «веселой жизни» пытаются выдать за оптимизм. Но в этом алчном стремлении к развлечениям как раз и кроется глубокий пессимизм умирающего буржуазного строя. Непрестанно стремится к развлечениям тот, кто боится будущего. Подлинный оптимизм всегда связан с верой в будущее.

Как отличается фрейдовский комплекс буржуазного эгоизма от здорового социального оптимизма наших простых людей!

Гордость, с какою герой буржуазного писателя произносит: «Я современный человек»,— отдает мещанством. «Я современный человек, я чту деньги»,— заявлял еще сто лет назад бальзаковский Кревель. Подлинная современность, не удовлетворяясь сегодняшним днем, зовет к будущему. Тот, кто любит ее, смотрит вперед, а тот, кто не верит в современность, погружается в воспоминания. Вот почему воплощение образа современника — это не только психологическая, но и нравственная проблема. Романтическая окрыленность нового человека в сущности и есть источник его моральной красоты.

Наш современный герой — молодой человек, а молодость романтична. История века очень часто олицетворяется в истории молодого человека: Гамлет, Жюльен Сорель, Вертер, Печорин, Онегин, Павел Власов, Корчагин...

Посмотрим на нашего современника в произведениях молодых болгарских прозаиков. Один из самых колоритных и своеобразных наших молодых прозаиков — Йордан Радичков. Его маленькая повесть «Жестяной петушок» — взволнованное лирическое повествование о юной любви, которая разгорается, вспыхивает и спадает, «как вешние воды». Обстановка, в которой разворачивается действие,— село; романтическая взволнованность автора и даже неко

торые романтические черты главного героя Алекси сознательно и полемично напоминают атмосферу произведений крупного болгарского прозаика 20—30-х годов Йордана Йовкова. И все же как здесь все по-другому! Даже любовь другая — наша, современная. Скупо и в то же время точно и ярко нарисован образ Алекси. Молодой человек приехал в родное село в отпуск и здесь влюбился. Писатель рассказывает о первой любви, всегда поэтичной, но по существу он раскрывает нам жизнь сегодняшнего села, нового человека деревни. Романтически влюбленный Алекси в эти несколько дней своего отпуска сталкивается с суровой действительностью и проявляет большое мужество в борьбе с врагами народа. Глухо звучит выстрел. Нежный, мечтательный Алекси, который пытался поймать удочкой отражение облаков в воде, вынужден раскрыть тяжелое преступление своего зятя, мужа любимой сестры, у которой он живет, да еще в ту минуту, когда зять красит колыбель для будущего младенца.

Эта повесть — поэма о первой любви, о первом моральном потрясении молодого человека и о его моральной победе. Романтика нашего времени проступает не столько в волнениях любви, сколько в переменах, происходящих в душе юноши, современного человека.

Нонка из знакомой советским читателям повести Ивайло Петрова — один из наиболее удачных характеров современного героя. Образ Нонки создан спокойными, неторопливыми приемами реалиста. Мы видим слабости, которые преодолевает героиня, видим сомнения и веру, страдания и радость болгарской женщины. Нонка не совершает подвигов, она обыкновенная деревенская девушка, наша современница, земная, полная жизненных сил. В ее образе привлекает непосредственность, искренность. Нонка глубоко страдает и до замужества и став женою грубого человека, но это страдание не сломило ее. Она живет во всю силу своей души. В ее глазах горит не жажда веселой жизни, а творческий огонь. Любовь Нонки отличается от романтической любви Алекси. Страдания ее носят в большей степени личный характер, но в этом личном преломляется и общественное. Ценой глубоких страданий негероическая на первый взгляд Нонка завоевывает право жить полнокровно, цельно. Это еще один пример обыкновенного героизма скромной и живой нашей современницы.

Другой болгарский прозаик, Георгий Марков, написал роман «Мужчины», вызвавший много споров. Трое юношей — главных героев этого романа — тоже наши современники. Молодой автор попытался обрисовать существенные черты современного положительного героя. Роман написан в свободной манере, без подробных описаний. Здесь нет мягкой лиричности Радичкова, зато ощущается острый взгляд живого и проницательного наблюдателя. Автор идет от героического к обыкновенному, будничному и убедительно вскрывает природу героического в наши дни. Простая на первый взгляд композиция романа по существу весьма оригинальна: трое молодых людей, служивших вместе в армии, теперь трудятся на одном заводе. Нелегко складывается их путь к зрелости. Перед читателем три незаурядных человеческих характера. Самый своеобразный из них — Младен. Жизненный успех для него — синоним продвижения по службе. Упорно и последовательно, преодолевая множество препятствий, он достигает желанной цели. Автор показывает, как осуществление честолюбивых карьеристских замыслов сушит человеческий характер, более того — он хочет раскрыть образ честолюбца в современной обстановке. Младен отлично работает, он хороший руководитель, стремится делать все лучше других, превзойти других. И это ему всегда удается. И тем не менее он не вызывает симпатии читателя. Товарищи его не любят. Но когда на заводе возникает пожар, исключительные обстоятельства словно сжигают броню его тщеславия и раскрывают истинную сущность. Молодой человек бросается в огненную стихию. Он делает это опять-таки, может быть, из желания блеснуть, удивить других, стать героем. Но он погибает. И вместе с ним сгорает его честолюбие и рождается подвиг. Автор уловил нечто существенное для подлинного героизма: тот, кто служит своему честолюбию, не может совершать великих дел, ибо они требуют полной отдачи, забвения всего личного. И этот молодой человек приходит к подвигу, становится героем. Подвиг здесь не будничный, а исключительный.

Путь других героев романа не так ярок, хотя образы его интересны, особенно образ

молодого научного работника Ивана, который, пробыв долгое время в армии, естественно, отстал от своих коллег, хотя именно в эти годы к нему пришла настоящая зрелость.

Таковы некоторые положительные герои нашей молодой прозы. Мы не говорим здесь о других: об интересных образах в романе Тодора Монова «Смерти нет», о мучительных противоречиях, с которыми сталкивается молодой интеллигент Боян Дарев из одноименной повести Любена Дилова, о сложном пути молодого лейтенанта Спирова из романа «Белые дороги» Велико Нешкова.

Радостно, что удавшиеся образы наших современников очень индивидуальны, обрисованы разными художественными средствами, и в то же время всем им свойственно нечто общее — они сыновья своего времени. В нашей литературе нет еще, быть может, такого интеллектуального героя и сложного характера, который взволновал бы широкие круги читателей, но он непременно будет создан. Залогом этого является то, что писатели уже не отрывают общественные проблемы от моральных и психологических, а стремление раскрыть современную действительность во всем ее величии и сложности неуклонно возрастает. Современный герой нашей молодой прозы не идеален, но он устремлен к идеалам будущего.

И это в нем самое прекрасное.

г. София

МИХАЙ НОВИКОВ

В ШЕРЕНГЕ БОРЦОВ

В современную румынскую литературу вступило поколение поэтов, в полном смысле слова рожденных новым миром (Никита Стэнеску, Чезар Балтаг, Илие Константин, Михай Негулеску, Дарие Новэчану и т. д.). Поэты этого самого молодого поколения пишут преимущественно лирические стихи, явно автобиографического характера. Почти все они вспоминают свое суровое безрадостное детство, ту пору, когда им пришлось соприкоснуться со старым миром. Противопоставляя сегодняшний день ненавистному прошлому, которое погубило их детство, они восторженно воспевают новый мир, представший перед ними во всем величии на пороге зрелости.

Радость жизни переливается через край в «песнях» этих молодых поэтов — она звучит возвышенными аккордами, исполненными романтического порыва и вдохновения.

Молодое поколение славит свою свободу, независимость, открывшиеся перед ним бескрайние творческие просторы. Но — странная вещь — порой получается (правда, не со всеми, но с многими из названных поэтов), что, как только они вступают в мир, раскрытый ими, лирическое содержание стихов бледнеет. Вместо того чтобы рассказывать о чувствах и думах, поэты начинают описывать и комментировать... Так появилась описательная поэзия «беглых заметок», назойливые вспышки дешевого энтузиазма, оборачивающегося трескучей риторикой. Словно при соприкосновении с миром «исполнившейся мечты», отношение поэтов к действительности стало менее серьезным. Все прекрасно, величественно, чудесно... Стоит ли еще волноваться и переживать?

Некоторые более зрелые писатели подвергли критике эти тенденции молодой поэзии. Неужели вы полагаете, говорили они, что в этом мире действительно исполнившихся мечтаний не осталось серьезных проблем? Разве прекратилась борьба со старым и больше нет нужды ломать сопротивление тех, кто тормозит развитие социализма?

Поэт, как выразитель настроений общества, не может пройти мимо того, что волнует это общество. А социалистическое общество отнюдь не состоит из людей, готовых почить на лаврах, напротив, члены его — люди беспокойной судьбы: добившись одной победы, они стремятся к новым. Тот, кто в этом обществе ограничивается восторженным созерцанием, уподобится пресловутой мухе, которая любила говорить: «И мы пахали» Поэт должен с высоким сознанием своей ответственности участвовать в общей борьбе и дерзаниях строителей социалистического мира. Талант не совместим с пассивным созерцанием (именно в этом мы упрекаем некоторых молодых поэ-

тов), талант — это беспокойство, поиск, «езда в незнаемое».

Мне кажется, что без этого «чувства эпохи» невозможно изобразить ее героя. Попытаюсь проиллюстрировать свою мысль, обратившись еще раз к проблемам современной румынской литературы. Главная черта нынешнего этапа румынской действительности — непрерывное поступательное движение социализма. Это наступление развертывается на широком фронте и охватывает самые различные области. В 1962 году, например, в румынской деревне взят исторический по своему значению рубеж — завершена коллективизация, социалистические отношения в сельском хозяйстве окончательно победили. Но существует немало иных, новых участков наступления. Классовая борьба переместилась у нас в основном в область идеологии. Развертывается гигантское сражение за высокую социалистическую сознательность трудящихся. В этом наступлении миру социализма приходится каждодневно преодолевать самые различные формы сопротивления — будь то пережитки прошлого или влияние буржуазной идеологии и морали. Это сопротивление проявляется порой в производственных отношениях — в отсталых индивидуалистских тенденциях; порой оно сказывается в общественной и, пожалуй, чаще всего в личной жизни людей. Но каким бы «скрытым» ни было сопротивление старого, социализм обнаруживает его, и новое в своем движении вперед вступает в конфликт с любыми проявлениями старого, не совместимыми с социалистической моралью и идеологией. Это закономерный процесс, и вполне естественно, что именно в тех сферах жизни, где наступление нового с наибольшей силой наталкивается на сопротивление, писатели ищут характерные для эпохи конфликты.

Однако подход к подобным, как, впрочем, и любым другим, конфликтам может быть двояким. Поступательное движение социализма можно отобразить путем описания враждебных ему тенденций и проявлений, с которыми он борется. Второй путь, когда внимание художника сосредоточено на деятельности активных борцов, которые двигают вперед историю. И та и другая писательская позиция может быть и точной и закономерной. И тем не менее, с точки зрения метода социалистического реализма, вторая, мне кажется, более плодотворна.

В свое время в румынской печати разгорелся интересный спор вокруг рассказа «Мимоходом» молодого талантливого прозаика Н. Вели. Автор задался целью (и в значительной степени справился со своей задачей) подвергнуть критике поведение тех молодых людей, которые, вступив в жизнь в пору развернутого наступления социализма, вообразили, будто все, завоеванное до их «совершеннолетия», принадлежит им, что же касается их самих, то жизнь не должна требовать от них ответственных поступков и дел. Если жить стало легче, то и они имеют право на более легкую жизнь. Н. Веля осуждает такую позицию, заставляя героя жестоко расплачиваться за свои заблуждения. Финал рассказа трагичен. Общая направленность рассказа встретила одобрение, но автора упрекали за «вневременное» решение темы, за ограничение ее сферой отвлеченных моральных рассуждений. Герой не изображается здесь как противник наступления социализма, потому что самого наступления читатель не только не видит в рассказе, но не ощущает его и в подтексте. Рассказ Н. Вели дал основания критикам выступить с предостережением по поводу опасности «изолированного» изображения отдельных случаев сопротивления старого, что обедняет общую картину прежде всего потому, что затуманивает эстетический идеал, во имя которого осуждается тот или иной поступок.

Литературный опыт показал, что описание лишь конечных результатов победоносного наступления социализма на тех участках, где еще вчера гнездились элементы старого, возможно, наиболее легкий, но не самый плодотворный путь, ибо таким образом неизбежно сужается перспектива, наиболее характерные черты нашей эпохи остаются за пределами внимания художника.

Итак, проблема «угла зрения» становится одной из решающих, когда речь идет о задаче наиболее точного и яркого воссоздания образа героя нашего времени.

Позволю себе в этой связи сослаться на недавно появившийся в румынском переводе советский роман, который быстро завоевал у нас заслуженную популярность. Я имею в виду «Живых и мертвых» К. Симонова. Действие романа развертывается, в основном, в первый, наиболее трагический период войны, когда немецкие армии наступали по всему фронту. И все же чита-

тель далек от впечатления, будто герои книги примирились с мыслью об обороне. Напротив, общая устремленность книги, вся ее атмосфера проникнуты духом «неуклонного наступления сил социализма», наступления, которое только в данный момент задержалось. Стойкость героев проявляется также и в том, с каким отчаянным упорством они отказываются верить, будто соотношение сил, сложившееся к началу войны, в какой-то мере стабильно. Продвижение немецких войск всего лишь эпизод, инициатива потеряна временно, великое историческое наступление предстоит силам, во главе которых первое социалистическое государство — Советский Союз.

Наличие такой перспективы, на наш взгляд, неотъемлемое, органическое свойство социалистического реализма, обусловленное принципом коммунистической партийности, составляющей творческую основу социалистической литературы.

Вот почему мне кажется, что герой нашего времени — прежде всего человек, которому присущ этот наступательный дух. Наиболее удавшиеся произведения румынской литературы подтверждают эту мысль. На русский язык был переведен и с интересом принят читателями роман «Земля» *, принадлежащий перу известного прозаика Титуса Поповича. Главные положительные герои романа — крестьянин Митру Моц и учитель Джеордже Теодореску — не похожи друг на друга. По-разному преломляется в конкретных делах и поступках свойственное им обоим чувство причастности к великому наступлению. Митру Моц активно помогал коммунистам подготовить восстание в городе, завершившееся изгнанием претора-фашиста. Вернувшись в село, Моц отстраняет примаря-кулака и провозглашает себя примарем. Когда рабочий Арделяну говорит, что, с тактической точки зрения, было бы хорошо назначить на этот пост кого-нибудь другого, Митру расстроен, но не потому, что должность примаря льстит его самолюбию: ему кажется, что ритм наступления ослабевает. Митру не терпится сделать все сразу. Джеордже ведет себя более спокойно, но все его помыслы тоже устремлены в будущее. Упорство, с каким он стремится «избавиться» от принадлежащей ему земли, объясняется прежде всего тем, что, став коммунистом, он оценивает обстановку не только с позиций сегодняшнего дня, но и того, который неизбежно придет в результате наступления социализма.

Чрезвычайно яркое воплощение дух «неуклонного шествия социализма» получил в образе Антона Филипа — главного героя большого романа В. Эм. Галана «Бэрэган». Страсть и энергия, с какой он борется за любое новое дело, увлекая за собой остальных, рвение, с каким он ищет пути разрешения самых сложных задач, чтобы немедля двигаться дальше,— все эти черты характерны для человека, который не может не проверять свои действия и взгляды критериями завтрашнего дня.

Убедительны в этом плане и некоторые персонажи произведений Марина Преды. Крестьянин Илие Барбу («Разворот») радуется предстоящей коллективизации не потому, что вместе с ней в его дом должен прийти достаток (это мало заботит его), его радует, что «впредь людей будут оценивать не по числу имеющихся у них погонов земли, лошадей, волов или свиней, а по труду, по их поведению в наступающей новой жизни». Мысли Барбу опережают действительность, предвосхищают отношения, которые еще не установились, но обязательно установятся.

В последние годы такого рода примеров становится как будто меньше, да это и понятно: жизнь опережает литературу. Великие победы социализма отодвигают в прошлое конфликты с классовым врагом, оказывавшим сопротивление в области экономики или политики. На повестке дня — борьба за социалистическое сознание, и в свете этой новой темы угол зрения «командиров» наступления, возможно, показался некоторым писателям менее «вместительным». Главный герой романа «Молодые годы» талантливого прозаика Николае Цика — молодой рабочий-нефтяник, еще довольно смутно представляющий себе, как ему следует строить свою личную жизнь. Наступает момент, когда Павел Онига покидает нефтепромыслы и уезжает к жене — дочери единоличника, чтобы работать вместе с тестем на собственном наделе. Но вскоре Павел прозревает. Жизнь обогащает его интересными открытиями, он мужает и закаляется. Однако закрываешь книгу с каким-то странным и неприятным чувством — самого «главного открытия» не свершилось, ответа на основной вопрос — что, в сущности, связывает его личную

* См. «Иностранную литературу» №№ 11, 12, 1958 г.

жизнь с огромным окружающим миром, герой все-таки не нашел. Образ явно обеднен. Прежде всего бросается в глаза поразительная узость политического кругозора героя, его пассивное отношение к общественной жизни страны, хотя он и является утемистом *. В связи с этим романом встает вопрос о моральных и политических проблемах в литературе; первые приобретают сегодня особое значение, но остаются одним из участков общего фронта — политического наступления, которое ведет весь социалистический мир.

Совсем недавно вышел из печати еще один интересный роман — «Дом» Василе Ребряну. Это первое большое произведение совсем молодого, талантливого писателя. Критика отметила, что в романе очень хорошо изображен дом бывшего кулака — его «крепость», укрывшись в которой он тщетно пытается противостоять вторжению нового. К сожалению, несколько схематично представлено само наступление, мир героев, которые руководят этой, если можно так выразиться, «операцией по осаде крепости». Поэтому общая картина получается недостаточно точной.

Хорошее впечатление оставляет и небольшой по объему, но содержательный рассказ молодого прозаика Иона Бейешу «Человек рядом с тобой», помещенный в журнале «Стяуа» (№ 4 за 1962 год). На первый взгляд, все сводится к очень банальному случаю: от человека ушла жена. Однако этот человек один из вожаков наступления, руководитель молодежной стройки, член партии с 1945 года. Он всегда в пути, всегда на посту, всегда готов беспощадно обрушиться на тех, кто тем или иным образом сопротивляется социалистическому наступлению. Но вот он сам оказался жертвой «случайности». Сочувствие окружающих ранит его. Однако в отличие от героев многих других рассказов он не жалуется, не ноет, а пристально всматривается в самого себя. В своей деятельности руководителя стройки он не находит особых изъянов. Казалось бы, он ничем не нарушил социалистических принципов, и все же... очевидно, он в чем-то ошибся. Беспощадно, сурово анализируя собственные действия и взгляды, он приходит к выводу, что, заботясь о своих удобствах, отчасти по неопытности, отчасти из эгоизма оторвал молодую жену от коллектива, от общественной жизни. Герой рассказа делает все, чтобы исправить ошибку, и вместе с автором мы верим, что это ему удастся, именно потому, что он из тех, кто не привык отступать.

Герой современной литературы социалистического реализма — достойный продолжатель дела Павла Власова, Павла Корчагина, Олега Кошевого,— как и прежде, идет в первых шеренгах наступающих, представляя общество, которое шагает в будущее. В конечном итоге — это человек, который, быть может, острее других знает и чувствует, против кого и во имя чего развертывается наступление. Герой нашей эпохи — это человек, который руководствуется в своей жизни и делах чувством ответственности, сознанием своего участия в великой борьбе против капитализма.

Нельзя считать героем эпохи того, кто в решении той или иной проблемы проходит мимо самой сущности этой борьбы.

Иногда говорят: нынешний литературный герой — обыкновенный человек. Лично я не могу согласиться с этим утверждением, хотя понимаю, что его «антиромантический» пафос полемически заострен. Сегодня писателю нет необходимости «выдумывать» исключительных героев, достойных его эстетического идеала: жизнь рождает все больше подобных героев по мере того, как мы приближаемся к совершенству этого идеала. Но если жизнь рождает героев, следовательно, они чем-то отличаются от обычных людей — они герои, и, значит, их нельзя назвать обыкновенными. И эта необычность, мне кажется, заключается в более обостренной способности соотносить жизненные явления и проблемы с главным направлением наступления.

Это следует подчеркнуть, потому что фронт, на котором сегодня развивается социалистическое наступление,— область идеологических и моральных проблем, где точность в определении главного направления удара особенно важна. Иначе может возникнуть опасность «перехода к обороне». Точнее говоря, борьба за торжество принципов коммунистической морали в отношениях между людьми предполагает воспитание заботы о человеке, то есть борьбу с бюрократическим равнодушием к людям. В этих общих рамках проблема «возвращения в строй» тех, кто некогда оступился, представляется как одна из линий наступления на старое. Но когда эта тема начи-

* Член Союза трудящейся молодежи Румынии.

нает звучать слишком навязчиво, появляются сомнения. Разве это самый важный и самый интересный аспект?

Литература социалистического реализма ведет борьбу за человеческое достоинство, против буржуазной идеологии и морали в союзе со всей прогрессивной реалистической литературой нашей эпохи. Но союз не предполагает тождества позиций. Напротив, любой союз тем прочнее, чем точнее определены позиции каждого из союзников. В литературе буржуазного мира, за исключением творчества писателей, непосредственно связанных с рабочим движением, можно выделить — в самом общем виде — две главные тенденции: апологетическая, декадентская, модернистская, с одной стороны, и критическая, пусть и не всегда последовательная, но все же по существу своему реалистическая — с другой. Декадентская литература стремится оправдать деградацию человека, потерю человеческого достоинства, вызванные его примирением с буржуазными нормами жизни, именно поэтому она изображает его вне времени, вне общества. Писатели-декаденты предпочитают сюжеты, оторванные от современной жизни, сюжеты «в себе», проблемы «ощущений в себе» и т. д. Герой декадентской литературы — это циник, которому удалось освободиться от каких бы то ни было моральных обязанностей по отношению к обществу. Напротив, герой литературы критического реализма стремится защитить свое достоинство. Таковы, например, герои Хемингуэя, Ремарка, Стейнбека, Моравиа. Однако почти все они находятся в обороне. Если своим решительным отрицанием декадентской теории неизбежного упадка человечества они напоминают героев литературы социалистического реализма, то оторванность от острейших политических и социальных проблем времени роднит их с героями декадентской литературы.

Такова диалектика современных литературных отношений. И как бы мы высоко ни оценивали героев современной литературы критического реализма, например героев неореализма, мы не имеем права забывать, что с исторической точки зрения и в сравнении с героями литературы социалистического реализма они представляют вчерашний день.

Героем в обществе может быть лишь тот, кто наиболее полно воплощает его требования. Социалистическое общество требует от человека ответственности и преданности, самоотверженности и активного участия в решении общественных задач. Нельзя бороться за коммунизм, если ты не чувствуешь себя участником всей деятельности армии коммунистов.

Думается, литературных героев, ограничивающихся решением той или иной моральной проблемы, нельзя назвать героями эпохи. Наша эпоха — это эпоха великих свершений. Героем может быть лишь тот, кто чувствует ее пульс, кто живет на высоком накале ее борьбы, каким бы узким ни казался на первый взгляд участок, где он повседневно трудится.

Герой эпохи — это человек высокой политической сознательности и культуры, человек действия. Чем шире его кругозор, тем величественнее будут его деяния. Его роль в истории колоссальна — он должен идти в авангарде борцов за окончательное освобождение человечества от всего, что еще связывает его с позорной эпохой эксплуатации человека человеком. Это миссия, в сравнении с которой бледнеет даже подвиг Прометея.

г. Бухарест

ИРЖИ ГАЕК

НА ПУТИ К СВЕРШЕНИЯМ

Когда несколько лет тому назад вышли два первых тома трилогии В. Минача «Долгое время ожидания» и «Ветер в лицо»* («Живые и мертвые»), на литературных дискуссиях в Чехословакии впервые прозвучал термин «дегероизация». Некоторые критики на Минача нападали (а иные хвалили), за то, что он, дескать, проявляет недоверие к «истинному» героизму и что в полных драматизма событиях Словацкого народного восстания 1944 г. его внимание привлекают только самые трагические ситуации. Сейчас совершенно ясно, что тенденция, наметившаяся в этих романах, была направлена не на отрицание героизма, а на устранение всего фальшивого и искусствен-

* Опубликован в «Иностранной литературе» (№№ 7, 8, 9 за 1960 г.).

ного, что порой привносилось в это понятие в недавнем прошлом. Если Минач и полемизировал, то полемизировал только с ложным пониманием героизма, с разными «сверхчеловеческими» комплексами периода культа личности. Его герои — обыкновенные, рядовые люди, которые нередко попадают в самые трагические ситуации, но не сдаются. Размеры опасностей, встречающихся на их пути, степень накала их противоборства со злом становятся реальным мерилом их человеческих качеств, их отношения к людям, к делу борьбы за свободу народа, к идеям социализма.

Однако Минач, что называется, «не свалился с неба»: в предшествующем развитии чешской и словацкой прозы было уже немало тенденций, на которые он мог опереться. В свою очередь, вклад, внесенный им, явился стимулом для других писателей; в чешской и особенно в словацкой литературе появилось несколько произведений, продолжающих его линию. Наиболее яркие образы героев в чехословацкой прозе последних лет — будь то партизан Володя из романа Мнячко «Смерть зовется Энгельхен» или старый коммунист Дрина из великолепного, к сожалению неоконченного романа преждевременно умершего словацкого прозаика Рудольфа Яшика «Мертвые не поют» — созданы на материале борьбы народа за свое освобождение, деятельности коммунистического подполья. Это герои больших дел, сильных страстей, с богатым внутренним миром. И важно то, что это не схематичные персонажи с заранее сконструированными чертами характера, а живые люди. Одни из них лишь однажды поднимаются до героического подвига и при этом, как правило, погибают в борьбе. Другие, вроде лейтенанта Клако Яшика, только еще начинают свой путь. Среди них есть люди неуемной жизненной энергии, как Лабуда Минача, и простые, заурядные «будничные» герои, которые проявляют себя только в самые острые моменты борьбы, как персонаж швейковского типа — сержант Коза, являющийся полной противоположностью Лабуде. Лишь немногие из них сознают историческую важность событий, в которых они участвуют. Оказываясь в самых сложных ситуациях, они действуют на свой страх и риск; они отнюдь не свободны от ошибок и слабостей и, попав в беду, испытывают большие физические и душевные страдания. В романе Мнячко смертельно раненный Володя мучительно ищет ответа на вопрос о том, кто виноват в гибели его друга — советского партизана Николая, в уничтожении их группы и в смерти горцев, которые погибли, помогая партизанам.

Люди типа партийного работника Дрины в романе Яшика способны поставить то, что случилось на их участке, в связь с событиями общей борьбы в мировом масштабе. Именно они берут на себя наиболее трудные задачи и наибольшую ответственность. Все сложные повороты борьбы в первую очередь отражаются на них. Они переживают события глубже и острее, чем случайные или невольные участники отдельных эпизодов. Героизм перестает быть сверхъестественным чудом. У героя нет спасительного панциря. Героические подвиги совершают простые, нередко безоружные и тем не менее неодолимые своей преданностью делу социализма люди.

Мы пишем здесь об этой тенденции в общих чертах, рассчитывая на то, что советский читатель, в частности читатель «Иностранной литературы», знает произведения, о которых я говорю.

За последние годы в чехословацкой литературе появилось много произведений, посвященных современной тематике. Чаще всего это книги писателей молодого поколения, вступивших в литературу в 1959—1960 годы.

Борьба за углубление образа социалистического человека нашего времени, конечно, не является делом только молодых писателей, и началась она задолго до их появления в литературе. Несколько книг чешских писателей с бо́льшим или меньшим успехом пытались осветить эту тему: «Большое одиночество» Кржижа, «Если покинешь меня...» * Плугаржа и «Железный потолок» ** Бржезовского. Этот список можно было бы продолжить, но мы не ставим себе целью дать читателю исчерпывающую информацию, а хотим остановиться только на наиболее типичных произведениях, которые внесли много нового в решение проблемы современного героя. Из литературы последнего года это прежде всего роман «Колокола возвещают день», который завершает трилогию Минача. Его действие относится к первым послевоенным

* Опубликована в «Иностранной литературе» (№№ 1, 2, 3 за 1959 г.).

** Опубликована в «Иностранной литературе» (№№ 5, 6, 7, 8 за 1961 г.).

годам общественной борьбы, достигающей кульминации в памятные дни февраля 1948 года, когда народ одержал победу над реакционными силами. По сравнению со своими предшественниками, пытавшимися показать этот драматический период, Минач удалось создать наиболее всеобъемлющую и глубокую картину жизни народа; он и в послевоенный период изображает героев, известных нам по прежним частям книги, с тем же стремлением к неприкрашенной правде, которое характеризует весь его цикл.

И все же по сравнению с романом «Ветер в лицо» книга «Колокола возвещают день» представляет, на наш взгляд, только фрагменты картины. Подлинно эпический синтез не состоялся. Некоторые из наиболее удачных персонажей ранее написанных романов, которых характеризовало органическое единство действий и мыслей, в последней книге превратились в дискутирующих и рефлектирующих резонеров. Центр тяжести в развитии этих образов часто переносится из общественной сферы в личную жизнь. Это можно сказать, например, о таких персонажах, как партийный деятель Янко Крап и журналист Марек Угрин. Нельзя не отметить и рыхлость композиции романа, распадающегося на несколько параллельных линий, между которыми нет достаточной связи, как нет и драматических пересечений.

По сравнению с предыдущими романами цикла «Колокола возвещают день» не столько шаг вперед, сколько возврат к проблемам, с которыми чешская и словацкая проза до сих пор как следует еще не справилась. Связано ли это с изменением характера сюжета? Или для большого эпического полотна годится только патетика военного времени, когда на карту была поставлена и жизнь каждого человека и судьбы народов? Только ли во время больших испытаний обнажается подлинная сущность человека? Только ли такая ситуация позволяет ярче всего выразить историческую силу идей коммунизма, которые превращают массу людей в организованный коллектив, несокрушимый даже в самой тяжелой борьбе? Конечно, условия послевоенного времени, которое описывает Минач, трудно сравнить с тем, что было во время войны, но разве сложная и противоречивая жизнь первых послевоенных лет, когда коммунистическая партия Словакии вела борьбу за привлечение большинства народа на свою сторону, не дает материала для большого эпического полотна?

Для доказательства того, какие эпические возможности таились в этом сюжете, нет необходимости ссылаться на действительность, достаточно обратить внимание на целый ряд подлинно эпических мотивов, не использованных в романе. Какие сложные процессы стоят, например, за фактом перерождения бывшего партизана Крапа в рутинера, опирающегося в работе на политически незрелые и несамостоятельные, но более послушные и «гибкие» кадры, предпочитающего их опытным и проверенным коммунистам, к которым он обращается только в критические моменты, когда буржуазная реакция вновь поднимает голову! Об этой эволюции и ее причинах в романе сказано лишь вскользь, конкретно изображен только эпизод ареста Крапа, но и этот эпизод мотивирован недостаточно.

То же самое происходит и с другим важным действующим лицом романа — журналистом Мареком Угрином. Все внимание автора сосредоточено, в первую очередь, на драматических перипетиях его брака с Ольгой, а не на превращении Марека в одного из тех членов партии, которые после февральских событий поддались типичному для того времени упоению успехами, думали, что самые сложные вопросы решаются легко и проявляли высокомерие к людям. Единственное, на чем сравнительно наглядно прослежена идейная эволюция Марека,— это его отношение к бывшему политкомиссару партизанского отряда Бенде. Но и оно, к сожалению, раскрыто лишь в репликах персонажей.

Сам Бенде принадлежит к наиболее выразительным образам романа именно потому, что его личная жизнь не оторвана от общественной. Правда, Бенде здесь уже не стоит в центре политических событий, но он — человек, который все время действует и борется, и мы видим его моральный облик, ибо он показан непосредственно в действии. Остальные персонажи, весьма важные для раскрытия идейного замысла романа, как правило, показаны поверхностно (фигуры буржуазных политиков и участников реакционного подполья в художественном отношении более удачны), хотя они могли бы послужить материалом для создания ярких эпических образов.

Правдивы те страницы романа, где Минач показывает, как нелегко в наступивших мирных условиях дается людям наука жизни по законам новой социалистической морали. Далеки от идеала семейные отноше-

ния Марека и Ольги. Автор показывает и людей, которых связывает глубокое чувство. Это Крап и его жена Эма. Они настолько поглощены своей работой, что начинают, казалось бы, отдаляться друг от друга, однако, когда одному из них грозит опасность, другой тут же становится рядом.

И все же это не полная правда: для первых послереволюционных лет и их подлинных героев характерно строгое подчинение личного общественному. У людей, для которых главным являлась победа социализма, почти не было времени для себя. Хотя им приходилось нелегко, но все искупали радость плодотворной общественной борьбы, полной волнующего пафоса, величественные перспективы новой жизни. А Миначу не удалось в своем романе художественно убедительно показать пафос этого начального периода, радость участия в борьбе.

Мы занимаемся разбором этого произведения так подробно, потому что оно наиболее типично для проблематики сегодняшней чехословацкой прозы.

Иржи Фрид, чья первая повесть «Цейтнот» является одним из лучших произведений чешской прозы прошлого года, не отделяет морально-этические проблемы своих героев от их общественной позиции. На примере судьбы известного шахматиста, автор, в сущности, ставит вопрос о месте художника, а в более широком смысле — каждого человека интеллектуального труда в социалистическом обществе. Герой «Цейтнота» у смертного одра матери мысленно анализирует собственный путь, сравнивает, что сделал в жизни он и что сделали его близкие и друзья детства — простые труженики, жители маленького захолустного городка. Он борется за то, чтобы всякий интеллектуальный труд был проникнут коммунистической моралью, за то, чтобы никто не мог устраниться от выполнения своего долга, прикрываясь рассуждениями о специфике профессии, не мог превратиться в квалифицированного ремесленника, с высокомерным равнодушием относящегося к людям. На сравнительно небольшой площадке этого произведения писателю удалось сделать немало глубоких психологических и этических наблюдений не только над своим главным героем, но и над окружающими его людьми.

Из новых писателей-прозаиков, которые так же, как И. Фрид, пытаются раскрыть связь между относительно «узкими» личными моральными проблемами и более широкими общественными вопросами, в Советском Союзе знают Яна Прохазку, который два года назад привлек внимание читателей и критиков повестью «Зеленые дали». В Чехии одновременно с Прохазкой дебютировали Вл. Пршибский и И. Клима, а в Словакии — А. Гыкиш и Я. Блажкова. Талантливыми прозаиками зарекомендовали себя сатирик К. Михал, юмористка Г. Франкова, а также авторы двух интересных рассказов — Н. Сохова и Я. Козак.

Цель этих заметок — не исчерпывающий информационный обзор. Поэтому мы не будем детально останавливаться на произведениях отдельных авторов и книгах, представляющих «новую волну», а попробуем показать их вклад в решение центральных проблем современной чехословацкой прозы.

Самими своими судьбами эти авторы связаны с современной тематикой — и это главное. Сила их как художников прежде всего в том, что они пишут о пережитом, проверенном ими на собственном опыте. И если они обращаются к вопросам личной морали, то не отделяют человека «самого по себе» от человека в обществе. Подлинность пережитого придает их рассказам и повестям (это их основной жанр) особую непосредственность, хотя, с другой стороны, пока несколько ограничивает общественный диапазон их творчества. Шаг, который определит их подлинное место в литературе,— шаг к широкому эпическому воплощению личного опыта,— им еще предстоит сделать.

Те, кто, идя по стопам Минача, пытается углубить и расширить социальные масштабы современной чехословацкой прозы и вывести ее за пределы «камерной», индивидуальной этической проблематики, сталкиваются с новыми проблемами. Не так давно оживленные критические отзывы и полемику вызвала повесть И. Кржижа «Огню нужно хорошее дерево». Герою его повести — партийному работнику Ланику — предстоит возглавить самый отсталый земледельческий кооператив в районе, которым он раньше руководил. Автор показывает, как борются в Ланике противоречивые чувства: с одной стороны, обида, опасения, связанные с трудностями новой работы, с необходимостью отказаться от привычных бытовых условий, а с другой — сознание своего партийного долга. В изображении Кржижа общественное оказывается сильнее личного.

Решающим критерием при оценке любо-

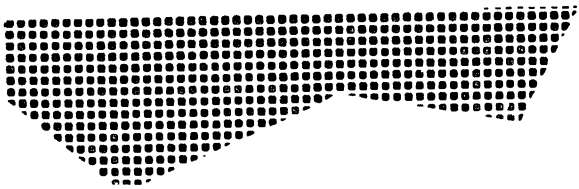
го произведения, помимо конкретности изображения действительности, является также и широта идейного и художественного обобщения. Повесть Кржижа не в полной мере отвечает этим критериям. Недостатки подобного рода присущи и некоторым другим произведениям, нащупывающим пути создания образа подлинно современного героя. К таким произведениям относится, например, первый роман Кубичека «Люцерна», который затрагивает важные социальные проблемы и содержит много нового, хорошо увиденного жизненного материала, почерпнутого в современной шахтерской Остраве. Но автору не удался образ главного героя — бывшего шахтера Грохолы. Оказавшись на посту начальника систематически отстающей шахты, он попадает в безвыходное положение. Ни политическая зоркость, ни профессиональный опыт не выручают его. То же надо сказать и о других персонажах романа и, в первую очередь, о сыне Грохолы — Грише, хотя его взгляды и мучительные искания типичны для современного молодого поколения.

Кубичеку, как и Л. Гашковой в ее интересной новелле из жизни современной Остравы («Обвиняемый»), не хватает правдивого раскрытия психологии персонажей и всей сложности взаимоотношений между людьми. Говоря словами А. Твардовского, им не хватает способности отразить «духовную жизнь нашего человека, все его радости и печали, заботы и желания... всю сложность подлинной жизни как она есть».

Если попытаться суммировать сказанное, то надо признать, что в чехословацкой прозе встречаются отдельные пусть даже не доведенные до конца попытки широкого синтетического отражения эпохи, какой в первую очередь является последний роман Минача, однако в поисках героя современного социалистического общества пока еще не преодолено противоречие: произведениям, уделяющим главное внимание раскрытию психологии, часто не хватает силы общественного звучания. А те, кто пытается это общественное начало углубить и расширить, большей частью не выявляют психологии своих героев, не раскрывают во всей полноте их внутреннюю жизнь. Пока мало таких, кто смог бы решить эту дилемму. Успеха в этом синтезе добился Ян Трефулка в своем первом рассказе «Счастье улыбалось». В двух повествовательных планах рассказа, создавшего автору имя, с большим мастерством сопоставляются драматические судьбы двух молодых людей, которые честно ищут свое место в социалистическом обществе, проходя через серьезные конфликты и горькие разочарования. Первый из них — студент, который в период культа личности был несправедливо исключен из партии; он решает, что удовольствоваться сознанием своей правоты и не отстаивать истину несовместимо с моралью настоящего коммуниста. Другой персонаж — девушка, работающая на государственной машинно-тракторной станции. В своих отношениях с людьми она стремится быть искренней, чистой, как этого требуют законы социалистической морали. Ей приходится преодолевать свои недостатки, свою изнеженность, страх перед сложностями жизни. В этом рассказе, отмеченном большой идейной глубиной и художественным мастерством, вырисовывается то, что я бы назвал *боевым идеалом социалистического уклада жизни.*

Настоящих героев — носителей этого идеала, наших современников — в чехословацкой литературе пока не много. Военная тематика все еще преобладает над современной, нет пока и больших полотен, которые охватили бы все социалистическое сегодня, драматизм его общественно-этических конфликтов, проникли бы в глубины жизни. Мало еще произведений, касающихся жгучих вопросов современности. Зато отошла в безвозвратное прошлое бесконфликтная иллюстрация определенных тезисов — и в этом прежде всего заслуга нового поколения чехословацких прозаиков. Сегодня непреложно одно: единственный путь, на котором литература может стать деятельным помощником партии в воспитании социалистического сознания людей,— это борьба против поверхностного и половинчатого взгляда на личные и общественные конфликты, борьба за чистую, полную и ответственную правду о наших современниках.

г. Прага



АНТОНИО ГРАМШИ

«...ЧТОБЫ НАШИ ДЕТИ ЖИЛИ В СВОБОДНОМ И ПРЕКРАСНОМ МИРЕ»

(Письма к жене) *

Перевод с итальянского Ц. КИН

Москва, 10.1. 1923 г.

Дорогой мой товарищ,

через несколько дней я выеду из Москвы в Италию вместе с Комиссией по слиянию коммунистической и социалистической партий **. В первый момент ИККИ, по-видимому с согласия итальянской комиссии, а следовательно, и Серрати ***, назначил меня редактором «Аванти!» на равных правах с самим Серрати. Поэтому было решено, что я выеду немедленно, чтобы приступить к исполнению обязанностей — увы, очень неприятных и чреватых разными трудностями. Вчера вечером произошло нечто неслыханное: Серрати заявил, будто он понял так, что соредактором «Аванти!» я стану не сразу, а только после Конгресса по слиянию. Он утверждал, что настаивать на ином решении — значит потерять большинство в социалистической партии, потерять «Аванти!» и т. д. и т. д. Сведения, которые Серрати получил из Италии о настроениях внутри его партии, должно быть, очень серьезны, коль скоро они заставили его сделать такое нелепое заявление: якобы он не понял Бухарина, который плохо говорит по-французски, и только потому дал согласие на столь важные решения! Чем бы ни закончился этот странный и весьма колоритный инцидент, основания для моего отъезда остаются в силе и, быть может, стали еще более вескими. Я рад, что смогу возобновить революционную работу в такой трудный и трагический для пролетариата момент — момент своеобразный с точки зрения тактики и взаимоотношений между различными пролетарскими течениями и между отдельными лицами. Когда я смогу снова увидеть Вас? До отъезда я отправлюсь в Серебряный Бор—провести денек с товарищем Евгенией ****. Твердо надеюсь, что все мы увидимся в Италии. Товарищ Евгения поправится, и вы сможете сопровождать ее в Италию; будем работать вместе. Или же все это окажется лишь маленьким воздушным замком, искусственно построенным в дни вынужденного бездействия?.. Кто знает, мир велик и грозен — может быть, мы встретимся в Пекине, в Лхасе, в Нью-Йорке, в Сиднее?..

Г.

(Вена), 1.1. 1924 г.

Дорогая моя,

что принесет нам Новый год? Сможем ли мы побыть немного вместе, наслаждаясь встречей, смеясь над всем и вся (за исключением, разумеется, серьезных вещей, которых, однако, в этом большом и грозном мире совсем немного)?

---

* Письма публикуются на русском языке впервые по тексту, напечатанному в итальянском журнале «Ринашита» (№№ 1—4, 1962 г.).

** IV конгресс Коминтерна принял решение о слиянии Итальянской коммунистической партии и Итальянской социалистической партии.

*** Джачинто Менотти Серрати (1872—1926). В 1914—1923 гг. лидер Итальянской социалистической партии и главный редактор органа ЦК партии «Аванти!». В 1924 г. вступил в компартию, и был избран в члены Центрального Комитета.

**** Сестра Юлии Шухт — жены Грамши.

Получил твое письмо. Здесь тоже наступила зима, на улицах лежит снег. Пейзаж — наметенные ветром сугробы — напоминает мне солеварни Кальяри и тамошних людей, занятых каторжным трудом. Но насколько В. скучнее и печальнее Москвы. Здесь нет саней, которые весело и звонко бороздят белизну улиц,— одни лишь трамваи гремят. Жизнь протекает тоскливо и монотонно. Я выхожу из дому только в ресторанчик или на какое-нибудь организационное совещание. Работаю довольно много: вновь привыкаю работать методически, долгие часы просиживаю за письменным столом. Написал уже несколько статей. Много перевожу, потому что переводы позволяют мне втягиваться в напряженный труд, не вызывая слишком сильных волнений и нервной реакции. Перевожу примечания Рязанова к «Коммунистическому манифесту»: перевел одиннадцать примечаний, сейчас перечитываю и переписываю, чтобы послать тебе для исправлений. Я решил подготовить полный перевод этого издания «Манифеста»: это будет очень полезно... Разумеется, если бы мне пришлось все делать самому, понадобилось бы слишком много времени, а так я рассчитываю закончить через 3 или 4 месяца. Ты мне поможешь, правда? Мы поставим на обложке оба наших имени. Я получил перевод статьи Ленина о ревизионизме, но не получил пока ни оригинала, ни других переводов. Если у тебя есть время, можешь заняться Рязановым: переведи в его издании «Манифеста» главу «Союз коммунистов»...

Покупаешь ли ты регулярно «Книгоношу»? Вышел ли 25-й номер журнала «Спутник коммуниста»? Изданы ли какие-нибудь новые книги, которые, по-твоему, могут интересовать меня?

Надери уши Бианко *. Скажи ему, что я пишу теперь по меньшей мере полдюжины писем в день. В жизни своей не писал столько писем, сколько за эти дни. Письма стали моим кошмаром. Я плохо кончу — напишу письмо и Бианко.

Обнимаю тебя нежно-нежно.

Г.

(Вена), 13 1. 1924 г.

Дорогая,

как ты живешь? Ты пишешь, что не можешь вообразить себе мою жизнь, а как протекает твоя? Пытаюсь представить себе твой повседневный быт, с кофейной мельницей и сковородкой. Кстати, ты никогда не упоминаешь о сковородке, этом драгоценном орудии, при помощи которого можно приготовлять неслыханные по своему великолепию омлеты с ветчиной и сыром. Она еще в употреблении?

Моя жизнь проста и прозрачна, прозрачна, как вошь под микроскопом, по выражению Рембо. Я всегда или почти всегда дома, живу очень далеко от центра; сижу один, читаю и пишу. Часто замерзаю, потому что печь обогревает плохо; ночью сплю мало, спальня не отапливается, и температура — 6 градусов тепла, отчего по вечерам меня всегда знобит. Кровать на немецкий лад: очень жесткая, очень неудобная, с периной вместо одеяла, перина то и дело сползает с меня, и я непрестанно просыпаюсь от холода. Однако жить все-таки можно, особенно потому, что я много-много думаю о тебе...

Посылаю первые главы своего перевода, не знаю, как получилось. Нужно, чтобы ты внимательно перечитала и без всякого стеснения исправила. По части технических выражений можешь обратиться к Бианко. У Вирджили ** есть технический словарь на 6 языках, в том числе на русском и итальянском. Можешь составить список русских выражений и проверить по этому словарю.

Я не знаю еще в точности, как проходила дискуссия, развернувшаяся в партии. Видел только резолюцию ЦК о внутрипартийной демократии, но не видел никаких других резолюций... Вот почему я хотел бы получить от тебя кое-какую информацию, а также рассказ о непосредственных впечатлениях. Никак нельзя получить что-нибудь в этом роде? Чтобы избежать всякой опасности разглашения таких вещей, тебе следовало бы писать мне шифром, хотя, если придется писать много, это будет для тебя слишком утомительно. Если понадобится, попроси Умберто от моего имени обучить тебя системе, ключ от которой ты мне пошлешь, при случае он пригодится и мне.

Получил пакет с книгами, которые оставил в Коминтерне для отправки. Но «Книгоноша» не весь — только номера от 14 до 26. Купила ли ты следующие номера? Пришли мне их и узнай, можно ли раздобыть номера от 1 до 13. Может быть, всего легче это сделать через райком.

Твое последнее письмо, написанное в последний день года, произвело на меня странное впечатление, несколько взволновало меня. Я не могу полностью понять твое душевное состояние: мне кажется, ты немного расстроенна и растерянна. Вызвано ли это только тем, что у тебя еще нет своего угла, что ты вынуждена вести цыганский образ жизни, устала от непрерывной работы? Надеюсь, что это так, но мне кажется,

---

* Винченцо Бианко — друг Грамши и его семьи, туринский рабочий. Эмигрировал из Италии и в те годы жил в Москве. Ныне член Центральной Контрольной комиссии КПИ.

** Итальянский инженер, много лет работавший в Москве

что дело не только в этом. Видимо, тебя что-то мучает и расслабляет больше, чем усталость. Ты должна писать мне все, должна говорить мне обо всем, что чувствуешь: пусть у меня будет хоть бы иллюзия, будто ты рядом со мной.

Обнимаю тебя крепко-крепко.

Г.

(Вена), 18.1. 1924 г.

Дорогая,

много думал о тебе и о решении, которое ты приняла, вероятно, после того, как получила мое письмо, отправленное на прошлой неделе. Подумал, что с моей стороны, быть может, слишком эгоистично просить тебя приехать ко мне, оторваться от теперешней твоей жизни, чтобы быть со мной, отойти от кипучей деятельности, которая окружает тебя, которой насыщен самый воздух,— пусть даже ты и выполняешь только техническую и не очень удовлетворяющую тебя работу. Подумал, что, быть может, хочу, чтобы ты была со мной потому, что я слишком одинок и это одиночество тяготит меня. Но я люблю тебя, и это сильнее всего остального, люблю тебя, всегда ощущаю твою близость, и мне кажется, что ты тоже чувствуешь себя одинокой и тоже грустишь там, далеко. Я еще довольно слаб, работоспособность полностью не восстановилось. Из-за того что я живу не один, мне пришлось изменить весь свой привычный режим: рано ложиться спать, вовремя вставать утром, меньше отдыхать,— и я снова ощутил слабость, снова пониженная температура. И все же мне стало несколько лучше, организм восстанавливает силы; я много писал эти месяцы, почувствовал, что вновь могу с известной легкостью связывать свои мысли и излагать их. Уверен, что, если ты, как я надеюсь, приедешь, я не буду для тебя обузой, что моя любовь будет для тебя утешением, восполнит то, что ты оставила там, а работа даст нам самое полное удовлетворение, какого можно от нее ждать.

Я всегда один. Духовное общение с моим соседом не идет дальше самых банальных разговоров. Для того чтобы получить разрешение на жительство, мне пришлось отправиться к Балабановой *. Ее рекомендация была необходима, чтобы заручиться поддержкой социал-демократов в переговорах с полицейскими властями: эти негодяи не желали сами взять с меня слово «не возмущать общественное спокойствие» в Вене, они хотели, чтобы Балабанова дружески попросила меня об этом. Это женщина, утратившая всякое человеческое достоинство, олицетворенная иеремиада, стон, рыдание. Все плохо, мир на краю пропасти, человечество в корне прогнило. Она окружила себя группкой итальянских социалистов-эмигрантов, ест шоколадки и изливает свое отчаяние; итальянские социалисты вторят ей, ритмически испуская в знак согласия такие печальные и глубокие вздохи, что прямо лопаются кишки. Давно уже я не сталкивался с публикой такого сорта. Мне пришлось делать над собой немалые усилия, чтобы не смеяться и не оскорблять их. Ничего не поняли из того, что произошло и происходит. Балабанова блеяла, как овечка, потому что один итальянский рабочий, эмигрант, сказал ей, что надо убить Д'Арагону **, который стал союзником Муссолини. А один максималист пришел в отчаянье из-за того, что демократы Орландо и Де Никсла баллотируются на выборах по фашистскому списку: если буржуазные демократы такие подлецы, то кто же свергнет фашизм, кто даст возможность вернуться в Италию бедному максималисту, который бросил там свою лавчонку и делишки, вынужденный удрать от фашистской угрозы? Вот таковы они: на меня смотрели косо потому, что я из тех, кто хотел раскола в Ливорно ***.

(Вена) 6 3. 1924 г.

Моя любимая,

мне хотелось бы поцелуями осушить твои слезы, которые я, кажется, вижу, кажется, чувствую на своих губах, как бывало порой, когда мой несносный характер заставлял тебя плакать. Вся эта взаимная боль, взаимные мучения происходят оттого, что мы далеко друг от друга и не можем так жить. Но ты слишком отчаиваешься. Почему? Ты столько раз обещала мне быть сильной-сильной, и я верил тебе, и сейчас тоже верю, что ты сильна,— больше, чем сама думаешь. Часто ты бываешь сильнее меня, только

---

* Балабанова Анжелика Исааковна — русская. С 1912 по 1916 г., находясь в эмиграции, была членом ЦК итальянской социалистической партии и одним из редакторов «Аванти!». В 1917 г. вступила в РСДРП(б), вернулась в Россию. В 1922 г. выехала в Вену, где поддерживала тесный контакт с руководством австрийской социалистической партии в лице Отто Бауэра и Фридриха Адлера. В 1924 г. за злостную кампанию против Коминтерна была исключена из РКП(б).

** Людовико Д'Арагона — итальянский реакционный политический деятель, один из реформистских лидеров профдвижения, предатель рабочего класса. В 1918—1925 гг был генеральным секретарем итальянской всеобщей конфедерации труда. С 1927 г. сотрудничал с фашистами.

*** В 1921 году, после раскола социалистической партии на съезде в Ливорно коммунистическая фракция социалистической партии 21 января 1921 года провозгласила там же, на своем первом учредительном съезде, создание Коммунистической партии Италии.

я с детских лет жил замкнуто и приучился прятать свои переживания под маской грубости или иронической усмешки — вот и вся разница. Долгое время это причиняло мне боль, долгое время мои отношения с другими людьми были невероятно сложными: каждое подлинное чувство я преувеличивал или преуменьшал в семь раз, чтобы другие не угадали, что я на самом деле чувствую. Что же спасло меня и не дало окончательно превратиться в накрахмаленную тряпку? Инстинктивное чувство возмущения, которое у меня вызывали богачи, потому что я не мог продолжать учения — я, получавший самые высокие баллы по всем предметам в средней школе,— а перед сыновьями мясника, аптекаря, владельца мануфактурной лавки были открыты все двери. Это чувство возмущения я распространил потом на всех богачей, которые угнетали крестьян в Сардинии, и тогда я начал думать, что надо бороться за национальное освобождение острова. «Сбросить в море всех, кто с континента!» — сколько раз повторял я эти слова. Позднее в одном промышленном городе я узнал, что такое рабочий класс, и понял истинный смысл произведений Маркса, которые прежде читал из любопытства. И тогда я страстно привязался к жизни, к борьбе, к рабочему классу... Ты вошла в мою жизнь и дала мне то, чего мне всегда недоставало и без чего я так часто бывал недобрым и упрямым. Я так люблю тебя, Юлька, и в то же время порой не замечаю, что причиняю тебе боль, потому что сам нечувствителен к ней.

Я написал тебе, просил приехать потому, что в твоих письмах уловил намек на то, что ты сама хочешь приехать. Я тоже думал о твоих родных, но нельзя ли тебе приехать на несколько месяцев — неужели ты не можешь или тебе так трудно оставить семью даже на небольшой срок? Как прекрасно было бы снова хоть некоторое время пожить вместе — ежедневно, каждый час, каждую минуту радоваться тому, что мы любим друг друга, что мы рядом. Мне кажется, я чувствую твою щеку, прижавшуюся к моей щеке, а моя рука гладит твою голову и без слов говорит о том, как я люблю тебя.

Вся кровь бросилась мне в лицо, когда я читал твое письмо. Ты знаешь почему. Но ты написала так туманно, а я томлюсь желанием обнять тебя и тоже почувствовать новую жизнь, которая соединит наши жизни еще крепче, чем сейчас, о моя любовь, моя дорогая-дорогая.

Я получаю сейчас массу писем от итальянских товарищей. Как много они требуют от меня! Им кажется, что я — неисчерпаемый источник веры, энтузиазма, воли, силы. А они в Италии, в самом огне борьбы, и — деморализованны, растерянны. Иногда все это страшно угнетает меня. Получил письмо от одного товарища — она русская, живет в Риме, была товарищем Розы Люксембург и Либкнехта и спаслась во время резни случайно или благодаря невероятному напряжению воли. И вот она тоже пишет мне — упала духом, разочарована, а ведь она не итальянка, и тут нельзя ссылаться на темперамент. От меня слишком многого требуют, слишком многого ждут, и это угнетает меня. За последние месяцы положение в партии резко ухудшилось. Бордига * удалился на Авентин **, и его позиция вызвала разлад в партийной жизни. Кое-кого мне удалось вовремя спасти от таких настроений, но достаточно ли этого? В моей памяти всегда живет одна сцена в Турине, во время захвата фабрик и заводов ***. Военный комитет обсуждал положение, которое могло возникнуть после того, как вооруженные рабочие выйдут из заводских стен. Все словно опьянели, готовы были передраться, ответственность давила, изматывала людей. Один поднялся с места — а он бывший летчик, воевал пять лет и сотни раз был на волосок от смерти,— хотел говорить, но зашатался и чуть не упал. Я вмешался в спор. Потребовалось большое напряжение сил, чтобы казаться спокойным. Я даже рассмешил товарищей какой-то шуткой, и мне удалось вернуть их к нормальному рабочему состоянию.

Но сейчас я не сумел бы уже так поступить. В нашей партии все молоды, и годы реакции расшатали всем нервы. А я сам столько времени болел и сейчас еще не вполне поправился. Ведь и моя жизнь два года висела на волоске, и когда я приехал в Москву и почувствовал себя спокойным и вне опасности — я немедленно свалился. Сейчас мне надо быть исключительно сильным, но что делать, когда мне так не хватает тебя: ведь ты часть меня самого. Приезжай, приезжай, Юлька, хотя бы ненадолго, только бы я опять почувствовал тебя рядом — тогда я смогу работать с огромным подъемом, лучше, чем мне до сих пор удавалось...

Г.

---

* Амадео Бордига с 1921 по 1924 г. был председателем исполкома Коммунистической партии Италии. В 1924 г был отстранен от руководства за «левацкие загибы» «Левые» позиции Бордиги подвергались неоднократно критике со стороны В И Ленина, особенно в его выступлении на II конгрессе Коминтерна «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» В 1930 г. был исключен из рядов КПИ. В дальнейшем отошел от политической жизни

** Речь идет о так называемом Авентинском блоке, получившем свое название от Авентинского холма в Риме, на который, по преданию, удалились плебеи древнего Рима во время своей борьбы против патрициев

*** Осенью 1920 г в Италии развернулась грандиозная стачечная борьба. По инициативе и под руководством группы «Ордине нуово», которую возглавляли Грамши и Тольятти в Турине и многих других центрах Италии были созданы фабрично-заводские советы, руководившие стачечной борьбой. Кульминационным пунктом этой волны революционного движения был захват фабрик и заводов в сентябре 1920 г.

(Вена), 15.3. 1924 г.

Дорогая,

воображение мое иссякло. Думаю только о тебе и о том, удастся ли тебе приехать. Это навязчивая идея, которая неотступно преследует меня и заставляет строить воздушные замки. То мне кажется, что ты решишься приехать хотя бы на некоторое время, то, напротив, я думаю, что и это иллюзия и что ты не сумеешь найти в себе для этого достаточно энергии.

...Последнее время я работал меньше и с меньшим удовольствием. Сплю мало, как я уже сказал, голова тяжелая, глаза воспалены. Посылаю тебе первый номер ОН *, которым я не очень доволен. Он был готов за месяц до того, как вышел из печати, делали его второпях, так как предполагали, что он должен выйти скоро, немедленно. Он имел большой успех. Тираж был 6500 экземпляров (на 1500 больше, чем в 1920 году) и разошелся в первый же день; из Турина, Милана, Рима затребовали еще около 2000 экземпляров, которые не удалось отпечатать. Это должно было бы стимулировать мою работу, я получил письма от товарищей, показывающие, как велика любовь к этому журналу, который мы начали издавать в 1919 г. без особого энтузиазма и особых надежд на будущее. Это будущее мы представляли себе тогда слишком ясно, так ясно, что это сковывало нас: нам казалось, что всему суждено полететь в пропасть, и так оно и случилось. И сейчас приверженность товарищей к возрожденному «Ордине нуово», надежды, которые они на него возлагают, даже угнетают меня: я еще больше ощущаю свою слабость, свою неспособность. Тут надо бы иметь железную волю, всегда ясный и мгновенно реагирующий ум, физические силы для работы — как раз этого мне и не хватает. Мне не хватает и тебя, которая сумела в свое время возродить во мне некоторые из этих качеств Видишь, я становлюсь прямо-таки плаксой, все время жалобно возвращаюсь все к той же ноте. Но ты меня понимаешь. И ты должна также твердо знать, что, приехав ко мне, будешь работать и помогать мне работать. Твоя работа не будет бесполезной, как раз наоборот — думаю, что, с революционной точки зрения, она будет гораздо полезнее той, что ты делаешь сейчас. сколько начинаний, сколько дел можно было бы осуществить вместе. Это должно бы придать тебе энергии и решимости. Уверяю тебя, впрочем, что, если бы речь шла только о нашей любви, я не стал бы так настаивать. Но наша любовь должна быть чем-то большим, она должна быть сотрудничеством, объединением духовных сил для борьбы, а быть может, счастье именно в этом и состоит. Обнимаю тебя нежно-нежно.

Г.

(Вена), 13.4. 1924 г.

Дорогая,

получил твое письмо от 4 (за неделю до этого получил книжку Керженцева и номер «Рабкора»)...

В одном отношении я теперь стал спокойнее, потому что услышал твой нежный голос, ощутил твою любовь, знаю, что ты моя больше, чем когда бы то ни было. Но теперь меня беспокоит другое (жизнь ужасно диалектична): кажется, я избран депутатом от Венето и вот думаю, что если вернусь в Италию, мне будет не так-то легко выбраться оттуда, чтобы присутствовать на V конгрессе. Могу ли я в таком случае рассчитывать, что ты приедешь ко мне? Теперь ты вынуждена будешь задержаться, чтобы наш ребенок не пострадал, а мне так хочется, так хочется быть подле тебя именно сейчас, чтобы принять участие во всей твоей новой жизни, радоваться и страдать вместе с тобою. Вихрь различных и противоречивых мыслей проносится в моем мозгу, и мне хотелось бы ежедневно, ежечасно делиться ими с тобой. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Новый итальянский парламент созывается только 25 мая, и, даже если я в самом деле избран, мне, может быть, не обязательно будет выезжать отсюда, потому что к 25 я должен уже быть в Москве...

...Теперь, больше чем когда бы то ни было, я хочу быть сильным, потому что хочу быть достойным твоей любви, и это стремление отражается на всей моей деятельности. Думаю, что, когда мы будем жить вместе, мы станем непобедимыми и найдем способ уничтожить и фашизм. Мы хотим, чтобы наши дети жили в свободном и прекрасном мире, и будем бороться за это так, как мы еще никогда не боролись, с изобретательностью, какой у нас еще не было, с упорством, с энергией, которая опрокинет все препятствия. Пиши мне много. Если бы я мог быть с тобой через месяц... Может быть, однако, так и будет.

Крепко целую тебя, liubymaia.

Г.

---

* «Ордине нуово» («Новый строй») — орган революционной группы левых социалистов, подготовивших создание Итальянской коммунистической партии. Группу возглавляли Грамши и Тольятти.

(Рим), 22 6. 1924 г.

Моя дорогая Юлька,

я все надеялся, что вот-вот выеду, но отъезд мой откладывался со дня на день, поэтому я не писал, думая, что сам приеду раньше, чем дойдет письмо. Выеду ли, то есть смогу ли выехать на этих днях,— не знаю, и поэтому хочу написать тебе, чтобы ты чувствовала, что я рядом с тобой, дорогая, чувствовала мою любовь и мои крепкие-крепкие объятия.

Я переживал незабываемые дни, и они еще продолжаются. По газетам невозможно составить себе точное представление о том, что происходит в Италии. Мы ходили у кратера действующего вулкана. Внезапно, когда никто этого не ожидал, а в особенности фашисты, архиубежденные в своем бесконечном могуществе, вулкан начал извергать огромный поток кипящей лавы, которая обрушилась на всю страну, разрушая все, связанное с фашизмом. События развертывались с молниеносной, неслыханной быстротой; каждый день, каждый час положение менялось, режим был взят в кольцо, фашизм в стране оказался изолированным, и эта изоляция чувствовалась в панике, охватившей его главарей, в бегстве его приверженцев. Работа была лихорадочной, приходилось ежечасно принимать решения, давать директивы, вводить в русло организованной борьбы вышедший из берегов народный поток. Сейчас острая фаза кризиса, очевидно, прошла. Фашизм спешно собирает свои силы, которые, хотя и уменьшились, продолжают господствовать, поскольку их поддерживает весь государственный аппарат, а массы невероятно распылены и дезорганизованы. Но наше движение сделало большой шаг вперед: газета утроила тираж, во многих центрах наши товарищи стали во главе масс и пытались разоружить фашистов; наши лозунги с энтузиазмом подхватывались и повторялись в резолюциях, принятых на заводах. Я думаю, что в эти дни наша партия стала подлинной партией масс. Я участвовал в собраниях всех парламентских оппозиционных групп, которые в глазах общественного мнения являли собой руководящий центр движения. Громкие слова, но никакой воли к действию; невероятный страх, что мы возьмем верх, и отсюда маневры, направленные к тому, чтобы заставить нас покинуть собрание. Какой опыт я приобрел за эти дни! Увидел лицо «мелкой буржуазии» со всеми ее типичными классовыми особенностями. Наиболее отталкивающая часть ее — пополари * и реформисты, не говоря уже о максималистах, этих незадачливых бедняках. Самыми симпатичными были Амендола ** и генерал Бенчивенга *** из конституционной оппозиции, которые заявили, что они в принципе за вооруженную борьбу и даже согласны (во всяком случае, на словах) выполнять приказы коммунистов, если те окажутся в состоянии поднять армию против фашизма. Один депутат от социальных демократов (есть такая сицилийская партия, объединяющая владельцев латифундий и крестьян), *герцог* Колонна Ди Чезаро, бывший до марта министром в правительстве Муссолини, утверждал, что он больший революционер, чем я, так как призывает к индивидуальному террору против фашистов. Все, разумеется, против моего предложения о всеобщей забастовке и об обращении к пролетарским массам.

Положение все еще чрезвычайно острое. Была уже попытка государственного переворота со стороны фашистов-экстремистов, которых разогнали с помощью больших воинских соединений и карабинеров. Циркулируют самые невероятные слухи. Вероятно, на этих днях что-то произойдет. Может быть, даже военный переворот. Из создавшегося политического положения еще не найден выход, так как оппозиционные группы не хотят возвращаться в парламент до тех пор, пока не будут арестованы фашистские вожаки, ответственные за убийство ****. Поэтому я в ближайшие дни еще не могу думать об отъезде. Но моя поездка все равно состоится, потому что в Москве должны узнать о реальном положении вещей.

Дорогая, сколько преград на пути нашего счастья, но мы преодолеем все, и в то же время будем выполнять до конца наш долг. Как я был бы рад, если бы в эти дни ты была со мной: ты помогла бы мне, твоя ласка успокоила бы меня, облегчила бы непрестанную головную боль. Надо упорядочить наше положение: ты должна решиться, едва это станет возможным, приехать в Италию, чтобы жить вместе со мной. Хотелось бы знать, как твое здоровье в эти дни, перед самыми родами; хотелось бы быть уверенным, что ты чувствуешь себя хорошо, что ты сильная и отсрочка моего отъезда не взволновала тебя. ...Как мы будем счастливы, когда опять увидимся; для нас новая жизнь начнется — ведь мы стали сильнее и лучше за эти месяцы ожидания. Целую тебя, моя любимая.

Г.

---

* Партия «Пополари» («Народная») — католическая партия, основанная в 1919 г. и тесно связанная с Ватиканом. В 1926 г. была распущена Муссолини. После свержения фашизма восстановлена под названием христианско-демократической партии.

** Джованни Амендола — писатель, философ и политический деятель. С приходом Муссолини к власти перешел в оппозицию.

*** Роберто Бенчивенга — генерал, журналист, политический деятель. После прихода Муссолини к власти был уволен из армии за критику фашистского правительства и сослан на 5 лет. В 1943 г. командовал партизанскими отрядами Сопротивления.

**** Речь идет о злодейском убийстве итальянского социалиста, депутата парламента Джакомо Маттеоти, проявившего большое личное мужество в борьбе против фашизма.

(Рим), 7. 1924 г.

Дорогая,

...моя жизнь протекает довольно спокойно, несмотря на исключительно напряженное общее положение. Живу в переулочке, пересекающем виа Номентана, в доме одной немецкой семьи, не знающей, кто я такой. Очень страдаю от жары. Могу свободно передвигаться по городу и встречаться с товарищами, находящимися на нелегальном положении, потому что полиция не функционирует, так же как и все органы фашистского государства,— все чиновники саботируют. Не знаю, сколько может продолжаться такое положение вещей. После трех лет нелегального положения, когда все были заняты лишь тем, чтобы сохранить организацию, события ввергли теперь партию в очень тяжелые испытания. Надо действовать, вести агитацию, выходить из подполья; товарищи, не подготовленные к этому неожиданному скачку, оказались не вполне уверенными в себе. За те два года, что я находился вне Италии, я очень многому научился, приобрел большой опыт, необходимый для того, чтобы работать уверенно...

Г.

21.7.1924 г.

Дорогая Юлька,

получил твое письмо от 6—13 июля, получил также письмо Бианко, который сообщает о тебе. Дни проходят тускло и печально. Внешне как будто все застыло: в стране, в массах населения идет огромная подспудная работа, но это скрытые, молекулярные процессы. Для того чтобы понять их, руководить ими, требуется громадное напряжение. Можно совершить, даже невольно, серьезнейшие ошибки (и они действительно совершаются), потому что в каждой области страны свое особое положение, и для того, чтобы контролировать и направлять события по определенному руслу, нужна большая партия, привыкшая к систематической работе, способная во всех своих звеньях осуществлять указания центра. Стоит страшная жара, и я опять страдаю бессонницей, чувствую общую слабость; мне трудно, работа приводит мои нервы в плачевное состояние. Столько нужно было бы сделать, но мне это не удается. Я думаю о тебе, о том, как сладостно любить тебя, знать, что ты близка мне, хотя ты и далеко. Дорогая Юлька, даже мысль о тебе помогает мне быть сильнее. Но пока мы в разлуке, у меня не будет нормальной жизни: любовь к тебе — такая неотъемлемая часть моего существа, что я не могу чувствовать себя хорошо, когда тебя нет. Может быть, здесь играют известную роль усталость и воспоминание о той гармонии, которую я ощущал в дни нашего счастья. Но мне кажется все же, что невозможно делить себя на части и быть активным лишь в каком-то одном смысле: жизнь есть нечто целостное, и каждый вид деятельности усиливает все остальные проявления личности. А любовь делает всю жизнь интенсивнее, правда? Она создает равновесие, большую напряженность других страстей и других чувств. Но я не хочу быть доктринером. Хотелось бы рассказать тебе о стольких эпизодах, о стольких мелочах, которые дали бы представление об атмосфере, о моменте, переживаемом сейчас Италией. Я сохраню в кладовой своей памяти кучу вещей, чтобы рассказать о них, когда мы будем вместе, но писать не решаюсь: мне кажется, в письме это может выглядеть малозначительным и глупым. Все же, пожалуй, я попробую в следующий раз, буду писать что-то вроде дневника. Начну с моего приезда в Италию, путешествия по железной дороге от Тарвис до Милана через Венецию. Расскажу о моем разговоре с одним фашистом, который хотел, чтобы Италия аннексировала Ниццу, Савойю, Мальту, Тичинский кантон. Этот фашист совсем потерял голову, когда я принялся разыгрывать из себя роль сардинского националиста и научно доказал ему, что фашистская Италия обречена утратить Сардинию: несчастный не знал, что отвечать на мои аргументы, и в отчаянии пытался убедить меня, что я не прав. Я развлекался безмерно. Потом я услышал разговор одного промышленника, владельца шелкопрядилен из Скио (Венецианская область) с земельным собственником из Падуи, этот разговор произвел на меня мрачное впечатление, так как оба собеседника казались очень уверенными в себе и сильными. А потом — потом нелегальная конференция партии, организованная под видом туристической горной прогулки служащих какого-то миланского предприятия. Целый день споры о тенденциях, о тактике, а во время трапезы в помещении туристской базы, полном экскурсантов,— фашистские речи, гимны Муссолини: все играли комедию, чтобы не возбудить подозрений и спокойно, без помех проводить собрания в прекраснейшей долине, где цвели белые нарциссы. А потом — нечто другое: цветущие красные гвоздики на груди римских рабочих в ту ночь, когда все узнали, что партия призывает ко всеобщей забастовке. Около полуночи я возвращался домой, и весь квартал Порта Пиа, который я пересекал, кишел рабочими с красной гвоздикой на груди; они царили на улицах, на городских окраинах, там чувствовалась атмосфера восстания, в то время как в центре фашисты со своими стилетами и ножами, запрятанными в трости, пытались создать панику. Впрочем, их стилеты исчезали, едва появлялся отряд солдат, готовых открыть огонь. Но... мне было немного грустно, что я вернулся в Италию, когда положение значительно улучшилось; я только слушаю рассказы о терроре, пережитом в

самые острые моменты фашистского разгула, знаю от других, как фашисты, думавшие, что я в Турине, охотились за моей тенью и вместо меня избили и изранили моего брата. Я уверен, что они не схватили бы меня, но хотел бы испытать это ощущение: чувствовать, как за тобой яростно охотятся, и уйти от их бессильной ярости.

Представь себе мое положение сегодня: я живу в маленькой вилле на виа Везалио, пересекающей виа Номентана, в одной немецкой семье, которая не знает моего настоящего имени и не знает, что я депутат-коммунист; я разыгрываю из себя серьезного-пресерьезного профессора, меня очень уважают и так пекутся о моем покое, что это даже раздражает.

Как много я хотел бы рассказать тебе, но лучше отложим это до встречи, правда? Тогда я буду тебя очень смешить, время от времени прерывать свой рассказ, чтобы поцеловать твое ушко или затылок, чтобы обнять тебя, потому что не смогу вести себя иначе, потому что, находясь вместе, невозможно не помнить каждую минуту, что мы очень любим друг друга, хотя мы теперь серьезные особы, которые борются и работают и к тому же имеют сына. Дорогая моя Юлька, я так люблю тебя и обнимаю крепко-крепко.

Г.

18.8. 1924 г.

Дорогая Юлька,

я получил твое письмо от 6, написанное в канун начинающейся для нас новой жизни. Как хотелось бы мне быть рядом с тобой. Сейчас, когда я пишу, наш ребенок, может быть, уже родился, он около тебя, и ты можешь ласкать его после того, как страдала, давая ему жизнь. Моя радость омрачена легкой грустью: сколь многого я не узнаю из того, что хотел бы знать. Но к чему знать, если все равно нельзя было страдать вместе с тобой? У меня такое чувство, что я нахожусь в привилегированном положении, потому что ныне волей судеб мне было отведено одно лишь счастье. Моя любовь к тебе слишком сильна, слишком интенсивна, наши жизни настолько слиты, что я не могу освободиться от этих грустных мыслей. Вот. А потому у моего счастья немного выпянутая физиономия

Работы очень много, но она не такая, которая могла бы захватить всю жизнь и все помыслы. События развиваются неумолимо. Нужно реорганизовать партию, которая слаба и в целом работает очень плохо. Я вхожу в политический центр и являюсь генеральным секретарем; должен был бы быть и редактором газеты, но не хватает сил. Я еще малоработоспособен. А надо было бы контролировать все, следить за всем. Завтра я выезжаю в Милан и в Турин посмотреть, как работают эти две крупнейшие наши организации. У нас не хватает руководящих работников, особенно в Риме. Собрания, в которых я участвую, радуют преданностью и энтузиазмом товарищей, но в то же время настраивают пессимистически: не хватает общей подготовки. Ситуация складывается превосходно для нас: оппозиционные группы организуют движение военного характера и вооружают... наших товарищей. Фашизм раскалывается, он точно обезумел, не может осуществить ни одного политического мероприятия... Все оборачивается против него. Но развитие событий будет относительно медленным, потому что нас еще слишком мало и мы слишком плохо организованы.

Г.

(Рим), 8.9. 1924 г.

Дорогая Юлька,

я не был в Риме более двух недель и не имел возможности получать твои письма, которых ждал с таким нетерпением. А сегодня, прочитав их, не знаю, что написать тебе. Что-нибудь серьезное и мелодраматическое? Я шучу. Не знаю, вот и все... Может быть, нежное прикосновение выразило бы лучше, чем поток слов, все, что я хотел бы тебе сказать.

А пока одобряю все, что ты сделала. Одобряю также имя, хотя мне и кажется несколько преувеличенным имя Лев для ребенка, который весит три с половиной кило (сейчас, пожалуй, он весит уже больше) и не имеет еще ни одного зуба. Но он станет настоящим Львом, не правда ли? Даже если сегодня он чуть больше безобидного котенка. И будет кусаться и рычать, нагоняя страх на мировую буржуазию, если буржуазия тогда еще будет существовать. ...Для меня важно, чтобы малыш был живым ребенком, нашим сыном, важно, что мы любим друг друга еще больше, чем вчера, потому что в нем видим самих себя более сильными и более счастливыми. Ты должна писать мне много-много, чтобы я мог представить себе твою новую жизнь. Тех элементов, которыми я располагаю, явно недостаточно, чтобы фантазировать вволю: крики, плач, дрыганье ножками, палец, засунутый в рот, и серия происшествий, объективно мало приятных. Но объективное — это еще не жизнь, это холодная фотокарикатура на жизнь, тогда как ты видишь живую жизнь. Терпение, буду ждать, пока и мне удаст-

ся разделить твою радость, присутствуя при постепенном развитии ребенка. Важным мне кажется момент, когда малыш первый раз засунет ножку в рот; ты должна тотчас сообщить мне об этом событии, которое будет означать, что ребенок вступил во владение самыми отдаленными точками своей национальной территории.

Марсельское мыло я раздобуду в самом Марселе. Не уверен, что оно дойдет до тебя, но будем надеяться. Хотел бы сделать что-нибудь для вас, но не знаю что. Ты не должна сердиться, если Бианко передаст тебе деньги от меня; если ты рассердишься, я рассержусь еще больше. Впрочем, с чего тебе сердиться? Это было бы с твоей стороны слишком откровенным и деспотическим эгоизмом. Если ребенка зовут Лев, то это еще не значит, что ты должна превратиться в львицу, готовую проглотить весь мир; я, например, не дам себя проглотить и буду вопить о своих правах человека и гражданина. Я тоже хочу что-нибудь делать для ребенка, поняла? Советские законы мне этого не запрещают, и ты не должна быть слишком заносчивой.

За эту неделю я не получил ни одной весточки. Мне написал только Бианко, который в восторге от прелестей ребенка и от его воплей. Подожду еще неделю в надежде получать все более интересные сообщения.

Вышел новый номер «Ордине нуово», который будет теперь выходить без перерывов. Я пошлю тебе его.

Обнимаю тебя, liubymaia, и обнимаю маленького.

Г.

(Рим), 18.9. 1924 г.

Дорогая Юлька,

...здесь мне нужно было бы много работать, но не всегда удается сделать то, что нужно. До самых последних дней я был относительно спокоен: мог передвигаться довольно свободно, хотя и с большими предосторожностями. Каждую неделю проводил три-четыре собрания как с руководящими кадрами партии, так и с товарищами из местных организаций. Собрания очень интересны, особенно с рабочей массой. Беседы, споры, информации, проблемы, которые надо решать, принципиальные и организационные вопросы, которые надо улаживать. Тяготение к нашей партии исключительно велико: за месяц пропаганды мы почти утроили число членов, тираж газеты за три месяца вырос на 1200, на нашу литературу громадный спрос, вокруг наших ячеек воссоздаются профсоюзные организации. Чрезвычайный успех имеет наша пропаганда среди крестьян. Наша аграрная секция отпечатала 2000 членских билетов для Национальной ассоциации в защиту крестьян, а из одной только Сиенской провинции запросили 5000 билетов. Все это, конечно, не означает, что мы вышли из затруднений. Партия продолжает фактически, если не юридически, оставаться нелегальной: каждое обнаруженное собрание разгоняют, товарищей арестовывают и по несколько дней держат в тюрьме. Надо быть очень осторожным в связях, во встречах с товарищами, которые работают в партийном аппарате, чтобы избежать провала, конфискации и уничтожения архивов и бумаг. Раньше меня оставляли в покое, но после убийства депутата-фашиста Казалини я оказался под надзором: на днях меня узнал один туринский фашист и указал на меня группе своих дружков; полиция «с целью защиты» начала тщательно следить за каждым моим шагом, что вынуждает меня тратиться на автомобили, вместо того чтобы пользоваться трамваем, когда надо ехать на какое-нибудь собрание. Не могу написать тебе о куче разных вещей, потому что не доверяю почте. Опыт нашей работы в Италии исключительно интересен и непрестанно выдвигает все новые проблемы, требующие разрешения. В эти дни в провинциях проходит много конференций, которые дадут нам представление о наших силах и нашей способности к борьбе. Таким образом мы сможем наметить конкретную программу работы, более четкой и систематизированной, чем та, что проводилась до сих пор...

Г.

(Рим), 10 11. 1924 г.

Моя дорогая,

вот уже три дня, как я вернулся из Сардинии; застал здесь два твоих письма. Мне пришлось бы написать целый том, чтобы рассказать обо всех впечатлениях этих дней. События развиваются молниеносно, причем в таких причудливых формах, что для того, чтобы дать им оценку, понятную тем, кто не живет в Италии, не варится в самой гуще, понадобилось бы систематизированное исследование психологии фашизма, знаменующего острую фазу стремительно быстрого распада буржуазного общества, который происходит в момент, когда пролетариат еще недостаточно организован для захвата власти. Деморализация, подлость, коррупция, преступность приняли неслыханные размеры; мальчишки и дураки оказываются хозяевами политического положения и плачут или сходят с ума под грузом исторической ответственности, которая внезапно легла на плечи этих честолюбивых, безответственных дилетантов, трагедия и фарс че-

редуются на сцене без всякой взаимосвязи; хаос достиг пределов, казавшихся немыслимыми даже для самой разнузданной фантазии. Иногда у меня создается такое впечатление, что и я сам — словно тростинка в этом историческом урагане, но у меня достаточно энергии, чтобы сохранять, насколько возможно, хладнокровие и делать то, что я считаю нужным...

Дорогая, может быть, все дело в том, что мне не удается представить себя в роли отца. У себя на родине я долго играл с одной четырехлетней племянницей; она боялась каких-то вареных крабов, и вот я заставил ее пережить целый роман, в котором участвовали 530 злых крабов под командой генерала Бульоно-Жевареля и подчиненного ему блистательного генерального штаба (учительница Пиявка, учитель Таракан, капитан Синяя Борода и т. д.), а также маленький отряд добрых крабов — Мотылек, Белая Борода, Черная Борода и т. д. Злые щипали ее за ноги при помощи моих рук, добрые подкатывали на трехколесном велосипеде, вооруженные вертелами и метелками, чтобы защищать ее; звуки велосипедного гудка перемежались с ударами метлой, с чревовещанием, и весь дом заполняла компания проворных крабов на глазах изумленной девчурки, которая верила всему и увлеченно следила за развитием романа, придумывая в свою очередь новые эпизоды и сражения. Я словно вернулся к своему детству и три дня развлекался всем этим больше, чем визитами местной знати, в том числе фашистов, которые являлись ко мне весьма важно и торжественно, чтобы поздравить с тем, что я... депутат, хотя и депутат-коммунист. «Сардинцы идут в гору!.. Э-э! Жми, Парис! Вперед, Сардиния!» Весело, конечно. Но пришли также члены местного Общества взаимопомощи, объединяющего ремесленников, рабочих и крестьян, и, подталкивая своего председателя, которому вовсе не хотелось нарушать аполитичность Общества, задали мне много вопросов: о России, о том, как работают советы, о коммунизме, о том, что такое капитал и капиталисты, о нашей тактике по отношению к фашизму и т. д. Эта встреча была очень интересной, потому что, если с одной стороны, она показала мне, насколько распространены предрассудки и как отстала итальянская деревня, то с другой стороны, выявила глубину существующего недовольства и огромную притягательную силу России. «Мы все хотим быть русскими!» — с этим согласился даже председатель, хотя и со многими «э-э». Когда я приведу в порядок свои воспоминания, опишу тебе несколько характерных для здешней жизни эпизодов. Сейчас я загружен делами, мотаюсь взад и вперед по Риму и едва урвал свободную минутку. Через несколько дней едет один товарищ, и он отвезет тебе марсельское мыло (один пакет мыла я отправил по почте, другой переслал с одним путешественником); он отвезет тебе также сардинский чепчик, из деревни Дезуло, который доказывает, как мне кажется, наличие некоторого странного родства между киргизами и горцами Барбаджи. Обнимаю тебя крепко-крепко, дорогая.

Г.

(Рим), 26.11. 1924 г.

Дорогая,

уже почти месяц не имею вестей от тебя. Мне пришлось снова выехать из Рима как раз в дни отправки почты, и поэтому я пропустил одно письмо. Через несколько дней уеду снова и пробуду в Милане по меньшей мере дней пятнадцать. Работаем не переводя дыхания. Политическое положение сложилось так, что мы вынуждены вести кропотливую, но в целом гигантскую работу. Пролетариат пробуждается и вновь обретает сознание своей силы; еще явственнее пробуждение крестьян, экономическое положение которых ужасно. Но организовать массы еще трудно, и партия в целом — ее ячейки и деревенские группы — тяжела на подъем и медленно работает. Центр партии должен постоянно бывать на местах, стимулировать и контролировать работу, помогать товарищам, направлять их, работать вместе с ними. Мы стали очень сильны: нам удается проводить открытые митинги прямо на предприятиях, в присутствии 4000 рабочих, которые рукоплещут партии и Интернационалу. Фашисты уже не вызывают такого страха; уже есть случаи, когда после митинга люди выстраиваются в колонны, чтобы идти приступом на дом кого-нибудь из фашистских главарей. Буржуазия разъединена, она не в состоянии создать авторитетное правительство и вынуждена отчаянно цепляться за фашизм, оппозиция слабеет и, по существу, хочет лишь добиться от Муссолини большего соблюдения легальных форм.

Я получил письмо от группы итальянских товарищей, которые вместе с тобой праздновали годовщину Октябрьской революции; это письмо имеет несколько торжественный оттенок, что меня позабавило, однако оно было бесспорно искренним. Мне хотелось бы узнать от тебя, как протекала эта церемония. Я был бы очень доволен, если бы малыш, чтобы проявить свою радость, оставил кое-какие следы на участниках торжества; при этом у меня и в мыслях нет оскорбить достоинство малыша или недооценить хорошие манеры, которые ты ему, вероятно, стараешься прививать.

Г.

(Рим), 12.1. 1925 г.

Дорогая Юлька,

два слова наспех. Несколько недель я не получаю вестей от тебя и не знаю, объясняется ли это причинами общего порядка или состоянием твоего здоровья. Бианко написал мне, что ты чувствовала себя неважно, и это встревожило меня. Я живу интенсивнейшей жизнью, подстегиваемый стремительно развивающимися событиями. Нельзя, однако, предвидеть в ближайшем будущем крах фашизма как режима — разве только как фашистского правительства... Мы в Италии переживаем фазу, какой, мне кажется, не знала ни одна другая страна,— фазу, полную неожиданностей, потому что фашизму удалось осуществить свою цель: уничтожить все организации и, следовательно, все возможности для того, чтобы массы могли выразить свою волю. Это положение ясно огромному большинству...

Г.

(Рим), 25.5. 1925 г.

Дорогая,

я разыскал письмо, которое написал тебе тотчас по возвращении в Италию. Теперь не посылаю его, так как для меня оно утратило всякий смысл. Это был только маленький бесцветный рассказ о некоторых мелких моих неприятностях — ничего важного. Однако на границе у меня отобрали твой перевод речи Сталина, обещали вернуть после просмотра, но я не думаю, чтобы вернули.

Работа идет очень беспорядочно и неорганизованно, это отражается на моем душевном состоянии, и без того достаточно неспокойном. Трудности возрастают — теперь у нас имеется закон об организациях (то есть против них), прелюдия планомерной полицейской деятельности, направленной к уничтожению нашей партии. Этому закону был посвящен мой дебют в парламенте *. Фашисты обошлись со мной милостиво на этот раз, следовательно, с революционной точки зрения, я начал неудачно. Они собрались вокруг меня и дали мне сказать то, что я хотел. Правда, они непрестанно прерывали меня, но лишь для того, чтобы увести от темы выступления, а не с целью сорвать его. Я развлекался, слушая то, что они говорили, но не сумел удержаться, чтобы не отвечать на их реплики, а это было им на руку, потому что я устал и не мог больше продолжать в том плане, который первоначально наметил...

Очень-очень люблю тебя, больше, чем прежде, потому что могу думать о тебе, как о маленькой маме, и представлять себе тебя с нашим ребенком.

Крепко-крепко обнимаю тебя, дорогая.

Г.

(Рим), 16. 1925 г.

Дорогая,

получил твое письмо от 10—21/V, но не знаю, получила ли ты два моих ранее отправленных письма? Мне кажется, что как раз в этот период произошла некоторая путаница и беспорядок в доставке корреспонденции — как мне, так и тебе.

Внешне моя жизнь протекает спокойно, то есть не заметно никаких крупных, драматических перемен. Однако события развиваются неумолимо, и надо сосредоточить все внимание, чтобы следить за ними, понимать их и пытаться руководить ими Реально значимые социальные силы все больше группируются либо вокруг фашистов, либо вокруг нас, промежуточные партии медленно умирают. Кризис захватывает всех. В некоторых кругах интеллигенции, куда, казалось, мы никак не могли проникнуть, начинают раздаваться голоса, требующие единого фронта с революционными рабочими. Наши успехи в организации рабочего класса все более очевидны. Поэтому все яснее определяются некоторые основные моменты ситуации. 1. Реформисты (которые хотят лишить нас возможности доказать публично, что мы являемся самой сильной рабочей партией) грозят нам расколом в профсоюзах; 2. Фашисты по той же причине грозят переломать нам ребра; 3. Крайние левые ведут внутри партии подрывную работу, добиваясь создания фракций. Мы слишком сильны, чтобы не брать на себя инициативу в отдельных столкновениях, но еще слишком слабы, чтобы идти на открытую, решающую схватку.

Поэтому кажущееся спокойствие насыщено постоянной тревогой и напряжением. И я один, дорогая... Я ощущаю свое одиночество еще и потому, что нелегальное положение партии вынуждает нас вести индивидуальную и обособленную деятельность. Стараюсь убегать из этой политической пустыни, часто навещая Татьяну, которая напоминает мне тебя. Но твое отсутствие не может возместить никто и ничто. Что бы я ни видел вокруг себя — все напоминает о тебе и о Делио и заставляет еще острее чув-

* Грамши выступил в палате депутатов 16 мая 1925 г. с речью по поводу законопроекта о запрещении тайных обществ. Фашисты утверждали, что закон якобы направлен против масонов, но Грамши доказал, что фашисты хотят его использовать для борьбы против левых партий и, в первую очередь, против коммунистов.

ствовать, как я несчастлив. С другой стороны, я не могу всецело отдаваться партийной работе, хотя и очень желал бы этого. Жара, которая здесь уже дает себя знать, тягостно отзывается на моих нервах, опять началась хроническая бессонница. Но ничего... Все пройдет, потому что я уверен: ты приедешь в Италию, все наши силы и способности смогут развернуться, и мы будем вместе следить за ростом и развитием Делио. Крепко-крепко обнимаю тебя, дорогая, вместе с нашим ребенком.

Г.

(Рим), 9 6. 1925 г.

Дорогая,

не знаю еще, каким образом и почему ты не получила моих прошлых писем. Я сейчас очень занят и буду еще более занят в ближайшие дни и ближайшие недели. Целиком ушел в работу: в самом деле, мне кажется, что из головы вылетело все, что не относится к текущей практической деятельности. Мне нужно задуматься, чтобы разбить этот круг и вспомнить, что жизнь может быть интересной и прекрасной также потому, что существуешь ты и существует Делио, пусть даже далекие и загадочные. Но ты поймешь это душевное состояние и все равно должна любить меня, любить еще сильнее, чтобы помешать мне высохнуть, как пергамент, превратиться в автомат, который все время повторяет одни и те же слова и жесты. Правда ведь? Почему ты не присылаешь мне своей новой фотографии и фотографии Делио?

Я так люблю тебя, дорогая, и крепко-крепко обнимаю тебя и ребенка.

Г.

(Рим), 12.7. 1925 г.

Дорогая Юлька.

я был далеко от Рима и упустил две возможности написать тебе. Я путешествовал: ездил в Венецию и в Триест, чтобы обсудить с тамошними товарищами внутреннее положение в партии, которое оказалось очень хорошим, несравненно лучше, чем я думал. На съезде мы получили подавляющее большинство: партия оказалась более большевистской, чем можно было предполагать, и очень энергично реагировала на фракционизм бордигианских экстремистов. Наша политическая линия уже одержала победу внутри партии, поскольку экстремистское течение раскололось, и большинство ответственных его участников примкнуло к платформе Интернационала, а также среди трудящихся масс, поскольку наша партия завоевала большое влияние и руководит извне массой членов других партий.

Г.

Рим, 14.10. 1926 г.

Моя дорогая Юлька,

не получал никаких вестей от тебя после 14 сентября, то есть ровно месяц. Поэтому я несколько озабочен и опечален. Последнее время мне удается делать гораздо больше, чем удавалось в прошлом. Я опять стал довольно много писать для наших газет, преодолев некое умственное оцепенение, овладевшее мною с некоторых пор: мне казалось, что я уже не способен написать что-нибудь интересное и литературно сносное, и это ощущение стало прямо-таки болезненным. Я постарался так или иначе перебороть его, хотя и убежден, что пройдет немало времени, прежде чем я опять буду в полной форме. Добиться этого мне во многом помогли постоянные, упорные мысли о тебе и о наших детях. Знаешь, бывают минуты, когда я буквально места не могу себе найти от беспокойства; когда я думаю о том, что ты до сих пор одна несешь бремя забот о двух детях — не говоря уже о лежащей на тебе всякой другой ответственности,— мне обидно и грустно. До тех пор пока мне не удастся, окончательно и прочно, изменить теперешнее положение вещей, мне будет казаться — вопреки всему,— что я недостаточно люблю тебя и обоих детей. В отместку за эти черные мысли я яростно обрушиваюсь на наших врагов, которые в газетах изображают нас, как набобов, купающихся в золоте. Но не хочу больше говорить тебе об этом, чтобы ты не думала, будто я всегда мрачен и угрюм. Напротив, я чувствую себя довольно хорошо. Я хочу говорить с тобой о чем-нибудь серьезном и в то же время веселом: например, об анкете газеты «Пикколо» на тему о счастливых женах, которую ты, конечно, припомнишь. Премией отмечен ответ, сформулированный примерно так: «Счастлива женщина, вышедшая замуж за человека, с которым охотно изменила бы мужу». Газета решила, что этот ответ — квинтэссенция глубокого проникновения в психологию жен. Мне тоже кажется, что ответ имеет известное психологическое и историческое значение для характеристики нравов и уровня мышления определенного класса в определенную эпоху. Надо было бы сообщить о нем какому-нибудь специалисту по эротическим вопросам (например, Колл.), чтобы об этом было написано произведение животрепещущей актуальности. Удалось ли мне заставить тебя улыбнуться? Тогда я хочу

крепко-крепко обнять тебя именно сейчас, пока ты улыбаешься, вместе с обоими нашими детьми (первенцем и вторым сыном, можем мы сказать сейчас весьма торжественно).

Ант.

Только что получил твои письма от 26/9. Очень люблю тебя, обнимаю.

А.

Рим, 27.10. 1926 г.

Дорогая Юлька,

на этой неделе я опять не получил никаких известий от тебя. 30, то есть через три дня, я выеду из Рима и попытаюсь выбраться из страны, чтобы попасть на расширенный Пленум ИККИ. Не вполне уверен, удастся ли мне это, но, кажется, есть кое-какие благоприятные возможности. Как только попаду на советскую территорию, протелеграфирую тебе, но, как и в прошлый раз, прошу тебя, приходи на вокзал только в случае хорошей погоды и если ты будешь абсолютно свободна. Таким образом, для меня наступает период, может быть долгий, когда я ничего о тебе не буду знать и не смогу писать тебе. Но меня несколько утешает надежда увидеть всех вас.

Обнимаю тебя и детей

Антонио

Рим, 4 II. 1926 г.

Моя дорогая Юлька,

получил твое письмо от 26 октября и могу еще ответить тебе, так как в связи с одним случайным обстоятельством мне пришлось вернуться в Рим. Однако мое последнее письмо в основном остается в силе.

Как мне хотелось бы приласкать тебя, крепко-крепко прижать к себе твою бедную голову. И успокоить тебя — неправда, будто во мне зародились и продолжают укореняться одни лишь мрачные мысли. Мне кажется, все дело вот в чем: возникающие у меня мысли приобретают, в силу моего крайнего душевного одиночества, форму холодной схемы, когда я пытаюсь их выразить. Ты же, напротив, живешь в мире вечно свежих и живых впечатлений. И вот, когда эти мои мысли, выраженные в такой возбужденной и жалобной форме, доходят до тебя, это производит ужасное и, как ты пишешь, пугающее впечатление. Но ты должна понять, что такое восприятие ошибочно, ты должна постараться представить себе мое душевное состояние, учитывая окружающую действительность, которая тебе известна, и мой характер, сложившийся за двадцать лет одинокой жизни, без близких людей, когда развивались только способности критически мыслить и закалялась воля. Тебе не кажется правильным то, что я говорю? Я был бы просто несчастен, если бы мне не удалось добиться того, чтобы ты понимала меня, чтобы ты чувствовала, даже за холодной броней моих фраз, всю безмерность моей любви и моего непоколебимого доверия.

Может быть, я опять был неловок. Но мне хотелось бы помочь тебе стать еще сильнее, чем ты есть, чтобы ты сохранила спокойствие в гуще событий и поэтому могла подчинить их себе. Надеюсь, что к моменту, когда ты будешь читать эти слова, Делька уже поправится и Женя тоже, и ты сможешь ждать моего приезда не в такой тревоге. Я хотел бы увидеть всех вас спокойными — может быть из эгоизма, из-за неудержимого желания время от времени получать свою долю радости. Обнимаю крепко, lubymaia, тебя и детей.

Ант.

КАРЛО САЛИНАРИ

Антонио Грамши — РЕВОЛЮЦИОНЕР И МЫСЛИТЕЛЬ

Антонио Грамши еще недостаточно известен за пределами Италии, но внутри страны выход в свет его «Тюремных тетрадей» явился самым значительным событием культурной жизни после второй мировой войны. Влияние Грамши на итальянскую интеллигенцию огромно, и с каждым годом оно становится все глубже и значительнее, распространяясь не только на коммунистов и социалистов, но также на интеллигентов самых различных направлений, главным образом на молодежь, в том числе молодежь, воспитанную в духе католицизма. Мно-

гие из теоретических положений Грамши теперь уже стали достоянием всей итальянской культуры, а не только ее марксистского крыла. Его труды ныне известны даже в академических кругах, где их считают классическими. Имя Грамши благодаря его интеллектуальному и моральному авторитету окружено всеобщим уважением. Кем же был этот человек, оказавший за недолгие годы такое большое влияние на абстрактную, схоластическую и насквозь пропитанную идеализмом культуру Италии своего времени?

Он был выдающимся марксистским мыслителем, выдающимся политическим руководителем пролетариата. И, разумеется, его политическую деятельность невозможно отделить от деятельности в области культуры. Практика неотделима от теории, идеи — от жизни. Вот почему я прошу у советских читателей позволения рассказать о жизни Антонио Грамши — без этого невозможно правильно изложить его теоретические взгляды.

Антонио Грамши родился в Алесе 25 января 1891 года. Детство Грамши было нелегким, хотя назвать его несчастливым нельзя. Семья жила довольно бедно. Отец, служивший регистратором, должен был на свое скромное жалованье содержать жену и семерых детей. Каждый член семьи, чем мог, стремился помочь отцу. мать шила, брала сверхурочную работу; сыновья с раннего детства старались найти хоть какой-нибудь заработок. «Работать я начал, когда мне было одиннадцать лет,— вспоминает Грамши в одном из своих писем,— и зарабатывал девять лир в месяц. На эти деньги можно было купить килограмм хлеба в день; работать приходилось всю неделю по десять часов, да еще по утрам в воскресенье; я таскал тяжелые регистрационные книги, весившие больше меня, и нередко плакал по ночам — так ныло все тело. Жизнь всегда оборачивалась ко мне самой жестокой своей стороной, ну а я — хорошо или плохо — всегда находил какой-нибудь выход. Даже мать не знает всей моей жизни, не знает, в каких я побывал переделках».

К тому же маленький Антонио постоянно болел. Он был очень хилым и слабым ребенком и вдобавок страдал от врожденного физического недостатка. Но несмотря на это охотно играл с другими детьми и нередко забывал обо всем, мечтая о путешествиях и опасных приключениях: в своих письмах Грамши неизменно с грустью и нежностью вспоминает о годах детства. В нем рано проснулось желание учиться, он делал большие успехи в гимназии в Санту Луссурджу (где жил у одной крестьянки, которой платил пять лир в месяц), а потом в лицее «Карло Деттори» в Кальяри. Получив 30 сентября 1911 года аттестат об окончании этого лицея, он отправился в Турин, где поступил на филологический факультет университета. Так закончился юношеский период формирования Грамши, в котором важнейшую роль сыграло то. что он на собственном опыте узнал нищету Сардинии. Это заставило его серьезно задуматься над многими важными проблемами. Почему Сардиния так бедна и отстала, в то время как некоторые другие области Италии развиваются более успешно? «Чтобы представить себе Сардинию,— говорил своим друзьям молодой Грамши.— вообразите плодороднейшее поле, которое орошает маленький ручей, текущий с далекой горы. И вдруг плодородия как не бывало. Там, где раньше поднимались тучные всходы, осталась лишь выжженная солнцем трава. Вы станете доискиваться причины этого бедствия, но вам никогда не найти ее, если вы не выйдете за пределы поля, если розыски не приведут вас к той горе, откуда тек ручей, если вам не удастся обнаружить, что всего в нескольких километрах от поля какой-нибудь злобный эгоист преградил путь воде, несшей плодородие вашему полю».

В этих словах заключен зародыш той проблемы, которая будет поставлена и решена Грамши совершенно по-новому,— проблемы всего итальянского Юга.

■

В Турине Грамши живет бедно, ему приходится подрабатывать, так как стипендии не хватает, и тем не менее он жадно и напряженно учится. Он пишет сестре: «Года два я жил как бы вне мира, словно в каком-то сне. Жил только умом, а сердцу ничего не доставалось. Но я работал. Работал, чтобы жить, хотя, чтобы жить по-настоящему, я должен был бы отдыхать, развлекаться. За два года я, пожалуй, ни разу не засмеялся и ни разу не заплакал». Проявив незаурядные лингвистические способности, Грамши становится одним из любимых учеников профессора Бартоли. «Одним из самых тяжких «угрызений совести», терзавших меня,— писал он позднее,— было то, что я причинил глубокое огорчение моему доброму профессору Бартоли из Туринского университета; этот профессор был убежден в том, что я как раз и являюсь тем архангелом, которому судьбой предначертано посрамить раз и навсегда неограмматиков...»

В годы учения Грамши сближается в Турине с рабочим движением. Через несколько месяцев после приезда в Турин он вступает в местную секцию социалистической партии, и ему поручают организацию рабочего общества взаимопомощи. Кроме того, он сотрудничает в местной социалистической газете. Постепенно он находит ответы на вопросы, вставшие перед ним еще в Сардинии, но появляются новые проблемы, требующие решения. Именно Грамши предложил в 1914 году туринским социалистам выдвинуть кандидатом в парламент круп-

нейшего представителя «меридионалистского» движения* Гаэтано Сальвемини. Уже в эти годы Грамши начинает видеть в пролетарской революции единственный путь для разрешения противоречий итальянского общества. «Часто мы, молодые студенты и рабочие,— рассказывает он,— группками расходились с партийного собрания по затихшим уже улицам города, и запоздалые прохожие останавливались, удивленно глядя на нас, потому что мы, позабыв обо всем на свете, продолжали спорить горячо и страстно, то яростно нападая друг на друга, то заливаясь смехом и уносясь в царство недосягаемой мечты».

Одиннадцатого ноября 1914 года сдан последний университетский экзамен. С этой поры выбор между научной карьерой и революционной деятельностью был сделан окончательно. Так закончился второй период жизни Грамши, период, в который он завершил свое образование.

В годы первой мировой войны политическая деятельность Грамши становится все более напряженной; по сути дела он уже профессиональный революционер. Грамши редактирует туринский социалистический еженедельник «Гридо дель пополо», активно работает в секции социалистической партии, расширяет свои связи с рабочими туринских заводов. Когда распадается II Интернационал, он, читая нелегальные издания на разных языках, знакомится с позицией Ленина, большевиков. Грамши сумел осознать важность Циммервальдской и Кинтальской конференций, на которых Ленин отстаивал лозунг превращения войны империалистической в войну гражданскую. Он воспитывает туринских рабочих в духе непримиримости к реформизму и вскоре становится самым популярным руководителем социалистов Турина. С ним сближается молодежь, самые культурные и активные рабочие не только из числа социалистов, но и рабочие-анархисты, рабочие-католики. Комната, в которой он работает, помещения городских рабочих организаций, мансарда, где он живет, стали местами непрестанного паломничества. В августе 1917 года, после разгрома восстания туринских рабочих (на протяжении пяти дней вооруженной борьбы пало пятьсот участников восстания) Грамши был избран секретарем туринской секции социалистической партии. Так завершается период накопления практического революционного и организационного опыта, так Грамши приходит к зрелому анализу проблем итальянского общества и выбирает ту линию борьбы, которая все больше обостряет его разногласия с руководством социалистической партии. Так он подходит к периоду, начало которому положило издание еженедельника «Ордине нуово» («Новый строй»).

Выход в свет «Ордине нуово» (первый его номер появился 1 мая 1919 года) знаменует собой начало поры подлинной зрелости Грамши.

«Ордине нуово» стал центром туринского рабочего движения, руководил им и поддерживал его в дни большой апрельской забастовки 1920 года, в дни захвата заводов (сентябрь 1920 года) и во время неудавшейся забастовки в апреле 1921 года. В эти же годы все более обостряются разногласия Грамши и его товарищей с руководством социалистической партии, максималистским на словах, реформистским на деле, и вырабатывается программа, согласно которой и проходило обновление социалистической партии,— это была уже ленинская программа, и сам Ленин указывал на ее соответствие принципам III Интернационала.

«По отношению к Итальянской социалистической партии II конгресс III Интернационала находит в основе своей правильной ту критику этой партии и те практические предложения, которые изложены как предложения Национальному совету Итальянской социалистической партии от имени Туринской секции этой партии в журнале «Новый порядок» («L'Ordine Nuovo») от 8 мая 1920 года и которые вполне соответствуют всем основным принципам III Интернационала.

Поэтому II Конгресс III Интернационала просит Итальянскую социалистическую партию созвать экстренный съезд партии для обсуждения как этих предложений, так и всех решений обоих съездов Коммунистического Интернационала для исправления линии партии и для очищения ее, и особенно ее парламентской фракции, от некоммунистических элементов».*

Одним из следствий той критики, которой Грамши подверг социалистическую партию, следствием неудачных попыток обновить ее изнутри, должно было явиться рождение новой, ленинской партии. Эта партия, как известно, и была создана в Ливорно в январе 1921 года.

Но подобно тому, как «Ордине нуово» первоначально сложился на основе компромисса, который до известной степени сковывал его деятельность, так и новая партия родилась на основе объединения с сектантским и максималистским крылом Бордиги**, и это не позволило ей

* Меридионализм — течение в итальянском рабочем движении, представители которого выдвигали идею автономии южных областей.

* В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 31, стр. 175.

** Крайняя левая фракция, которая с 1921 (после раскола в социалистической партии на Ливорнском съезде) по 1923 г. была во главе итальянской компартии и выступала против тактики единого антифашистского фронта.

сразу же приступить к полному осуществлению своих функций. Борьба против Бордиги и его линии завершилась лишь на третьем съезде партии (Лионский съезд в январе 1926 года).

Тем временем на втором съезде коммунистической партии, созванном в марте 1922 года, было решено направить Грамши в Москву в качестве представителя партии в Коминтерне. Так завершился один из самых напряженных и творческих периодов деятельности Грамши, период участия в работе фабрично-заводских советов и создания революционной партии рабочего класса, так начался следующий, не менее важный период его международной деятельности. Грамши остается в Москве до весны 1923 года. Он участвует в работе IV Конгресса Коминтерна, осудившего сектантство и слепой фанатизм Бордиги, глубоко изучает опыт первого социалистического государства и большевистской партии, знакомится с крупнейшими вождями революции. В это время он женится на Юлии Шухт. У них родилось двое сыновей — Делио и Джулиано. Весной 1923 года Грамши переезжает в Вену, откуда удобнее было следить за обстановкой в Италии.

С 12 февраля 1924 года в Вене начала выходить новая партийная газета, которая, по предложению Грамши, была названа «Унита» — «Единство». Само это название уже говорит о программе газеты. В письме из Вены Грамши разъясняет: «...Рабочий класс, партия рабочего класса не смогут выполнить стоящие перед ними исторические задачи, не смогут нанести смертельный удар фашизму, не смогут приступить к строительству «нового строя», к созданию рабочего государства, если не сумеют создать и сохранить самое важное — единство. Единство всего рабочего класса, сплотившегося вокруг партии, единство рабочих и крестьян, единство Севера и Юга, единство всего итальянского народа в борьбе против фашизма». В апреле 1924 года Грамши избирают депутатом парламента. Он возвращается в Италию и вновь принимает участие в партийной работе, в борьбе. В мае того же года на нелегальной партийной конференции в Комо он наносит первый удар по бордигианству, обосновывает необходимость осознать классовую природу фашизма, выдвигает политическую программу объединения всех прогрессивных сил против фашизма. Он активно участвует в Авентинском блоке*, то есть присоединяется к группе депутатов, которые после преступного убийства Маттеотти отказались вернуться в парламент. Грамши поддерживает идею необходимости всеобщей политической забастовки и превращения Авентинской группы в единственный легальный парламент, в «антипарламент», он стремится к пополнению рядов партии за счет интернационалистской фракции итальянских социалистов, он расширяет связи с другими политическими группами и в то же время подготавливает переход партии на нелегальное положение. Тем временем Грамши продолжает активно работать в газете «Унита», возвращается в парламент; но главные его усилия направлены на создание партийных организаций на предприятиях.

В ноябре 1926 года Муссолини вводит «чрезвычайные законы». В этот период подготавливается третий съезд партии, который нелегально собирается в Лионе в январе 1926 года. Тезисы, разработанные и одобренные этим съездом, известные Лионские тезисы, ознаменовали окончательный разгром бордигианства и явились платформой для всей дальнейшей политики итальянской компартии.

Вечером 8 ноября 1926 года фашистская полиция арестовывает Грамши. Его без конца перебрасывают из одной тюрьмы в другую — в ожидании суда он отбывает предварительное заключение. Суд длился с 28 мая по 4 июня 1928 года. Грамши был приговорен к 20 годам 4 месяцам и 5 дням заключения. Это последний, предсмертный период жизни Грамши. Осужденный на медленную смерть в тяжелых условиях тюрьмы, этот человек, чье здоровье уже было подорвано, больной, оторванный от политической жизни и от всего мира, располагавший лишь немногими книгами и журналами, посвящает долгие годы размышлениям и работе над «Тюремными тетрадями» — этим замечательным творением мыслителя-марксиста. Грамши работал над своей книгой в тюрьме в Тури, затем в тюрьме в Чивита-Веккья и под конец в больнице в Формии, куда его перевели незадолго до смерти. Скончался он 27 апреля 1937 года в римской больнице «Квисисана», через неделю после того, как сокращенный амнистиями, истек срок его заключения.

■

Вся политическая деятельность Грамши свидетельствует, что он постоянно стремился (и в этом секрет его славы и неумирающего авторитета) «перевести», если так можно выразиться, на итальянский язык опыт и теоретические положения марксизма-ленинизма. Мы, конечно, имеем в виду не собственно перевод текстов с немецкого или русского на итальянский, а строгое применение марксистского метода при истолковании истории и современной обстановки в Италии. В любом своем сочинении, даже в самых кратких и фрагментарных замет ках Грамши неу

* Авентинский блок — блок либерально демократической партии и социалистов в итальянском парламенте, образовавшийся в 1924 г., когда по приказу Муссолини был убит секретарь социалистической партии Джакомо Маттеотти, разоблачавший махинации фашистов.

клонно и последовательно руководствуется этим методом. Он не был мыслителем-догматиком (если только вообще возможны такие мыслители), его верность принципам марксизма заключалась именно в страстном стремлении уберечь эти принципы от посторонних наслоений, применить их существо непосредственно к анализу экономической, политической, социальной и культурной обстановки своего времени. Некоторые его исследования, в которых рассматривается вопрос о гегемонии пролетариата, о роли интеллигенции, о взаимоотношении между надстройкой и базисом, представляют собой ценнейший творческий вклад в сокровищницу марксизма. Его работы, посвященные классовой и партийной борьбе в годы Рисорджименто, его труды по «южному вопросу», его статьи о Ватикане легли в основу углубленного изучения всей последующей итальянской истории и помогли осуществлять правильное политическое руководство борьбой рабочего класса в нашей стране. Разумеется, мы не сможем рассмотреть все стороны теоретических исследований Грамши. Однако для того, чтобы проникнуть в суть его взглядов на литературу, необходимо оценить то, что сделано им для изучения особых, специфических условий, в которых может осуществиться революция в Италии, для изучения «итальянского» пути к социализму.

Еще до заключения в тюрьму Грамши обращается к этой проблеме в своих зрелых работах — «Тезисах Лионского съезда» и незаконченной статье «О некоторых аспектах южного вопроса». Грамши стремится органически связать политику коммунистов с особенностями исторического развития и классовой борьбы в Италии. Общее положение, согласно которому пролетариат, чтобы стать руководящим классом, должен осознать себя руководителем крестьянства и интеллигенции, приобретает у Грамши более конкретное значение благодаря анализу новейшей истории Италии. Его увлекала проблема политического руководства, то есть проблема изыскания способов, при помощи которых один класс может оказывать влияние на различные социальные группы. Разрабатывая ее, Грамши обогащает марксистско-ленинское учение о диктатуре пролетариата.

Особое значение имеет его исследование хода событий и той политической борьбы, в результате которой итальянская буржуазия в период Рисорджименто стала во главе государства. Анализ подчиненной роли мелкобуржуазных групп, которые в годы Рисорджименто большей частью примкнули к «Партии действия» Мадзини, позволил Грамши обнажить ловкий политический маневр итальянской буржуазии, сумевшей использовать в своих целях патриотический подъем некоторых слоев народных масс и интеллигенции. Еще Карл Маркс вскрыл в свое время основную слабость «демократических» представителей Рисорджименто, которая заключалась в их неспособности объединиться с крестьянством. Исследования Грамши подтверждают и развивают это положение — внимательное изучение дальнейших событий вплоть до начала первой мировой войны и после нее позволяет Грамши сделать важные выводы. Таким образом, он не только подробно освещает всю новейшую историю Италии с ее противоречиями, типичными для государства, активно отвергающего поддержку народных масс, либо, в лучшем случае, стремящегося оторвать от них небольшие «привилегированные» группы, но и утверждает великую и исторически необходимую роль рабочего класса, который только и может привести страну к подлинному единству. А это прежде всего означает единственное исторически правильное решение «южного вопроса» — союз рабочего класса Севера с крестьянами Юга, в результате чего должен быть ликвидирован южный блок, скрепленный интеллигенцией, выступавшей посредницей между крупными земельными собственниками и крестьянами. Наряду с этим Грамши ставит другую важную проблему итальянской действительности — проблему Ватикана, мимо которой ни в коем случае не могут проходить итальянский рабочий класс и его партия, вырабатывая свою политику.

Говоря о создании коммунистической партии, о формировании ее политической платформы как об исторической необходимости национального развития, Грамши подчеркивает важнейшую роль партии, ее жизнеспособность в условиях фашистских преследований и репрессий. Отсюда и научное предвидение того, что коммунистическая партия спасет и возродит Италию, когда фашизм приведет ее на край гибели.

Особо изучает Грамши роль и характер итальянской интеллигенции. Эту проблему он также рассматривает в связи с крестьянским вопросом и в связи с проблемой Ватикана; связь ее с крестьянским вопросом обусловлена крестьянским происхождением многих интеллигентов, а также тем, что, как уже говорилось выше, интеллигенция Юга выступила посредницей между крупными земельными собственниками и крестьянством; связь интеллигенции с Ватиканом объясняется многовековым космополитическим влиянием католической церкви на формирование интеллигенции и тем, что само духовенство — одна из наиболее многочисленных, организованных и влиятельных частей итальянской интеллигенции. Таковы некоторые из

причин, обусловивших традиционный разрыв между интеллигенцией и народными массами; вместе с тем эти же причины способствовали сохранению сектантства и недоверия к интеллигенции со стороны отдельных элементов рабочего движения. Следовательно, важнейшая задача завоевания интеллигенции в Италии была еще сложнее, чем в других странах, поскольку решение ее связано с проблемами крестьянства и Ватикана. И прав был Грамши, посвятивший проблеме интеллигенции значительную часть своих «Тетрадей» — этот замечательный революционер знал: чем сложнее стоящая перед ним задача, тем глубже и всестороннее следует ее изучить.

■

Во всех своих произведениях Грамши предстает перед нами как глубокий истолкователь и последователь учения Маркса. Он со всей ясностью осознавал, что идейная борьба требует оружия, соответствующего задачам этой борьбы, требует глубокого, а не поверхностного владения методом исторического материализма. Он никогда не скрывал своего презрения к тем, кто, оказавшись в силу обстоятельств в определенный момент у руководства пролетарскими организациями, не счел своим долгом по-настоящему серьезно изучать марксизм. Не случайно даже некоторые из «теоретиков», которые в свое время считались крупнейшими знатоками марксизма, не избегли суровой критики Грамши. «На идеологическом фронте,— пишет он,— поражение, нанесенное вспомогательным силам и мелким отрядам противника, не имеет существенного значения. На этом фронте следует бороться против наиболее выдающихся представителей вражеского лагеря... В противном случае газета подменит собой книгу, мелочная повседневная полемика — научную работу... Наука доказывает свою действенность и глубокую жизненность, когда выступает против наиболее значительных представителей враждебных ей тенденций». Грамши стремился очистить марксистскую концепцию от искажений и от упростительства лжепопуляризаторов, стремился противопоставить марксизм во всей его мощи и неисчерпаемости его познавательных возможностей буржуазной идеологии (в лице таких крупных ее представителей, каким был в Италии того времени Бенедетто Кроче). Столь же строго подходит Грамши и к явлениям литературы. Глубоко ошибся бы тот, кто, читая ту часть его «Тюремных тетрадей», которая посвящена литературе («Литература и национальная жизнь»), и обнаружив огромное разнообразие тем (от лингвистики до литературной критики, от романов — приложений к газетам — до современного театра, от Данте до Шекспира, от Мандзони до Бальзака), а также живость суждений и остроту полемического тона, решил бы, что эти заметки продиктованы не подлинным интересом к проблемам культуры и литературы, а лишь стремлением заключенного, обладающего острым и изощренным умом, как-то заполнить свое время.

Эти, хоть и фрагментарные, но никогда не грешащие небрежностью заметки отмечены глубиной, взыскательностью и принципиальностью суждений. Здесь никогда не найдешь ни намека на эстетскую снисходительность. Автор нигде не поддается первому впечатлению или чувству, порыву нетерпения, досады или раздражения. Обличительный пафос Грамши никогда не вызывается простым полемическим задором; Грамши всегда и везде руководствуется спокойным сознанием исторической необходимости идейной борьбы на культурном фронте.

Грамши прекрасно понимал, каким значительным мог бы стать вклад прогрессивной культуры в дело борьбы рабочего класса за обновление экономического и общественного строя Италии. Он понимал, каким замечательным средством объединения итальянского народа могла бы стать литература, способная выступить от имени обездоленных масс Юга, литература, которая сказала бы свое слово о бесчеловечной эксплуатации рабочих на заводах, о невыносимых условиях жизни сезонных рабочих, чей заработок не превышает двадцати пяти тысяч лир в месяц, о бесконечных страданиях женщин, о растущей изо дня в день воле народа к восстанию против прогнившего правящего класса, о подлости старых и новых богачей, об их жадном стремлении наслаждаться каждым мгновением жизни, о неизбежных трагедиях и страданиях, которые принесла бы новая война. Грамши ясно, спокойно и вместе с тем неумолимо доказывает неспособность итальянского правящего класса и выражающих его интересы групп интеллигенции понять и удовлетворить национальные требования. Он говорит о подобострастии перед чужестранцами и опустошенности итальянской «Аркадии» *, об ограниченности просветительского и романтического движения, о неспособности многих писателей освободиться от идиллических традиций классицизма, о провинциализме итальянской литературы, об аристократическом пренебрежении к наиболее серьезным требованиям народных масс даже у лучших писателей (например, у Верги **). «К каким формам дея-

* Литературное объединение, получившее в Италии в конце XVII века название «Академия Аркадия». Поэты «Аркадии» боролись против манерной аристократической литературы, но сами зачастую преследовали чисто развлекательные цели

** Джованни Верга (1840—1922) — крупнейший итальянский писатель, представитель веризма—натуралистического течения в итальянской литературе.

тельности испытывают интерес итальянские литераторы? Почему их интересует экономическая деятельность, работа лишь как форма деятельности отдельных людей и коллективов? Когда в произведениях заходит речь об экономических вопросах, художников интересует прежде всего момент управления, господства, команды, идущей от героев и направленной в адрес производителей. Либо же их интересует производство вообще, труд вообще — как некий общий элемент жизни и национальной мощи. Большое место отведено в литературе жизни крестьянства, но и она не изображается как жизнь в труде. В крестьянах писателей интересует фольклорная сторона, они видят в них красочных выразителей любопытных и странных обычаев и чувств... Труд чиновника становится неисчерпаемым источником комизма... Нельзя, конечно, навязать одному или нескольким поколениям писателей интерес к той или иной стороне жизни. Но само по себе то обстоятельство, что одно или несколько поколений писателей обладает теми или иными интеллектуальными и моральными интересами и в то же время лишено других интересов, также имеет свое значение и свидетельствует о преобладании среди интеллигенции определенного культурного направления. Даже итальянский веризм отличается от реалистических течений других стран, поскольку он либо ограничивается описанием звериных сторон так называемой человеческой природы, либо уделяет внимание изображению провинциальной жизни областей — веризм не дал сколько-нибудь ценных произведений, посвященных изображению труда».

В работах Грамши появляется требование обновления культуры и искусства, тесно связанное с требованием национального единства и социально-экономического обновления. Так рождается требование национальной и народной культуры и литературы.

«Новая литература не может не иметь исторической, политической, народной предпосылки: эта литература должна стремиться к разработке того, что уже существует,— полемически или иным способом — не важно; важно то, чтобы она уходила своими корнями в богатую почву народной культуры, такой, какова она есть, с ее вкусами, тенденциями и так далее, с ее моралью и интеллектуальным миром — пусть даже отсталыми и условными».

Такая литература, смыкающаяся с национально-народным движением, освободила бы итальянскую культуру от ее традиционных пороков: академизма, провинциализма, духа групповщины, кастовости или сектантства, отрыва интеллигенции от народа и вытекающей из этого неспособности ее донести свои произведения до широких масс. Говоря о такой литературе, мы тотчас вспоминаем о Данте и Макиавелли, о Шекспире и Толстом, о Гомере и великих греческих трагиках.

С этих позиций Грамши живыми красками рисует картину современной ему итальянской литературы. Он обрушивается на все, что в ней есть фальшивого и порочного, гневно выступает против тех писателей, которые считают возможным служить «чистой поэзии», попирая свое человеческое достоинство, готовы капитулировать перед силами лжи, коррупции, тирании. Словно проходя по портретной галерее, мы видим здесь Ойетти, писателя «характерного во многих отношениях», в котором, однако, «интеллектуальная трусость превосходит все нормальные пределы», Сальваторе Готта, «к которому вполне применимы слова, сказанные Кардуччи о Раписарди: «В алтаре молится, а в ризнице испускает зловоние», Соффичи, чьи книги «производят отталкивающее впечатление из-за новой формы риторики, которая еще хуже традиционной», Пандзини, чья проза представляет собой «чисто детскую игру слов, полную нелепой иронии, цель которой — заставить нас поверить в несуществующую глубину», Папини, этого лишенного моральной честности «старого осла, который старается изображать из себя оленка, несмотря на бремя лет и недуги, а потому бьет копытами и подпрыгивает...», Баккелли, в прозе которого «сильно ощущается не только социально-политический, но и литературный брешианизм», писателей группы «Ронда», которая стала «воплощением художественного иезуитства». Джулио Бертони *, который «не понял ни Бартоли, ни эстетики Кроче».

С другой стороны, Грамши последовательно поддерживает все прогрессивное, что было в современной ему литературе, несмотря на ее неспособность выйти за пределы индивидуализма и принять участие в национальном народном движении. Так, Грамши выделяет положительную тенденцию в итальянской литературе начала XX века, которая, по его мнению, идет от веризма и провинциальной литературы (вскрывая тем самым противоречие между итальянской про-

* Уго Ойетти, Сальваторе Готта, Арденго Соффичи, Альфредо Пандзини, Джованни Папини, Рикардо Баккелли, Джулио Бертони — итальянские писатели, представители различных литературных направлений от футуризма до крайнего реакционного идеализма. Джозуэ Кардуччи (1835—1907) — известный итальянский поэт, обличитель католицизма. Марио Раписарди (1844—1915) — сицилийский поэт, с которым Кардуччи полемизировал Группа «Ронда» — группа буржуазных писателей, объединявшихся вокруг журнала «Ронда» (1919—1922).

винцией и официальной Италией); Грамши считал, что эта тенденция в литературе благодаря влиянию различных направлений европейской прозы, а также благодаря общечеловеческому и культурному опыту группы «Воче» * может дать плодотворные и перспективные результаты в творчестве Пиранделло и Звево, Жайе и Златапера **.

Грамши не становится на позицию абсолютного отрицания итальянской литературы начала XX века, как некоторые из современных критиков. Он ясно видит черты ее ограниченности, из-за которой она не выходит за пределы «малой поэзии»: одиночество поэта, оторванность его от жизни и ее ритма, бесплодные попытки найти внутри себя смысл бытия и искусства, тщетные поиски новых связей с действительностью. Но при этом Грамши умеет отличить хамелеонов и бездарностей от серьезных писателей, умеет ценить искренность страданий этих последних и указывает им путь, который может вновь привести их к «большой поэзии». Не пытайтесь обмануть себя, говорит он, не думайте, что вам удается уйти от истории, которая движется вперед, от общества, с которым вы связаны; не думайте, будто и в самом деле возможна чистая поэзия, выражающая лишь ваше вдохновение. На самом деле вы неизбежно творите для кого-то, и вам остается лишь выбрать, для кого творить — для узкого круга посвященных или для широких масс, ждущих, чтобы поэт выразил их требования.

■

Разумеется, сдержанность стиля Грамши, его критическая ясность отнюдь не исключают ни полемической увлеченности, ни исторических параллелей, порою слишком смелых и схематичных. Так, по-видимому, не вполне справедливы его критические суждения об Унгаретти ***; пристрастны (хотя во многом и правильны) его суждения о Пиранделло и Мандзони ****. Грамши верно оценил культурное значение Пиранделло и диалектическую противоречивость его творчества, но, быть может, не увидел за некоторым схематизмом и новой литературной техникой искреннего страдания и горячей надежды на освобождение, которые придают жизненность его творениям. В творчестве Мандзони Грамши увидел аристократическую ограниченность, которая помешала писателю сблизиться с униженными и угнетенными, но не заметил ни критики, направленной против власть имущих, ни убежденности писателя в том, что творец истории — народ, а не политические деятели и полководцы, не придал значения его связи с прогрессивным движением в эпоху буржуазной революции и, наконец, оставил без внимания реалистическую поэтику Мандзони, который, в сущности, порвал с итальянской книжной традицией и стремился приблизить язык литературы к языку народа.

■

Творчество Грамши — пример новой марксистской литературной критики, критики воинствующей и сознательно стремящейся стать неотъемлемой частью той силы, которая выступает за обновление нашей страны; критики, борющейся за утверждение новой культуры и за широкий взгляд на жизнь. В связи с этим естественно вспомнить о де Санктисе *, но не потому, что сегодня возможен и нужен возврат к его критической школе, а потому, что, несмотря на переоценку интеллектуальных и моральных ценностей, происшедшую с того времени, когда жил неаполитанский критик, его труды поучительны во многих отношениях. «Критика де Санктиса» — является воинствующей, а не «бесстрастно» эстетической, это критика периода культурных битв и столкновений антагонистических мировоззрений. Анализ содержания, критика «структуры» произведений, то есть логической и исторически подлинной последовательности всего многообразия чувств, получивших художественное воплощение, связаны с этой культурной борьбой: кажется, именно в этом и состоит та глубокая человечность и тот гуманизм де Санктиса, которые и сегодня делают этого критика столь привлекательным. Отрадно чувствовать в нем страстный пыл партийного человека, имеющего твердые моральные и политические убеждения, которых он не скрывает и не стремится скрывать... Словом, образец литературной критики, характерной для «философии практики», дан де Санктисом, а не Кроче... Эта критика должна слить воедино — со всем пылом пристрастия, пусть даже в форме сарказма — борьбу за новую культуру, то есть за новый гуманизм, критику нравов, мнений и мировоззрений с эстетической или чисто художественной критикой».

■

Однако эта критика, подчеркивая необходимость связи между поэзией и борьбой за прогресс и обновление общества, не должна скатываться на наивные

* «Воче» — журнал, в котором печатались произведения многих видных итальянских и зарубежных писателей.

** Итало Звево Пьеро Жайе и Шипио Златапер — писатели, активные сотрудники этого журнала

*** Джузеппе Унгаретти — итальянский поэт, автор цикла поэм «Жизнь человека».

**** Алессандро Мандзони (1785—1873)— итальянский писатель, глава итальянского романтизма.

* Франческо де Санктис (1817—1883) — итальянский критик и философ, ставивший в своих работах проблемы народности и реализма, связывая их с принципами буржуазно-демократической культуры.

упрощенческие позиции, с которых некоторые люди стараются обнаружить механическую связь между общественно-экономическим базисом и поэтической надстройкой. Нет, критика должна прийти к правильному пониманию истории, усвоить накопленный за последние годы опыт борьбы против идеалистической эстетики, требовать от поэзии неразрывной связи с современной ей исторической действительностью, чтобы она не витала в «межисторических сферах», вне времени и пространства. Эта критика должна внимательно следить за глубокими связями, существующими между общественно-экономическим развитием и утверждением у власти определенного правящего класса, а также появлением групп интеллигенции, выражающих интересы этого класса и вырабатывающих новую идеологию, нравы, вкусы, культуру, стиль; но вместе с тем эта критика должна не менее внимательно следить за формированием поэта в этой среде, следить за тем, что он в ней принимает и что отвергает, за его симпатиями, его идеями, его опытом, за его эстетическими воззрениями в целом и, наконец, за его поэзией и за той ролью, которую она играет в данном обществе и в среде данного правящего класса. Следовательно, связи между явлениями общественно-экономическими и явлениями художественными, очень косвенные и отнюдь не механические, должны рассматриваться как опосредствованные и диалектические соотношения, помогающие критику преодолеть всяческий схематизм и подойти к художественному произведению с подлинно историческим чутьем и полнейшей широтой понимания.

■

Таким образом, критика не должна судить о художниках на основе абстрагированного от формы содержания: «Оценка произведений искусства с точки зрения их художественности наглядно показывает, в особенности в философии практики, самодовольное простодушие тех попугаев, которые, располагая несколькими избитыми шаблонами, считают себя обладателями ключей, открывающих любые двери (эти ключи называются, собственно говоря, отмычками).

Два писателя могут выражать один и тот же историко-социальный момент, но один из них может быть художником, а другой просто-напросто мазилкой. Ограничиться описанием того, что показывают или выражают в социальном отношении оба писателя, то есть подытожить более или менее удачно характерные черты определенного историко-социального момента и тем самым исчерпать вопрос, означало бы оставить проблему искусства совершенно незатронутой. Все это может быть полезным и необходимым, более того — действительно является таковым, но только в другой области — в области политической критики, критики нравов, в борьбе за разрушение и преодоление известного рода мнений и верований, известных позиций по отношению к жизни и к миру, но это не критика и не история искусства, и может считаться таковой только вследствие полного смешения понятий, отхода назад или застоя научной мысли, что как раз и сделало бы невозможным достижение тех целей, которые преследуются борьбой за культуру». Такая критика должна вести борьбу за новую культуру, не претендуя на создание новых художников и не навязывая художникам своих указаний о том, какими должны быть произведения искусства. «Ясно, что в интересах точности следовало бы говорить о борьбе за «ноьую культуру», а не за «новое искусство» (в прямом значении). Может быть, в интересах точности нельзя также говорить и о том, что борьба идет за новое содержание искусства, поскольку последнее нельзя мыслить абстрактно, отдельно от формы. Бороться за новое искусство — это значило бы бороться за создание отдельных художников нового типа, а это абсурдно, поскольку художников нельзя создавать искусственно. Следует говорить о борьбе за новую культуру, то есть за новую нравственную жизнь, которая не может не быть внутренне связана с новым восприятием жизни,— о борьбе до тех пор, пока она не станет новым способом чувственного восприятия и видения реального мира, а следовательно, культурой, внутренне присущей новым «возможным художникам» и «возможным произведениям искусства».

Проблемы, которые решает Грамши, и сегодня стоят в Италии перед теми, кто хочет бороться за глубокое преобразование нашей культуры и нашего искусства: проблема автономности художественного явления, которая возникает сразу же, как только заходит речь о неразрывной связи этого явления с историей и обществом; проблема связи искусства и жизни, художника и народа; проблема преодоления формалистической, риторической, аристократической традиций в нашей литературе. Вот почему лучшие представители итальянской интеллигенции — в том числе и не принадлежащие к коммунистической партии — считают Грамши своим учителем и ставят его произведения в один ряд с великими произведениями национальной культуры.

г. Рим

ИОГАННЕС Р. БЕХЕР

Стойкость

Предисловие и перевод О. ЕГОРОВА

В конце 1940 года, когда в Европе уже второй год шла война и оставалось всего несколько месяцев до нападения Гитлера на Советский Союз, в газете «Нью-Йорк таймс бук ревью» (№ 30, 1940) было напечатано интервью, данное Стефаном Цвейгом. Он высказал в этом интервью настроения, характерные для последних лет его жизни. При всей гуманистической вере в доброе начало человека и любви к людям, пронизывающей творчество Стефана Цвейга, им, свидетелем первых громких побед гитлеризма, владели тогда тяжелые, мрачные мысли. В частности, он говорил:

«...Привычной направленности художника нанесен чувствительный удар. У кого могут сегодня вызвать интерес старые темы? Мужчина знакомится с женщиной, они влюбляются друг в друга, завязывается роман — раньше это была тема для творчества. Еще недавно из этого мог возникнуть рассказ. Но разве можно сегодня испытывать интерес к таким пустякам?

Последние месяцы были роковыми для европейской литературы. Закон творчества требует неизменной направленности, но никогда художникам Европы не было так трудно сохранять ее неизменной, как сегодня. Как можно сохранить ее среди морального землетрясения? Большинство европейских писателей так или иначе связали свое творчество с войной, другие были вынуждены покинуть свою страну, жить в изгнании, скитаться с места на место, и даже те немногие счастливцы, которые еще в состоянии работать по-прежнему, сидя за своим письменным столом, не могут избежать тревог времени.

Уединенность невозможна, когда мир объят пламенем. «Башня из слоновой кости» не может больше служить защитой от бомб. Каждый час ждешь новостей, нельзя не читать газет, не слушать радио, но стоит к этому приобщиться, и ты уже подавлен тревожными известиями о судьбах родных и друзей. Один бросает дом и бежит из оккупированной области, другие интернированы и томятся в неволе, третьи мечутся с места на место, из одного консульства в другое, чтобы найти страну, которая предоставила бы им убежище. А нас, обретших тихую пристань, каждый день, со всех сторон, в письмах и телеграммах просят о помощи и требуют вмешательства; и каждый из нас больше живет чужой жизнью, жизнью сотен других, чем своей собственной».

«...Я, например, был близок к завершению своей любимой книги. Я отдал этой книге двадцать лет жизни. Это большая и первая по-настоящему всеобъемлющая биография великого гения Бальзака. Лишь скрепя сердце отложил я эту почти законченную работу, поскольку библиотека в Шантийи, где хранятся все рукописи Баль-

зака, закрыта из-за войны. Ее фонды куда-то вывезены и недоступны для меня. А из-за цензуры я не могу возить с собой сотни, тысячи предварительных заметок. То же самое происходит с другими художниками: их произведения годами не могут увидеть свет из-за технических затруднений. К этому следует добавить внутренние, психологические затруднения. Можно ли думать о художественном совершенстве в час, когда поставлена на карту судьба нашего материального и духовного мира? Сам я, к примеру, как только закончил свой последний роман «Нетерпение сердца», задумал новый роман. Но тут началась война, и я счел недопустимым легкомыслием изображать личную жизнь вымышленных людей: у меня попросту не хватило духу углубляться в психологические переживания отдельных лиц, ибо любой сюжет находится сегодня, как подсказывает мое восприятие, в прямом противоречии с историей. Меня возмутил бы каждый европейский писатель, который в наши дни ограничился бы личными творческими заботами. То, что было дозволено математику Архимеду, продолжавшему свои вычисления даже во время осады родного города,— бесчеловечно для писателя, ибо художник имеет дело не с абстракциями, его призвание — разделять в сердце своем судьбы и страдания своих ближних. На каждом пароходе, в каждом бюро путешествий, в каждом консульстве от людей неприметных и неизвестных можно услышать потрясающие рассказы о странствиях, не менее страшных и увлекательных, чем странствия Одиссея. Если опубликовать без всяких изменений эти истории, если напечатать документы о беженцах, собранные в различных бюро помощи, в обществах дружбы или в английском министерстве иностранных дел, получится многотомная история, более захватывающая и невероятная, чем книги Джека Лондона или Мопассана.

Даже первая мировая война не принесла так много горя, как последний год: никогда люди не испытывали такого напряжения и не знали таких тягот, как сейчас; то что люди переживают сейчас, слишком страшно для непосредственного художественного воплощения. Поэтому, как мне кажется, литература ближайших лет будет носить преимущественно документальный характер, а выдуманный, воображаемый мир отступит перед действительностью.

Мы участвуем в сражении за свободу, самом решительном из всех, какие знала история; мы будем свидетелями одного из величайших социальных переворотов; и мы, писатели, обязаны прежде всего написать отчет о событиях нашего времени. А если мы сумеем правдиво воспроизвести свою жизнь и свои переживания — я лично собираюсь это сделать в автобиографии,— то пользы от этого будет куда больше, чем от романа с искусно закрученной фабулой.

Ни один гений не может сегодня придумать сюжет более драматический, чем наше время, и даже самый лучший художник должен снова поступить в ученье к великой наставнице — Истории».

Изложение этого интервью было опубликовано в журнале «Internationale Literatur» (1941, № 1) вместе со статьей Иоганнеса Бехера «Стойкость», представляющей собой ответ Стефану Цвейгу. Эта статья до сих пор не публиковалась по-русски и оставалась неизвестной советскому читателю. Между тем она представляет не только историко-литературный интерес. Как легко убедиться, эта полемика между двумя крупнейшими европейскими писателями двадцатого века не потеряла своей актуальности и сегодня.

В современной литературе разные реалистические направления выступают как союзники по ожесточенному сражению против упадочнического искусства модернизма. Многое объединяет социалистический и критический реализм. Но каждому из них присущи специфические особенности, и можно назвать немало случаев прямого творческого спора между ними. Так, тема «Волшебной горы» Т. Манна, романа глубоко философского и острополитического, но именно потому выявляющего и слабые стороны в общественной концепции одного из основоположников современного немецкого критического реализма, находит в «Санатории «Арктур» Федина иное решение, и это решение проникнуто светлым, действенным гуманизмом, уверенностью в окончательной победе человеческого счастья. М. Шолохов в «Судьбе человека», рассказе несомненно полемическом по отношению к повести Э. Хемингуэя «Старик и море», провозглашает созвучное американскому писателю гордое восхищение человеком труда и радость за этого человека, когда он стремится к свободе, но у Шолохова иное, по сравнению с Хемингуэем, представление о типе человека, которого

можно назвать самым ценным для всего человеческого рода.

Интервью Стефана Цвейга и ответ на него Иоганнеса Р. Бехера относятся к тому же ряду явлений. Суть расхождений между ними нужно искать в различном понимании гуманизма как представления о мире и месте человека в нем. Тезис о единстве судьбы личности с судьбой человечества, последовательно утверждаемый Бехером, полемичен по отношению к свойственной Стефану Цвейгу известной абсолютизации противоречий между человеком и обществом. Оптимизм и уверенность социалистического художника в окончательном торжестве прогресса и разума, его требование активного участия в борьбе против реакции, провозглашенная им ответственность человека за то, куда движется история, идут намного дальше антифашистских убеждений Цвейга, на которые события времени наложили отпечаток подавленности, отчаяния и ужаса. В эти годы, после мюнхенского предательства, многие художники Запада видят в Советском Союзе «единственную надежду» (Г. Манн). Л. Фейхтвангер отметил в те годы, что «все бóльшие слои интеллигенции Запада бросают на свалку старые идеалистические теории, заменяя их острым, ясным, реалистическим гуманизмом Ленина» *.

В обстановке страха и отчаяния Бехер указывал художникам-демократам на величие и спасительную силу социалистического гуманизма, помогал им уберечь себя от пагубного воздействия чувства безысходности и обреченности.

Бехер иначе, чем Цвейг, понимал будущее литературы. Писатель не должен превратиться в регистратора событий, какими бы впечатляющими ни были эти события. Отказ от художественности, от стремления к мастерству, от права на романтическую устремленность не встретил с его стороны ничего, кроме осуждения. Удивительно современно звучат слова Бехера, призывающие писателей при всех поворотах и зигзагах мировой истории верить в могущественную силу художественного слова, способную ускорять биение человеческих сердец и вдохновлять на героические поступки.

Литературу, отвечающую самым высоким представлениям, Бехер искал в Советском Союзе. Он, величайший немецкий поэт двадцатого века, собиратель сил передовой немецкой культуры, писатель-коммунист, не только восхищался ею. Он говорил о будущем советской литературы, ибо глубоко верил в творческие силы народа, разбуженные Октябрем.

Статья И. Бехера «Стойкость» публикуется (с незначительными сокращениями) по машинописному тексту, сохранившемуся в Архиве Института мировой литературы им. А. М. Горького.

* О Ленине. т. 1, М., 1939, стр. 82.

Кровавые события, развернувшиеся сегодня в части Европы и грозящие выйти далеко за пределы этой территории, оказывают сильнейшее воздействие на развитие литературы всех стран. Предсказать, однако, какие в точности изменения вызовет вторая мировая война в различных литературах и как определится общее положение мировой литературы в ходе этого исторического процесса и после его завершения, едва ли легко. Все же, пусть в неясных очертаниях, можно предугадать, что во всех областях жизни наступят существенные изменения и уже сегодня можно кое-что сказать о задачах тех, кто призван возродить литературу, как и о самом способе нашего участия в наступающих исторических преобразованиях.

Противоречия буржуазного общества находят в войне самое сильное, обнаженное и вместе с тем простейшее выражение. Тысячи людей, объединенные железной дисциплиной или же увлеченные «динамическим порывом», оказываются готовыми пожертвовать жизнью. Война с присущей ей слепой яростью разрушения является также беспощадной разрушительницей всяческих иллюзий, а новые иллюзии, которые она сама способна создать, хрупки по своей природе, сомнительны и преходящи. Война проникает в сокровеннейшие уголки человеческой души, привносит неизведанные доселе страхи, навевает ранее неосознававшиеся надежды. Война в кратчайшие сроки раскрывает то, что годами было скрыто: она подмывает и сносит охранительные дамбы и крепости, считавшиеся ранее неприступными; она сносит старые границы и наводит новые пограничные линии — неясные, сомнительные; она взрывает устои, без которых, как казалось в прошлом, жизнь не имеет никакой цены. Война

открывает человеку то, чего он за собой не знал. Великое множество убитых и раненых, огромные массы беженцев, лишенных крова, миллионы тех, кто повсеместно, днем и ночью отдан во власть смертоносного урагана,— этот тяжкий, роковой груз не может не стать определяющим фактором в мышлении и психологии даже тех, кто хочет быть вдали от событий. Развалины, которые оставляет за собой война, становятся «руинами души», и человек, хотя и закаленный, мужественный, но «придавленный гнетом погибших урожаев», видит впереди «грозящий ему возврат в непостижимое бытие». Стойкая позиция приятия войны оказывается на поверку лишь защитой от собственной внутренней неустойчивости. За воинствующими лозунгами и лжеаргументами встает зловещее ничто.

С другой стороны, ужасы войны укрепляют многие тысячи людей в их человеческой силе сопротивления, вовлекают тысячи в ряды борцов, которые способны к сопротивлению; позволяют вырвать их из одиночества и отчуждения и дают им ясные ответы среди всеобщей неясности. Тайны, которыми располагает война для маскировки своих империалистических целей, оказываются несостоятельными, если оценивать их с точки зрения разжигания массового шовинизма. Те, кто создает общественное мнение, теряют былое влияние, их лживая увертливость становится особенно неуклюжей. Подлинное лицо войны предстает без грима. В то время как война, следуя внутренней логике, все более отчетливо выявляет присущие ей империалистические цели, увеличивается сопротивление тех, кто разглядел истинную сущность вещей. Рядом с людьми, соблазненными военными приключениями и ни во что не ставящими человеческую жизнь, готовыми пустить по ветру свое и чужое, рядом с теми, кто с цинизмом или тупым безразличием относится ко всем вопросам человеческого существования, появляются люди, которые видят, насколько увеличивается ценность каждой человеческой жизни в безнадежной пустыне грубости и зверства. Подобные люди одержимы стремлением изменить мир, и вся их страсть, все их мужество направлены к утверждению одного: человеческого братства, нового человека.

В своем интервью, посвященном судьбам европейских литератур, Стефан Цвейг говорит о «моральном землетрясении» и наряду с внешними трудностями, которые возводит война перед большинством писателей, рисует также внутренние психологические затруднения, возникающие «в часы, когда поставлена на карту судьба нашего материального и духовного мира». Стефан Цвейг пишет: «Даже первая мировая война не принесла так много горя, как этот последний год; никогда люди не испытывали такого напряжения и не знали таких тягот, как сейчас». В этом со Стефаном Цвейгом согласится каждый. Однако далее Стефан Цвейг поднимает вопрос о художественном совершенстве и приходит к выводу, что любой сюжет находится сегодня в прямом противоречии с историей или же что «ни один гений не может сегодня придумать сюжет более драматический, чем наше время, и даже самый лучший художник должен снова поступить в учение к великой наставнице — Истории». При всем нашем уважении к последней фразе, которая, впрочем, применима и к довоенному времени, мы не можем согласиться с первой, согласиться с отрицанием ценности в наше время художественного совершенства. Тот факт, что война доказала нежизнеспособность определенного сорта литературы, не умаляет нашего желания придать литературе новую силу, новую значимость и помочь ей выполнить свою историческую миссию.

Было бы ошибкой — впрочем, легко опровержимой — предположить, будто великая литература прошлого лишилась прежнего воздействия или вовсе оказалась излишней. Опрос читателей в воюющих странах подтверждает, что книги классиков помогают тысячам людей не склонить головы и не утратить веры в конечное торжество человечности.

Деморализация, вызванная войной, не заставит художника, вопреки всем ударам и минутам отчаяния, отказаться от своего места в обществе, ибо это место имеет под собой исторически оправданную основу; напротив, художник будет всячески укреплять место, завоеванное им в тяжелые предвоенные годы. Неверно, будто война поколебала все фундаменты и выявила непрочность всех устоев, как это, может быть, хотят представить те, кто сам заколебался. Просто эти люди склонны придать своей личной катастрофе всеобщий характер и поколебать всех вокруг. Художник, причисляющий себя к интернациональному фронту стойких и способных к сопротивлению, не видит причин для того, чтобы отказываться от стремления к художественному совершенству. С ожесточенным упорством будет он продолжать свою деятельность и не склонит головы перед слепыми силами вандализма. Когда Гете сказал однажды, что литература — это, в сущности, «фрагмент всех фрагментов», то изречение Гете, даже если придать ему современный нигилистический смысл, отнюдь не означало отказа от художественного совершенства; напротив, как о том свидетельствует все наследие Гете, это изречение должно лишь вдохновить нас на преодоление фрагментарного характера литературы путем создания всеобъемлющих и высокохудожественных произведений. Современная литература не стоит перед альтернативой, к которой прибегает Стефан Цвейг для подтверждения своих мыслей: эстетское бегство от действительности, приводящее к созданию произведений на тему «мужчина знакомится с женщиной, они влюбляются друг в друга, завязывается роман» или же — документальное повествование, голая корреспонденция. Эстетское затворничество, о котором Стефан Цвейг говорит как об изжившей себя манере литературной игры, уже до войны не годилось

для создания значительных произведений, и не только до войны, но и во все времена. У всех великих писателей прошлого Стефан Цвейг мог бы без труда найти то, что противостоит литературе, чуждой жизни и народу, ибо и в самые мирные времена такая литература не могла из-за своей идиллической заплесневелости и лживой манерности отвечать требованиям даже предельно мирного бытия. «Знакомство с женщиной, любовь к ней, роман» — эта тема ничуть не хуже других, если не придавать ей окарикатуренной, эстетской трактовки, в ней может быть и сегодня отражен весь современный мир, и она до конца может вызреть именно среди мирового конфликта, но никак не в «башне из слоновой кости».

Что касается документального характера, который, как предсказывает Стефан Цвейг, будет носить литература, то эти настроения не новы для нас. Мы еще хорошо помним, как было модно стремление уничтожить искусство образного воплощения, заменяя его «искусством репортажа». При этом мы отнюдь не оспариваем высокую ценность описаний, которые Стефан Цвейг предлагает нам в качестве единственно возможного жанра будущей литературы. Безусловно, сборник таких материалов обогатил бы наши знания и был бы, наряду с личными переживаниями, неоценимым пособием для художника, задумавшего изобразить нашу эпоху. И все же мы позволим себе еще раз сослаться на Гете, который взглядам, ныне защищаемым Стефаном Цвейгом, противопоставляет следующее изречение: кто не сумеет подняться выше природы, неизбежно останется ниже природы. В этой фразе заключены две мысли, направленные против двух искажений процесса творчества. Прежде всего Гете требует, чтобы художник поднялся над **природой**, то есть чтобы художественное возвышение происходило не над ирреальной, а над естественной основой. Иными словами, действительность, а не ее эрзац служат твердой основой для художественного возвышения. Далее тезис Гете требует, чтобы художник **поднялся** над природой, то есть сгущал, примысливал или, напротив, пропускал, с тем чтобы совершенное художественное произведение было своеобразным состязанием с самой природой, но если это возвышение над природой не удалось, художник волей-неволей остается в сфере плоской «естественности», то есть ниже природы. Если основу для художественного возвышения составляет не конкретная действительность, а какая-то ирреальная, искусственно созданная, абстрактная и внеисторическая почва, то само возвышение сводится к пустому фантазированию, превращается в туманное, бессмысленное словоблудие. Умение подняться до реального видения резко отличается от нереальных попыток спрятаться за лжевидением: мы должны отличать произвольные измышления от реалистически обоснованной фантазии. Гете осудил в своем высказывании оба искажения художественности: формалистическое и натуралистическое. Стефан Цвейг, безусловно, не будет оспаривать, что искусство — это своеобразный вид возвышения жизни, что искусство вытекает из стремления к человеческому совершенству, и это стремление приобретает здесь свою дальнейшую жизнь в самых различных, только искусству свойственных формах. Отрицать способность искусства к возвышению в определенный исторический период означает практически разоружить одно из самых благородных и гуманистических устремлений нашего времени, то устремление, которое громко заявило о себе в противовес ужасам войны. Это означает открыть ужасам войны широкий доступ в душу человека.

Уроки предыдущей войны учат нас, что художник должен проявить всю присущую ему силу сопротивления, чтобы не дать себя засыпать «моральному землетрясению» и в период упадка морали не оказаться в числе деморализованных. Непрерывно сражаясь за самое ценное в нас и изживая старое, осваивая новое и пророчески заглядывая в будущее, писатель нашего времени тоже сможет создать бессмертные образы; его произведения останутся жить как свидетельства двуликой эпохи, исполненной величия и ужаса. Слова, сказанные Опицем в период Тридцатилетней войны в Германии, сохраняют и сегодня свое значение: «...Не следует полагать, будто наша страна окружена таким суровым и отравленным воздухом, что не в состоянии породить гениев поэзии, как и любое другое место под солнцем».

■

Военные потрясения, с одной стороны, и могучая политика мира, проводимая Советским Союзом,— с другой, указывают советской литературе на особое, выдающееся место в том историческом процессе преобразований, который характерен для нашего времени. Сегодня она представляет в мировом искусстве слова единственную литературу, способную во всем своем национальном объеме восстать против сил разрушения и войны. Сохранение свободолюбивых, мирных и гуманистических интересов доверено ей. Она призвана засвидетельствовать мощь и величие литературы и может заботиться о своем художественном совершенстве при самой широкой направленности, вобравшей в себя самые животворные и наиболее пригодные для будущего силы эпохи. Своими произведениями она может доказать, что ярость империалистической войны не безгранична и что даже ужасы войны могут способствовать сплочению людей; созданные ею художественные образы должны указать дорогу тем, кто находится

в поисках нового мира и нового человека. Обращаясь к своим национальным проблемам, советская литература может ответить на интернациональные вопросы, волнующие миллионы людей. Сама социалистическая действительность содержит ответ на вопрос о подлинном мире, о справедливой войне, о готовности к жертвам, на вопрос о героизме и чести, о человеческом счастье, о взаимоотношениях между личностью и обществом, на вопрос о справедливом распределении жизненного пространства. Путь, который прошли народы Советского Союза, должен быть нами воспринят как светлый путь к разумной жизни.

В Советском Союзе все призвано помогать внутреннему росту советских граждан, чтобы они могли ответить на повышенные требования к их стойкости, предъявляемые военными событиями, которые разыгрались вокруг СССР. Из этого процесса, который укрепляет и внешнюю и внутреннюю силу сопротивления советского человека, нельзя исключить советскую литературу.

Если позволить себе высказать несколько пожеланий, поделиться мыслями о том, как мы представляем себе облик советской литературы в наше время, то вот они. Пусть советская литература будет художественно совершенной, глубоко продуманной, богатой по содержанию! Пусть она владеет всеми жанрами, пусть преодолеет жанровую ограниченность своих отдельных представителей. Пусть будет высокообразованной литературой. Советский писатель должен проникать во все области науки, должен быть на высоте своего времени и не забывать, какими универсальными колоссами науки были великие художники прошлого и как во все времена, когда наступало Возрождение — а значит, и в наше время,— завоевания науки освещали путь человеку с помощью произведений искусства. Пусть советский писатель — как личность и творец — станет одним из тех, кто выражает судьбы страны: он не должен разрывать своего внутреннего единства с народом, не должен даже в том случае, если владеет гордым, приводящим в движение мир голосом, каким обладает Советский Союз в хоре народов. Надо изображать шагающую вперед победу, а не успокаиваться на достигнутом. Писателю следует помнить сегодня, как в никакой другой стране, поэзия нашла в Советском Союзе полноправную родину, помнить, что он, советский писатель, может по праву, данному ему историей, сказать «да» окружающей его действительности.

При капитализме лучшие писатели застыли в своем воинственном «я против». Советский художник работает и живет в социалистической действительности, он дышит своим «я за». Советский писатель показывает нам преобразующую силу социализма и способность человека к преображению. Он изображает человека вплоть до его самых тонких побуждений, осознанных или только навеянных грезами, он обнажает перед нами перестройку чудесного механизма человеческой души. Сколько тысяч людей потрясла война, лишила веры в человечность, и они удалились, прихватив с собой и поэзию и философию, в мрачный агностицизм или в мистику и религию, и вот советский писатель, которому придает силы близкая ему действительность, поднимает свой голос ради того, чтобы человек мог найти человека. Он, гражданин миролюбивой страны, не должен забывать о своих товарищах по оружию в капиталистических странах и об их борьбе: постоянная память о них поднимет его собственный революционный порыв, и, взвешивая судьбы мира, он овладеет умением правильно распределять пропорции между светом и тенью. Пусть советский писатель, видящий рост братских республик, поразит наше воображение новыми, чистыми и вдохновенными тонами того счастья, которое переживают люди, обретшие единение с родиной и подающие нам пример создания социалистических литератур.

Пусть он откроет для нас нового человека — не в декламационном обобщении и не путем примитивного снижения, а в конкретном раскрытии сил, которые освобождаются от старого и отживающего. Пусть он глубоко осознает, что он — ваятель людей и что на него возложена миссия донести до них новое учение о человеке. Пусть он остается восприимчивым к красоте родной природы, пусть объединит величие истории своей родины, сохраняя родной язык в чистоте и обогащая его, со славным настоящим Советского Союза — и тогда в творениях подлинно патриотического поэта возникнет новая красота, новый народный характер, новое национальное величие.

Вот какие ожидания питаем мы. Вот обязанности, которые — если употребить это громкое слово без всякого преувеличения — возложены на советскую литературу ходом мировой истории.

■

Мы, друзья и боевые соратники советской литературы, не имеем права ни на мгновение погрузиться в ленивый, лишенный полета фантазии транс, мы всегда должны отдавать себе отчет в надеждах, которые и на нас возлагает мир, объятый ложью и смертью. Сегодня от нас ждут честных, свободных слов, которым присуща высшая достоверность и «святая трезвость». В обстановке все более нарастающих трудностей вспомним о писателях-героях, которые в самых тяжелых условиях творили бессмертные труды и которые в своем творческом горении, порой не получая ни

малейшего отзвука на свои произведения, десятилетиями создавали могучие очаги сопротивления, материки человечности. Говоря о перспективах нашей литературы и бросая при этом взгляд назад, на ее великих мастеров, выйдем за узкие пределы последних десятилетий. Литература греков и литература Возрождения сегодня особенно важны для нас как общественное мнение, воплощенное в художественной форме, как законченное выражение общечеловеческого боевого духа. Не надо думать — как бы ни казалась порой верна эта мысль,— будто наши слова при нас и останутся и не найдут широкого отклика. Именно в эти знаменательные времена наши книги имеют знаменательные судьбы, они блуждают, воскресают и продолжают жить там, где мы не могли и предполагать.

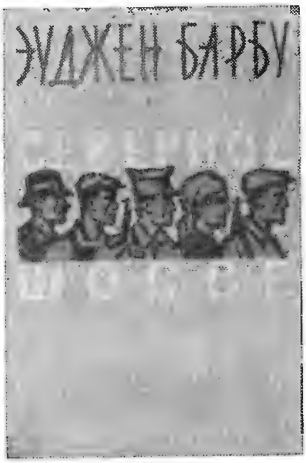
События наших дней возлагают на революционных писателей обязанность с величайшей решительностью противостоять разлагающим влияниям — неизбежному следствию войны и остаться на позициях большой литературы. Отказаться от требования художественного совершенства значит предать веру в прогресс и принять законы варварства. Тем, кто не верит, что сегодня можно создавать великие произведения, должны ответить сами произведения: «Именно потому!» и «Несмотря ни на что!» Этот ответ опирается на лучшие революционные традиции.

■

«О, если б было знамя... были Фермопилы, где я мог бы с честью окропить его своею кровью, отдать свою одинокую любовь, которая мне не нужна...» Этот клич Гипериона из романа Гёльдерлина поднимают сегодня в капиталистических странах многие молодые писатели, и вместе с нами они ждут возрождения литературы, пронизанной духом социализма. Другие, напротив, уходят от нас, мир стал для них непостижимым, величие перемен им недоступно, их время истекло.

Но те, не состарившиеся и не устаревшие, те, преображенные, те, обновляющиеся в борьбе за человеческое и художественное совершенство, те ищут новых творцов, которые движутся к ним по извилистой дороге. Сомкнутые ряды распались, некоторые идут в одиночку, по обочине. Смерть уже вырвала многих из рядов. Пустота вокруг них — но они идут. Они хотят остаться вместе, хотят держаться друг за друга. Много страшного на памяти человеческой выдержали они и преодолели. Но впереди новые опасности. И они запевают песнь о товариществе... После всего, что было, вновь сомкнуть ряды и развернуть знамя, несущее новый свет,— для этого нужны сверхчеловеческие усилия. И творчество, которое не участвовало в создании **этого** нового порядка, само себя лишило силы. Бессмысленная формалистическая игра не обладает больше притягательной силой; плоское, лишенное фантазии отображение жизни не может быть прозорливым, не может воодушевить. Те, молодые и новые, которых породит эта катастрофа человечества, ищут в искусстве страстную волю к человеческому совершенству, и в совершенной художественной форме ищут образцы подлинной стойкости.

Книги в борьбе



Эуджен Барбу. Северное шоссе. Перевод с румынского Татьяны Ивановой и Юрия Кожевникова, под редакцией Н. Гнединой. Москва, Издательство иностранной литературы, 1962. 480 стр.

СУДЬБА КОММУНИСТА

Удивительное это полотно! Сотни талантливых рук кладут на него краски, десятки национальных художественных школ переносят сюда приемы и традиции своего искусства, и тысячи этих, казалось бы, самых разрозненных усилий создают перед современниками цельное, стройное, единое в своем высшем замысле и гармонии произведение большого художника. И уже не только профессионалы-ценители, но и самые широкие народные массы, отлично чувствующие истинную гармонию искусства и времени, знают, что имя этого художника — История.

Что же еще, кроме объективного хода истории, могло заставить писателей разных стран, взглядов, пристрастий обратиться и обращаться ныне все чаще к одной этой теме — жизнь коммуниста? Описанная в деталях, во множестве подробностей и жизненных вариантов борьба коммунистов многих стран пополнялся сегодня свежим опытом новых социалистических государств Европы и Азии, поучительным уроком борьбы пролетариата Северной и Южной Америки, первой радостью национального освобождения стран африканского континента. И каждое честное, новое слово подлинного искусства отлично ложится в строку этой интернациональной, всечеловеческой поэмы времени.

Одна из таких знаменательных глав сегодняшней поэмы о коммунистах — роман «Северное шоссе» румынского прозаика Эуджена Барбу. Десять лет простой, обыденной жизни Георге Мареша, коммуниста с Красной Гривицы, рабочего парня бухарестской окраины... Массовая забастовка, к которой он примкнул еще восторженным юнцом, политическая тюрьма Жилава — первый университет сознательного борца, освобождение, безработица по «волчьему билету», помощь пролетарского подполья, первые задания товарищей, уже сознательная ненависть к фашизму и пришедшей с ним войне, дезертирство из армии, профессиональная работа революционера в крепнущем румынском Сопротивлении, провал, арест, военный трибунал и пытки сигуранцы, расстрел, от которого Мареш чудом спасается, и снова — тревожная, продуманная в каждом шаге работа революционера-подпольщика. И так до конца — до конца тех, кто стал для Мареша врагом его четких, выстраданных и проверенных представлений о справедливости, или до собственного конца, и тогда друзья завершат общее дело. Идейность, сознание ясной цели и общенародных интересов — вот что постоянно вырисовывается и в этом романе как главная черта в групповом портрете коммунистов всех поколений и наций.

Для русского читателя многое в романе, в судьбе Мареша покажется знакомым, памятным. Нетрудно представить эту радость узнавания: был, значит, и в Румынии свой 905-й год, своя Красная Пресня, которую там называют Красной Гривицей. Был потом и мучительный период поражений, колебаний и растерянности — и снова подъем, уже на новом, высшем этапе революционной сознательности и организованности. Были и свои «несгибаемые» — профессиональные революционеры в тридцать лет, с многолетним стажем тюрем и ссылок за плечами. Те самые, кто в тридцать пять вставали во главе народной республики...

Все похоже — и все иначе. Насколько сократились сроки, насколько быстрее и в общем-то легче приходит окончательная победа, насколько помогает пример и опыт тех — первых в истории!

Тонкое, отточенное в прежних, известных и русскому читателю, рассказах и повестях перо Э. Барбу передает все изгибы и оттенки своего, румынского, опыта в этом историческом процессе. Движение развивается от этюда к этюду, писатель избегает откровенно публицистических переходов и обобщений. Не привлекает его и возможность заострить, подчеркнуть остросюжетную, приключенческую сторону многочисленных происшествий, арестов и побегов Мареша. Видимо, сам Э. Барбу прекрасно чувствует свою основную силу — силу живописца, способного в последовательности отдельных, «случайных» зарисовок выразить живое движение времени и характеров.

Еще в самом начале, в первой части книги блистательно обнаруживает себя эта способность автора передавать живые краски и объемность кусочка жизни, попавшего в его поле зрения. Длинный двор и старый, закопченный, набитый беднотой дом, в котором прошла юность главного героя, можно представить совершенно отчетливо до мелочей и уже не спутать ни с каким другим из многочисленных пристанищ Мареша. «В комнате еще пахло прошлогодней айвой. Было прохладно, и, по-видимому, здесь совсем недавно — на пасху — белили. Половицы скрипели под ногами. «Нужна хозяйская рука, чтобы навести тут порядок,— подумал Мареш.— Женщине это не под силу»... Со двора, из-под деревца мирабели донесся запах свежесваренной мамалыги. Мужчины курили, сидя прямо на земле. Сквозь оконную занавеску, поредевшую от бесконечных стирок, виднелись огоньки сигарет». Обычный, тихий с виду и напряженный в каждом своем запахе и звуке вечер городской рабочей окраины.

Совсем иной — неуютной и отталкивающей в своем непостоянстве, неустроенности — была комната Мареша в Крайове, где тянулись потом годы, вполне благополучные и спокойные, но лишенные главного — революционной работы, о которой теперь мечтал, которой жаждал молодой машинист. Домовитостью, хозяйской прочностью, незыблемостью в суете налетов и арестов пропитана небольшая типография дядюшки Добре — первая подпольная явка Мареша. Тревожным, призрачным комфортом окутана квартира Думитраку, их руководителя, в доме которого по закону конспирации Мареш не мог бывать, и все-таки часто рисовал в своем воображении эти пустые холодные комнаты, по которым движется Ина, его первая, томительная, необорвавшаяся любовь...

А сколько настоящей поэзии, поэзии не громких слов, а суровых чувств солдата-подпольщика передает картина первого в жизни Мареша дня победы — победы над фашизмом, конца войны: «Мареш подошел к окну. Во дворах пламенели костры из листьев. Столбы дыма поднимались прямо в летнее небо. Была видна Гривица с ее пустыми глазницами окон и развалинами. Бывают минуты, когда радость отзывается болью, когда тот, кто много страдал, не может еще осознать, что переступил порог болезни, и горячечный озноб сменило состояние покоя и ясности. В такие минуты выздоравливающий не понимает, что недуг уже миновал. В этом странном состоянии находился теперь Мареш. Он долго-долго смотрел на огни города... Тысячи людей, тысячи счастливцев, оставшихся в живых, даже те, кто еще не забыл об убитых, праздновали свой первый час радости после стольких лет мрака и опасностей. И этот, уже давно одинокий человек, машинист Георге Мареш, не знал, за что прежде взяться,— ведь так много нужно сделать!»

В своих раздумьях и переживаниях Мареш одинок. Объяснить это одиночество нетрудно: полулегальная жизнь с постоянной угрозой ареста, частые переезды, максимум осторожности и сдержанности в приобретении новых знакомств — все это, конечно, не располагает к обилию близких друзей или к прочному семейному счастью. Но Э. Барбу не только сочувствует своему герою — он будто бы готов признать фатальную неизбежность, принципиальную необходимость такой душевной отрешенности и одиночества для борца, солдата революции. В начале романа рассказывается, как Мареш ненадолго, да и то благодаря стечению обстоятельств, обретает семейный кров: он приютил несчастную, доведенную до полного отчаяния и душевного опустошения певицу из варьете. Потом мы узнаем мимоходом, что женщина эта не смогла понять ни Мареша, ни близкого ему дела, и семьи не получилось, хотя растет уже их сын, родившийся в том самом доме, где и Мареш, на окраине Бухареста. На этом все и обрывается — о личной жизни героя из всей дальнейшей книги мы не узнаем больше ничего, кроме глухих, в несколько слов упоминаний, что она не удалась. Буквально на последней странице, да и то вскользь, выясняется, что уже давно жена и сын Мареша погибли в одной из бомбежек Бухареста. Герой романа Барбу здесь не просто сдержан и суров — он как бы раз навсегда отрезал, захлопнул в себе эту часть души. Ведь даже перед расстрелом, в раздумьях о прожитой жизни, он не вспомнит о сыне. Верно ли это, справедливо ли к герою?

Недавно вышла в русском переводе небольшая книжка, «томов премногих тяжелей»,— подлинные письма приговоренных к казни борцов итальянского Сопротивления «Перед лицом смерти». О чем вспоминали эти мужественные люди в свою последнюю минуту? О многом и о многих, но самое первое и страстное слово — к самым близким — к сыну, к матери, к невесте. «Простите, родные, за те страдания, которые причинит вам моя смерть» — эта фраза, исполненная высшей гуманности и веры в нерасторжимость человеческих связей, повторяется из письма в письмо.

Когда-то и в молодой советской литературе заявлял о себе «железный герой»,

добровольно отрешившийся от личной жизни. Едва ли можно винить в этом только неопытность молодой литературы — видимо, и в действительности далеко не сразу все и всем стало ясно. Понадобилось время, чтобы революционеры новых поколений рядом с благородством самоотречения поставили известную заповедь первого коммуниста: «Ничто человеческое мне не чуждо».

Я уверен, что и здесь, в наследовании литературных традиций — как и в наследовании революционных,— история новых социалистических стран будет развиваться (уже развивается!), заметно сокращая сроки между этапами. В конце романа герой Э. Барбу в момент затишья перед последней схваткой с фашистами размышляет. «Что такое героизм? Вероятно, малая толика одержимости, либо своеобразного опьянения, либо и то и другое вместе. Нет, героизм — это что-то иное. Но что именно, черт побери?»

Сегодня на этот вопрос отвечают миллионы людей повсюду — по-своему на Кубе или в бурлящей гневом Испании и опять-таки иначе в народной Румынии или в Советском Союзе. У нас, например, много пишут теперь о героизме особого рода — героизме будней, который не легче и не проще, а, быть может, даже сложнее смелости в открытом бою: трудовой или гражданский подвиг бойца «мирного фронта» только тогда и становится подвигом, когда повторяется ежедневно, из раза в раз, с постоянством нормы. И, стало быть, еще богаче, еще сильнее, красивей, многообразней умом и сердцем должны быть коммунисты, строящие коммунизм.

Да, «вечный бой, покой нам только снится». Об этом рассказывают на всех языках мира писатели, чье чуткое к народной жизни и к духу времени сердце взволновано одной темой — судьбой коммуниста. Красками лучших талантов пишет сегодняшняя История эту величественную поэму. Есть в ней и своя, уже немалая, румынская строфа. Сюда ложится новой, органичной строкой судьба рабочего — коммуниста Георге Мареша из романа Э. Барбу «Северное шоссе».

ВАДИМ СОКОЛОВ

Elvio Romero. Esta guitarra dura. Libro de guerrilleros. Imprenta national de Cuba, 1961.

ПАРТИЗАНСКАЯ ГИТАРА

Есть в биографии парагвайского поэта Эльвио Ромеро такой эпизод: много лет назад у соседа его, сапожника, в результате какого-то бедствия — то ли болезни, то ли уличной катастрофы — погибла вся семья. Несчастный впал в полнейшее отчаяние, ничьи уговоры на него не действовали. И тогда Ромеро — в то время совсем еще юнец — перебрался к сапожнику на жительство. Нет, он не утешал его и не подбадривал — он просто жил в одной с ним комнате, делился с ним хлебом, делил его горе. И человек, казалось бы окончательно раздавленный бедой, стал понемногу выпрямляться.

Мне вспомнилась эта история потому, что в ней очень ясно отразилась важнейшая черта Ромеро — гражданина и поэта: его действенная человечность. Не умозрительный, не категориями и абстракциями питающийся, а конкретный, живой гуманизм, органическая потребность помогать людям — вот что определило всю его жизнь, сделало его коммунистом, поэтом своего народа.

Судьба этого народа воистину трагична. Даже среди не очень-то избалованных матерью-историей стран Латинской Америки Парагвай выглядит пасынком. С тех пор как полтораста лет назад диктатор Франсиа, захватив власть в только что родившейся республике, установил порядок, приближавшийся к идеалу щедринского градоначальника Угрюм-Бурчеева, парагвайцы почти беспрерывно живут под властью сменяющих друг друга деспотов. Но такого тирана, как нынешний президент генерал Стресснер, страна еще не знала.

Бывают цифры красноречивее всяких описаний. Средняя продол-

жительность жизни человека в Парагвае 28 лет — самая низкая в Западном полушарии. Из каждых 100 парагвайцев 80 страдают туберкулезом, трахомой и другими болезнями. Первое место в мире по количеству эмигрантов (в процентах к общему количеству населения); второе место в мире по числу больных проказой; военные расходы, составляющие 60 процентов государственного бюджета; военное положение, на котором находится страна свыше 20 лет. Таков Парагвай сегодня.

Есть, однако, вещи, не поддающиеся выражению в цифрах. После того как диктатору удалось подавить восстание 1959 года, едва не опрокинувшее его режим, часть повстанцев ушла в леса. Парагвайские партизаны продолжают борьбу. Сколько их? Наверно, не так уж много. Но разве не с двенадцатью товарищами начинал на Кубе Фидель Кастро?

А как измерить значение той новой литературы, которую создают верные народу писатели Парагвая — в эмиграции, в подполье? Тех стихотворений, рассказов, статей, которые тайно передаются из рук в руки, помогая людям дышать, пробуждая в них волю к сопротивлению?..

Вот уже пятнадцать лет как Эльвио Ромеро вынужден жить за пределами своей страны. Давно известно, что нельзя унести родину на подошвах сапог. Но можно — в сердце. Особенно если это сердце поэта. Порукой тому новый сборник стихов Ромеро, посвященный партизанам Парагвая. Сборник выпущен издательством революционной Кубы и иллюстрирован великолепными рисунками чилийца Хосе Вентурелли. (Это ли не пример братской солидарности народов Америки!)

Перевести название книги нетрудно: «esta» — «эта», «guitarra» в переводе не нуждается, вот только слово «dura» имеет несколько значений — «твердая», «суровая», «жестокая». Какое из них предпочесть? Может быть, сама книга подскажет?

С первых же строк — ощущение удивительной достоверности. Правда быта, правда чувства. Поэт не «описывает», не «воспевает» — он шагает вместе со своими, не отличимыми от него товарищами; карабин на плече, потрескавшаяся гитара, как лопата, закинута за спину. Стихотворение, другое — и вот уже мы сами пробираемся непролазными чащами, изнываем от жары, чутко прислушиваемся к подозрительным шорохам. А где-нибудь на привале один из партизан, тот, что с гитарой, неторопливо перебирает струны, подыскивает нужные слова, делится с товарищами черным хлебом поэзии... И встают из его песен недавние стычки, победы и потери, лица друзей, павших в боях.

Портрет храброго партизана Дионисио Артуро Герреро, песенка о земле, которая обработана твоими руками и которую ты же должен отвоевать у хозяина... А теперь певец возвышает голос, он обращается к всесильному диктатору Парагвая:

Берегись, диктатор! Кинжалы возмездия
даже в тени твоей могут укрыться!
Ты отступаешь, мрачный убийца.
По-новому движутся нынче созвездия!

(«Берегись, диктатор!»)

Некоторые стихотворения книги — маленькие баллады. Вот рассказ о партизанской матери, Пиля́р Паре́дес. В нем два голоса: один принадлежит автору, другой — воспоминанию, жгущему материнское сердце:

В добрый час, Пиляр Паредес,
Ты пошла разыскивать наших партизан.

(От Йегроса к Вильярике
дальний путь лежит,
там твой сын попал в засаду,
там он был убит.

Там на тень его упала
тень его коня.

По дороге к Вильярике,
у старого пня).

...В добрый час, Пиляр Паредес,
мстить за сына ты пришла
в партизанский стан!

(«Пиляр Паредес»)

Народные размеры, народная манера нанизывать порой целое стихотворение на стержень одной-единственной рифмы — как в испанском романсе! Фольклорные рефрены-припевы, повторяющие, как бы подчеркивающие главную мысль... И в то же время — никакой стилизации, никакой подделки под фольклор. Поэт остается самим собой: это его, знакомая нам и по другим сборникам, страсть клокочет в каждом стихотворении, его личное, глубоко индивидуальное мироощущение рождает острые и неожиданные образы. Он живет одной жизнью с теми людьми, для которых пишет, и только в этой жизни черпает свою поэзию. Поэтому, когда в его стихах карабин становится живым существом, способным слушать разговоры и хранить воспоминания, а засушливое лето сравнивается с солдатом, высасывающим сок из травы, чтобы утолить жажду,— смелые эти образы едва ли покажутся вычурными партизанам, которые знают цену оружию и помнят, какой мучительной бывает жажда. И навряд ли сочтут они чересчур патетическими торжественные строки, заключающие книгу:

Из самого сердца рвущимся, беспощадным,
упорным —
таким это слово о подвиге пусть останется
с нами,
кличем неустрашимых, подобным пламени
горна,
где закаляется мужество, поднятое, как
знамя!

(«Парагвайский аккорд»)

Вот она какая, партизанская гитара Эльвио Ромеро,— суровая и нежная, добрая к людям, неумолимая к извергам... А над тем, как передать заглавие сборника по-русски, пусть подумают переводчики, потому что с книгой этой обязательно нужно познакомить нашего читателя.

Л. ОСПОВАТ

César Leante. Con las milicias. Ediciones Unión. La Habana, 1962.

РОЖДЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИЕЙ

Солнце нещадно палило, и на остановках казалось, что автобус прилипнет намертво к лоснящемуся асфальту. Нас изрядно трясло, но это не мешало водителю держать стрелку спидометра на «70» и, повизгивая тормозами, лавировать среди потока машин. Был «мертвый» час, и пассажиров было немного. Слева у выхода сидела девушка в форме народной милиции и читала книгу. Двое солдат оживленно переговаривались, помогая себе руками, и прямо передо мной сидел юноша с кипой книг: одну он читал, прижав ее к самому носу, как это делают близорукие. А на заднем сиденье подпрыгивал высокий мужчина с окладистой черной бородой, уставившись в газету.

— Обратите внимание,— наклонился ко мне мой спутник,— как в Москве...

— ??

— Не понимаете? Люди читают в автобусе. Когда это было видано на Кубе?

Выходя на остановке, я спросил близорукого юношу, что он читал, и он молча повернул мне книгу обложкой. Это был недавно опубликованный роман кубинского писателя Эдмундо Десноэса «Нет проблем». У девушки в форме народной милиции на коленях лежала книга, от которой она только что оторвалась,— репортаж Сесара Леанте «Вместе с милицией».

Человек, читающий в автобусе или просто на улице, для нас, советских людей,— привычное, обыденное. А для Кубы это ново, необычно. Любовь к литературе, к чтению появилась у кубинцев благодаря титанической работе революционного правительства в области народного образования.

В стране издаются сотни художественных, политических и научно-технических произведений. Только Импрента насьональ — крупнейшее объединение национализированных издательств — за 20 месяцев своего существования (до апреля 1962 года) выпустило около 40 миллионов экземпляров книг и брошюр.

Две книги, которые читали мои соседи в автобусе, имеют схожие судьбы: обе — первые крупные произведения молодых кубинских писателей, обе характерны для сегодняшней кубинской действительности, и их появление стало возможным лишь после революции.

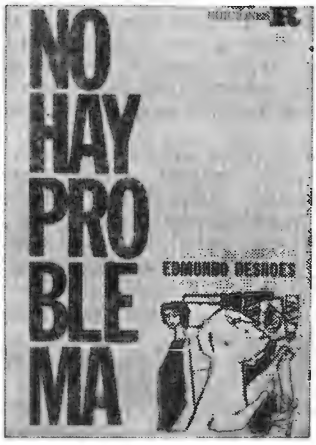
Как-то в одном из своих выступлений Фидель Кастро сказал, что, не будь Октября, кто знает, стала бы когда-нибудь свободной Куба. Новая, подлинно народная революция наполнила новым содержанием жизнь страны. Она уничтожила и уничтожает общественные институты, ведущие зачастую свое начало еще с колониальной эпохи. Создаются новые институты, новая мораль. «Народное имение», «социализм», «передовой рабочий», «добровольный труд», «физзарядка», «рабочий клуб», «норма выработки», «социалистическое соревнование» — все это прочно вошло в быт современного кубинца. Защита родины, охрана завоеванного стали священной обязанностью кубинских патриотов.

Этой теме и посвятил свою книгу Сесар Леанте. Он был одним из первых кубинских писателей, вступивших в 1960 году в только что зарождавшиеся отряды народной милиции.

Леанте нет и тридцати пяти лет. До революции он подвизался на радио и телевидении. Однако работа эта не удовлетворяла его, и потому сразу же после января 1959 года он переходит в периодическую печать.

Герои его репортажа — простые люди. По призыву правительства они стали на время военными. Большинство из них, как и сам автор, не сражались ни в подполье, ни в Сьерра-Маэстре, и служба в батальоне народной милиции № 17 — это их «революционные университеты».

Первые шаги познавания новой жизни не всегда легки. Порою для этого нужны не только духовные силы, но и физическая закалка. Рассказывая об одном трудном переходе, совершенном батальоном, Леанте сочувственно говорит о немолодом милисиано, которого отчитал лейтенант за неумение ходить в строю. Но пожилой человек — лейтенант ему годился бы в сыновья — не обиделся. «Я механик и разбираюсь в гайках и моторах. Но как бы ни ругал меня лейтенант, я уже ему сказал: «Лейтенант, ругайте меня сколько хотите, все равно я не обижусь и не уйду из батальона. Отсюда



Edmundo Desnoes. No hay problema. Ediciones «R», La Habana. 1961.

меня можно убрать или на носилках или мертвым».

Перелистывая эту книжку, я вспомнил, как однажды в этом году в душный апрельский вечер я столкнулся у входа в Национальную библиотеку имени Хосе Марти с писательницей Консепсьон Тересой Альсолой. В сине-зеленом костюме милисиано, с винтовкой в руке она не была похожа на ту веселую полную женщину, с которой меня познакомили на Конгрессе писателей, художников и артистов.

— Сеньора Альсола, что вы тут делаете? — непроизвольно вырвалось у меня.

— Как видите, охраняю Национальную библиотеку. А что?..

— Да, но вы не работаете в ней...

— Но ведь я писательница, и уж кому-кому, а нам в первую очередь положено охранять это здание. Я не одна, и мне приходится дежурить всего два-три раза в месяц.

Народ победил в 1959 году, но враги его не смирились и время от времени дают знать о себе поджогами, убийствами, провокациями. И вот батальон № 17 отправляется в район гор Эскамбрая. Здесь милисиано не только сражаются, они учат население грамоте, разъясняют политику революционного правительства. И результаты этой работы бесценны. Вот, к примеру, Луис Герра. Темный, запуганный контрреволюционерами крестьянин. После появления в горах 17-го батальона он преображается: учится читать и писать, вступает в народную милицию и становится грозою для тех, кого так боялся раньше.

Вместе с 17-м батальоном прошел Сесар Леанте сотни километров по родной земле. Он шел по земле, строящей новую жизнь. Иногда ему казалось, что он в первый раз видит родину—так изменилась она. И прежде всего изменились люди, для которых слова Фиделя «Учеба, винтовка, труд» стали девизом жизни.

На первом Конгрессе кубинских писателей, художников и артистов в августе 1961 года много говорилось о реализме, о литературных жанрах, о творческой манере писателей. Разумеется, немало уделялось внимания творчеству молодых, их отношению к революционной действительности. Одним из представителей поколения писателей, рожденных революцией, является Эдмундо Десноэс, автор уже упомянутого романа «Нет проблем».

Десноэс вернулся на Кубу из Соединенных Штатов только в 1960 году. Когда-то в поисках справедливости и счастья он пытался уединиться на одном из малонаселенных островков Багамского архипелага. Но, обнаружив, что природа «более жестока, чем человек», он порвал с неудавшимся прошлым и отправился в США, где изучал литературу и языки. Воодушевленный рассказами о новой Кубе, тридцати лет от роду он вернулся на родину.

Действие романа охватывает трагическое семилетие диктатуры Батисты. Герой книги Себастьян Солер честен, в меру порядочен (как только может быть порядочным буржуа по отношению к людям не его класса). Он умен и хочет жить «без проблем». Он старается не обращать внимания на то, что творится вокруг него. У Себастьяна есть друзья, любовница, он неплохо зарабатывает, и до политики ему нет никакого дела. Однако, сам того не замечая, он постепенно втягивается в водоворот жизни. Пока Себастьян больше созерцатель, но очень внимательный. Он ненавидит деспота Батисту просто по-человечески, не связывая свою ненависть с какими-либо политическими убеждениями. Но это не мешает ему по просьбе старого приятеля, подпольщика, участника Движения 26 июля, спрятать у себя дома оружие.

Медленно идет процесс духовного преображения Себастьяна. И вот появляются первые трещины в его, казалось бы, неприступной философии «нет проблем». Удар следует за ударом. Уходит любовница. Себастьян без особых переживаний переносит это, так как оказалось, что любви-то настоящей между ними не было, а потому... «нет проблем». Но решающий удар наносит ему арест. Арест необоснованный, по подозрению. Он пробыл в тюрьме немного времени. Его били, даже пытали, стараясь выяснить имена «фиделевских сообщников», с которыми якобы был связан Себастьян. Но ему нечего сказать — ведь он не был участником Движения.

Выпущенный на волю, под угрозой нового ареста Себастьян покидает родину и едет в США к своей новой возлюбленной, дочери американского миллионера. Белокурая красавица Нэнси, которая хочет стать его женой, делает все, чтобы Себастьян остался

с ней. Но молодой кубинец не в силах забыть родину, его мучает безделье, сознание того, что в то время, когда на Кубе льется кровь, он нежится в объятиях женщины.

Однако жизнь во Флориде помогла ему разобраться в самом себе. Оказалось, что на свете так много «проблем» и в первую очередь в его собственной неустроенной, бесперспективной жизни. Он начинает понимать, что он чужой в семье Нэнси, что он чужой здесь, в США, и что его место там, на Кубе. Себастьян порывает с Нэнси и улетает в Гавану. Это происходит приблизительно за несколько месяцев до падения Батисты. Подлетая к Гаване, Себастьян еще не знает, что его ждет. Может быть, его арестуют тут же на аэродроме? Единственное, что он знает: в тяжелый и трагический для родины час он должен быть вместе с нею.

Пожалуй, за последние несколько лет ни одна кубинская книга не вызвала так много откликов, как роман Десноэса. Общее мнение об этом романе очень высокое. Известный кубинский литератор Лисандро Отеро в № 1 журнала «Уньон» писал, что роман «Нет проблем» «значительное произведение, одно из самых значительных на Кубе за последние 20 лет».

Написанная очень простым и ясным языком, книга превосходно передает атмосферу батистовской Кубы: коррупцию, шантаж, подкуп, полицейские преследования — характерные особенности последнего семилетия перед победой революции.

Сам Десноэс, говоря о романе, охарактеризовал его как роман—разоблачение режима Батисты. Его Себастьян, по словам автора, это типичный мелкобуржуазный интеллигент, с изрядной долей скептицизма, но умный и честный. Однако то лучшее, что было в нем, помогло преодолеть этот скептицизм, преодолеть идейные колебания и перейти на сторону революции.

Ю. ПОГОСОВ

Ло Гуан-бинь, Ян И-янь. Красный утес. Пекин, Чжунго циннянь чубаньше, 1961. (На китайском языке).

ПЕРЕД РАССВЕТОМ

Ни один роман не вызывал за последнее время в Китае столь большого интереса и столь единодушного признания, как «Красный утес». Впервые появившаяся в конце прошлого года эта объемистая книга, написанная двумя неизвестными в «большой литературе» авторами, уже через несколько месяцев разошлась в сотнях тысяч экземпляров и породила немало хвалебных отзывов ведущих критиков. Интерес этот понятен, похвалы заслуженны.

Действие романа развертывается в последний период освободительной войны китайского народа против чанкайшистов. Об этом времени уже создано немало книг. Но не о победоносном марше народных войск, не о радости получивших землю крестьян, не о восстановлении заводов пишут Ло Гуан-бинь и Ян И-янь. Они ведут нас в гоминьдановский тыл, в кишащий жандармами, лазутчиками и американскими советниками Чунцин. Они повествуют о том, как в неимоверно тяжелых условиях ежедневно и ежечасно борются подпольщики-коммунисты, как тюрьмы и концлагери, казни и провокации оказались бессильными перед храбростью и верой людей, знающих, за что и во имя чего они сражаются.

Эта книга сильна своей суровой правдой. Авторы ее сами пережили аресты и истязания, видели геройскую смерть товарищей, прорывались сквозь лагерные заграждения. Обо всем этом они, строго придерживаясь фактов, называя подлинные имена храбрецов, рассказали в книге «Обретенное в огне бессмертие», вышедшей несколько лет назад в серии революционных воспоминаний.

И вот теперь, после шести лет напряженного труда, ими создан роман, в котором тот же жизненный материал, те же в основном образы обрели более широкое звучание, стали ярче, правдивее. Мужественной и трагической атмос-

ферой тех трудных дней, пафосом противоборства отряда революционеров с обреченной, но еще опасной военно-разведывательной машиной врага проникнута эта книга.

Авторы не пошли легким путем, как будто подсказывавшимся самой спецификой материала. Они не придумывают увлекательного детективного сюжета, хотя в романе есть побеги и переодевания, потайные ходы и неожиданные узнавания; не это создает напряженность действия, заставляет с неослабным вниманием следить за судьбами многочисленных персонажей, а острота столкновения характеров и убеждений противников. Не нагнетают авторы и картин физических и моральных мучений, утонченных пыток и издевательств. Даже повествуя о мальчике по прозвищу Репка, выросшем в тюрьме сыне незаконно арестованных родителей (кстати, это один из наиболее удавшихся, своеобычных образов романа), они не стараются вызвать у читателя жалость к безвинной жертве. Протест, а не муки, сопротивление, а не страдания рисуют они. Революционер, если он достоин этого имени, и в одиночке, и в камере истязаний, и в самый час смерти остается революционером. Его воля, его убежденность лишь укрепляются в испытаниях — таков лейтмотив романа.

Стремление проникнуть во внутренний мир бойца-коммуниста, раскрыть психологию подвига отличает создателей романа. И это стремление, пусть не всегда реализованное в полную меру, заслуживает всяческой поддержки. Оно знаменует плодотворную тенденцию современной китайской литературы, тяготение к углубленно-реалистическому показу действительности.

Их много, славных рядовых партии, встающих со страниц романа. Одни проходят через всю книгу, другие появляются ненадолго. Среди них опытные подпольщики, руководители групп, молодые и уже имеющие боевую закалку рабочие, начинающие свой революционный путь интеллигенты. Мы знакомимся с ними на улицах и заводах Чунцина, где в условиях строгой конспирации они поднимают массы на борьбу с голодом и террором, издают и распространяют подпольную газету. Преступная слабость одного из них, поддавшегося на провокацию и ставшего прямым пособником охранки, приводит к аресту большинства героев.

В темных камерах застенка, кощунственно называемого палачами «Особняком Бо» по имени великого поэта Бо Цзюй-и, за колючей проволокой концлагеря «Мусорная яма» заканчивают школу революционной борьбы молодые коммунисты Юй Синьцзян, Чэн Ган, Лю Сы-ян и другие, выписанные не столь подробно. Здесь они приобретают опыт и выдержку, познают силу братской дружбы и взаимовыручки, здесь проникаются еще большей уверенностью в торжестве своего дела. Этот процесс изображен зримо и убедительно.

Твердость и цельность их характеров становится особенно наглядной, когда им приходится сталкиваться с провокаторами, старающимися пробраться в партгруппу, созданную заключенными. Шпионы в состоянии освоить коммунистическую терминологию, могут научиться — для «пользы дела» — переносить физические страдания наравне с настоящими узниками. Но их уловки бесплодны, ибо перед ними люди, для которых нет иных интересов и помыслов, кроме высших интересов освободительной борьбы, кроме выполнения своего долга перед партией, перед товарищами.

Естественно, большое значение имеет для молодежи пример старших руководителей, их проницательность, неколебимая стойкость и преданность делу партии. Этими качествами в полной мере наделены Сюй Инь-фэн, Ци Сяо-сюань, сестра Цзян. Но от этих образов ждешь большего. Хотелось бы услышать, о чем, кроме непосредственных боевых задач, думают они в долгие ночные часы, какими идущими от сердца словами (а не вообще правильными, но порой слишком общими фразами) воспитывают они своих младших друзей. К тому же иногда они произносят явно обращенные не к собеседникам, а к читателям монологи, временами не лишенные оттенка любования стойкостью в испытаниях. Правда, они говорят не о себе лично, а о подпольщиках в целом, но все-таки это вносит некоторый диссонанс в привлекательные именно своей скромностью и простотой портреты руководителей борьбы. К счастью, подобных мест немного.

Трудны условия единоборства, и смерть, вероятно, еще не самая тяжелая жертва, которая может потребоваться от тебя. Хуа Цзы-ляну, уже пожилому человеку, приходится по заданию организации несколько лет разыгрывать роль сумасшедшего, струсившего перед угрозой расстрела. Снося насмешки врагов и презрение неосведомленных друзей, он терпеливо ждет того часа, когда и он начнет действовать. На протяжении всего романа он почти не раскрывает рта, но его согбенная фигура, вдруг распрямляющаяся, острый и гневный взгляд из-под косматых бровей говорят читателю больше, чем длинные тирады.

Весьма удачно разработали авторы композицию насыщенного персонажами и событиями романа. Сюжет то течет единым руслом, то разбивается на несколько ручейков, чтобы вновь слиться в финале — в сцене массового побега заключенных. Естественно, без нажима вплетаются в ткань повествования сведения о жизни города и всей страны, которые придают картине необходимую широту и историческую достоверность.

Еще одну принципиально важную особенность романа стоит отметить. До сих пор в произведениях китайских писателей персонажи из стана врага часто изображались — пользуемся определением критика Фэн Му — либо «окарикатуренно, либо в виде театральных масок». С таким противником, по правде говоря, бороться было не очень трудно. Ло Гуан-бинь и Ян И-янь наделяют главарей охранки и их подручных

не только жестокостью и коварством, но и сообразительностью, упорством, ловкостью.

И все-таки чанкайшисты везде терпят поражение (если только случайно не натыкаются на нестойкого члена партии, в глубине души которого живут бациллы животного страха за жизнь и стремления к маленькому личному счастью). Это закономерно, ибо веру в победу гоминьдана они утратили и им нечего противопоставить убежденности и героизму коммунистов, кроме карьеристских устремлений и страха перед возмездием. Каждая удача важна для них лишь как козырь в борьбе за власть, как возможность отличиться либо перед «большим хозяином» (так они зовут между собой Чан Кай-ши), либо перед «самым большим» заокеанским хозяином.

Они еще могут пытать и убивать, но их дни сочтены. Силы поднявшегося народа неодолимы. И поэтому, хотя в «Красном утесе» много страданий и крови, хотя большинство героев погибает, роман воспринимается глубоко оптимистично. «Стреляйте!» — кричит врагам Ци Сяо-сюань, чья кровь окрасила алым утес, с которого он прикрывал отход товарищей. «Коммунистов пулями не покорить!» Да, ни пулями, ни коварством, ни подкупом — ничем.

Ло Гуан-бинь и Ян И-янь создали хорошую, волнующую книгу. Она не во всем совершенна: помимо отмеченных, можно указать и на другие недостатки, в том числе на слабость речевых характеристик. Но книга достигает главной цели — она рождает высокие чувства, она учит жить и бороться так, как жили и боролись ее герои, в ночи гоминьдановского тыла делавшие все, чтобы приблизить час, когда рассвет свободы засияет надо всей родной страной.

В. СОРОКИН

Bernhard Seeger. Herbstrauch. Halle (Saale), Mitteldeutscher Verlag, 1962.

ПОДНИМАЯ ЦЕЛИНУ

Недавно в ГДР состоялась конференция молодых писателей. «Осенний дым» Бернгарда Зеегера принадлежит к числу произведений, горячо обсуждавшихся на конференции.

Читая этот роман, нельзя не вспомнить «Поднятую целину» Михаила Шолохова. Но хотя главные герои «Осеннего дыма» явно напоминают главных героев выдающегося произведения советской литературы, они в то же время совсем иные — их судьбы, характеры вполне немецкие. Что же касается внутренней близости, которая, вопреки национальным различиям, существует между художественными образами Давыдова и Волни, Нагульнова и Шинделя, Майданникова и Гриммбергера, то она зависит не от авторского произвола. Она объясняется тем, что повсюду в странах социалистического лагеря, в одной раньше, в другой позже, в каждой по своему, «поднимается целина».

Новое дает ростки не только на вспаханной земле, но и в умах и сердцах тех, кто ее вспахивает. Не только земля, но и души вспахиваются или перепахиваются так, чтоб не было межи, отделяющей людей друг от друга, человека — от общества. Роман «Осенний дым» посвящен тому, как этот трудный переход от старого к новому происходил и происходит в ГДР.

Крестьянин Гриммбергер был солдатом во вторую мировую войну. В конце войны он ушел к партизанам, но не потому, что видел в этом свой гражданский долг. Дело обстояло совсем по-другому: он под обстрелом тащил на себе тяжело раненного друга, и тот, старый коммунист, попавший на фронт из концлагеря, указал ему дорогу в партизанский лес. Эпизод из прошлого становится в романе Зеегера сюжетным узлом, к которому стягиваются все нити повествования. Впрочем, это больше, чем сюжетный узел — эпизод, о котором автор романа и его герои вспоминают снова и снова, служит ключом к пониманию книги в целом.

Гриммбергер, который обычно стесняется громких слов, говорит однажды своей жене: «Тащил его я, а спас меня он. Понимаешь, он спас меня». В чем смысл этой фразы, сказанной Гриммбергером в середине книги? Пока еще не в том, что Волни открыл ему глаза на прошлое и будущее. Пока еще Гриммбергер понимает только одно — то, что он, рискуя жизнью, спас настоящего человека, дает ему право «никогда ни перед кем не опускать глаз». Однако настают времена, когда он все же опускает глаза, причем не перед кем иным, как перед самим Волни. А ведь это новые времена, наступление которых открывает таким беднякам, как Гриммбергер, дорогу в светлое будущее! Почему же он становится поперек дороги другим и самому себе?

Фигура Гриммбергера едва ли не самая колоритная в книге. Все, что он делает, и все, что он говорит, свидетельствует о внутренней цельности его характера. Так же упорно, как он когда-то тащил отяжелевшее тело полумертвого друга, Гриммбергер теперь несет на своих плечах взваленное им самим бремя единоличного хозяйства. Всю жизнь он мечтал о земле, но, получив ее в новые времена, хозяйствует на ней по-старому. Гриммбергер ни за что не хочет вступить в организованный в деревне сельскохозяйственный производственный кооператив. Его цель — стать хорошим хозяином на своей земле. Эту цель он навязывает жене и дочери, не допуская, что у них могут быть иные стремления. И сам того не замечает, как, добрый по натуре, он причиняет зло близким, да и не только им.

Писатель, дорожащий традициями реалистического искусства, умеет сплавить воедино индивидуальное с типичным. Фигура Гриммбергера—образец такого сплава. Ставя эту фигуру в центр событий, романист получает возможность создать представление о ходе и об исходе классовой борьбы в немецкой деревне. Ведь Гриммбергер — это, пользуясь нашей терминологией, середняк, который находится на распутье; от того, пойдет ли он вперед или назад, зависит многое в судьбе его родины.

В книге выведены и кулаки — Гайзеры, Хагены,— причем автор, а с ним и многие его герои свободно пользуются этим русским словом. Ничего не упрощая, писатель изображает истинную сложность социально-политической ситуации, с которой сталкивается Волни, когда он как представитель Социалистической единой партии и рабочего класса приезжает в ту самую деревню, где живет его друг Гриммбергер.

Волни и Гриммбергер... Именно потому, что возникающий между ними личный конфликт обретает общественный характер, писатель внимательно прослеживает этот конфликт от начала и до конца. Во взаимоотношениях Волни и Гриммбергера, как в фокусе, преломляется борьба нового со старым, происходившая и происходящая в немецкой деревне; повествование, кстати сказать, датируется 1959 годом.

Волни знает: задача, поставленная перед ним партией, не будет решена, если ему не удастся приобщить Гриммбергера к новой жизни.

Лишь тогда, когда Волни проливает в этой борьбе свою кровь, Гриммбергер осознает, куда его завел частнособственнический инстинкт. Ведь он, прежде рисковавший собой ради спасения друга, теперь оказывается заодно с его врагами. Субъективно у Гриммбергера нет ничего общего с молодым Гайзером, поддерживающим связь с фашистами в ФРГ, стремящимся любым путем, хотя бы и путем кровавого террора, вернуть старые времена. Объективно же они едва не оказываются вместе.

Не только в связи с Гриммбергером и его судьбой, но и в ряде других случаев писатель требует подлинно гуманного решения сложных вопросов, возникающих в процессе трудного перехода от старого к новому. Гуманизм, по его мнению, включает в себя и бдительность и доверие. К таким, как Гайзер, нужна бдительность; к таким, как Гриммбергер, нужно доверие. Более того, коллектив должен помочь подобного рода одиночкам выйти на правильный путь.

Светлое будущее Гриммбергера и мрачная кончина Гайзера, для которого вообще нет будущего, представляются читателю в равной степени закономерными. И это значит, что в романе верно отражена историческая перспектива.

У Шинделя, одного из героев романа, несколько особые представления об исторической перспективе. Ему бы хотелось, чтоб революция, в которую он верит, совершилась в два счета. Делать революцию он предпочел бы только с самыми сознательными, самыми верными и самыми храбрыми ее сторонниками. Колеблющихся он сразу же зачисляет в разряд врагов. Гриммбергера и Гайзера он готов стричь под одну гребенку. Возглавляя сельскохозяйственный производственный кооператив, Шиндель иной раз действует так, что приносит не пользу, а вред.

Образ Шинделя удался автору не меньше, чем образ Гриммбергера.

Автор относится к Шинделю точь-в-точь так же, как относится к нему Волни. А тот громко ругается, потихоньку смеется и серьезно предупреждает, что Шиндель может, если не перестанет «загибать влево», стать помехой на пути вперед. И все же Волни, а с ним и автор любят Шинделя за искреннюю преданность общему делу, которое является делом его жизни. Но это не мешает им добродушно посмеиваться над Шинделем, который нередко попадает в забавные ситуации вроде следующей. чтобы подавить в себе частнособственнический инстинкт, Шиндель сворачивает шеи принадлежащим ему породистым петухам; однако есть куриный суп, сваренный женой, отказывается, это выше его сил...

Итак, в книге, как и в жизни, немало веселого и немало грустного. А в общем она оптимистична, как оптимистичны и все хорошие книги, созданные писателями ГДР.

На конференции молодых писателей ГДР творческий труд Бернгарда Зеегера оценили

высоко. Однако там же отметили и существенный недостаток его книги. Люди младшего поколения обрисованы в ней гораздо более бледно, чем люди старшего поколения. У Волни много единомышленников среди деревенской молодежи, но читатель получает о них недостаточно яркое представление.

Тридцатипятилетний Бернгард Зеегер относится к молодым писателям ГДР. «Осенний дым» — не первая его книга, но безусловно самая интересная. Ее значение прежде всего в том, что автор убедительно показывает, как в его стране новое торжествует над старым.

Л. СИМОНЯН

Нгуен Динь Тхи. Вперед, в атаку! Повесть. Перевод с вьетнамского М. Ткачева. Предисловие П. Антокольского. Москва, «Молодая гвардия», 1961. 141 стр.

УВЕРЕННЫЕ В БУДУЩЕМ

Словно уродливые шрамы вздыбливают разбитые неприятельские доты прекрасную землю Вьетнама. Их ослепшие бойницы тупо глядят в разные стороны. И со всех сторон, на всех дорогах возвышаются бесчисленные памятники братских могил. Надпись на них — «Родина помнит вас» — звучит как клятва погибшим товарищам. Но вот вблизи Хайфона, рядом со сплошь исковерканной дотами крутой горой, на склоне которой люди гигантскими буквами начертали: «Долой Нго Динь Дьема!», высится обелиск на могиле французских солдат, сложивших головы на чужой земле, за чужое дело. «A nos morts» — «Нашим мертвым» — кратко и сухо выведено на обелиске. Оставшиеся в живых участники долгие годы длившейся здесь «грязной» войны не могли найти для своих соратников более теплых, человечных слов.

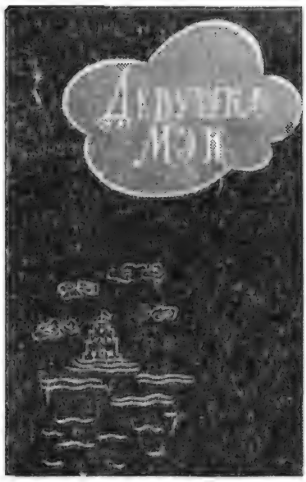
Со времени официального окончания военных действий во Вьетнаме прошло восемь лет. Но восемь лет на юге страны продолжается война. Семнадцатая параллель кровавым рубцом рассекает не только живую плоть страны. Она разделяет почти каждую семью, разлучает любящих и друзей. В сознании вьетнамца война не отошла в прошлое. И книги о военных годах по-прежнему глубоко волнуют.

Нгуен Динь Тхи, известному поэту, прозаику, критику, было двадцать семь лет, когда он написал повесть «Вперед, в атаку!». Написанная солдатом, она создавалась в перерывах между сражениями, ночами накануне атак. Она вышла из самой гущи войны Сопротивления, и любой вьетнамский патриот мог легко узнать себя в ее героях.

Книга Нгуен Динь Тхи появилась в свет в 1951 году на освобожденной от захватчиков территории, потом попала в оккупированный французами Ханой, и ее перепечатали в подпольных типографиях. Книгу передавали друг другу тайком, где можно, читали вслух — она тоже была оружием в общенародной борьбе.

Нгуен Динь Тхи берет короткий отрезок времени — всего несколько дней, описывает эпизоды военной жизни одной роты Народной армии. Он крупным планом показывает бойцов и командиров роты. Несколькими штрихами удивительно верно и поэтично воссоздает пейзаж одной из северных провинций. Все очень скупо, лаконично, стремительно. И в то же время просто, безыскусственно. Рассказ ведется внешне как будто беспристрастно, и поэтому особенно ярко проступает какое-то удивительное величие души вьетнамского народа.

Особенно удался автору образ политрука роты Шана. Еще совсем молодой, но уже начинающий седеть, без руки, больной чахоткой, он, казалось, забыл о своих недугах. Шан — душа роты, ее бойцы спаяны хорошей, крепкой дружбой. Вот один из них, выбывший по ранению, решил жениться. И политрук, и командир Кха всячески помогают ему, а Шан посылает жениху свою новую рубашку. Погибла семья До — это общее



Девушка Мэн. Рассказы. Перевод с вьетнамского Н. Никулина и М. Ткачева. Предисловие А. Первенцева. Москва, Издательство иностранной литературы, 1962. 167 стр.

горе. Дезертировал боец — и Шан прежде всего винит себя. Малодушничает солдат — товарищи тактично, но настойчиво опекают его во время боя. Тоска по мирной жизни, огромная доброта людей, нерастраченная ласка особое свое выражение находят в отношении к детям. В повести дети появляются редко, но руки солдат сразу тянутся помочь и защитить их. С большой, можно сказать, трагической силой написан образ вьетнамского орленка, связного Люн, гибнущего под выстрелами оккупантов.

И самое ценное — автор сумел раскрыть всенародный характер Сопротивления. В стране не было фронта и тыла в обычном понимании. Весь народ стал солдатом.

Рота Кха и Шана все время движется в сопровождении «народных носильщиков». В больших корзинах на коромыслах или просто на плечах несли они бойцам продовольствие, боеприпасы, штурмовые мостики. Дни и ночи, по крутым горным тропам, по бездорожью, вброд. Вслед за армией. Или рядом. Если нужно, брали лопаты и копали оборонные укрепления. Женщины, девушки, подростки, старики. Плечом к плечу.

Народ защищал свою землю, и она дала ему несокрушимую силу. Победа в неравной, казалось бы, борьбе возвестила о себе внезапно наступившей непривычной тишиной. Но с первых же минут так трудно давшейся мирной жизни бойцы, с горечью вспоминая о павших товарищах, задумывались о будущем. «Я еще за многое в ответе»,— говорит Шан.

Мирной жизни победившего народа посвящено большинство рассказов, вошедших в сборник «Девушка Мэн». Лишь один из них — «Письмо из дому» Хо Фыонга — относится непосредственно к годам войны. Но и другие («Девушка из джунглей» Ким Лана, «Дот» Тяу Зиена, «Высоко в горах» Нгуен Нгока, «Общий ребенок» Тьенг Зунга) овеяны тяжелым дыханием военных лет.

Надо отдать справедливость тем, кто работал над этой книгой,— и отбор вошедших в нее десяти рассказов десяти авторов, и переводы выполнены с большим вкусом и любовью. Вся прелесть рассказов — в народности, в сочном колорите, во множестве примет, раскрывающих неповторимое своеобразие природы, новые условия жизни, изменения в психологии людей — строителей социалистической страны.

Шестьдесят народностей насчитывается во Вьетнаме. Многие из них обитают в далеких горах, но революция пришла и сюда. Герои удивительно поэтичных рассказов — «Девушка Мэн» Нонг Минь Тяу и «Высоко в горах» молодого прозаика Нгуен Нгока — принадлежат к народностям таи и мео. Они живут одной жизнью, одними помыслами со всеми своими соотечественниками.

И в этом сборнике большой теплотой проникнуты рассказы о детях. Тьенг Зунг описывает волнующую историю спасения мальчика вчерашними бойцами, сегодняшними членами трудовой бригады (рассказ «Общий ребенок»). Известный новеллист Буи Хиен прекрасно передает психологию малыша, которому впервые поручают ответственное дело—пасти буйволенка («Первый рабочий день маленького Ти»). Читая этот прелестный, проникнутый мягким юмором рассказ, так и видишь обычный для страны пейзаж: сгущающиеся сумерки, блики заходящего солнца на рисовых полях и хрупкий мальчишеский силуэт на спине купающегося после работы буйвола.

Вьетнамцы шутя говорят о себе, что они быстро едят, медленно ходят и много смеются. Быстро едят? Может быть, это и так. Медленно ходят? Нет, это давно устарело. Всё и все двигаются очень быстро — впереди немало работы. А вот смеются действительно много, от всей души, как люди, уверенные в своем будущем.

В сельских зарисовках талантливого молодого писателя Нгуен Кхая, названных им «Как быть с буйволами», много юмора, тонкого и злого. Но смех не мешает автору подымать очень серьезные вопросы — об общественном и личном, о крахе духа собственничества, о тех ростках нового в сознании людей, что крепнут с каждым днем.

Эти темы волнуют и других авторов. Ву Тхи Тхыонг в «Верше» описывает человека, который пытался жить по старинке и не остался в полном одиночестве только потому, что люди пришли ему на помощь. Изменилась самая атмосфера, говорят писатели: те, кто идет вспять, уже не в силах увлечь за собой других. Зато на первый план выходят герои наших дней.

Один из них — председатель провинции Хоанг из рассказа Хонг Ву «Командир

борьбы против наводнения». Во многих районах Вьетнама страшнейшая засуха внезапно сменяется тропическими ливнями, которые могут привести к наводнению. Эта угроза, подкрадывающаяся незримо и неожиданно, напоминает Хоангу карательные отряды. Но люди самоотверженно борются со стихией, и враг снова отступает.

Для Лыонга, бойца Народной армии (рассказ Хо Фыонга «Письмо из дому»), карательные отряды не воспоминание, а страшная явь. Еще идет война, и Лыонг узнает, что каратели надругались над его невестой, убили родителей, разрушили кров. «Не очень уж прочная это штука — загрубевшая душа солдата...» — говорит автор о потрясенном юноше. Но борьба с карателями не прекращалась ни на один день. «Они уже четыре раза сжигали нашу деревню, а мы четыре раза ее восстанавливали...» — рассказывает один из местных жителей. Лыонг встречает свою невесту, ставшую партизанкой. Она будет ждать его, и он вернется. Вернется в свой край — угольный Хонгай, где работал и его отец, и он сам.

Хонгай. Богатые угольные карьеры. Рядом Хайфон, крупный промышленный центр, огромный порт.

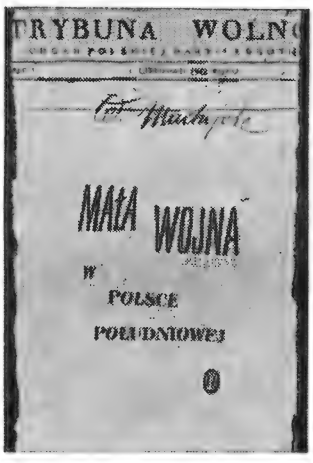
В маленьком музее хайфонского порта висят интереснейшие фотографии. Вот он, последний из французских захватчиков, покидающих Хайфон. Худой, с опасливыми воровскими движениями, он не идет, а отступает к пароходу, не решаясь повернуться спиной к вьетнамским морякам. Последний из чужеземцев, которые за многие десятки лет так ничего и не поняли на этой земле. А на своем берегу, повернув оружие в сторону отплывающих пароходов, спокойно стоят стройные вьетнамские парни.

Любимый и поистине народный поэт То Хыу писал еще в 1945 году:

Не креветкам поднять морскую волну,
Не воронам солнце затмить.
И не тем, кто грабил нашу страну,
Во Вьетнаме прекрасном жить!

Нужно быть слепым, как разбитые неприятельские доты, нужно иметь душу, пустую, как их бойницы, чтобы думать, будто кому-нибудь удастся поставить на колени отважный и талантливый народ Вьетнама.

С. ЧЕРНИКОВА



Władysław Machejek. Mała wojna w Polsce Południowej. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1962.

ГЕРОИ «МАЛОЙ ВОЙНЫ»

Большая война гремела далеко на Востоке. У стен Ленинграда, на берегах Волги. Но отголоски ее доходили и в оккупированную фашистами Польшу, где разгорались очаги «малой», партизанской войны.

...Коммунистам Меховского уезда были переданы слова представителя партийного центра: «Товарищ Петр спрашивает, разве сражаться должны только советские люди?.. Командир подразделения Красной Армии Клочков сказал: «Велика Россия, а отступать некуда: позади Москва». А нам, полякам, есть куда пятиться?

Теперь уже не до дискуссий. Начнем лесную войну с тем, что у нас в руках... добудем оружие в бою — такое было принято решение».

Бойцам Гвардии Людовой, вскоре преобразованной в Армию Людову, партии, которая вела их к победе, посвятил свою новую книгу «Малая война в Южной Польше» известный польский писатель Владислав Махеек. Его автобиографическая повесть «Утром пронесся ураган» хорошо известна советским читателям. На этот раз писатель выступил в несколько необычном для него жанре исторического очерка. Однако произведение Махеека далеко от сдержанной академичности чисто научного труда. Это взволнованный, с лирическими и публицистическими отступлениями рассказ активного участника событий о единомышленниках и товарищах по оружию.

Недавно, делясь своими мыслями о польской военной литературе,

Ежи Путрамент отметил, что необходимо показывать партию как главную движущую силу народа, причем в конкретно-исторических условиях, и не подменять идейной глубины драматическими эффектами. Думается, что «Малая война в Южной Польше» В. Махеека отвечает этим пожеланиям.

Автор точно передает суровую правду времени. Польская рабочая партия только брала разбег. Не хватало оружия и командирских кадров. Между тем положение в стране требовало немедленного перехода к вооруженной борьбе — к высшей форме сопротивления. Вопреки огромным трудностям партия создала и послала в бой Гвардию Людову. Это оказалось возможным потому, что она нашла поддержку в народных массах. Простые люди увидели в коммунистах выразителей своих свободолюбивых чаяний и единственных защитников.

Автор приводит документы, свидетельствующие о том, как в то же самое время командование подчиненной эмиграционному правительству Армии Крайовой, вопреки воле патриотически настроенных рядовых аковцев, стремилось превратить свои отряды в полицейские силы, борющиеся с активными антифашистами.

Своеобразие тогдашней обстановки в Польше состояло в том, что коммунисты-подпольщики и партизаны действовали в условиях двойного террора: гитлеровцев и агентуры эмиграционного правительства.

От призывов облегчить фашистам движение на восток, и не допускать, чтобы «поляки приложили руку к поражениям немцев», реакция перешла фактически к выполнению «немецкой работы польскими руками». Орган польской фашистской организации Народовы Силы Збройны — «Шанец» писал в октябре 1943 года: «Мы утверждаем со всей категоричностью, что коммунисты являются дичью, на которую можно охотиться без каких-либо ограничений. В них разрешается стрелять пулями и дробью, на них можно ставить капканы...».

Тогда же в лоне Армии Крайовой опытные «специалисты» срочно разрабатывали проекты концлагерей для изоляции «коммунистов и прочих подрывных элементов» после освобождения Польши западными союзниками, выпускали инструкции, где «научно» обосновывалось благотворное влияние побоев на заключенных. По стране шныряли тысячи агентов, составляя «черные списки», которые нередко попадали в руки гестапо. Банды Народовых Сил Збройных зверски расправлялись с больными и ранеными партизанами, лечившимися в деревнях, вероломно нападали на небольшие отряды Армии Людовой, убивали коммунистов из-за угла, выдавали их гитлеровцам.

Несмотря на террор и оголтелую клевету вражеской пропаганды, которая тщетно пыталась подорвать доверие народа к коммунистам, вызванное их подлинно национальной политикой, Армия Людова становилась центром консолидации патриотических сил. В эти формирования вливались различные стихийно возникшие отряды и группы народных мстителей.

Армия Людова приняла в свои ряды много советских воинов, бежавших из фашистского плена, и еврейской молодежи, вырвавшейся из гетто. Позднее, особенно к 1944 году, с ней начали сотрудничать, нарушая директивы своего командования, некоторые отряды Армии Крайовой.

Партизаны наносили все более ощутимый урон врагу. И вот они уже контролируют обширные лесные районы. Для поддержания «порядка» гитлеровскому командованию все чаще приходилось снимать с фронта целые дивизии, придавать карательным экспедициям танки, авиацию. Кстати, название книги «Малая война в Южной Польше» уже ее содержания: автор постоянно упоминает о деятельности коммунистов и в других районах, создавая тем самым картину антигитлеровского фронта в масштабах всей страны.

К достоинствам книги Махеека относится и то, что наряду с исчерпывающей характеристикой обстановки в ней показаны живые люди. И прежде всего руководители местных партийных организаций, командиры Армии Людовой. Они умели самоотверженно биться с фашистами и по-настоящему дружить.

С сердечной теплотой пишет автор о большой роли в польском Сопротивлении советских партизан, которые служили примером мужества и высокой идейности, о немецких коммунистах, сражавшихся плечом к плечу с поляками и русскими против общего врага. Эрвин, Фриц, Иоганн. Все они пали в бою. Когда кончились патроны для противотанкового ружья, Эрвин бросился с гранатой под вражеский танк.

Одним из первых в народной Польше Махеек рассказывает об участии литераторов-коммунистов в Сопротивлении. Эмиль Дедиц, Игнацы Фик, Анджей Бурда и другие сочетали ответственную партийную работу с творчеством. Сотрудничали в подпольной печати, создавали стихотворные агитационные лозунги, которые появлялись на стенах домов, слагали партизанские песни. (Автор скромно вынес в приложение собственные партизанские стихи военных лет.) Эти писатели-борцы доказали на практике, что они считают литературу частью общепартийного, общенародного дела. В посвященных им строках чувствуется упрек в адрес эстетствующих литераторов, по мнению которых политическая активность — лишь проявление суетности, недостойной высокого искусства.

...Герои «малой войны». Я видел, как летом 1944 года они вступали в освобожденный Люблин. Вспоминаются слова из популярной их песни «Идут польские партизаны», написанной Эмилем Дедицем. Ее пели на мотив «По долинам и по взгорьям». Вскоре с этой же песней бойцы Армии Людовой пошли на запад, уже в рядах Войска Польского, сражаясь бок о бок с советскими солдатами. В лесах Померании, на Одере и в пылающем Берлине они становились героями большой войны.

М. ИГНАТОВ

Гарри Блум. Эпизод в Трансваале. Перевод с английского Н. Ветошкиной под редакцией В. Ефановой. Вступительная статья Л. Степанова. Москва, Гослитиздат, 1962. 350 стр.

ЭПИЗОД БОРЬБЫ

«Эпизод в Трансваале» — первый роман Гарри Блума, иоганнесбургского адвоката и журналиста. Название может показаться бесцветным. Но вот книга прочитана, и оно всплывает в сознании снова — четкое, весомое, преображенное ее содержанием Да, всего лишь эпизод из жизни Южно-Африканской Республики и притом далеко не исключительный. Эпизод, который именно в силу своей типичности дает яркое и точное представление о стране, где расизм — основа основ государственной политики, где скрытое пламя народного возмущения все чаще и чаще вырывается на поверхность.

Нельструм, вымышленный городок вблизи гор Свазиленда, 1953 год... Нарядные виллы богачей, чистенькие кирпичные коттеджи, обсаженные кустами роз и персиковыми деревьями,— «белая» часть города интересует автора в гораздо меньшей степени, чем его «нищая половина, мрачный двойник» — резерват. За оградой из колючей проволоки, в тростниковых хижинах, в глинобитных хибарках, в домишках из рифленого железа и мешковины ютятся чернокожие. Ремесленники, рудокопы, поденщики, прачки — те, кто обслуживает «белый» город.

По утрам у кабинета Дютуа, уполномоченного по резервату, выстраиваются длинные очереди. Бесстрастный стук печати и беспокойное биение сердец. Каждый взрослый мужчина подлежит регистрации и обязан всегда носить пропуск. Если он потеряет работу, нарушит хоть одно из бесчисленных предписаний, его благополучие — весьма относительное благополучие — повисает на волоске. Его ожидает штраф, тюрьма и — едва ли не самое страшное — лишение пропуска и высылка из резервата. «Человек становится бумажкой, его семья — пачкой таких бумажек, его дом — номером в реестре, его работа — желтым бланком; у него нет уверенности ни в чем, жизнь и безопасность человека стóят ровно столько, сколько стоят клочки бумаги, которыми набиты его карманы». Бюрократическая паутина помогает правителям ЮАР сохранять контроль над коренным населением и эксплуатировать его труд. Провинившиеся африканцы — даровая рабочая сила для крупных фермеров, и Гарри Блум не забывает подчеркнуть экономическую заинтересованность африкандерской и английской буржуазии в системе пропусков.

«Эпизод в Трансваале» — роман о бунте против издевательской расистской «опеки», о стихийном грозном порыве народа к свободе, о людях, посвятивших себя освобождению родины. События разворачиваются стремительно, обстановка внезапно накаляется до предела.

Прачка Мэри Лукхеле недодала хозяйке воротничок от рубашки. При аресте полицейские зверски избили Мэри, а во время ночной облавы застрелили ее мужа. Дабы в дальнейшем чернокожие прачки не досаждали белым хозяйкам, уполномоченный Дютуа объявил о введении пропусков и для женщин. Теперь любой из них угрожало изгнание из резервата и разлука с семьей: достаточно, чтобы уполномоченный счел ее «нежелательным элементом».

С драконовыми законами и зверством полиции африканцы сталкиваются ежедневно и ежечасно. Но в какой-то момент чаша терпения переполняется, страх исчезает, и ненависть выплескивается на угнетателей. Так было и в Нельструме, когда на стенах домов появились призывы к неподчинению, когда град камней обрушился на полицейских, запылала машина Дютуа, в костер полетели регистрационные книги, картотеки. И пусть резерват кровью заплатил за свой порыв — ведь это только эпизод,— борьба не окончена. Гарри Блум видит ее в победной перспективе, и поэтому спокойной, уверенной силой веет от героя книги Мабасо.

Мабасо — человек, который достоин вести за собой народ. Рабочий-механик, солдат второй мировой войны, сражавшийся против Роммеля, он давно понял, что его место — в рядах борющейся Африки. Пятнадцать лет назад у него на глазах погиб отец под поли-

цейскими дубинками. Мабасо приезжает в Нельструм по приглашению местной группы Африканского национального конгресса, и вскоре его имя настороженно повторяют Дютуа и его приспешники, а жители резервата — с уважением и надеждой. Во время бунта он бесстрашно выступает против нового закона, и вся злоба врагов сосредоточивается на нем. Его убивают на второй день после ареста — «при попытке к бегству».

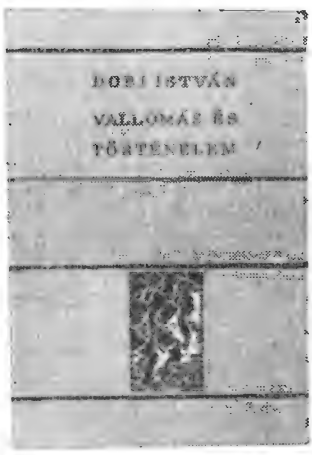
В образе Мабасо, нарисованном тепло и бережно, есть устремленность в будущее. Мабасо размышляет о колоссальных преобразованиях, которые предстоит осуществить в стране после свержения колониализма, он глубоко верит в преемственность своего дела, в то, что молодое поколение — его сын и товарищи сына — будет действовать умнее, отважнее, успешнее, опираясь на опыт отцов. Рядом с Мабасо удивительно жалким выглядит навязанный народу в руководители «солдат апартеида» Дютуа.

Ограниченный, педантичный Дютуа довольно долго мнит себя отцом резервата, наставляющим на путь истинный неразумных туземцев. Он втискивает судьбы двенадцати тысяч людей в прокрустово ложе расистского законодательства. После бунта, объятый паническим ужасом, подавленный сознанием своего бессилия, Дютуа покоряется фашиствующему лейтенанту Свенепулу и подписывает заведомо ложные показания, растеряв последние остатки добропорядочности. Это — характерно. В периоды социальных обострений дютуа всегда уступают инициативу молодчикам типа Свенепула.

Начальник нельструмской полиции Свенепул — законченный, убежденный расист, усвоивший и гитлеровскую демагогию и гитлеровские методы расправы. Вполне под стать ему миссис Росс — дама, возглавляющая местную группу правящей Национальной партии, Комитет по делам туземного населения и стрелковый клуб. В страхе перед «черной опасностью», она жаждет «организовывать женские боевые отряды, направлять депутации в Преторию и давать интервью корреспондентам».

«Эпизод в Трансваале» — значительное произведение современной южно-африканской прозы. Это политический роман, написанный энергично, смело, эмоционально и несущий в себе пафос борьбы. Читая, как резерват дружно, в едином ритме шел к кузнецу Синди, чтобы разбить наручники на людях, арестованных и брошенных на улице растерявшейся полицией, нельзя не подумать о дне, когда кузнецы революции разобьют последние оковы на могучих черных руках Африки.

А. ПЕТРИКОВСКАЯ



Dobi István. Vallomás és történelem. Budapest, Kössuth Konyvkiadó, 1962.

«ИСПОВЕДЬ И ИСТОРИЯ»

Многое видел, многое пережил человек, который родился в начале века и в 1962 году публикует свои воспоминания. Ту пору, когда он был ребенком, со вздохом называли «мирным временем». Он был тем, кому пришлось отстрадать первую мировую войну, тем, кто легко мог стать солдатом революции и стал жертвой белого террора. Он немало перенес в мрачные годы фашизма, в дни второй мировой войны, и дожил до великого исторического поворота — освобождения родины, стал свидетелем подъема своего народа, борцом победоносного социализма.

Трудно даже представить себе, что все это — жизнь одного человека. Какие интересные воспоминания может написать тот, кто принимал участие во всех этих событиях, наблюдал их глазами крестьянина-бедняка и становился все более сознательным их участником! Именно такой захватывающе интересной является книга товарища Иштвана Доби, члена Центрального Комитета Венгерской социалистической рабочей партии, председателя Президиума Венгерской Народной Республики — «Исповедь и история».

Само название указывает на то, что автор с достоверностью очевидца описывает события, соединяя свою судьбу и судьбу народа.

Книга эта — исповедь, потому что с искренней, порою доходящей до беспощадности к себе прямотой повествует о трудной жизни автора, о его семье; книга эта также — история, ибо в ней рассказано обо всем, что в последние полстолетия пришлось пережить многим миллионам венгров.

Жизнь и политика не существуют обособленно друг от друга. Эта мысль звучит

в мемуарах И. Доби с необычайной убедительностью.

Композиция книги ясна и проста. События освещаются в хронологическом порядке, но в случае нужды автор отступает от него, чтобы нарисовать законченный портрет или сделать обобщающий вывод. Стиль его строг, неторопливый и спокоен — настоящий, хороший, повествовательный венгерский стиль. Эта неторопливость делает рассказ только более живым, наглядным. Словно с вами говорит мудрый, много повидавший сын народа с большим жизненным опытом, накопленным в невзгодах и боях.

Читая книгу, я то и дело думал о том, как сильно изменилась в последние два десятилетия наша страна и наши люди. Сам автор, выходец из батраков, занял высокий государственный пост в социалистической Венгрии. И это стало возможным только потому, что весь народ тоже поднялся до больших высот — высот настоящего человеческого достоинства. Так общее и индивидуальное сливаются в судьбе одного человека — автора книги.

«Исповедь и история» убеждает нас в том, что венгерский бедняк, городской и сельский пролетарий, никогда не забывал 1919 года, носил память о нем в своем сердце, с уверенностью и надеждой ждал новой революции. Это подтверждает пример революционной деятельности рабочих г. Комарома, сельскохозяйственных рабочих деревни Сёнь, которые появляются на страницах воспоминаний Иштвана Доби. А то, что было в Комароме и Сёни, происходило и во всей стране.

Перелистывая книгу, видишь, как формировались личность, характер автора. Сначала это пытливый ребенок, с восприимчивым острым умом. Первая выкристаллизовавшаяся в нем черта — гордое достоинство. «От отца я не унаследовал материальных благ, но всегда хотел быть самостоятельным. Это стремление, сопровождавшее меня на протяжении всей трудовой жизни, и было отцовским наследством»,— пишет он. Работа на лесопильне, встреча с рабочими-социалистами, солдатчина в первую мировую войну и, наконец, революция 1919 года воспитали в молодом сельском пролетарии чувство классового самосознания. Политический опыт его в годы контрреволюции обогатила работа в сельской организации социал-демократической партии, в партии мелких сельских хозяев (он примыкал к левому ее крылу), потом — в государственной сельскохозяйственной палате. Тяжелый крестьянский труд, лишения, постоянные преследования, а нередко и избиения — все это превратило Иштвана Доби в революционера, последовательного, верного своему классу политического борца.

Классовая верность, непоколебимая твердость, принципиальность не позволили ему стать жертвой господствующего класса, поддаться заманчивым посулам разных благ и привилегий. Иштван Доби отказывается баллотироваться в депутаты парламента, дает решительный отпор помещикам, предложившим ему членство в сенате. Он хорошо знает, где его место.

Вот как, например, рассказывает он об одном богатом крестьянине, который, когда семья Доби особенно бедствовала, устроил его на работу и к которому он питал самое дружеское расположение: «Мы по-человечески сблизились, но если б не освобождение, я так до самой смерти и остался бы пролетарием... И Ласло Селеи остался бы богачом. При таком государственном строе, где решающее значение имеет имущественное положение, между богачами и беднякими, предпринимателями и рабочими редко возможна была дружба, насыщенная подлинно человеческим содержанием, дружба, которая могла бы перейти в настоящие братские отношения».

Жизнь самого автора, судьба сельскохозяйственного пролетария, описанная в книге, правдиво показывает, как обездолен, угнетен, обезземелен был трудовой народ в хортистской Венгрии. С помощью потрясающего сравнения раскрывает перед нами автор жизнь забитых крестьянских детей, обреченных на непосильный труд с самого раннего возраста.

На хозяйского жеребенка смотрит жнец и размышляет: «...Вот четвероногое животное весело и беззаботно резвится возле матери. Одет он самой природой, и никто не ограничивает его свободы: играй, прыгай сколько душе угодно. А двуногий человеческий детеныш не может ни порезвиться, ни попрыгать. Слишком тяжела ноша, которую мать навьючит ему на спину... Пот заливает лицо, потому что солнце печет немилосердно, а к лицу липнет пыль. И чем длиннее дорога, тем гуще грязь на его лбу и щеках...

Вот крестьянка отправляется в поле — и обязательно тащит что-нибудь, нагруженная, как лошадь, а рядом и сзади бегут еще два-три двуногих жеребенка с тюками за плечами... А тюки такие, что непонятно, кто кого тащит: человек ношу или ноша человека...»

Жажда действия, жажда быть полезным народу приводит автора в социал-демократическую партию. В течение ряда лет ведет он работу в социалистической организации деревни Сёнь, попадает в уездный совет, но попутно основательно знакомится с внутренними противоречиями в партии, с оппортунизмом и даже предательством ее правых руководителей. Когда под нажимом властей партийная организация распалась, Иштвана Доби пригласили в Независимую партию мелких сельских хозяев, как раз тогда создававшуюся. Он долго советуется с товарищами, затем с их одобрения и по собственному желанию принимает предложение.

Книга дает яркое представление о партии мелких сельских хозяев как до, так и после освобождения

Венгрии. Она была местом сбора самой разношерстной оппозиции.

«В списке кандидатов партии мелких сельских хозяев,— пишет Иштван Доби о временах, предшествовавших освобождению,— мирно уживались сторонники земельной реформы и ее противники, люди, которые сокрушались из-за низких цен на сельскохозяйственные продукты, и те, кому и корка хлеба не по карману. Здесь были уповавшие на дальнейшее повышение цен на промышленное сырье и желавшие, наоборот, увеличить ножницы между ценами на промышленные и сельскохозяйственные продукты в пользу последних. Для Петера Ковача поденная плата высока. Янош Киш хочет, чтобы ее подняли еще выше. Богатые и бедные, шовинисты, благонамеренные патриоты и интернационалисты, ориентирующиеся и не ориентирующиеся в политике люди чередуются в этом списке...»

Очень схожая картина наблюдается в партии мелких сельских хозяев и после освобождения: «Есть здесь хортисты, явные и тайные легитимисты, которые ждут из Америки Отто Габсбурга, фабриканты и крупные помещики, графы и евреи банкиры, отставные и находящиеся на действительной службе офицеры, бывшие чиновники, буржуазные демократы и либералы, прогрессивные и реакционные интеллигенты, кулаки, заискивающие перед своими прежними господами, и такие, которые держатся поближе к беднейшим крестьянам, догадываясь, что будущее за ними.

Есть в партии и трудящиеся крестьяне, но их поразительно мало...»

Едва ли можно более сжато и выразительно показать, что если до освобождения партия мелких сельских хозяев еще могла быть убежищем для сторонников прогресса, то после освобождения она неизбежно стала пристанищем всякого рода реакционных элементов, с которыми приходилось бороться. И в этой борьбе убеждения и многолетний политический опыт привели Иштвана Доби на единственно верный путь — путь сотрудничества с социалистической революцией. «Легко, конечно, теперь, в свете марксизма-ленинизма, правильно судить о тогдашних партиях»,— могут сказать иные критики. Однако сами действия автора показывают, что он, и не будучи еще последовательным марксистом, прекрасно знал, что нужно делать и чего нельзя.

В книге мы находим рельефные портреты тех политических деятелей, с которыми автору приходилось близко соприкасаться. С неизменным уважением говорит он о стойких бойцах коммунистической партии Шаллаи и Фюрсте, делится воспоминаниями о грандиозной демонстрации 1 сентября 1930 года. Тепло обрисовывает он облик Эндре Байчи-Жилинского *, поднявшегося до высокого патриотизма; с трезвой критикой относится к Золтану Тилди ** и сурово, решительно осуждает карьеризм и позорное предательство Ференца Надя *** и его приспешников.

Двухтомное произведение Иштвана Доби — исповедь политического деятеля, до конца верного народу и всегда готового служить его благу. Это исповедь сельскохозяйственного пролетария, который прошел также и путь промышленного рабочего. Двойная закалка и обусловила превращение его в истинного революционера, верящего в победу, в последовательного сторонника союза рабочих и крестьян, который видит в социалистической кооперации единственно возможный для крестьянства путь. Во имя этих целей он боролся всю свою жизнь, оставаясь верным им даже тогда, когда ему наносили незаслуженные обиды. Он никогда не ставил личные обиды выше идей, которым был предан, которым сохранил верность и во время трагических событий, происшедших в Венгрии несколько лет назад.

Символом теснейшего единства с народом как бы служит привязанность Иштвана Доби к родной деревне: «Сёнь навсегда останется для меня домом,— пишет он,— точно так же, как дом, где я родился, вырос и который навещаю теперь. Пока я жив, она будет для меня самым близким и дорогим пристанищем». О глубокой человечности, под знаком которой протекала его жизнь, говорит такое место: «В течение своей жизни я не раз приходил к выводу, что терпеливая беседа с трудящимися, убеждение, если только оно последовательное и настойчивое, всегда достигали цели».

«Осенью 1959 года я попросил принять меня в Венгерскую социалистическую рабочую партию, партию коммунистов,— читаем в заключение книги.— Наконец-то я дома».

Книга Иштвана Доби «Исповедь и история» — интересное, поучительное чтение для всех.

ИШТВАН ДАРВАШИ
(«Непсабадшаг»)

---

* Венгерский дворянский политический деятель, во время войны занявший антигитлеровскую позицию и в 1944 году убитый фашистами. *(Прим. перев.)*

** Деятель партии мелких сельских хозяев; после 1945 года был некоторое время президентом Венгерской Республики. *(Прим. перев.)*

*** Реакционный деятель партии мелких сельских хозяев; организовал в 1948 году заговор против республики и после его провала бежал за границу. *(Прим. перев.)*

Н. АБАЛКИН

КОРАБЛЬ ПОЙДЕТ НА ДНО...

На XXXI международной художественной выставке в Венеции

Абстрактное искусство еще в фаворе. Оно властно захватило почти все павильоны XXXI международной художественной выставки-биеннале в Венеции. И ничто как будто не предвещает скорого крушения его затянувшейся диктатуры. Все идет здесь по давно заведенному ритуалу: на открытие выставки приезжает из Рима сам президент республики и вручает художникам-абстракционистам миллионные премии. Правда, в последний раз торжественность этой церемонии была несколько нарушена одним гостем, выпустившим в знак протеста несколько раскрашенных мышей. Но никто, кажется, не признал в испуганных цветных мышах символических крыс, бегущих с тонущего корабля абстракционизма. Корабль этот пока еще покачивается в водах искусства и не намеревается спускать своего флага, свертывать своих парусов. Он даже собирается в дальнее плавание, надеясь со временем прибыть в порт будущего, к тем далеким поколениям, которые, по расчетам абстракционистов, должны будут непременно признать абстракционизм и воздать ему должное. Что ж! Уповать на признание потомков никому не возбраняется, каждый может тешить себя призрачными надеждами.

Абстракционисты полагают, что именно их искусство достигло наиполнейшего соответствия нашему атомному веку, поднявшему научно-техническую мысль к новым, неодолимым ранее высотам. Да, новое время рождает и новые песни. Но почему это соответствие должно непременно выражаться в столь категорическом отрицании всего предшествующего художественного опыта, в катастрофическом распаде художественного образа и формы зримого нами мира, в демонстративном отказе от изображения действительности? Разве расщепление атома влечет за собой неизбежное расщепление человеческой личности, ее духовного ядра?

Наш век знаменателен не только своим научно-техническим прогрессом, но и прогрессом — и это главное — социальным. Мир по-революционному перестраивается на новый социалистический лад, звезда коммунизма озаряет будущее рода человеческого. Возможность создания в наши дни кибернетического робота, который будет поставлен на службу человеку, никак не означает, что и сам человек постепенно уподобится бездушному роботу. Человек остается властелином созданной им техники, а не техника подчиняет себе человека. Социальный прогресс нашего времени обеспечивает реальный переход всего человечества из царства эксплуатации в царство свободы и создает счастливейшую возможность полноценного и гармонического развития человеческой личности, освобождаемой от тягостных оков жалкой собственнической психологии старого мира, подавляющей честь и достоинство человека.

И вот к этому величайшему революционному преобразованию на земле абстракционисты демонстративно поворачиваются спиной. Их пугает, страшит свежий ветер века. Все глубже и глубже уходят они в темные норы подсознания, в ирреальный мир мистики, болезненных субъективистских ощу-

ПОЛЕМИКА

щений. Философское обоснование своему искусству они находят в идеалистической эстетике семантики, порывающей все связи искусства с действительностью, признающей лишь таинственный язык не поддающихся расшифрованию символов. Они отвергают в своем творчестве действительность и в то же время утверждают, что идут в авангарде современной действительности, олицетворяя собой смелый прогресс в художественном развитии человечества, создавая искусство нового века.

Но ведь новый век — это, прежде всего, новый человек, перестраивающий мир. Великие завоевания человеческого разума, проникновение его в самые сокровенные тайники природы, триумфальные достижения науки и техники дали возможность человеку подняться к звездам, прокладывая космические трассы в неизведанном океане мироздания

И в век атома, в век кибернетики, великих чудес науки и техники здоровое человеческое сердце остается, как и в прежние века, нерасщепленным, отзывчивым на все радости бытия, не заменимым никакими хитроумнейшими переплетениями полупроводников. Но эта истина оказывается для абстракционистов непостижимой. Их искусство не рассчитано ни на современного человека, ни на человека будущего. Претенциозные разговоры о полнейшей адекватности абстракционизма нашему веку — роковое заблуждение. Кому и чему он адекватен? Бесчеловечности капиталистического бытия? Или механической душе робота?

В непроходимые дебри завела идеалистическая эстетика апологетов абстракционизма, и им никак не выбраться из этих дебрей. Какие это новаторы, какие это авангардисты, если в старой идеалистической рухляди отыскивают они философское одеяние для своего абстракционизма! И это естественно — ведь абстрактное искусство отражает не рождение нового, а крушение и распад обреченного старого мира

Будучи не в силах сделать даже крохотного шага вперед в художественном развитии человечества, абстракционисты и их защитники яростно обрушиваются на ненавистный им реализм. Им не по душе высокое искусство жизненной правды, потому что нет у них твердой почвы под ногами, нет уверенности в завтрашнем дне. Они боятся, они не хотят видеть правду жизни, великую историческую правду нашего века Будущее принадлежит новому миру, несущему человечеству выстраданное им счастье, а не старому миру, породившему на земле столько горя, нищеты и бесправия.

Но здесь мы затрагиваем уже сферу политики, а затрагивать ее, когда речь идет об искусстве, не положено там, в «свободном мире». Некоторые авторы строго предупреждают в своих статьях, что при решении сложной проблемы современного искусства «необходимо прежде всего отказаться от всякого стремления использовать его в политических целях». Но не слишком ли наивно это пожелание решать острейшие идеологические и эстетические проблемы современного искусства в безмятежной тишине аполитичности? Для этого надо забраться в башню из слоновой кости, а как в нее заберешься, если ее никто еще не построил?

Если бы абстрактное искусство действительно было искусством «чистым», аполитичным, гуманным, не выражало бы реакционных интересов породившего его строя, оно никогда не дождалось бы такого щедрого материального обеспечения со стороны буржуазных меценатов. Это искусство оплачивается буржуазным обществом потому, что оно отвечает его политическим целям, его политическим интересам. И от этого никуда не уйдешь. Более чем на 14 миллионов лир вручено премий на XXXI венецианской выставке. А капиталисты не склонны бросать деньги на ветер

Абстракционисты и все их апологеты не видят и не признают каких-либо возможностей дальнейшего прогрессивного развития реалистического искусства. Они полагают, что с реализмом в художественном творчестве давно уже пора покончить, в реализме они не видят ничего, кроме художественного консерватизма. Они считают, что реализм безнадежно застрял в прошлом, находится в плену старых эстетических схем и догм. Между прочим, негативное отношение к классическому наследию прошлого характерно и для некоторых представителей политически прогрессивно мыслящей интеллигенции. К прошлому они относят и наше изобразительное искусство — искусство социалистического реализма, взявшее якобы за основу своего развития «линию старого консерватизма антизападных русских художников XIX века, чье наследие, к сожалению, неразрывно связано с не разгромленным до сих пор культом личности Репина».

Эти слова принадлежат человеку, которого я хорошо знаю. Однажды мы долго беседовали с ним в Риме о судьбах абстракционизма, и мне казалось, что во многом мы были единомышленниками. И я никак не ожидал именно от него услышать этот анархический призыв к свержению «культа Репина», это совершенно необоснованное обвинение наших старых мастеров в антизападных настроениях. Эти призывы не достигнут цели и не заставят советских художников отказаться от того, что составляет национальное достояние, национальную честь и славу нашей художественной культуры. Они никогда не захотят уподобиться абстракционистам, которые стремятся быть законодателями искусства, оставаясь в своем творчестве людьми без роду, без племени. Нигилистический призыв к развенчанию художественного наследия прошлого только еще больше выявляет всю безнадежность абстрактного искусства. Это искусство космополитично по своей сущности, оно не признает прогрессивных национальных традиций, которые являются животворным источником развития искусства каждой нации. Порывая с прошлым, абстракционизм даже не пытается хотя бы в чем-то исходить из национальных художественных традиций, хотя бы в чем-то считаться с духовными запросами народа.

Новое рождается внутри старого. Так было всегда. Абстракционисты же пытаются извлечь новое из ничего. И вся «непонятность» их творений совсем не означает, что они слишком смело и далеко шагнули вперед, намного опережая уровень художественного сознания своих современников. Их «непонятность» не таит в себе ни великих художественных откровений, ни каких-то примет искусства будущего. Все объясняется значительно проще: художник становится «непонятным», когда ему непонятна жизнь, когда он не очень-то разбирается в объективных и закономерных тенденциях общественного развития, не считается с гражданским назначением творчества. Не понимая и не желая понимать этого, он и дает волю безудержному субъективистскому произволу.

К произведениям абстракционистов не подойдешь с привычной для нас мерой жизненной правды; они не добиваются даже самого отдаленного сходства с окружающим нас реальным миром. Если судить об их картинах по названиям, то попадешь только впросак. Картина может быть названа, например, «Мать и дитя», хотя при самом пытливом исследовании в ней не обнаружишь ни малейшего подтверждения этому. Однако автор картины, нисколько не смущаясь, будет доказывать, что вот эта хаотичная цветовая композиция, эти линии и пятна и есть его ощущение темы материнства. А попробуй разберись в подобных ощущениях, если их источником оказывается не реальный мир, а собственное гипертрофированное «я» художника, что и соответствует субъективно-идеалистической философии, начисто отрицающей материальную основу ощущений. Это уже не творчество, не искусство, когда художник руководствуется идеалистическим антинаучным принципом: весь мир во мне, а не я в мире

Да, новое время требует новых форм. Но абстракционисты пытаются создавать новые формы, не выражая при этом нового содержания жизни. А игнорируя действительность, невозможно обогатить искусство, внести в него новое. Настоящий художник не будет отворачиваться от старого только потому, что оно старое. Современный роман Шолохова или Хемингуэя, завоевавший всемирное признание, не назовешь устарелым, старомодным, вчерашним, но разве отрицает он роман минувшего века, достигший таких вершин в творчестве Бальзака или Толстого? Подлинно новаторское творчество Станиславского и Немировича-Данченко, оказавшее столь ощутимое и плодотворное влияние на весь современный театр, нисколько не противопоставляло себя прогрессивному прошлому, оно обрело силу в реалистическом опыте Щепкина и Островского. Современная музыка Шостаковича или Хачатуряна звучит на весь мир как жизнеутверждающая музыка нашего века, не заглушая музыки Бетховена или Чайковского, перед светлым гением которых преклоняются оба наших композитора-новатора. Подобных примеров великое множество. И в литературе, и в театре, и в музыке, и в других сферах художественного творчества, как бы современны они ни были, сохраняется живительная струя преемственности. И только абстракционизм не признает никакой исторической преемственности, начисто отрицает весь художественный опыт прошлого. Так на что же ему рассчитывать после этого?..

Отрицание реализма не может быть плодотворной основой новаторской художественной программы. Новое, прогрессивное, отвечающее духовным запросам народа искусство возникает не вопреки реализму, а исходя из реализма. С этим никак не хотят согласиться абстракционисты, затеявшие крестовый поход против реализма. Свое искусство они называют «нефигуративным». Какую же мысль, какие идеалы может выразить художник, если он отказывается от правдивого воплощения художественных образов окружающего мира, если он не видит в современной жизни ничего «фигуративного», то есть цельного, реального, живого?

У абстракционистов пока еще немало защитников. Но многие из них защищают абстракционизм совсем не потому, что находят в нем выражение своих эстетических идеалов, получают от созерцания его высшее эстетическое наслаждение. И плохой, ни к чему не пригодный абстракционизм им кажется все же лучше реализма: ведь реализм в их представлении — это старое, а абстракционизм — новое

Иногда за рубежом нам настойчиво советуют побыстрее и поэнергичнее осуществить «десталинизацию» изобразительного искусства. Они считают, что малейшее промедление «смерти подобно».

Подумать только: смерти подобно! Вот какая опасность, оказывается, нависла над нашими художниками: чуть замешкались — и конец всему. Во всем этом без особого труда обнаруживается совершенно очевидный, направленный против реализма подтекст. Ликвидация последствий культа личности, отрицательно сказавшегося на художественном творчестве, не ослабляет, а, наоборот, еще больше упрочает позиции социалистического реализма. Но не во имя упрочения этих позиций раздаются сейчас горячие призывы побыстрее, без всякого промедления осуществить «десталинизацию» искусства. Добрые наши советчики, по-видимому, совершенно серьезно полагают, что осуществление этой операции «освободит» советское искусство от «оков» реализма и поможет хоть немного сблизиться с абстракционизмом. У наших художников совсем иные пути художественных исканий, иные представления о сущности новаторства. Советские художники активно борются за преодоление последствий культа личности в искусстве, но они не собираются изменять знамени реализма, знамени правды. Под этим знаменем поднимутся они к вершинам великого искусства коммунизма, преодолевая все то, что мешает его полному расцвету.

Н. АБАЛКИН
КОРАБЛЬ ПОЙДЕТ НА ДНО...

Не все, что делают наши художники, заслуживает безоговорочного одобрения и признания, никто не собирается скрывать того, что у нас на выставках еще появляются слабые произведения. И когда такие произведения вызывают у зрителей чувство неудовлетворенности, в этом нет ничего удивительного.

Но все дело в том, каковы корни, каковы причины неудовлетворенности. Начнешь выяснять, начнешь разбираться в этом и приходишь порой к неожиданным выводам. На нынешней венецианской биеннале в советском павильоне экспонирована картина Виктора Попкова «Строители Братска». Она представляет собой удавшийся художнику опыт создания группового портрета людей труда. И вполне заслуженно попала эта работа на международную художественную выставку.

— Опять у вас одно и то же: могучие люди стоят плечом к плечу,— заметил осуждающе один из тех, кому не понравилась эта картина.

В его словах чувствуется стремление сделать некое обобщение относительно всей нашей живописи. Но никакого обобщения на деле не получается. И убедиться в этом не так уж трудно.

Могучие люди стоят в едином строю, плечом к плечу — это уже жизненный сюжет, а всякая сюжетность в картине не нравится зарубежным отрицателям нашего искусства. За сюжетное построение картин как раз больше всего и достается советским художникам. Почему? Да потому, что сюжет, подсказанный художнику самой жизнью, неизбежно приводит его, по разумению наших отрицателей, к натуралистическому воспроизведению действительности, возвращает его в XIX век, искусство которого так ненавистно абстракционистам. Отрицатели совершенно не утруждают себя заботой хоть сколько-нибудь разобраться в природе образного, художественного воспроизведения действительности — раз есть сходство с жизнью, решают они, значит, это фотография, натурализм, не искусство.

Могучие люди стоят в едином строю, плечом к плечу — это по инерции вызывает неприязненную реакцию отрицателей еще и потому, что напыщенную, парадную монументальность, появлявшуюся в нашей живописи во времена культа личности, они отождествляют с советским изобразительным искусством вообще. Критику культа личности эти отрицатели пытаются использовать в самых неблаговидных целях: как можно сильнее очернить, оклеветать весь пройденный нами путь, наши великие достижения в коммунистическом строительстве. Из этих попыток у них ничего, разумеется, не выйдет, пусть брюзжат, пока им это не надоест. Мы знаем: мрачная тень культа личности не может заслонить давно признанных завоеваний нашей художественной культуры.

«Могучие люди стоят в едином строю, плечом к плечу» — ирония по этому поводу — это уже отрицание не эстетическое, а политическое. Скептически разглядывая выставленные в советском павильоне произведения, зарубежные отрицатели не могут скрыть своего недовольства тем, что наши художники в жизнеутверждающем творчестве своем отражают могущество нового социального строя, дух оптимизма строителей нового мира. Вот и получается: иным нашим отрицателям как будто бы не нравятся картины советских художников, а на самом-то деле им не нравится великое дело коммунизма, которому посвящают свое творчество наши живописцы и скульпторы.

Могучие люди стоят в едином строю, плечом к плечу. Если употреблять эти слова в их прямом значении, то это отнюдь не подходящая характеристика для советской живописи, которой совсем не присуще однообразие, бесконечная повторяемость тем и образов. Вот чудесная, милая, словно озаренная внутренним светом «Медсестра» Михаила Божия. Разве это тоже «могучие люди, стоящие плечом к плечу»? А вернувшийся с гражданской войны боец-коммунист, который лепит голову Гомера в известном триптихе Гелия Коржева? А выдающийся азербайджанский композитор Кара-Караев, в задумчивой позе застывший у рояля на картине Таира Салахова?

Посетитель биеннале, встречаясь в советском павильоне с нашей скромной медсестрой, с рядовым бойцом революции, упорно овладевающим тайнами художественного мастерства, с композитором, охваченным большим творческим замыслом, очень хорошо чувствует, что эти отдельно взятые художниками советские люди незримо стоят плечом к плечу в едином несокрушимом строю со своим народом. Ощущение этой внутренней взаимосвязи человека и общества, личности и коллектива живо передано в представленных на выставке произведениях Т. Салахова и Г. Коржева, М. Божия и Л. Кабачека, И. Симонова и В. Попкова. Но оптимистическое утверждение этого единства, с такою силой выраженное в произведениях советского искусства, как раз и не устраивает тех, кто с гримасой недовольства говорит:

— Опять у вас одно и то же: могучие люди стоят плечом к плечу...

Так чего же они хотят? Чтобы наше искусство замолчало великое явление нашего времени — рождение нового, советского человека, духовную общность наших людей?

А вот если бы случилось совершенно невозможное, если бы зарубежные недоброжелатели обнаружили вдруг в произведениях советских художников душевную ущербность, выражение гнетущего одиночества личности, ее безысходного пессимизма? О, какими щедрыми комплиментами, наверно, все это было бы встречено! Но наши художники никому не доставят такой радости. Они не собираются пользоваться чужой палитрой, изменять своим героям, своим убеждениям, прибегать к фальсифицированному отображению социалистической действительности. И пусть говорят им, что в их произведениях повторяется одно и то же: могучие люди стоят плечом к плечу. Дело

здесь совсем не в повторении. Ведь в подтексте это означает признание того, что наше искусство во всем своем многообразии выражает жизнеутверждающий оптимизм строителей нового мира. И что бы там ни говорили о нем, искусство, положившее начало художественной летописи социализма, в тысячу раз новее сверхнового абстракционизма, призванного запечатлеть удручающую картину духовной деградации буржуазного общества...

Среди множества выставочных павильонов, демонстрирующих всю неприглядность зашедшего в безнадежный тупик искусства, островками спасения казались павильоны Румынии, Чехословакии, Венгрии. Здесь было на чем остановить взгляд, здесь можно было почувствовать живое дыхание новой жизни.

Ну а что же все-таки представлено на очередной венецианской биеннале?

Это можно описать во всех подробностях, только описание это будет для автора делом весьма безотрадным. Все время придется вспоминать: а не было ли у тебя такой же вот строки, такого же вот сравнения, такого же выражения в предыдущих отчетах о поездке в Венецию? Ведь писать приходится об одном и том же. На XXXI биеннале представлено в сущности то же самое, что и два года назад, на XXX биеннале, то же самое, что приходилось видеть еще четыре года назад, на XXIX биеннале, и, наконец, то же самое, что уже было шесть лет назад, на XXVIII биеннале.

Когда у нас зашел разговор на эту тему с одним из руководителей выставки — доктором Владимиром Дориго, он спросил:

— Вы никакой разницы не видите или почти никакой?..

Для него был бы, по-видимому, более утешительным ответ — «почти никакой», но я ответил ему прямо:

— Никакой!..

Поэтому-то совершенно точный отчет о последней венецианской выставке автор мог бы составить по прежним своим статьям, не прибегая ни к одному новому сравнению, ни к одному новому выводу и обобщению.

Кажется, обо всем уже было сказано, обо всем уже было написано. О кровельном железе, заменяющем живописное полотно, писал? Писал! О старой драной мешковине, представляющей не признанный миром шедевр, писал? Писал! О проволочной сетке, бесцеремонно выдаваемой за произведение искусства, писал? Писал! О различных предметах дамского и мужского туалета, которые художник, по-видимому, за неимением красок и совести наклеил на полотно, писал? Писал! И не раз!

Вот и выходит, что автору нет нужды повторяться, пусть лучше повторяется абстрактное искусство — ему не привыкать это делать,— демонстрируя тем самым полнейшую невозможность вырваться из заколдованного круга. Некоторые новые, хотя и незначительные нюансы на нынешней выставке уловить, конечно, можно. Раньше, например, кровельное железо как предмет новейшего искусства привозилось в Венецию из Ирана, а теперь его выставляет венесуэльский художник. Из павильона в павильон кочуют старые штаны и уродливые обрубки металла. Но от подобных перемен общая картина выставки нисколько не меняется. Не случайно одна из итальянских газет вынуждена была признать, что на биеннале 1962 года представлено искусство «тыловых позиций». Характеристика прямотаки убийственная для авангардистов современного искусства.

В прошлом — вспомним, например, барбизонцев, передвижников, импрессионистов или другие направления и школы — художников объединяла и сплачивала общность художественных воззрений А какая общность существует между представителями абстрактного искусства, если они по своему составу напоминают чуть ли не обитателей мифического ноева ковчега, отбираемых, как известно, по принципу: семь пар чистых и семь пар нечистых? «Чистые» абстракционисты — это, прежде всего, честные художники, отвергающие натуралистическое воспроизведение действительности, художники, ищущие, жаждущие в искусстве нового, хотя и не очень ясно представляющие себе, каким же должен быть новый изобразительный язык и что надо сказать о жизни с помощью этого нового языка. «Нечистые» абстракционисты — это всяческие дилетанты и неучи, ловкачи и шарлатаны, способные лишь на профанацию художественного творчества и озабоченные тем, как бы позанятнее выкинуть какой-нибудь фортель и заставить заговорить о себе. Для них ни в жизни, ни в искусстве нет ничего святого: никаких нравственных норм, никаких идеалов, они не знают ни стыда, ни совести и уж, конечно, не способны считаться со здравым смыслом.

Абстракционисты представляют собой весьма сложный конгломерат полярных человеческих судеб. Ведь есть среди них и превосходные мастера, достигающие подчас высокого совершенства в искусной обработке материала. Только вот на художественные выставки они попадают по какому-то недоразумению. К искусству живописи или графики они не имеют прямого отношения, и экспонируемые ими работы подлежат не эстетическим, а скорее техническим оценкам. Художественные критерии к ним никак не подходят. Но попробуй разубедить их в этом и сразу же прослывешь на биеннале примитивно мыслящим человеком, стоящим на самых консервативных позициях, ничего не понимающим в искусстве В канун открытия выставки, когда в городском саду Венеции завершалась генеральная уборка, молодой рабочий вез на тачке строительный мусор, какой-то металлолом. Все это было так похоже на содержимое некоторых павильонов, что я не удержался и спросил рабочего:

— Новые экспонаты везете?

Н. АБАЛКИН
КОРАБЛЬ ПОЙДЕТ НА ДНО..

Он оглянулся вокруг, скользнул взглядом по скульптурам у входа в американский павильон и, кивнув головой, понимающе улыбнулся:

— Синьор, кажется, не ошибся в своем предположении...

Когда я рассказал об этой встрече знакомым венецианцам, они только пожали плечами и осуждающе проговорили:

— Нельзя же так примитивно понимать искусство...

Так вот, об этой пресловутой примитивности. Когда на какой-нибудь свалке, среди наваленной рухляди вы заметите уродливую бронзовую отливку или же гладко отполированный обрубок дерева довольно-таки странной формы, то эти ваши находки так и останутся куском металла и куском дерева. Но стоит их поместить в павильоне, повесить на них номерок, внести в каталог выставки — и они сразу же станут произведениями искусства, и критики начнут наводить тень на ясный день, находить закономерные связи абстрактного искусства с наукой и философией атомного века. И тут уж остерегайтесь называть вещи своими именами и не вздумайте сомневаться в глубине философского замысла авторов этих обрубков. Лучше соглашайтесь сразу с тем, что их экспонаты представляют собой современнейшие «параллели действительности», извлеченные гением художника из темных глубин его подсознания. Вот тогда никто не решится назвать вас человеком, примитивно понимающим искусство.

Если подходить к искусству с меркой этих самых подсознательных, ирреальных «параллелей действительности», тогда можно оправдать все что угодно.

В американском павильоне доверху нагромождены вдоль стен ящики с набором всяческих столярных деталей. В одном зале они окрашены в белый цвет, в другом — в золотой и в третьем — в черный; заодно черной краской покрыты и потолок, и стены, и пол. Что это такое? Склад отходов столярной мастерской? Конечно нет. Здесь «развертывается бесконечный диалог между бездушными предметами и органическим развитием». И человек, привезший из-за океана эти ящики с деревяшками, обозначенными в каталоге как «Симфония в белом, черном и золотом», именуется... скульптором!

На страницах каталога XXXI биеннале содержится обрадовавшее нас признание комиссара испанского павильона. Он написал: «Был момент, когда казалось, что искусство нашего времени обесчеловечивается, уходит в сторону от человека; казалось, что искусство создано для изоляции или для одиночества». После этих обнадеживающих слов спешишь в испанский павильон, чтобы увидеть, как искусство, пережившее тяжелую и затяжную болезнь абстракционизма, снова становится гуманным, возвращается к человеку, к живой и реальной действительности. Но и здесь, в испанском павильоне, нет и намека на сегодняшнюю Испанию, несмотря на заверения столь благодушно настроенного комиссара. Испанию можно было скорее увидеть не на биеннале, а на тихой венецианской площади Св. Ангела, где при участии свободолюбивых испанских художников и поэтов должен был состояться митинг протеста против фашистского террора франкистов. Полиция сорвала этот митинг — ведь она боится слова правды. Ее никак не устраивало, чтобы венецианцы слушали на этом митинге испанские стихи и смотрели диапозитивы, посвященные «Гернике» Пабло Пикассо. Но полиция и ее начальник Марцано плохо знали венецианцев. Расходясь с площади Св. Ангела по узеньким венецианским улочкам, участники митинга громко скандировали: «Марцано, вон из Венеции!»

От жизни никуда не уйдешь, от нее не скроешься даже при помощи изощренных «параллелей действительности»

На открытии павильона северных стран (Швеции, Норвегии, Финляндии) звучала музыка. Музыканты, одетые в старинные национальные костюмы, извлекали из старинных музыкальных инструментов дикие сверхмодернистские диссонансы.

— Что это такое? — спросил я у венецианской художницы, которая вводила меня в тайны своей фантастической, как она говорила, живописи.

— Это ощущения человека, который проснулся в кошмарное утро атомного взрыва, опалившего землю,— пояснила художница.

Что ж, пояснение достаточно точное и для музыки, прозвучавшей в павильоне северных стран, и для всей выставки.

Надо отдать должное абстрактному искусству — в определенном смысле оно совсем не абстрактно, не отвлеченно Оно ощутимо и зримо выражает смятенность души художника, не видящего никакого просвета в окружающей его действительности. Непреодолимые противоречия, порожденные капиталистическим строем, злонамеренный атомный шантаж, растоптанные идеалы, отрицание нравственных начал жизни — все это приводит в состояние безнадежного и мрачного пессимизма, отчаяния, полнейшего неверия в будущее. Но художник, если только он истинный художник, не может, не должен поддаваться отчаянию и безнадежности, охватившим многие слои буржуазного общества. Он призван «глаголом жечь сердца людей», образами своего искусства зажигать яркие лучи надежды, укреплять веру человека в торжество прогресса и правды. Но абстракционисты далеки от этого гуманистического признания, и поэтому их искусство — хотят они этого или не хотят — служит не интересам прогресса и человека, а интересам реакции, темных сил зла. И никакое философствование не сможет его оправдать и обелить. Это самое реакционное искусство в истории буржуазного общества сделало все для того, чтобы противопоставить себя действительности, гуманизму, человеку, миру прекрасного.

Буржуазия некогда возродила искусство. Вырвавшись из оков средневековья, отшвырнув прочь схоластику, оно предстало

перед изумленным миром в пышных красочных одеяниях, озаренное солнцем, могучее, жизнелюбивое, захлебывающееся великой радостью бытия. А теперь?.. Теперь само же буржуазное общество подвело его к краю могилы.

Но не ошибаемся ли мы, делая столь решительные прогнозы относительно судьбы абстрактного искусства? Нет, ошибиться тут невозможно!

Как может жить искусство, если оно античеловечно, если нет у него светлых гуманистических идеалов, которые звали бы человека вперед, давали бы ему крылья, рождали бы в нем бодрость духа, веру в лучшее будущее?

Как может жить искусство, если оно не находит благородного отзвука в сердце народа, лишено живой связи с народом, с его жизнью, интересами, чаяниями, надеждами, думами?

Как может жить искусство, если оно оторвано от национальной почвы, если оно утратило связь с прогрессивными традициями национальной культуры?

Как может жить и процветать искусство, основанное на самом безысходном пессимизме, отчаянии и неверии?

И пусть еще кому-то кажется надежным и прочным корабль абстракционизма. Но он уже дает течь, и раскрашенные мыши, выпущенные венесуэльским художником в торжественный момент открытия XXXI венецианской биеннале, все же очень похожи на символических крыс, бегущих с тонущего корабля...

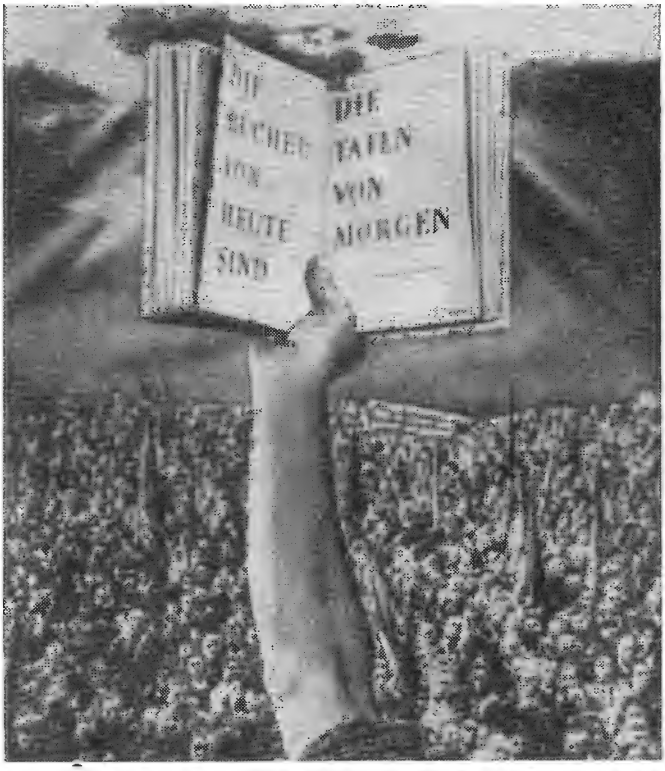
ГЕОРГИИ ДАСКАЛОВ *(Болгария)*. «Мир в мире».

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО За рубежом

ДЖОН ХАРТФИЛЬД — ХУДОЖНИК-КОММУНИСТ

С работами Хартфильда я познакомился в 1925 году и сразу полюбил их. А спустя много лет, в грозный 1941 год, Хартфильд стал моим заочным учителем. Сделанные мною фотомонтажи распространялись среди войск противника, и нужно сказать, что фотомонтаж оказался одним из наиболее эффективных средств воздействия. И в том, что мое имя находилось в секретном списке Геббельса под рубрикой «Найти и повесить!» — а это для меня большая честь.— немалая заслуга принадлежит моему учителю.

Сегодня в книгах — завтра в делах
(Фотопанно к IV съезду писателей ГДР, 1956)



Лично мы познакомились в Москве всего лишь пять лет назад. Маленького роста, худощавый, он поразил меня страстным темпераментом, ясностью мысли, прирожденным юмором, редким обаянием и обширными творческими планами. Он молод и даже юн, хотя выставка фотомонтажей, состоявшаяся в Берлине в декабре 1961 года, была приурочена к его 70-летию. Кроме Хартфильда в ней участвовали трое — Антонин Пельц из Праги, Мечислав Берман из Варшавы и я. Накануне вернисажа мы, вдвоем с Хартфильдом, сутки не выходили из павильона. Мы трудились бок о бок с рабочими, и я был удивлен его неутомимостью. Хартфильд часто говорил о своих антивоенных и антифашистских работах: «Я хотел бы, чтобы все это было в прошлом. Но к сожалению, мои монтажи актуальны и сейчас».

Когда смотришь на лучшие фотомонтажи Хартфильда, в памяти встают офорты Гойи, беспощадно изображающие ужасы войны и срывающие маски с ее виновников.

Оригинальное решение темы, обратная перспектива, сдвинутые масштабы, лаконичное и яркое выражение мыслей, которые бродят в головах миллионов, делают классическими эти работы художника-коммуниста.

А. Житомирский

Иллюстрации взяты из монографии о Джоне Хартфильде, написанной его братом Виландом Херцфельде и выпущенной в свет издательством «Ферлаг дер Кунст» Дрезден, 1962.

Обложка к книге Ларисы Рейснер «Октябрь» *(Издательство «Нейер дейчер ферлаг», 1926)*.

Обложка к книге И. Груздева «Жизнь Горького». *(Изд. «Малик-ферлаг», 1928)*.

Обложка к книге Джона Рида «10 дней, которые потрясли мир». *(Изд. «Ферлаг фюр литератур унд политик», 1927)*.

Обложка к книге Энтона Синклера «Менялы» *(Изд. «Малик-ферлаг», 1931).*

Обложка к книге Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка» *(Изд. «Карел Синек», Прага, 1936).*

Неизвестному товарищу.
Безымянным героям-антифашистам, отдавшим жизнь в борьбе за мирную, свободную Германию! (1936).

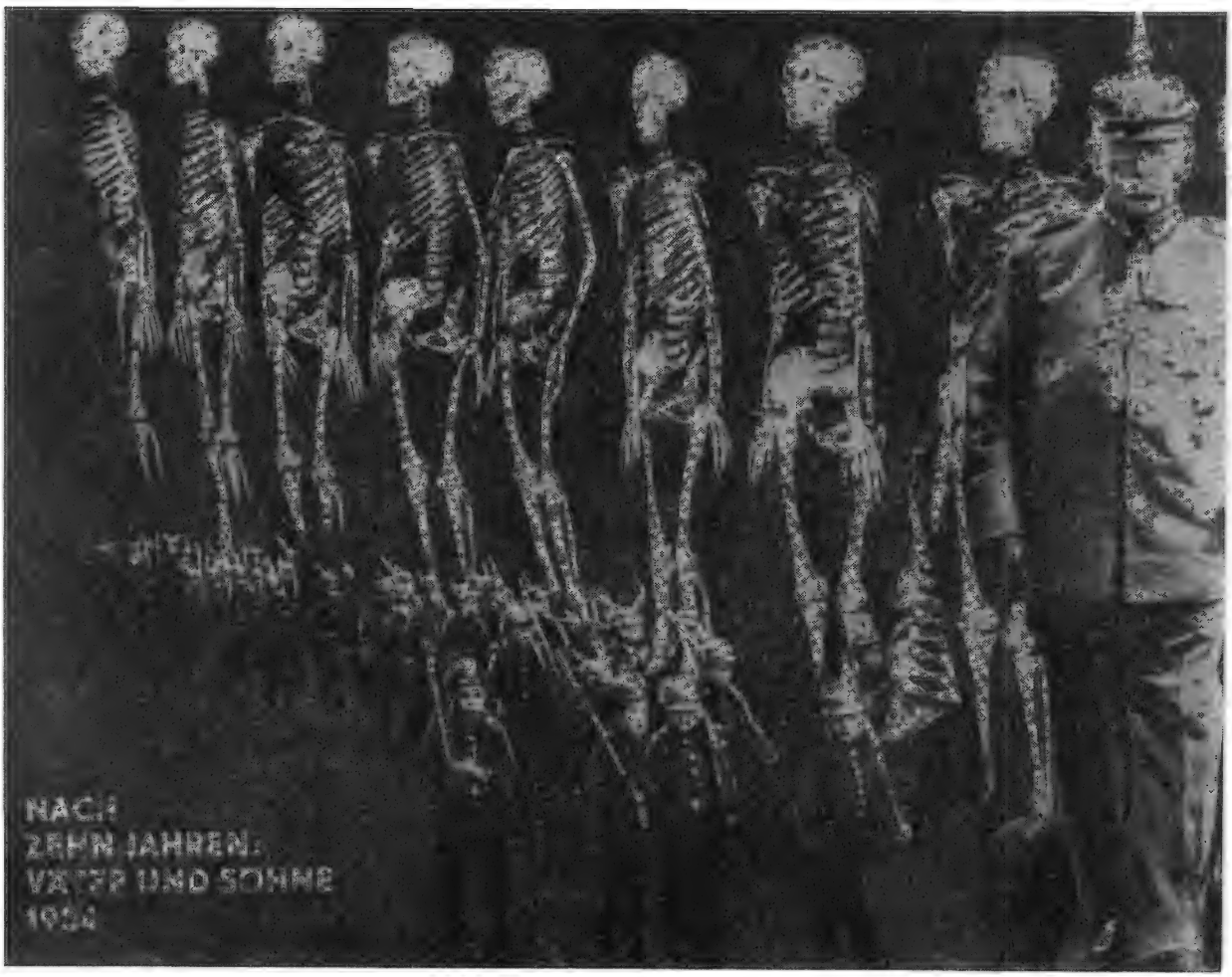
Правосудие (1933)

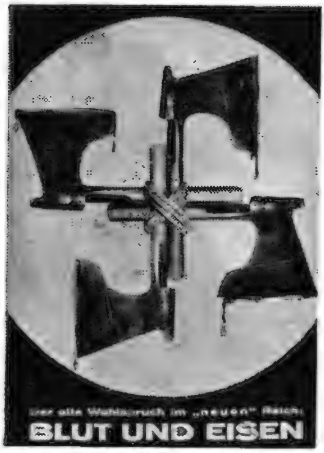
Судья и подсудимый (1933)

Памятник фашистской «славе» (1936)

Игра нацистов с огнем.
Геринг: «Пусть только загорится. А там мы докажем, что подожгла Москва» (1935)

Десять лет спустя отцы и дети (1924)





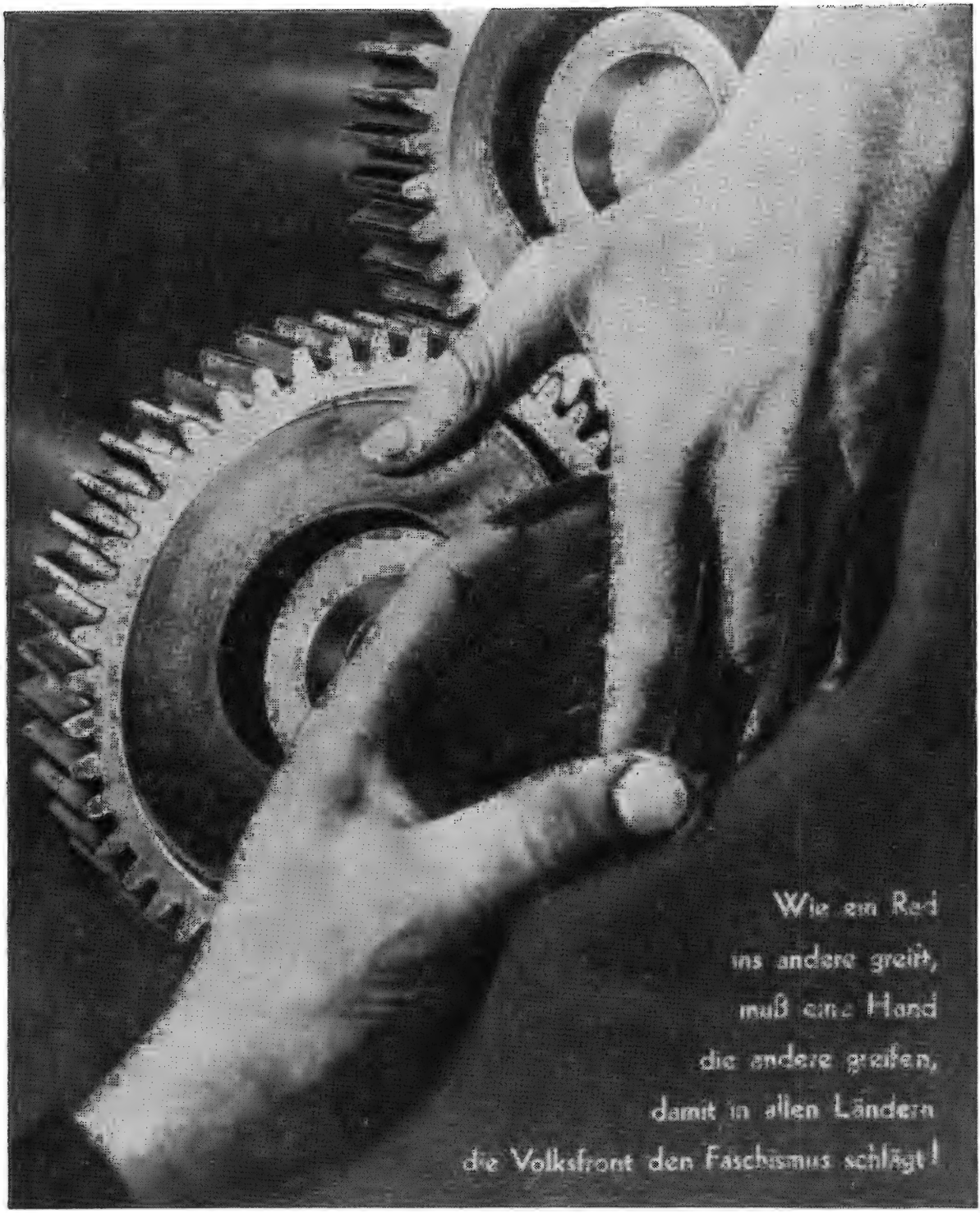
Кровь и железо.
Старый девиз в новой империи (1934)

Сводка с фронта (1942—1943)

Война и ее тень (1961)

Слушайте голос свободы! (1937)

За хлеб и свободу!
(Предвыборный плакат, 1930)



Не разжимая крепкого пожатья,
Начни борьбу.

Скажи фашизму «нет»
На всей земле! (1936)

КУЛЬТУРА и СОВРЕМЕННОСТЬ

ОБОЗРЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ

НОВЫЙ ГЕРОЙ НОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Живые и острые проблемы современной литературы стоят сейчас в центре внимания писательской общественности ГДР. Именно данное обстоятельство и нашло свое отражение в речи министра культуры Германской Демократической Республики **Ганса Бенцина.** Полемизируя с распространенной среди некоторой части драматургов точкой зрения, будто капиталистический мир богаче конфликтными ситуациями и поэтому, мол, следует прежде всего изображать западногерманскую действительность и противоречия между Западом и Востоком, Бенцин сказал:

> «Иные полагают, что, учитывая сложную ситуацию в Германии, не стоит показывать трудности социалистического строительства и становление нового человека в ГДР, что это якобы даже нежелательно правительству. Такой взгляд неверен. Самокритика — неотъемлемая составная часть нашей жизни. Кроме запрещения милитаристской, расовой и националистической пропаганды, мы не налагаем никаких запретов».

Под знаком этого трезвого и честного отношения и к достижениям и к недостаткам сегодняшней действительности в ГДР прошла дискуссия о проблемах социалистического воспитания молодежи. Еженедельник **«Зонntаг»** во вступительной статье к дискуссии подчеркивает, в полном согласии с мыслью Ганса Бенцина, что «наша молодежь имеет право не всегда довольствоваться тем, чего мы достигли».

Тем же священным стремлением не довольствоваться уже достигнутым, не считать его пределом, а двигаться все время вперед были проникнуты и выступления молодых писателей на недавней конференции в Галле. В статье, напечатанной на страницах журнала **«Нейе дейче литератур»**, следующим образом характеризуется круг вопросов, обсуждавшихся на конференции:

> «Речь шла о новых книгах, в которых изображаются люди нашего времени, и было установлено, что «работающего рабочего» как центрального героя нашей литературы еще предстоит создать».

Имеются ли для решения этой важной задачи необходимые силы? Ответ на этот вопрос дан, в частности, и в прочитанном на конференции в Галле докладе **Эвы Штриттматтер,** озаглавленном **«Литература и действительность».** По мнению докладчика, есть все основания рассчитывать не только на старых, заслуженных и уже широко популярных писателей, но и на свежую молодую литературную поросль. Из доклада явствует, что ГДР располагает сейчас большой группой молодых талантливых писателей, чья известность растет не только в стране, но и за ее пределами.

Говоря о современном этапе развития литературы в ГДР, Эва Штриттматтер отмечает в качестве определяющих следующие его особенности: отказ от иллюстративности, внимание к духовному миру человека, стремление отобразить единство личного и общественного.

Ни в одной из книг, где эти особенности находят свое творческое отражение,

> «труд не является проблемой сам по себе, он образует элементы сюжета и помогает развитию его. Авторы исходят из будто бы частного и занимаются якобы только этой стороной жизни... Но, следуя действительности, они изображают личные чувства героев в общей связи с определяющими сторонами жизни. Они стремятся показать единство личного и общественного. Такие книги свидетельствуют о прогрессе в изображении нашей современности».

Новая литература, утверждал Иоганнес Бехер, начинается с нового героя.

Эти его слова до сих пор остаются полностью актуальными. Говоря о том, что новый герой расправляет плечи и начинает широко шагать по страницам книг современных писателей ГДР, Эва Штриттматтер подчеркивает, что герой этот не обязательно выходец из рядов рабочего класса. Хотя в некоторых новых и талантливых книгах среди главных действующих лиц и нет ни одного рабочего, тем не менее,

утверждает Эва Штриттматтер, это не исключает возможности изображения нового героя в социалистической немецкой литературе. Ибо современный политический строй ГДР стремится и в состоянии активизировать людей различных классов и слоев населения в интересах построения нового общества.

О ПОЭЗИИ И ПОЛИТИКЕ

Название журнала **«Инсула»**, выходящего в Испании, означает, как известно, «остров». И этот «остров», оказывается, вовсе не всегда отрезан от континента современной реалистической литературы, от ее нужд, запросов и чаяний Если требуются доказательства, то одним из них может служить статья **«О поэзии и политике»**, напечатанная в журнале.

Поэзия и политика,— что это: два начала, творческое сочетание которых дает большой литературный эффект и даже является обязательным для каждого поэта, если он не хочет исторгать из своей лиры один лишь «звук пустой»? Или наоборот, это два начала, о которых можно сказать: «лед и пламень не столь различны меж собой»?

Именно этой важнейшей проблеме и посвятил свою статью журнал «Инсула». Начинается она с ясного и четкого утверждения: согласна ли современная испанская поэзия в этом признаться или не согласна, но вся она пронизана политикой. Об этом свидетельствуют не только стихи тех поэтов, кто пишет обычно на так называемые «социальные темы». В не меньшей степени — и это тоже справедливо отмечено в статье — о том же свидетельствуют даже строки, начертанные или нацарапанные наманикюренными пальцами воинствующих эстетов; старательно и демонстративно избегая всего, что так или иначе «попахивает политикой», они тем самым еще явственнее выдают свои реакционные политические взгляды.

Каковы же все-таки взаимоотношения между поэзией и политикой в сегодняшней испанской литературе?

«На первый взгляд, кажется, очень просто ответить: поэзии незачем быть политической. И это совершенно справедливо, если мы имеем в виду, что поэзии незачем ограничиваться только политической темой. Но такое утверждение — даже оставляя в стороне то обстоятельство, что всегда существовала политическая поэзия в самом узком смысле слова,— становится более чем сомнительным, если принять во внимание, что все мы, включая и поэтов, занимаемся политикой в той мере, в какой участвуем в нашей общественной жизни. Устраниться от нее — как уже неоднократно подчеркивалось,— тоже означает занять определенную позицию. Сегодня это верно более чем когда-либо. Потому что теперь, говоря о политике, никто уже не думает о парламентских дебатах или о схватке партий, а имеют в виду борьбу между различными взглядами на устройство мира».

Можно ли утверждать, таким образом, что политическая борьба, схватка политических идей являлась источником вдохновения для многих поэтов, была той купелью, где прошла свое боевое крещение подлинная поэзия, любимая народом и особенно ему понятная? Разумеется, не только можно, но и должно, отвечает автор статьи в журнале «Инсула».

«Многие из произведений,—пишет он,— кажущихся нам отвлеченно поэтическими, родились в ходе идеологических битв».

Вместе с тем не следует забывать, указывается далее в статье, что далеко не всякому поэту дано стать «рупором своей эпохи», чутким и вдохновенным ее певцом, могущим без натужных усилий, естественно и просто выражать свое время, так сказать, сквозь призму собственной индивидуальности. Для этого поэт раньше и прежде всего должен быть «сыном своего времени», сыном, а не пасынком. Только в этом залог того, что его поэзия, по слову Пушкина, «тленья убежит» и обретет бессмертье.

«Таким образом,— говорится далее в той же статье,— от плоской сентенции— «поэзии незачем быть политической» — мы приходим к пониманию того, что она является политической даже тогда, когда сама этого не сознает, и что только тогда, когда она является политической, поэзия действительно мобилизует все творческие силы автора. Я повторяю, что вовсе не хочу сказать этим, будто ее темы всегда должны быть политическими, просто она должна быть поэзией, дающей представление о той ситуации, в какой она создается, и, следовательно, должна отвечать требованиям ситуации. Подобная поэзия может твориться и действительно творится людьми, стоящими на самых разных идейных позициях. Все дело в том, чтобы наше представление о действительности являлось правильным, потому что, если оно будет неверным, ошибка, существующая в наших мысленных представлениях, породит скверную поэзию».

Гарантией подлинного и высокого качества поэтического творчества — по убеждению автора статьи — может служить только умение поэта верно, тонко и безошибочно улавливать правду жизни, реагировать на вдохновенный зов времени. Так, казалось бы, сугубо политическая предпосылка определяет критерий поэтического качества!

Автор статьи, напечатанной в журнале «Инсула», подкрепляет это свое принци-

пиальное суждение конкретным сравнением:

«В 1937 году Мигель Эрнандес (поэт-коммунист, погибший в 1942 г. во франкистской тюрьме.— *Ред.*) опубликовал в Валенсии книгу «Ветер народа». В 1938 году Хосе Мария Пеман (официальный поэтический бард франкизма.— *Ред.*) опубликовал в Сарагосе «Поэму о животном и об ангеле». Обе книги принадлежат поэтам, занимающим определенную позицию. Книга Пемана даже предварена вступлением программного характера, занимающим двенадцать страниц. В нем осуждается «чистая поэзия» и провозглашается, хотя и с оговорками, появление новой, эпической поэзии».

Но вот прошло не очень много времени. Эрнандес как поэт, вопреки всем препятствиям, «продолжал стремительно идти вперед» по избранному им революционному литературному пути, а Хосе Мария Пеман, несмотря на услужливо открытые перед ним во франкистской Испании возможности, вынужден был в более или менее замаскированной форме отказаться от выполнения своих замыслов. «Мы несем на себе ярмо многих веков индивидуализма, субъективизма, лирики»,— писал Пеман, и потому, дескать, нам не под силу сейчас такие «великие соборные конструкции», как эпическая поэма.

Но термин «ярмо веков» здесь не более чем пустая и даже не слишком эффектная побрякушка. Все дело, конечно же, в другом: большая эпическая поэзия в первую очередь является поэзией больших идей, больших масштабов, большого народного содержания (о чем как раз и свидетельствуют замечательные книги Эрнандеса). Потому такая поэзия не под силу поэтическим бардам франкизма. Именно об этом заявил и сам Мигель Эрнандес, когда появились «покаянные» реминисценции Хосе Марии Пемана:

«Я ощутил, почувствовал, что в жизнь мою ворвалась, подобно урагану, великая трагедия, огромный поэтический опыт, который накапливался в Испании, и я устремился в гущу народа, гораздо глубже, чем мне удавалось проникнуть с тех пор, как я появился на свет, устремился для того, чтобы стойко защищать народ».

«Мигель Эрнандес чувствует,— комментирует приведенные выше слова автор статьи, напечатанной в «Инсуле»,— как возникает эта поэзия, подобно естественному и необходимому источнику, из недр самой народной действительности. Отсюда — великолепная уверенность, с какою он заявляет: «Сегодня час для меня настал заветный и я не позволю себе ни задремать, ни отвлечься, потому что хочу видеть, как чувства и мысли моего народа воплощаются в жизнь, полную достоинства и величия. Ради этого я отдаю все пять моих чувств этой огромной задаче, действуя, как могу и как умею, вместе с лучшими людьми Испании».

Итак, первый и главный девиз Эрнандеса: равнение на живую жизнь, на современную действительность в ее заманчивостремительном и непрестанном развитии. Поэты вроде Пемана выдумывают разнообразные «задачи поэзии», сидя у себя в кабинетах. На деле эти задачи надо открывать только в процессе «живого контакта с действительностью»!

«Самыми важными являются те идеи,— говорится в заключительной части статьи,— которые поэты нашли для себя в контакте с действительностью, те идеи, которые были как бы продиктованы этой действительностью. Иначе говоря — так, как нашел их Мигель Эрнандес в окружавшей его жизни, нашел не в книгах, а в том, что мы с полным основанием могли бы назвать требованием общества».

БУДУЩЕЕ «МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ»

Сейчас на Западе все более и более широко распространяется термин «массовая культура». Американцы так и говорят «mass culture», англичане предпочитают иной термин — «mass media», что означает «средства массовой информации». Так или иначе, речь идет не просто о культуре, рассчитанной на массовое потребление. Речь идет о культуре, распространяемой с помощью все более совершенствуемых технических средств — радио, телевидения, спутников земли,— могущих расширить аудиторию, теоретически говоря, до размеров вселенной.

Итак, констатируем: культура очутилась в «стальных тисках» современной техники. Любое слово писателя, любой мазок, нанесенный тонкой кистью художника, любой изыск партитуры композитора могут быть донесены до любого уголка земного шара. Но в таком случае можно ли в эпоху, когда стальные башни, дерзко устремляясь ввысь, несут на себе множество сверхчувствительных антенн, по-прежнему тупо настаивать на том, что художник обязан жить и творить в башне из слоновой кости? И, с другой стороны, не означает ли этот «альянс» между культурой и техникой, в котором обе стороны конечно же оказывают друг на друга посильное влияние, вообще «конец подлинной культуры»?

За последнее время эта тема не раз возникает в речах и выступлениях известных писателей Запада. Так, **Андре Моруа**, выступая в Риме с речью, посвященной положению писателя в современном обще-

стве, особо подчеркнул, что наблюдаемый во всем буржуазном мире рост «массовой культуры» на базе новейшей техники сам по себе не может и не должен автоматически вести к гибели литературы и искусства. Наоборот, только теперь, в эпоху невиданного расцвета радио и телевидения, писатель может донести свою мысль до миллионов людей одновременно.

Та же жгучая проблема «массовой культуры» и средств ее распространения заняла центральное место в альманахе **«Улисс»**, изданном в Италии.

Энрико Фулькиньони, профессор Римского университета, в статье, содержащей немало весьма спорных суждений, вместе с тем подчеркивает и следующую мысль: неверно (и далеко не бескорыстно) поступают те, кто всячески противопоставляет «подлинной культуре» культуру, рассчитанную на массовое потребление (они ее называют «полукультурой»). На деле между ними существует пусть сложная, но явная взаимосвязь.

> «Имеют хождение теории,— пишет Фулькиньони,— обосновывающие существование в области культуры двух систем духовных ценностей. К первой системе относится все то, что является «подлинным искусством», ко второй системе относятся явления так называемой «культуры для масс». Можно ли утверждать, что «подлинная культура» и «культура для масс» представляют собой два противоположных явления? Существует ли между ними диалектическая связь? И нет ли динамической связи между искусством и «культурой для масс»? Может ли искусство стать «культурой для масс» и при каких условиях? Вот возникающие в этой области вопросы. Разве в XVI веке гравюры Дюрера не являлись народными воззваниями, пропагандирующими протестантство? Разве оперы Верди в период Рисорджименто не приводили к массовым демонстрациям?».

Все это отнюдь не риторические вопросы, и профессор Фулькиньони склонен отвечать на них утвердительно.

В чем же, однако, *истинная опасность,* подстерегающая «массовую культуру» ежеминутно, на каждом шагу? В том направлении, какое стремятся придать ее развитию те, кто сейчас хозяйничает во всех областях этой культуры. В тех целях, которые они перед нею ставят.

Капиталистические хозяева индустрии «массовой культуры», продолжает Фулькиньони,

> «обращаются к потребителю, почти лишенному критического подхода. Продукция, которую они создают, уводит среднего потребителя от реального мира с его глубокими трагическими проблемами. Торговцы образами и звуками, рассчитанными на массы, стремятся к наркотическому эффекту надежного действия, которым подменяется восприятие подлинных радостей и горестей, подлинной красоты жизни». И далее: «Производители «массовой культуры» сознательно пользуются приемами современного мифотворчества. Искусственно создается ореол вокруг звезд кино и телевидения. Критерий подлинных ценностей культуры подменяется иерархией суррогатов. Глупость, на которой спекулируют рыночные дельцы, производящие «культуру для масс», благодаря их стараниям лишь умножается и распространяется. Традиционный эстетический критерий становится бесполезным». «Почему миллионы людей из отсталых районов мира, сотни миллионов, живущие в трудных условиях, так тянутся к «усыпляющему» воздействию кино, радио и телевидения?.. Они тянутся к ирреальному миру, и это становится насущной жизненной потребностью».

С несколько иных позиций, но не менее резко критикует существующее на телеэкранах положение искусствовед и театральный критик **Вито Пандольфи:**

> «Телевидение, созданное для расширения человеческих контактов, для приближения человека к миру, в котором он живет, превращается в средство губительного удушения мысли и личности... Речь идет об опасности весьма серьезной. Отрицательные стороны телевидения могут свести на нет его положительные аспекты. Особенно в литературных передачах на современные темы преобладают элементы олеографии, морализирования, нравоучительства, на экране появляются произведения, которые решительно отвергнуты театральной сценой. Телевизионные пьесы пошлы и безвкусны. Причина этого прежде всего в цензурных запретах, а также в режиме экономии, что отталкивает от работы на телевидении крупнейших режиссеров. Весьма огорчителен и выбор кинофильмов, которые показывают по телевидению. Симптоматично, что такой фильм, как «Рим — открытый город», был показан на телевидении с купюрами... Для отношения нашего общества к культуре характерно стремление скрыть истину. Министры, чиновники, судьи хотят скрыть от нас действительность, хотят, чтобы мы не видели, не знали, не думали».

О плодах все той же политики каждодневного «духовного растления» миллионов с горечью писал **Анджолетти:**

> «...Телевидение редко посвящает свои передачи значительным произведениям искусства. Да и у кого хватило бы внимания смотреть такие передачи?.. По телевидению нередко выступают писатели, художники, архитекторы, ученые, но те, кто ведет такие передачи, вынуждены показывать этих людей в якобы естественных, а на самом деле заранее обусловленных ситуациях, почти никогда не имеющих никакого отношения к тому, что создается художником, писателем, уче-

ным. На экране мы видим писателя в саду у своего дома, и нас радует, с какой заботой он ухаживает за лимонным деревом; мы видим художника, неутомимо взбирающегося на вершину горы, или ученого, целующего своих внуков; нам показывают, как хорошо сочетается искусство и мускулатура, нас убеждают в том, что наука не иссушает сердца. Эта хроника трогательна, но лишь в редчайших случаях она имеет отношение к культуре».

В заключение следует уделить хотя бы несколько строк тем, кого можно было бы образно назвать современными «разрушителями машин». Вместо того чтобы хлестать изо всех сил по лошади, они хлещут по оглобле. Вместо того, чтобы винить в упадке «массовой культуры» (а следовательно, и культуры в целом) тех, кто действительно в этом виновен, они обрушивают громы и молнии на .. современную технику.

Легко опровергая эти в общем весьма не новые «аргументы», один из авторов альманаха — **Жан А. Кейм** пишет:

«Новые средства массового распространения культуры не могут ни определить ее развитие в лучшую сторону, ни привести к ее обесчеловечиванию. Это только технические средства, которые обладают возможностью либо распространять элементы подлинной культуры, либо способствовать «отчуждению» человека от культуры. Такое отношение к современной технике свидетельствует о том, что деятели культуры страдают боязнью нового. Бодлер опасался, что фотография убьет искусство, а Франс утверждал, что кино «если не означает конца света, то, несомненно, является концом цивилизации». Опыт, однако, показывает, что экранизация литературного произведения автоматически приводит к увеличению продажи той или иной книги».

Вопрос о будущем «массовой культуры» сейчас поставлен на повестку дня. И как свидетельствуют приведенные высказывания, будущее этой культуры на Западе никак не назовешь безоблачным...

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Литературное приложение к «Таймсу» — **«Таймс литерари сапплмент»** — посвятило целый выпуск современной французской литературе. Однако полемика, развернутая редакцией на страницах этого номера, идет отнюдь не по специально литературным проблемам. Уже первая, открывающая номер статья — **«Миф о ясности»**,— весьма точно определяет общую установку этого специального выпуска и самый характер его специализации.

«По крайней мере со времен Вольтера и энциклопедистов создалось такое положение, которое все мы принимаем за нечто само собою разумеющееся: французы, будь то французские писатели или просто французы как таковые, наделены совершенно исключительной ясностью мысли. Это принимается без доказательств, с такой же легкостью, как и утверждение, что для немцев типична многословная заумь, что швейцарцы — чистюли, американцы — стремятся к прочному положению в жизни, шведы — склонны к самоубийству. Французская ясность ума, французское острословие — эти глубокомысленные клише получили большую популярность. И великое множество французов, особенно среди интеллигенции, а также из числа тех, кто себя за таковую почитает, и поныне еще убеждены, что по части обращения с идеями нет им равных в мире».

После такого вступления редакция «Таймс литерари сапплмент» пытается убедить читателя, что наиболее характерной чертой, которая «за последние 20 лет» отличает и язык, и литературу, и общественную мысль Франции является как раз «недостаток ясности». Затем автор передовой статьи переходит к выводам.

«Сегодняшний вклад Франции в развитие мысли был бы бесспорно более значительным, если бы не новообретенный ею недостаток ясности. Как и множество других, прочно засевших в нашем сознании банальностей, понятие «французская ясность» становится в наши дни опасным и может легко ввести в заблуждение, даже если допустить, что в прошлом, во времена Монтеня и Буало, Дидро и Флобера, оно соответствовало истине».

Так редакция «Таймса» разделывается с первым «заблуждением» относительно французской культуры.

Теперь на очереди французская литература. Не решаясь с ходу сбросить ее со счетов, полемисты из «Таймса» пользуются своего рода доказательством от противного. Они ничего не говорят о лучших книгах современных французских писателей и объявляют последним словом французской литературы, ее квинтэссенцией и высшим достижением «школу нового романа» (Роб-Грийе, Саррот и др.), иными словами: отказ от великих реалистических традиций, распад литературной формы, искусство без человека.

Разумеется, делается это вовсе не за тем, чтобы действительно похвалить. Авторы «Таймса» ясно отдают себе отчет в том, чего стоит подобное «достижение». Читателю просто надлежит сделать вывод: если «высшее достижение» — это «сон наяву», лишенный здравого смысла, то какова же остальная литература?

«Роб-Грийе,— говорится в «Таймс литерари сапплмент»,— признает, что в его романах объективный мир воспринимается «с безумной энергией». Он неоднократно заявлял, что именно это и есть во всех отношениях здоровый реализм, так как он в точности соответствует методу включения в сознании контактов между настоящим, прошедшим, будущим и воображаемым. Возможно, какие-нибудь помешанные, галантливым представителем которых является Роб-Грийе, и видят то, что было, то, что будет, и то, что им кажется, не имея представления о последовательности событий, так же ясно, как то, что происходит у них на глазах; однако у обыкновенных людей мыслительный процесс протекает иначе. И с каждой новой книгой эта форма сознания обозначается все яснее — «сон наяву».

Таким образом, всей современной французской литературе приписаны не только «недостаток ясности», не только упадок художественности, но и отсутствие здравого смысла. Общий итог всему этому «исследованию» подводится без всяких околичностей:

«Поощряемые на протяжении веков своими друзьями и почитателями в разных странах и особенно в нашей стране, французы сами записали себя в интеллектуальный «Почетный легион» и носятся с этим до сих пор, одни простодушно, другие самодовольно, но большая часть — высокомерно...

Англичанам понадобилось немало времени, чтобы убедиться, что их превосходство над другими народами по части зажиточности, имевшее место в XIX веке, отошло в прошлое. Надо надеяться, французам не понадобится столь долгий срок, чтобы допустить возможность того, что в интеллектуальном отношении они не идут во главе всего мира».

Недоброжелательное выступление «Таймса» вызвало негодование прогрессивной французской общественности. Еженедельник **«Леттр франсез»** напечатал статью **Анн Вийелор «Миф об объективности «Таймса»**, где раскрывается подоплека выступления английского еженедельника. А. Вийелор отмечает, что яростная атака, которую «Таймс литерари сапплмент» ведет против французской литературы, искусства, философии, далеко не исключительное явление. Последнее время Франции довольно часто стараются внушить, что престиж ее культуры подорван, что она доживает свой век и должна отступить на задний план.

«Хваленая объективность «Таймса»,— также отмечает А. Вийелор,— предстает в его специальном номере как миф».

И действительно, какая может быть речь об объективности, когда, говоря об отношении французских писателей к неофашизму, «Таймс литерари сапплмент» обходит молчанием такие, например, общеизвестные факты, как покушение оасовцев на Вл. Познера и Сартра и стремится внушить читателю мысль, что вместо того, чтобы «выйти на похороны жертв 8 февраля 1962 года, писатели в тот опасный вечер затворили ставни поплотнее и искали утешения в переплетенных в сафьян томиках Корнеля!»

«Кому же на руку играет редакция «Таймс литерари сапплмент» в этом специальном антифранцузском выпуске?» — спрашивает А. Вийелор.

Чтобы ответить на этот вопрос, она обращается к «первоисточнику» — к высказываниям, приведенным на страницах литературного приложения к «Таймсу».

«Мы живем,— пишут авторы редакционной статьи,— в то время, когда культурные связи между народами, ставшие теперь шире, чем когда-либо, не могут основываться на принципе «избранной нации». В этой области, как и во всех других, национальный принцип стал фактором, который дышит на ладан». «Однако это сказано лишь затем,— продолжает Вийелор,— чтобы не принимать во внимание национального содержания *французской* культуры, которой «Таймс литерари сапплмент» наносит удар в спину».

Казалось бы, авторы статьи, столь одержимы необходимостью убедить Францию отказаться от «идеи своего превосходства» потому, что действительно отвергают принцип «приоритета одной нации». Однако, продолжает Вийелор, это только так кажется. На самом деле речь идет об отрицании *именно* французской национальной культуры ради замены ее какой-то иной. Для того чтобы сделать вывод о том, какая культура имеется в виду, Анн Вийелор предлагает вниманию читателя одно простое сопоставление

«Незадолго до этого (до выхода в свет специального номера «Таймс литерари сапплмент».— *Ред.*) телевидение предложило нам две передачи Жана-Мари Дро о Нью-Йорке. Были проинтервьюированы несколько художников — французских, а также «проживающих во Франции», то есть, попросту говоря, американцев. И суть этого якобы широкого опроса свелась вкратце к следующему: «Да, было время, когда Париж пользовался авторитетом. Но теперь у Нью-Йорка есть все данные, чтобы занять его прежнее место в области живописи (абстрактной). Соединенные Штаты моложе и динамичнее Франции».

«...Да,— иронически замечает А. Вийелор,— Нью-Йорк молод и динамичен. Ему хочется стать художественной столицей мира... И он держит наготове оружие для схватки с Парижем».

Прочтя эти строки, не так уж трудно догадаться, за что ратуют редакторы специального номера приложения к «Таймсу».

У НАШИХ ДРУЗЕЙ

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН

«ЧОСОН МУНХАК» (КНДР)

№№ 1—5, 1962 г.

Ежемесячно в Пхеньяне выходит в свет литературно - художественный журнал «Чосон мунхак» («Корейская литература») *.

Журнал знакомит широкий круг читателей с новинками корейской художественной литературы, публицистики, с литературными очерками и репортажами с заводов, новостроек и сельскохозяйственных кооперативов, со сценариями художественных фильмов и драматическими произведениями.

У «Чосон мунхак» существует хорошая традиция: наряду с произведениями маститых писателей в каждом номере читатели могут найти имена молодых прозаиков, поэтов, драматургов. Большинство прозаических произведений начинающих литераторов повествует о делах и событиях сегодняшнего дня. К числу таких произведений следует отнести первую повесть молодой писательницы Ли Чон Сук «Горные птицы» (№ 12, 1961 г., № 1 и № 2 1962 г.). Это повесть о жизни и труде бригады ткачих одной из текстильных фабрик КНДР. Рассказывая бесхитростную историю их жизни, автор стремится раскрыть перед читателем богатый духовный мир корейских тружеников. Смелому новаторству и самоотверженному труду на производстве посвящены рассказы молодых литераторов Ко Дон Она «Друг» и Ким Хён Чжу «Водолаз-стажер», помещенные в пятом номере журнала. В рассказе Ким Бён Хуна «Гордость» (№ 3) на первом плане образ секретаря партийного комитета завода, получившего задание освоить выпуск новых станков. Задание не из легких. И недавно пришедший на завод молодой директор с полным основанием сомневается в возможности его осуществления силами одного предприятия. Но гордость за трудовую славу своего коллектива (продукция завода известна всей стране), вера в патриотизм рабочих помогает партийной организации завода, ее руководителю преодолеть возникшие трудности и мобилизовать всех работников завода на выполнение важного для страны задания.

В свое время корейские критики дали положительную оценку роману известного прозаика Чхон Се Бона «Новая весна в Соккэуле», первые две части которого, выпущенные вскоре после войны, посвящены социальным переменам в корейской деревне. Сейчас, после нескольких лет перерыва, Чхон Се Бон решил расширить хронологические рамки своего повествования и довести действие романа до наших дней. В 3, 4 и 5 номерах журнала «Чосон мунхак» опубликованы первые главы третьей части «Новой весны в Соккэуле», в которых писатель продолжает историю жизни своих прежних героев.

* «Чосон мунхак» — орган Центрального правления Союза корейских писателей — учрежден в октябре 1953 г.

Корейской деревне посвящены произведения и других жанров, в частности, киносценарий драматурга Ли Чжи Ёна, опубликованный в третьем номере журнала. В сценарии отражена также тема борьбы корейского народа за мирное объединение своей родины. По сценарию Ли Чжи Ёна создан кинофильм под названием «В деревне у демаркационной линии» (этому фильму присуждена Народная премия, которой в КНДР раз в год отмечаются лучшие произведения литературы и искусства).

Журнал «Чосон мунхак» уделяет большое внимание поэзии. В каждом номере журнала значительные по объему разделы отведены новым произведениям корейских поэтов. В январском номере обращает на себя внимание стихотворение Ким Буг Вона «Новому году», пронизанное верой поэта в жизнь, в светлое будущее своей родины. Теме социалистической родины посвящены и стихотворения Ким Хак Ёна «Веют флаги в майском небе» (№ 5), Ким Сун Сока «Родине» (№ 5) и Чон Дон Чхана «В далеком море» (№ 3). В стихотворении «В далеком море» поэт передает чувства рыбаков, ушедших на лов рыбы далеко от родных берегов. ...Уплыли за горизонт очертания родной земли. Грозный океан швыряет на палубу каскады холодной воды. Но вот из наушников послышалась песня — это радист настроился на волну, на которой родина шлет добрые напутствия своим сыновьям, ушедшим в море. И уже посветлели суровые лица рыбаков: родина помнит о них, она с ними, она ждет их.

Тема героического труда была и остается доминирующей в современной корейской поэзии. Немало поэтов посвящают свои стихи сталеварам и рыбакам, шахтерам и молодежи из сельскохозяйственного кооператива, строителям, своим трудом омолодившим улицы городов и поселков. Труду сталеваров посвятил цикл стихов поэт Пэк Ха (№ 2) и стихотворение под названием «Песня о стали» поэт Ким Чхоль (№ 2). Для Ким Чхоля в «Песни о стали» металл — это трактора, станки, это хлеб и одежда людей. Нелегок труд тех, кто плавит сталь. Но человек покоряет кипящую огненную стихию; рожденный трудом сталевара металл будет служить для счастья и блага людей.

Борьбе южнокорейской молодежи за свои права посвящены стихотворения поэта Ким Чжан Хыма («Перед ними одна дорога», № 5) и Пак Сан Уна («Младшему брату», № 4).

Многие поэты обращаются к революционному прошлому корейского народа. Этой теме посвящены, в частности опубликованный в апрельском номере отрывок из новой эпической поэмы Пак Се Ёна «История тайги» и стихотворения, помещенные в 1, 2, 3 и 4 номерах журнала под рубрикой «Звените, песни революции».

Периодически журнал помещает критические статьи, посвященные разбору наиболее интересных произведений прозы и поэзии. В небольшом разделе, озаглавленном «Новые книги», читатели могут познакомиться с кратким содержанием наиболее интересных произведений, которые выпускает в свет издательство «Ассоциации деятелей литературы и искусства Кореи».

Р. САВЕЛЬЕВ

«ВЬЯЦА РОМЫНЯСКЭ» (Румыния)

VIAȚA ROMÎNEASCĂ

№№ 1—8, 1962 г.

1962 год — год сорокалетия Союза трудящейся молодежи и восемнадцатилетия освобождения Румынии от фашистского ига. Напечатанные в журнале стихи Ал. Андрицою, Ч. Дрэгою, Х. Гане прославляют память героев, отдавших жизнь во имя победы социализма в Румынии. Плоды этой победы особенно зримы в Румынии в нынешнем году, ставшем годом окончательного утверждения социалистических отношений в деревне.

Тема романа Т. Мокану «Властители», помещенного в 5, 7, 8 номерах журнала,— борьба за вовлечение крестьян в коллективное хозяйство — не нова в румынской литературе. Ново здесь другое: показ сложного процесса ломки старого уклада под воздействием людей высокой нравственной убежденности, для которых социалистические нормы отношений — единственно возможные.

Ломается вековой уклад жизни крестьян, и потому молодеет, обновляется душа поэта. Эта мысль звучит в стихотворениях Д. Ботеза («Коллективизация»), Н. Кассиан («Размах»), В. Порумбаку («Росток пшеничного зерна»), Й. Барталиса («Дома»), И. И. Лефтера («Поднятая целина») и др. (№ 5). Эта мысль пронизывает большинство рецензий, обзорных статей и критических откликов.

В статье «Литература революционных преобразований румынского села» (№ 5) Эуджен Лука рисует широкую картину развития крестьянского романа в румынской

литературе после освобождения, отмечая несомненные достижения писателей в этой области.

П. Джорджеску выступает с рецензией на роман В. Ребряну «Дом» — одно из наиболее интересных произведений последних лет на крестьянскую тему (№ 5).

В номере 8 помещены «Заметки на полях некоторых сборников репортажей» Р. Попеску. В рецензии рассмотрены сборники очерков и репортажей П. Винтилэ, К. Леу, П. Ангела и Ал. И. Гилии, посвященных будням сельскохозяйственных коллективов в различных районах страны.

Было бы, однако, неправильно полагать, что содержание журнала ограничивается крестьянской тематикой. Вся кипучая трудовая и культурная деятельность народа, строящего социализм, находит свое отражение на страницах органа Союза румынских писателей. Тут и очерки о новостройках индустрии, и стихи о партийном активисте, обзоры румынских и зарубежных журналов и большие прозаические произведения о духовном прозрении лучшей части румынской интеллигенции в период разгула фашизма («Terra di Siena» * Фр. Мунтяну, №№ 1, 2) и войны («Мгновение» Э. Барбу, № 4) и заметки о румыно-советских культурных связях, и стихи о Ленине, и научные работы о новых путях румынской литературы.

Литературная жизнь Румынии нынешнего года ознаменовалась примечательным событием. В январе состоялась Всерумынская конференция писателей. Мартовский номер журнала публикует материалы конференции. Со статьей о ней выступает Демонстене Ботез. О задачах, стоящих перед румынскими писателями, говорил в своем выступлении на этой конференции товарищ Г. Георгиу-Деж. Он призывал художников слова к более углубленному проникновению в сущность происходящих общественных и нравственных сдвигов, к повышению уровня мастерства, к борьбе против «бесплодных попыток культивировать литературу минорной темы, предназначенную для узкого круга так называемых «истинных ценителей...»

Шестой номер журнала целиком посвящен пятидесятилетию со дня смерти крупнейшего румынского писателя XIX века И. Л. Караджале. Под статьями, освещающими различные аспекты творчества Караджале, стоят имена крупных литературоведов современной Румынии — М. Рали, Т. Виану, Перпессичиуса, О. Крохмэлничану и др. И рядом с этими статьями и воспоминаниями современников писателя опубликованы архивные материалы, документальные свидетельства травли, которой подвергали Караджале буржуазно-помещичьи круги. Известно, что писатель в конце концов покинул родину и умер на чужбине.

«Это был самый светлый ум, самый талантливый писатель Румынии,— писал Владимиру Галактионовичу Короленко критик Доброджану-Геря.— Несчастна и бедна наша малая, отсталая страна. Но еще несчастнее и беднее ее одаренные сыны...»

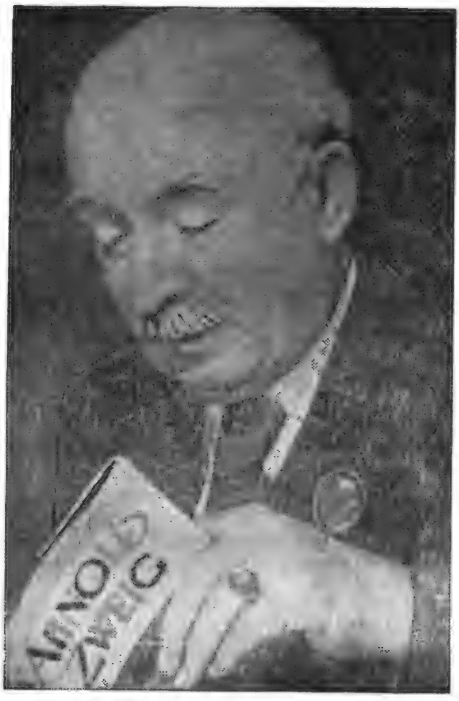
Талант бессмертен. Общественные отношения, уродующие его, обречены. Эту мысль утверждают также помещенные в различных номерах журнала статьи о творчестве Ал. Сахии, Л. Ребряну, К. Петреску, Г. Топырчану и др.

Номера журнала «Вьяца ромыняскэ» за этот год — свидетельство вдохновенного труда большого отряда писателей народной Румынии.

М. ФРИДМАН

---

* Роман опубликован на русском языке под названием «Художник» (см. журнал «Иностранная литература» №№ 10—11, 1962 г.).



БЕСЕДА С АРНОЛЬДОМ ЦВЕЙГОМ

ВЛАДИМИР ПОЗНЕР

К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

В 1933 году я, в сущности, не знал ни одного немецкого слова. В самом конце января в Париж стали прибывать беженцы из фашистской Германии. Большинство из них покидало свою страну, ничего оттуда не захватив: у них не было ни одежды, ни денег — ничего. Многие видели, как горел рейхстаг, многие словно еще не верили, что им удалось уехать, избежав ареста. Вина их состояла в том, что они были коммунистами или социалистами, либералами или же людьми, отказывавшимися носить оружие из религиозных соображений, или же они верили в равенство людей и в дружбу народов. Я уже не говорю о том, что многие из них были повинны в любви к немецкой литературе и литературе других стран, а иные даже осмелились опубликовать книги или статьи, чуждые презрения к иностранцам и беднякам, к трудящимся и преследуемым, и не желали утверждать, что на свете не существует большей доблести, нежели война минувшая, и большей надежды, нежели война будущая.

Это было в те дни, когда позор Германии становился очевиден для всего мира, позор, который усугубляли из года в год банкиры, промышленники, генералы, уверенные в том, что им ничего не стоит завоевать все континенты.

Я — писатель. Моя профессия, общность взглядов, а также капризы судьбы привели к тому, что я познакомился с немецкими писателями, бежавшими в Париж, и подружился с ними. Многих из них еще по-настоящему не знали во Франции, и я старался способствовать их известности, побуждаемый как моим дружеским отношением к ним, так и уважением к той истинной Германии, какою она представлялась мне. Успехи мои на этом поприще были весьма скромными: время от времени в печати появлялись то интервью, то статья, написанная мной. Так продолжалось в течение нескольких лет. Между тем неумолимо приближалась вторая мировая война. Некоторые из нас все еще пытались сомневаться в ее неизбежности, а она уже незаметно для всех началась в Испании. Было необходимо, чтобы Франция услышала голос немецких писателей, изгнанных из своей страны, особенно тех, кто побывал в окопах войны 1914 года.

Однажды я узнал, что в Париж приехал человек, чей роман, переведенный на французский язык, мне довелось прочитать. Он говорил по-французски. Я записывал его ответы на мои вопросы, он же то и дело улыбался, разглядывая меня сквозь толстые стекла очков,— первая мировая война, участником которой он был, наградила его болезнью глаз. Мы долго беседовали. Запись нашей беседы я предложил литературному еженедельнику, издателя которого, однако, нисколько не волновало приближение войны, поэтому он тогда отказался печатать мою статью. Было это в апреле 1938 года. Миру в Европе не суждено было продлиться более нескольких месяцев.

Недавно я вновь нашел эту статью у себя в квартире — после взрыва фашистской бомбы, основательно разворотившей мое жилье. Я был рад, что этот случай дал мне

возможность принять участие в праздновании 75-летия того писателя, с которым я впервые беседовал более четверти века тому назад. Я был еще неработоспособен (а все потому, что по глупости своей очутился как раз рядом с взорвавшейся бомбой), но подумал, что высказывания, записанные мной накануне войны, не лишены интереса и сейчас — ибо они принадлежат хорошему писателю, несмотря на плохое зрение проницательно оценивавшему жизнь и людей.

Я принялся переписывать начало той — старой — статьи. Сразу же всплыли воспоминания, вступила в силу давняя привычка к литературной работе.

...Помню, он сидел против меня, ожидая моих вопросов. Мне хотелось заглянуть в его глаза, почувствовать на себе его взгляд — внимательный, насмешливый или печальный. Он смотрел мне прямо в лицо, но глаза его были скрыты от меня большими, толстыми стеклами очков. И тогда я спросил:

— Где вы жили всю жизнь?

— В Германии,— отвечал он,— Я провел детство в Силезии. Учился на юге и на севере Германии. После войны жил в Вюртемберге и Баварии, а с двадцать третьего года — в Берлине.

Тут он заменил одни очки другими, словно хотел собственными глазами, вдруг показавшимися мне гораздо больше, взглянуть на страну, о которой только что говорил. Он начал говорить о своей жизни и, казалось, нисколько не досадовал на меня за то, что я задавал ему вопросы личного свойства. Я попросил его рассказать о начале его литературной деятельности

— Прежде всего, я должен объяснить вам, какую цель я преследую, издавая свои книги,— говорил он. Я слушал его не без удивления, так как тогда полагал, что писатели издают свои книги по той простой причине, что они их написали.— Вы, очевидно, знаете,— говорил Цвейг,— что в годы, последовавшие за окончанием военных действий, чуть ли не запрещалось вспоминать о войне

Вероятно, вид у меня был весьма удивленный, потому что писатель добавил:

— Приведу характерный пример: в период с тысяча девятьсот двадцатого по двадцать второй год вышли три дополнительных тома Британской энциклопедии, последнее издание которой, относящееся к девятьсот четырнадцатому году, успело устареть. Эти тома, посвященные исключительно минувшей войне, расходились так плохо, что начиная с двадцать четвертого года один за другим были выпущены в свет три других тома, на этот раз посвященные таким темам, как археология, этнография, танцы и т. д.

Я спросил:

— А в Германии тоже так было?

— В Германии,— отвечал он,— это явление было еще более ярко выражено, чем в других странах. Так, например, издатель по фамилии Фишер основал в тысяча девятьсот двадцать шестом году «Премию новеллы», присуждаемую за лучший рассказ о каком-либо подлинном происшествии При этом он объявил, что рассказы, посвященные военным эпизодам, попросту не будут рассматриваться жюри. Против замалчивания войны я и хотел бороться,— продолжал Цвейг.— Разумеется, война интересовала меня как особый вид социальных взаимоотношений. Заметьте, я не писатель-баталист. «Спор об унтере Грише» печатался в газете «Франкфуртер цейтунг». Оказалось, что тысячи людей ждали книги такого рода — газета шла нарасхват. Цель, которую я поставил перед собой, была достигнута. Скоро на книжный рынок широким потоком хлынули книги о войне: роман Ремарка, роман Ренна, затем книга Глезера и многие другие.

Большинство названных Цвейгом романов были изданы во Франции, и я их читал. Но что же происходило в Германии? Что думали немцы?

— Вторая часть моей трилогии,— продолжал Цвейг,— «Молодая женщина 1914 года» была опубликована в тридцать первом году в условиях грозного усиления реакции. Мне было необходимо спокойно закончить работу. Я уехал. Но двадцать первого февраля тридцать третьего года я вернулся в Берлин.

Я знал, что означает этот год, эта дата. Кажется, я начал понимать его: есть такие книги, которые нельзя не писать, бывают такие периоды в жизни, через которые надо пройти, даже если это обрекает тебя на смерть.

— На следующий день после моего возвращения,— продолжал Цвейг,— двадцать второго февраля одна фашистская газета поместила статью о писателях-евреях, якобы бежавших из Германии. Она сообщала, будто Арнольд Цвейг находится в Чехословакии. Я продиктовал письмо моей секретарше..

Цвейг говорил, строго чеканя слова, но без малейшей рисовки:

— Я заявил в этом письме, что вернулся для участия в выборах и никогда по доброй воле не покину свою страну. Спустя несколько дней загорелся рейхстаг.

Подобно всем людям моего поколения, я хорошо помнил это событие. Пламя, взвившееся над рейхстагом, знаменовало начало войны сперва в самой Германии, затем в Испании, а вскоре и во всем мире. В те дни, когда я писал статью, шел *еще* только тридцать восьмой год. Никто из нас не мог достоверно знать, что нас ожидает. И все же это был *уже* тридцать восьмой год.

Я спросил:

— А что же стало с вашим письмом?

— Оно так и не было отправлено Моя секретарша не решилась опустить его в ящик. Мне же в начале марта тридцать

третьего года пришлось покинуть Германию. «Воспитание под Верденом» я завершил на горе Кармель.

Однако и здесь, в Палестине, Арнольда Цвейга окружали не Самария, простиравшаяся у его ног, не лежащая к северу Галилея, не Аккский залив. В эти дни, когда он работал над своими знаменитыми романами о войне, его обступали города под названиями Сен-Мишель, Монмеди, Во и Дуомон. Все это были французские названия, знакомые мне с детства. Писатель знал эти города во всех деталях, видел их как наяву. Что же до его глаз, то самые сильные очки мало помогали ему. Он был не в состоянии писать роман собственной рукой — ему пришлось продиктовать его от начала и до конца.

— Между тем,— говорил Цвейг,— все мои книги были запрещены в Германии, и сам я был лишен германского подданства. Господин Геббельс оказал мне большую честь, процитировав отрывок из моих произведений, разумеется, предварительно исказив его. Нацисты не прощали мне того, что я вновь заговорил о войне.

Движимый любопытством, я продолжал расспрашивать собеседника. Тогда я еще не знал, что в самом ближайшем будущем судьба и меня сделает солдатом и что наши страны будут воевать друг с другом.

Он говорил со мной, и я все время ощущал его любовь к моей стране. Верно, и он, подобно мне, считал, что приближается новая война и что вряд ли он так скоро снова увидит Францию.

Наверно, я и сам чувствовал это, но старался думать о другом, надеясь, что в ближайшем будущем мне вновь предстоит встретиться с этим человеком. Мне не хотелось верить, что, может быть, и я стану солдатом и меня изгонят из моей страны немецкие и французские фашисты. Возможно, я уже предчувствовал тогда, что первой книгой, которую я напишу в эмиграции, будет роман об эпизоде второй мировой войны, эпизоде, пережитом мной самим.

Я принялся расспрашивать Арнольда Цвейга о том, когда же он намерен вновь посетить места боев под Верденом.

— По всей вероятности, осенью,— отвечал он, не называя года, когда это должно произойти. И дальше пояснил: — Только в это время и надо смотреть Верден, когда он тонет в ноябрьском тумане. Помню, в последний день октября шестнадцатого года ничего не было видно, туман окутывал весь лес, точно саван...

Тут он умолк, и я больше ни о чем не стал его спрашивать. Десять лет спустя, после войны, мне выпало счастье свидеться с ним вновь, в разрушенном войной Берлине. Здесь он живет и работает уже много лет, в своей стране, среди любящих его читателей. Свое семидесятипятилетие он отмечает выходом нового большого романа. Теперь он мой старый верный друг. Мы видимся каждый раз, как я приезжаю в Берлин. Сам же он не изменился — он все тот же, каким я его некогда встретил, уже успев полюбить его книги, но еще не успев, как он, столкнуться с войной.

ГЕРХАРТ ГАУПТМАН

Т. СИЛЬМАН

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Драматургическое творчество Гауптмана многообразно и значительно и в большей своей части принадлежит театральным подмосткам. Значительность эта связана с тем, что, находясь в разное время в русле различных течений современной ему европейской литературы, Гауптман умел обогатить каждое из этих течений исторически актуальной, злободневной проблематикой. На протяжении своей долгой писательской деятельности он выступает то как натуралист, то как неоромантик, то как автор исторических, социально-политических или проблемно-психологических драм, наконец как автор трагедий на античные сюжеты. Но он всегда остается писателем своего времени.

Так, в своих натуралистических пьесах («Перед восходом солнца», 1889 г., «Бобровая шуба», 1893 г., «Возчик Геншель», 1898 г., «Роза Бернд», 1903 г., «Крысы», 1911 г. и др.) Гауптман, казалось бы, внешне следуя доктрине немецкого натурализма, тем не менее не ограничивается его узкой программой. Отметив (в короткой статье, написанной незадолго до смерти), что ростки, взошедшие в Германии в пору его писательской молодости, «возникли большею частью на русской почве», в частности, связывая свою драму «Перед восходом солнца» с воздействием «Власти тьмы» Л. Н. Толстого, Гауптман сам отчасти раскрыл источники своего творческого обогащения. Ибсен, Золя, Тургенев, Толстой — таковы имена великих писателей, которые помогли Гауптману избежать крайностей натуралистической доктрины в ее узконемецком бытовом варианте и стать писателем широкой социальной проблематики.

В начале 90-х годов Гауптман ненадолго сближается с немецким рабочим движением и в эти годы создает свои наиболее революционные пьесы: «Ткачи», 1892 г., о восстании силезских ткачей 1844 г. (дед Гауптмана сам был ткачом, и в семье сохранились воспоминания об этих событиях) и «Флориан Гейер» — историческую трагедию на сюжет из эпохи крестьянской войны. «Ткачи» — произведение яркого революционного звуча-

ния; в качестве движущей силы исторического развития здесь показан взрыв революционной энергии пролетариата.

Но протестующие и бунтарские устремления не органичны для творчества Гауптмана. Он постоянно колеблется в оценке современных ему явлений жизни, колеблется в художественной интерпретации окружающего мира

В этом отношении характерно, что уже через год после «Ткачей», в 1893 г., он пишет фантастическую драму-сказку «Вознесение Ганнеле на небо», а в 1895 г.— символическую драму «Потонувший колокол», где мы сталкиваемся с присущим неоромантикам контрастным противопоставлением низменной реальности и возвышенного мира художественной фантазии.

Однако и это направление не становится ведущим в творчестве Гауптмана. Наиболее правдивого изображения жизни, наряду с «Ткачами», он добивается в области проблемно-психологической драмы, в которой выступает как прямой продолжатель Ибсена.

Таковы в начале его творчества «Одинокие» (1891 г.), далее «Михаэль Крамер» (1900 г.) и через много лет — «Перед заходом солнца» (1932 г.). В центре этих драм стоит обычно интеллектуальный герой, и произведение строится не на натуралистическом соответствии героя среде, а, наоборот, на их противопоставлении. И через недовольство, страдания и гибель этого героя (обычно «по-гауптмановски» безвольного и нерешительного) дается критическая оценка окружающего мира.

В драме «Перед заходом солнца» Гауптман сумел возвыситься над своей прежней натуралистической манерой и показал действительность не только явную и непосредственно данную, но также скрытую и надвигающуюся.

Он показал наступление фашизма на немецкую интеллигенцию, на все то лучшее, чем богата немецкая культура. Страдания и гибель Маттиаса Клаузена, подлинного героя драмы, во враждебной ему среде родной семьи, окружившей его плотным кольцом звериных, бесовски-жестоких устремлений и импульсов, символизируют трагедию немецкой гуманистической культуры в годы фашизма.

В период фашистской диктатуры Гауптман, оставшийся в Германии, обращается к обработке античных сюжетов. Однако античная тема, ставшая со времен гетевской «Ифигении в Тавриде» традиционной темой немецкого гуманизма, претерпевает у Гауптмана немалые изменения.

Под влиянием жестоких моральных потрясений, перед лицом все усиливающегося варварства Гауптман, внутренне враждебный фашизму, воспринимает весь мир как обитель ужаса и отчаяния и в этом духе трактует античные мифы.

Преобладающим в его тетралогии 1941—1945 годов («Ифигения в Дельфах», «Ифигения в Авлиде», «Смерть Агамемнона», «Электра») оказывается настроение глубокой безнадежности. Все действия героев либо порождены страданием, либо влекут за собой страдание.

Страдать и действовать —
Одно и то же в царстве Немезиды.

— говорит гауптмановский Агамемнон.

История воплощения многих других драм Гауптмана, хотя бы на сцене русских и советских театров, весьма обширна и поучительна. Особенно тесно имя Гауптмана связано с ранним периодом развития Художественного театра, причем всестороннему интересу к Гауптману содействовала высокая оценка его творчества Чеховым.

В советское время Гауптман был представлен на сцене наших театров революционной пьесой «Ткачи» и антифашистской по всему своему духу драмой «Перед заходом солнца», которая была поставлена в Москве театром им. Вахтангова, в Ленинграде — Новым театром.

В Германской Демократической Республике имя Гауптмана окружено почетом и вниманием. Значительная часть его драм и прозаических произведений в 1956 г., к десятилетию со дня смерти писателя, была переиздана. Пьесы его входят в постоянный репертуар немецких театров.

Творчество Гауптмана и сегодня привлекает нас убедительной конкретностью образов, бесстрашным раскрытием жизненных противоречий, сочувствием человеческим страданиям.

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

Обложка книги Эм. Казакевича «Затишье перед бурей» («Синяя тетрадь»), изданной в Болгарии.

Под названием «Затишье перед бурей» болгарское государственное издательство им. Христо Г. Данова (в г. Пловдиве) выпустило повесть Эм. Казакевича «Синяя тетрадь».

«Уже с первых страниц,— пишет рецензент журнала «Пламк» М Райнин,— перед нами встает великий Ленин, близкий и живой, трогательно человечный. Ленин, которого мы знаем по сотням книг и снимков, здесь опять нов — он показан в повседневности одного из самых решающих периодов его жизни. Мы видим, как человек Ульянов и революционер Ленин сливаются в одно целое, в ту титаническую личность, чья работа перевернула мир и положила начало новой эпохи в человеческой истории. Писателю удалось показать характер Ленина, обрисовать богатую и многостороннюю душу человека, чье имя стало легендой поколений. Повесть Казакевича — яркое художественное произведение, полно и сильно рисующее бессмертный образ Ленина в его истинном величии, простоте и человечности».

В Катовицах, как сообщает бюллетень «Польское обозрение», состоялся первый всепольский фестиваль русских и советских пьес, поставленных разными театрами Польши. Вроцлавский театр «Польски» показал пьесу «Егор Булычев и другие» М. Горького, лодзинский театр имени Ярача — пьесу Н. Погодина «Третья патетическая», познанский театр «Польски» — «Первую конную» Вс. Вишневского, театр Опольской земли — «За тех, кто в море!» Б. Лавренева. Две пьесы А. Штейна — «Океан» и «Гостиница «Астория»» — представляли на фестивале коллективы краковского театра имени Словацкого и «Нового» театра в Забже.

Как сообщает «Бюллетень Союза венгерских писателей», издательство «Эуропа» выпустило сборник рассказов А. Серафимовича, «Они сражались за родину» и «Судьбу человека» М. Шолохова и «Живых и мертвых» К. Симонова. В издательстве «Мора» вышел роман Л. Соболева «Зеленый луч», в издательстве «Магвете» — «Последние залпы» Ю. Бондарева. «Поднятая целина» М. Шолохова опубликована издательством «Сепиродалми кёньвкладо».

В издательстве «Нейес лебен» (ГДР) вышел роман В. Кетлинской «Мужество». «Этот роман — героический эпос творческого созидания,— пишет йенская газета «Университетсцейтунг».— Писательница показывает новые качества советских людей, людей не только сегодняшнего дня, а людей, идущих вперед, к светлому будущему».

«Бросок на юг» К. Паустовского (пятый том автобиографического цикла) вышел в чехословацком издательстве «Свет совету». Критик еженедельника «Литерарни новины» отмечает, что «роман является талантливым художественным произведением...»

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ
Хроника

АЛЖИР

ФИЛЬМ О БОРЬБЕ И ДОЛГЕ ЧЕЛОВЕКА

Известный французский драматург и сценарист Жорж Арно, находясь в Алжире, дал интервью корреспонденту газеты «Альже републикен».

— До 1954 года,— сказал он,— я не бывал в Алжире и, откровенно говоря, не имел никакого представления ни о стране, ни о ее народе. И только война, так взволновавшая всю прогрессивную Францию, привлекла мое внимание к вашей стране. Алжир, героическая борьба вашего народа за свою свободу и независимость заставили меня взяться за перо.

Недавно Жорж Арно, сообщает газета, закончил сценарий нового фильма об Алжире. Содержание его таково: в Алжир приезжает семья европейцев, они ищут спокойной жизни, далекой от всех тревог и забот Европы. Еще свежи в памяти ужасы второй мировой войны, но постепенно раны, нанесенные войной, зарубцовываются, страдания забываются. Но вот начинается война в Алжире. Из Франции на каникулы приезжает дочь. Отец семейства по-прежнему пытается остаться в стороне от всего, что происходит вокруг. Но его «башня из слоновой кости» рушится: к ним в дом попадает раненый алжирский солдат. Ему оказывают медицинскую помощь, укрывают его от преследования. Глава семьи считает, что он, честный человек, ненавидящий войну и страдания, выполнил свой долг. Но не так думает его дочь. Ее, двадцатилетнюю девушку, горячо увлекают идеи освободительного движения, и она активно включается в революционную борьбу народа.

В наше время, заключает газета, нельзя стоять в стороне от политической жизни страны, нельзя быть нейтральным. Тот, кто ненавидит войну, должен мужественно бороться за мир, за свободу и независимость народов — такова идея нового сценария Арно.

АНГЛИЯ

ЮБИЛЕЙ ШОТЛАНДСКОГО БАРДА

Знаменитому шотландскому поэту и видному общественному деятелю Хью Макдайармиду исполнилось семьдесят лет, и его юбилей, как сообщает газета «Дейли уоркер», явился значительным событием в литературной жизни Англии.

Настоящее имя поэта — Кристофер Грив, но всему миру он известен как Хью Макдайармид. В первую мировую войну он был солдатом, после войны стал журналистом, а с двадцатых гэдов начал писать стихи и редактировать журнал, положив начало своему личному «крестовому походу» за возрождение шотландской литературы.

Хью Макдайармид.
(Газета «Дейли уоркер»)

Такие шотландские романисты, как Вальтер Скотт и Луис Стивенсон, по словам Макдайармида, не могут равняться с великими писателями Англии, ибо они писали не на своем родном языке, а на английском. «Если мы хотим возродить шотландскую литературу,— заявил поэт,— нужно вернуться к своему языку, к традициям Роберта Бёрнса».

Хью Макдайармид своим учителем называет Джона Маклина, известного деятеля английской коммунистической партии и рабочего движения Англии. Поэт стал убежденным марксистом, вступил в ряды коммунистической партии.

В свое время снобы от литературы издевались над шотландским поэтом, утверждая, что он пытается писать на «мертвом языке». Макдайармид неизменно отвечал им: «Шотландцам неизвестно, что язык их мертв, поскольку они говорят на нем». Чудесные лирические произведения, созданные поэтом на родном языке в двадцатых-тридцатых годах, ныне считаются несравненными жемчужинами шотландской поэзии.

Макдайармид писал не только лирические стихи, но и эпические поэмы, в которых находят отражение злободневные вопросы нашего времени. «Он бомбардировал своих читателей идеями, глубокими мыслями, призывами,— пишет Юэн Маккол в газете «Дейли уоркер».— Уже давно стало ясно, что молодой поэт Шотландии превратился в поэта мирового масштаба. Поворотными вехами в его творчестве были поэмы «Первый гимн Ленину» и «Одежда без швов», в которых он сочетал лирику начального периода со зрелым политическим мышлением».

В своей автобиографии, названной «Счастливый поэт», Макдайармид, говоря о коммунизме, подчеркивает, что это — «единственный рациональный путь для человечества».

Всю свою жизнь Хью Макдайармид борется против капитализма, против фашизма, против поработителей и эксплуататоров, против пошлости и снобизма.

Уильям Галлахер на чествовании шотландского поэта заявил, что считает его своего рода «литературным Спутником». По словам Джона Голлана, Макдайармид — «тот человек, который вернул шотландской поэзии ее место на литературной карте Европы», благодаря которому стала развиваться национальная литература Шотландии.

СРЕДНИЙ БУРЖУА ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ

Главный герой нового романа Джека Линдсея «Куда прыгает мяч» — молодой юрист, работающий в небольшом провинциальном городке. Если следовать канонам мелкобуржуазного мещанского счастья, жизнь, казалось бы, должна была улыбаться ему: он обеспечен работой, он не только на хорошем счету у своего босса, но даже помолвлен с его дочерью. И все-таки этот молодой человек, Алан, одинок и несчастен, он совершает массу бессмысленных поступков, объясняемых не столько обстоятельствами, в которые он попадает, сколько его неуравновешенным душевным состоянием.

Рецензент газеты «Дейли уоркер» Джон Гриттен обращает внимание на блестяще созданные Линдсеем глубокие психологические характеристики, на тонкое описание тех противоречивых чувств, которые раздирают психику Алана и по сути являются отражением испытываемого им глубокого недовольства всей окружающей жизнью.

Лучшими страницами книги автор рецензии считает те, которые посвящены воспоминаниям Алана о его участии в войне в Корее.

Критические замечания рецензента вызывает множество диалогов между Аланом и окружающими его людьми. Эти диалоги, пишет Гриттен, иногда производят впечатление нарочитости, как будто они созданы только для того, чтобы дать характеристику действующего лица.

В целом же новый роман Линдсея, по мнению рецензента, увлекателен и очень человечен. Это — своеобразная сага о представителях английской средней буржуазии шестидесятых годов нашего века.

РАССКАЗЫ ЧЕХОВА — В РУКАХ АНГЛИЧАН

Еженедельник «Трибюн» опубликовал рецензию Роберта Ная на вышедший в Англии второй том избранных рассказов А. П Чехова в переводе Констанс Гарнетт. «Рассказы Чехова,— пишет рецензент,— подобны ожерелью из чудесных жемчужин». По словам Роберта Ная, гениальность писателя проявляется в том, что все написанное им идет непосредственно от сердца и от интеллекта, что в свои произведения он вложил частицу своего «я».

Най напоминает о записи в дневнике известной английской писательницы Кэтрин Мэнсфилд: «Ах, Чехов! Почему вы мертвы? Почему не могу я побеседовать с вами в большой, окутанной сумраком комнате, поздно вечером, когда в окна падает зеленоватый отсвет листвы шумящих деревьев?»

«Многие английские читатели,— пишет далее рецензент,— взяв в руки том рассказов Чехова, будут общаться с его героями, узнают их мысли и чувства и несомненно ощутят то же самое, им тоже захочется сказать что-то великому писателю и услышать еще что-то от него... Я не согласен с Мэнсфилд лишь в одном: она не права, считая Чехова мертвым. Автор этих бессмертных творений никогда не умрет».

ФЕСТИВАЛЬ ПЬЕС ШОНА О'КЕЙСИ

В лондонском театре «Мермейд» проводится двухмесячник пьес Шона О'Кейси. Произведения ирландского драматурга, как сообщает газета «Дейли уоркер», сознательно бойкотируются лондонскими театрами, хотя Шон О'Кейси, несомненно является величайшим из ныне живущих драматургов Англии. Газета «Гардиэн» писала недавно: «Шону О'Кейси 82 года, однако он еще многое может сказать такого, к чему следует прислушаться». «Таймс» отозвался о нем как о «гордом бунтаре с могучей жаждой жизни». Вполне естественно, что фестиваль пьес прогрессивного драматурга и борца за мир приобрел особое значение.

Директор и основатель театра «Мермейд» Бернард

Шон О'Кейси.
(Газета «Дейли уоркер»)

Майлс в беседе с корреспондентом «Дейли уоркер» сказал, что он уверен в большом успехе всех трех пьес О'Кейси, показываемых на фестивале,— «Пурпурная пыль», «Алые розы для меня», «Плуг и звезды».

После Лондона театр намерен показать эти пьесы в Ирландии — в Дублине и Бельфасте.

АРГЕНТИНА

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ДЕКРЕТЫ ПРОТИВ ИСКУССТВА

Аргентинские власти, как сообщает печать, издали декрет, запрещающий использование театральных спектаклей и произведений искусства «в целях коммунистической пропаганды». За нарушение этого декрета предусматриваются тюремное заключение сроком до десяти лет и крупные штрафы.

Недавно в Аргентине был запрещен арабский фильм «Джамила». В правительственном декрете, подписанном президентом и министром внутренних дел Аргентины, говорится, что не следует показывать публике такие «бесчеловечные и в высшей степени жестокие сцены», как в этом фильме, и утверждается, что фильм в целом «оскорбляет дружественные чувства, которые питает к Франции наша страна». Этот фильм, как известно, рассказывает историю жизни героини алжирского народа Джамилы Бупаша, подвергшейся нечеловеческим пыткам в застенках французских колонизаторов.

ФИЛЬМ ПО РАССКАЗАМ АЛЬВАРО ЮНКЕ

На Международном фестивале кинофильмов для детей в Венеции с большим успехом демонстрировался аргентинский фильм «Бумажные кораблики» по мотивам одноименной книги рассказов аргентинского писателя-коммуниста Альваро Юнке (рассказы из этой книги были опубликованы в СССР под названием «Мужчины двенадцати лет»). Фильм был отмечен премией за лучшую картину для подростков.

Как сообщает буэнос-айресская газета «Кларин», жюри фестиваля особо подчеркнуло художественные достоинства фильма, заложенную в нем идею борьбы за лучшее взаимопонимание между людьми. Кроме того, фильм «Бумажные кораблики» подтвердил, что «дети хотят окунуться в самую гущу жизни, они хорошо понимают, как взрослые могут повлиять на их будущую судьбу».

Фильм «Бумажные кораблики», отмечает газета, свидетельствует о том, что новые, прогрессивные веяния проникают и в аргентинское кино.

Артист Убальдо Мартинес играет роль учителя в кинофильме «Бумажные кораблики».
(Газета «Кларин»)

БЕЛЬГИЯ

КАК ПРИНИМАЛИ ПЬЕСУ ДЮРРЕНМАТТА

Швейцарский драматург Фридрих Дюрренматт некоторое время назад передал в брюссельский театр свою пьесу «Франк V». По мнению автора, ему удалось поднять в пьесе наиболее острые вопросы нашей эпохи, попасть, что называется, в самую сердцевину. В пьесе «Франк V», пишет Генрих Кейш в газете «Нейес Дейчланд», иносказательно показана коммерческая деятельность одной банкирской династии, ничем не отличающаяся от преступлений гангстеров. Убийства и ужасы непрерывной чередой сменяют друг друга. Однако публика, побывавшая на спектаклях, восприняла пьесу как снобистскую, литературно приукрашенную криминальную историю с запутанным психологическим сюжетом. По мере сил публика веселилась, но при этом вовсе не задумывалась над намерениями автора критически осмыслить современность.

Что же произошло в брюссельском театре? За много дней до объявленной премьеры все билеты были проданы. Оказалось, что один из крупнейших бельгийских нефтяных концернов скупил все места и раздал их председателям наблюдательных советов, директорам, коллегам по коммерческим делам, консервативным политикам, персоналу аппарата государственного секретаря и прочим власть имущим. В театральном зале, таким образом, присутствовала избранная публика, вполне компетентная и способная иметь свое суждение о пьесе. Но эта же публика показала —

чего, впрочем, можно было ожидать,— как мало трогает ее критика автора. Она от души веселилась, часто смеялась вовсе не там, где по замыслу автора надо было смеяться. Самое главное — присутствовавшие отнюдь не сочли себя задетыми. Аплодисментами был награжден не автор пьесы, а автор песенок, включенных в нее.

БОЛГАРИЯ

ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ 1962 ГОДА

Столицей болгарской поэзии в этом году был объявлен старинный город Велико Тырново — город, в котором родился, жил и учился известный болгарский поэт Петко Славейков.

Был создан комитет по проведению традиционного Дня поэзии, в состав которого вошли представители всех культурных и общественных организаций и институтов.

На торжественном собрании, посвященном открытию праздника, был заслушан доклад о достижениях болгарских поэтов. В Дне поэзии приняли участие видные современные поэты Болгарии.

К празднику подготовлен сборник «Поэзия — 1962», в который включены лучшие стихи болгарских поэтов, написанные в этом году.

НА ЭКРАНЕ

В плане софийской киностудии на будущий год, как сообщает еженедельник «Народна култура»,— одиннадцать художественых (в текущем году выпускается шесть) и 222 короткометражных фильма. Большинство картин посвящено проблемам современности. Студия уже начала работу над фильмом «Мужчины» по одноименному роману Георгия Маркова. В производстве находится первый в Болгарии широкоэкранный фильм «Смерти нет» по сценарию Тодора Монова и Христо Сантова.

Ведутся переговоры о совместном сотрудничестве Софийской киностудии со студиями Советского Союза, Италии и Франции.

...В годы второй мировой войны одного болгарского солдата, попавшего в лагерь для военнопленных в Западной Европе, заставили согласиться работать на иностранную разведку. Он возвращается на родную землю с заданием по осуществлению диверсий. Осознав, что он стал жертвой гнусного обмана и шантажа, агент «Золотой зуб» принимает решение вывести на чистую воду своих бывших «хозяев»... Таково вкратце содержание нового фильма Софийской киностудии «Золотой зуб». На снимке актриса Лили Донева и актер Георгий Георгиев — исполнители главных ролей

(Журнал «Болгарские фильмы»)

ВЕНГРИЯ

ПОСЛЕ «НЕДЕЛИ КНИГИ»

В Венгрии стало традицией устраивать ежегодные весенние книжные базары — «Неделю книги». Однако в этом году праздник культуры был особо примечателен: редакция книжного бюллетеня «Тайекозтато» объявила конкурс на лучшее сочинение и лучший рисунок на тему «Ваше самое интересное впечатление от «Недели книги».

Больше шестисот ответов получила редакция. Писали рабочие, члены кооперативов, студенты, школьники, писали люди, убеленные сединами, и дети, только научившиеся читать. По содержанию письма были разные, но одно их объединяло: купленные во время «Недели» книги приобщили авторов писем к чтению.

«Я раньше считал, что покупать книги — это попусту тратить деньги,— пишет бригадир одной из лучших бригад завода,— а теперь только и жду зарплаты, чтобы купить новые книги». «В нашей семье книги покупались лишь по праздникам, нынче нужда в новых книгах настолько ощутима, что книги покупаются на каждый свободный форинт»,— рассказывает член кооператива.

Непосредственны письма школьников. «Мечтаю иметь собственную библиотеку. Сейчас не могу, но, когда вырасту, буду собирать обязательно, потому что с хорошей книгой в дом приходит счастье». «Дядя предложил мне на выбор: новые туфли или три новые интересные книги. Я, конечно, выбрала книги и была счастлива».

«Мое второе крещение», «Лед тронулся», «Страстная мечта» — таковы девизы присланных на конкурс сочинений, свидетельствующих о том, как возросла тяга к книге в народной Венгрии.

ВЬЕТНАМ

ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ

Огромное внимание уделяется в Демократической Республике Вьетнам культурному развитию национальных меньшинств, ранее живших в темноте и бесправии.

Недавно, как сообщает вьетнамская печать, министерство просвещения закончило работу по созданию письменности народов таи, нунг и мео, а также по усовершенствованию письменного языка народа тхаи.

Правительство ДРВ утвердило созданные для национальных меньшинств письменные языки и приняло решение ввести их в качестве официальных письменных языков в школьные программы и в практику работы государственных учреждений в двух автономных округах, а также и в других областях страны, где проживает население, говорящее на этих языках.

Вьетнамская печать расценивает создание письменности для малых народов страны как могучий толчок к развитию не только их литературы, но и всех отраслей культуры вообще.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

С большим успехом прошел в Демократической Республике Вьетнам театральный фестиваль 1962 года.

По сообщениям вьетнамской печати, заключительному этапу фестиваля, проведенному в Ханое, предшествовали провинциальные и уездные фестивали театрального искусства. Только в одних провинциальных фестивалях, на которых получили право показать свое искусство коллективы, отмеченные на уездных фестивалях, участвовало более четырех тысяч человек — профессионалов и любителей со всех концов страны.

Авторами пьес, показанных на фестивале, чаще всего являлись сами участники спектаклей. Они рассказывали в них о своей жизни и работе, о том, что волнует их товарищей по труду.

ГАНА

ПО ПУТИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ

Население Ганы с огромным интересом встретило проект программы Народной партии конвенции, которую возглавляет президент республики доктор Кваме Нкрума.

Как сообщает газета «Ганиен таймс», видное место в проекте программы занимают вопросы литературы и искусства.

«В настоящее время,— говорится в этом документе,— ганские писатели не имеют возможности публиковать в Гане свои произведения, созданные как на английском языке, так и на языках народов Ганы. Развитие просвещения в стране создаст предпосылки для резкого увеличения количества произведений национальных авторов, написанных на английском и африканских языках. Поэтому партия считает крайне важным создать в возможно более короткий срок Государственное издательство национальной литературы. Оно должно стать центральным органом по выпуску в свет не только художественных произведений местных писателей, но и других видов печатных изданий, в том числе учебников для школ, газет, журналов».

«Создание Национального театра для развития драматургии, музыки и танцев народов Ганы,— отмечается далее в проекте программы,— давно назревшая задача».

В области кинематографии решено принять все необходимые меры для создания ганской кинопромышленности, всячески поощрять те фильмы, в которых будет отражена новая жизнь народов Ганы и других африканских стран. В целях ознакомления ганского зрителя с лучшими произведениями зарубежной кинематографии и предотвращения проникновения на экраны страны аморальных западных фильмов будет создано Агентство по импорту фильмов.

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ИОГАННЕС Р. БЕХЕР О ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ

В издательстве «Ауфбау ферлаг» вышла книга «Иоганнес Р. Бехер о литературе и искусстве».

Сообщая об этом, еженедельник «Зоннтаг» пишет: «Книга воссоздает образ поэта-политика, боровшегося за «царство человека», за решение проблем нашей растущей социалистической литературы, возникшей из революционной литературы рабочего класса».

В книге, составленной Марианной Ланге, помещены не печатавшиеся до сих пор материалы, а также издававшиеся только в двадцатых и тридцатых годах речи и статьи поэта. Творческий путь Иоганнеса Р. Бехера, ставшего выдающимся национальным поэтом периода социалистического строительства, показан автором особенно отчетливо, заключает критик «Зоннтага».

ПОВЕСТИ ГОРНЯКОВ О ГОРНЯКАХ

Сборник «Повести горняков» получил литературную премию Свободных немецких профсоюзов за 1962 год. В сборник вошло двадцать повестей и рассказов, а также семь стихотворений. Эти произведения написаны горняками кружка «Пишущие рабочие», добывающими уголь в шахтах около местечка Лугау (Эрцебирге).

Критик еженедельника «Зоннтаг» обращает внима-

ние на работу Готтфрида Тобиша «Первое месторождение», в которой автор, подняв исторические документы, повествует об истории своих шахт со дня добычи первого куска угля в 1831 году до последнего дня власти капиталистов на угольных разработках.

Большая часть произведений, включенных в сборник, посвящена нынешней жизни горняков республики. Например, «История одной комплексной бригады», написанная забойщиком Ортвином Вернером. По мнению критика, это прекрасный рассказ о стихийно возникшем среди самих горняков движении за создание бригад социалистического труда.

РАССКАЗЫ ЗИГФРИДА ПИЧМАННА

«В «Справочнике немецких писателей» имя бывшего рабочего Зигфрида Пичманна еще не значится»,— пишет литературный обозреватель газеты «Юнге вельт». Молодой писатель стал известен недавно — вместе с Бригиттой Рейман он был удостоен премии Свободных немецких профсоюзов 1962 года за сценарий радиоспектакля «Человек стоит перед дверью».

К ранним работам Пичманна относится повесть «Записки ученика-ремесленника» (1949), носящая автобиографический характер. Три года спустя появилась его более зрелая повесть «Уход блудного сына», рассказывающая о том, как сын покинул дом своего отца-сектанта. В этой работе Пичманн показал себя способным нарисовать полную подлинного романтизма историю начавшего новую жизнь юноши-пролетария.

Недавно в издательстве «Ауфбау» вышел сборник рассказов Зигфрида Пичманна «Возчик и его странная помолвка».

По словам критика газеты «Нейес Дейчланд», сборник рассказов Зигфрида Пичманна дает право ожидать от автора новых талантливых произведений.

«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»

«Недавно в издании «Нейес лебен» вышел роман Вилли Мейнка «Вторая жизнь», который заставляет обратить внимание и на это произведение и на его автора»,— пишет критик газеты «Берлинер цейтунг».

Читатели ранее знали Вилли Мейнка как автора интересных книг для юношества. Его романы о приключениях Марко Поло и роман «Спрятанный свет» — о борьбе молодежи с нацизмом — хорошо известны.

Новый роман Вилли Мейнка показывает ту жизнь, которая началась для героев «Спрятанного света» после 1945 года. В новом романе, уже став взрослыми, продолжают жить герои первой книги.

Мартин, которого считали погибшим на фронте, возвращается в разрушенный Берлин. Здесь Мартин узнает, что его первая любовь — Грилле вышла замуж, но ее мужа, как и Фокса, который был лучшим другом Мартина, убили гитлеровцы. Приезжает из эмиграции Иза, подруга Фокса. Из концентрационного лагеря возвращается и отец Мартина. И вот для оставшихся в живых начинается новая жизнь...

О том, как в тяжелые времена восстановления страны из руин люди постепенно обрели себя и стали строить новую жизнь, говорит Вилли Мейнк в своем романе. «Не всегда автору удается глубоко раскрыть и людей и среду. Но все же — а это главное — автор интересно и убедительно показал начало нашей новой жизни, которое привело нас к настоящему»,— так оценивает это произведение рецензент газеты «Берлинер цейтунг».

С большим успехом в ГДР демонстрируется новый фильм студии ДЕФА — «Карин». Интерес к этому фильму вызван прежде всего его темой, волнующей современную немецкую молодежь. Родители Карин, ученицы-старшеклассницы, против воли дочери увезли ее с собой в Западный Берлин. Воспитанная в той части Германии, где люди строят новый общественный уклад, Карин не может свыкнуться с «западной» средой. В конце концов Карин возвращается на свою родину — в Германскую Демократическую Республику. По отзывам критики ГДР, сценарист фильма Бенно Плудра и режиссер Ганс-Эрик Корбшмидт просто и убедительно показали глубокие переживания юной патриотки. Естественен в исполнении актрисы Карин Шрёдер образ героини.

(Газета «Берлинер цейтунг»)

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

РЕАКЦИЯ НАСТУПАЕТ

Один за другим театры ФРГ и Западного Берлина вынуждены под давлением властей и угроз желтой прессы объявлять об отказе от намечавшихся постановок пьес Бертольда Брехта. Творчество великого драматурга не по вкусу правителям ФРГ. В ответ на меры правительства ГДР по укреплению границ Республики реакция начала наступление на демократический театр, подвергая нападкам прогрессивных режиссеров.

Нападкам подверглись и деятели культуры, выступающие за контакты с коллегами из ГДР. Президиум западногерманского Союза немецкой сцены принял решение, запрещающее артистам ФРГ выступать в Германской Демократической Республике.

ИЗРАИЛЬ

В ПОИСКАХ «СИНЕЙ ПТИЦЫ»

Израильская газета «Кол гаам» опубликовала рецензию на сборник рассказов писателя Альберта Бени «Синяя птица».

Альберт Бени, говорится в рецензии, принадлежит к так называемым «олим хадашим» — «новым иммигрантам», которые приехали в страну после образования государства Израиль. Этим объясняется основная тема его рассказов — тяжелая жизнь израильских иммигрантов, которые вынуждены жить во временных поселениях — «маабаротах», часто не имея работы.

Но не только о них пишет Альберт Бени в своих рассказах. Он пишет о простых людях Израиля, где бы они ни жили, о евреях и об арабах, страдающих под тяжестью условий, существующих в нынешнем Израиле, но не склонивших головы.

ИНДИЯ

Индийской прессой была тепло встречена новая работа крупнейшего бенгальского режиссера Сатьяджита Рэя — «Канчинджинга». «Это необычный фильм, даже если считать, что большинство фильмов Сатьяджита Рэя необычны»,— пишет кинокритик журнала «Линк». Рецензент журнала «Филмфэр» заявляет что картина «так отлична от всего до сих пор известного, так полна новизны, так жизненна и так нужна, что чувствуешь глубокую благодарность к ее создателю». В фильме, сценарий к которому написал Сатьяджит Рэй, нет сюжета в общепринятом смысле слова Это размышления о взаимоотношениях членов одной семьи. Картина рассказывает о двух мирах — внутреннем мире человека и внешнем мире окружающем его, о взаимодействии этих миров. Глава семьи — деспот, сухой бездушный делец. Члены семьи выступают сначала несмело, потом все решительнее против его деспотизма, против отвратительных традиций прошлого, борются за свое человеческое достоинство и, побеждая, выходят на самостоятельную дорогу. Для раскрытия внутреннего мира своих героев режиссер использует синтез самых разнообразных элементов: внешний образ — случайно пойманную в объективе улыбку ребенка, скупой диалог, краски окружающей природы, радужные лучи заходящего солнца. Богата гамма звуков — бой часов, пение сверчка, тревожная дробь барабана, грустная народная мелодия и величавая песня Тагора — с помощью этих средств постановщик передает настроения действующих лиц Музыка к фильму, в основу которой положены народные мелодии Непала, написана также Сатьяджитом Рэем Здесь помещен кадр из фильма.

(Журнал «Филмфэр»)

ЗАПРЕТИТЬ КНИГУ И ФИЛЬМ!

Со страниц индийской прессы все настойчивее звучит протест против книги американского индолога Стэнли Вулперта «Девять дней у Рамы», которая искаженно показывает один из драматических эпизодов истории Индии. Книга Вулперта посвящена последним дням жизни Махатмы Ганди. В ней даны портреты его политических противников, особенно ярко обрисован его убийца — Натхурам Годсе.

Несколько лет назад Голливуд обратился к индийскому правительству за разрешением снять в Индии фильм по этой книге. Несмотря на возражения отдельных членов парламента и многочисленные протесты общественности Индии, просьба голливудской фирмы была удовлетворена: в этом году полным ходом развернулись съемки картины. Новую волну возмущений вызвало недавно появление самой книги на полках книжных магазинов Индии.

«Когда читаешь эту книгу, стыдно становится за ее низкий моральный дух»,—

пишет обозреватель газеты «Нью эйдж» Бхаскар. Анализируя характеристики действующих лиц, критик отмечает, что все эти люди изображены развратниками и пьяницами. Портреты исторических персонажей неправдоподобны, ситуации надуманны. Образ Натхурама Годсе сделан по излюбленному Голливудом трафарету — этакий типичный герой из серии «никто меня не понимает». Легко представить себе, как будет выглядеть этот «душераздирающий портрет самого проклинаемого в Индии убийцы в американском фильме в окружении очаровательных звезд... Псевдонаучный, коммерческий подход к одной из величайших трагедий индийской истории и искажение портретов ее участников — признак дурного вкуса американского ученого».

«Следует немедленно запретить как саму книгу, так и фильм,— требует Бхаскар.— Хотя даже такая мера не смоет всю ту грязь, которую эти «друзья» выливают на головы индийцев».

ИРАК

ИРАКСКАЯ НОВЕЛЛА

Недавно вышла в свет книга Абд-аль-Хамида Хамуди «Об иракской новелле». По сообщению багдадского журнала «Ат-Тарик», автор книги рассматривает особенности иракской новеллистики в период после революции 14 июля 1958 года, анализирует творчество отдельных иракских писателей.

ЖУРНАЛ ИРАКСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

В Багдаде начал издаваться ежемесячный журнал «Аль-Китаб» («Книга») — орган Ассоциации иракских писателей. Редактор журнала — Фарид Фитьян. В новом органе печати, как сообщает журнал «Аль-Адиб», принимают участие видные литераторы Ирака.

ИСПАНИЯ

ДОЛОРЕС МЕДИО И ЭВА САСТРЕ — В ТЮРЬМЕ

По сообщению парижской газеты «Монд», испанская писательница Долорес Медио (роман которой «Государственный служащий» был недавно издан в Советском Союзе), а также Эва Састре, жена известного драматурга Альфонсо Састре, были арестованы франкистскими властями и брошены на двадцать суток в женскую тюрьму в Мадриде.

Обе женщины, как сообщают, принимали участие в демонстрации солидарности с бастовавшими горняками Астурии.

Арестованные участники этой демонстрации, в том числе Долорес Медио и Эва Састре, были приговорены к штрафу в размере 25 тысяч песет, а в случае неуплаты — к тюремному заключению. В знак солидарности с бастующими женщины предпочли тюрьму.

ИТАЛИЯ

«В СТРАНЕ СПУТНИКОВ»

Так называется книга, написанная известным переводчиком советской литературы Пьетро Цветеремичем, который на этот раз выступает в качестве писателя-очеркиста, рассказывая итальянскому читателю о своей недавней поездке по Советскому Союзу — от Москвы до Сибири.

В эту небольшую по объему книжку, пишет рецензент газеты «Паэзе сера», автор сумел вместить огромное количество самых разнообразных фактических сведений о Советском Союзе. Однако главное достоинство книги Цветеремича заключается в следующем: автору удалось превратить описание своего путешествия по СССР в путешествие «в глубь» советской действительности, а также в путешествие во времени — «от Ивана Грозного до «города атома» Дубны — движущего центра технического и научного прогресса СССР, где более чем в какой-либо другой стране на земле уже давно началось будущее».

РАННИЙ РОМАН ПАЗОЛИНИ

«Мы не знаем, в какой степени Пазолини пересмотрел свой роман, написанный им в 1949 году и опубликованный только теперь»,— пишет критик Карло Салинари в еженедельнике «Вие нуове».

Роман Пьера Паоло Пазолини «Неосознанная мечта», вышедший в издании Гардзанти, распадается на две части. В первой повествуется о дружбе нескольких крестьянских парней из Фриули — области на севе-

КНИГИ ПИСАТЕЛЕЙ СИЦИЛИИ

Лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» писатель и общественный деятель Данило Дольчи закончил работу над новой книгой очерков и статей, посвященных проблемам экономического и культурного развития острова Сицилия. Книга, как сообщает печать, будет выпущена издательством Эйнауди. Это же издательство недавно опубликовало другую книгу Дольчи — «Беседы».

Популярный на Сицилии поэт-коммунист Иньяцио Буттитта вместе с сыновьями заканчивает перевод на итальянский язык своих поэм, написанных на сицилийском диалекте. Произведения Буттитты выйдут в свет в трех книгах, в которых рядом с оригиналом будет напечатан итальянский перевод его поэм и стихов. Поэмы и народные кантаты Буттитты выйдут в двух сборниках в издательстве «Аванти», а сборник лирических стихов сицилийского поэта с предисловием, написанным Карло Леви, выпустит издательство Фельтринелли.

ро-востоке Италии — Нини, Милио и Элиджио, об их неудачных попытках найти работу в Югославии и Швейцарии, о возвращении на родину и участии в борьбе крестьян за свои права. Во второй части автор рассказывает о затаенной любви девушки Чечилии из богатой патриархальной семьи — и Нини. Однако Нини женится на другой, и Чечилия уходит в монастырь...

В этом раннем произведении Пазолини уже намечены типы героев его последующих романов — «Лихие ребята» и «Жестокая жизнь». «Мы не хотим сказать, — пишет Салинари,— что переход от Фриули к Риму, от батраков и рабочих области Венето к римским люмпен-пролетариям явился для Пазолини шагом назад. Слишком очевидны успехи, которые Пазолини-новеллист сделал в своих последующих романах, особенно в такой области, которая решающе важна для всякого писателя,— области языка и умения строить повествование. Однако в области идеологии, которая имеет не менее важное значение, знакомство Пазолини с римским люмпен-пролетарием привело его к своего рода любопытной фетишизации «стихийности», «жизнеспособности», «природы» (противопоставляемых сознательности, организованности, руководству), которая не только сузила горизонт писателя, мешая ему увидеть истинные движущие силы современного общества, но также распахнула дверь перед вновь зазвучавшими многочисленными декадентскими мотивами».

По мнению Карло Салинари, название романа Пазолини перекликается с высказыванием Маркса о необходимости изменения человеческого сознания, его постепенном освобождении и смутной мечте о лучшем будущем. Это свидетельствует о стремлении Пазолини поднять сознание своих героев на более высокую ступень, чем сознание персонажей других его произведений — обитателей римского дна, отражающее их растительное существование.

ФАЛЬШИВКА НА ЭКРАНЕ

Сообщая о выходе на экраны итало-французского фильма «Живое Конго», снятого Джузеппе Беннати, французская прогрессивная печать отмечает, что этот фильм — грязная фальшивка, сфабрикованная в интересах неоколониализма.

Место действия фильма— Конго, время — 1960 год. Можно было бы вовсе не упоминать, пишет критик еженедельника «Леттр франсез», об этом скучнейшем фильме, рассказывающем банальную историю любви итальянского журналиста и молодой женщины, приехавшей из Бельгии, если бы не грубая клевета автора на конголезский народ и явное извращение действительности. «Чтобы придать происходящему на экране видимость достоверности, — говорится в рецензии,— автор порой изображает действительные события, но истолковывает их настолько превратно и так подтасовывает факты, что действительность предстает в совершенно искаженном виде. Причина трагедии конголезского народа — в интригах неоколониалистов, а вовсе не в каком-то «разгуле первобытных страстей и жажде разрушения», якобы присущим конголезцам, как старается убедить нас автор».

КАНАДА

КОНГРЕСС ПИСАТЕЛЕЙ

Как сообщает газета «Кенэдиен трибюн», в провинции Квебек состоялся пятый ежегодный конгресс писателей Канады, создающих свои произведения на французском языке. В работах конгресса приняло участие около ста писателей.

В центре внимания участников конгресса был вызвавший жаркую дискуссию вопрос о необходимости установления более тесных взаимоотношений между писателями и рабочим классом.

Выступивший по этому вопросу писатель Фернан Жоликёр высказался за необходимость проведения встреч рабочих с писателями, совместных обсуждений вопросов литературы. В качестве положительного примера писатель сослался на опыт канадского театра «Нуво монд», который уже провел большую работу, чтобы сделать свои спектакли доступными и полезными для рабочих.

КИТАЙ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЬЕСА ГО МО-ЖО

Театр Шоуду познакомил зрителя с новой исторической драмой Го Мо-жо «У Цзэ-тянь». Эта пьеса была написана еще два года назад и поставлена в стиле пекинской оперы. Затем автор переделал ее в современную драму, сократив на один акт. В таком измененном виде пьеса ныне идет на сцене театра.

Драма Го Мо-жо посвящена первой в истории Китая императрице У Цзэ-тянь, царствовавшей на рубеже VII—VIII веков, в период танской династии. Личность У Цзэ-тянь многие века освещалась тенденциозно официальными историками Китая. Ее изображали честолюбивой женщиной, оттеснившей законного наследника и узурпировавшей трон.

Го Мо-жо, как сообщает китайская печать, по-иному подходит к оценке личности императрицы. Он изображает ее мудрой, дальновидной правительницей. В пьесе — она высокообразованная женщина, преданная жена и любящая мать, трагедия которой заключается в том, что ее не понимает собственный сын.

Драма поставлена известным режиссером Чжао Чжу-яном, который ставил другие исторические драмы Го Мо-жо.

ОЧЕРКИ И СТАТЬИ ЛЮ БАЙ-ЮЯ

Известный писатель и публицист Лю Бай-юй выпустил сборник очерков и критических статей о лучших произведениях китайской литературы. В путевых очерках Лю Бай-юй, сообщает журнал «Жэньминь вэньсюе», рассказывает о своей родине и о борьбе народов Африки против империализма и колониализма.

НА СТРАНИЦАХ РОМАНА — ДЕЛА И ДУМЫ КРЕСТЬЯН

Роману Ху Чжэна «Течет река Фэньхэ», недавно вышедшему из печати, китайская критика предсказывает большую жизнь. Произведение это нашло горячий отклик среди читателей, им полюбились его герои —трудолюбивые крестьяне.

Действие романа, пишет критик Янь Ван в журнале «Вэньи бао», происходит в провинции Шаньси, в одной из деревушек, затерявшейся на берегу полноводной Фэньхэ. В деревне идет движение за кооперирование.

Полнота показа деревенского быта, крестьянской жизни, раскрытие основных черт и закономерностей периода кооперирования китайской деревни — вот что, по словам Янь Вана, особенно ценно в романе.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ РОМАН

Недавно в Фучжоу была обнаружена полностью сохранившаяся рукописная копия классического китайского романа в стихах «Мечта в пору цветения гранатов», созданного писательницей Ли Куэй-ю, которая посвятила работе над этим произведением всю свою жизнь.

Роман, повествующий о жизни и боевых подвигах нескольких молодых женщин в VIII веке, состоит из 360 томов. Он считается самым большим романом в китайской литературе.

Журнал «Чайниз литерачер» сообщает, что, как предполагается, существовало три рукописных копии романа. Копия, найденная в Фучжоу,— единственная полностью сохранившаяся до нашего времени.

КУБА

Служащие гаванского бара «Флоридита», где Эрнест Хемингуэй зачастую бывал и беседовал с посетителями, недавно установили в этом баре бюст выдающегося американского писателя.

(Журнал «Боэмия»)

ПАМЯТЬ О ХЕМИНГУЭЕ — В СЕРДЦЕ РЫБАКОВ

Американский писатель Джозеф Норт посетил на Кубе рыбацкий поселок Кохимар, где недавно был открыт памятник Эрнесту Хемингуэю. Знаменитый романист считал себя гражданином этого поселка, дружил со всеми рыбаками и их семьями.

«Я разговаривал со многими рыбаками, принесшими цветы к памятнику в день его открытия,— пишет Джозеф Норт в газете «Уоркер»,— и убедился в том, что все написанное о теплых взаимоотношениях Хемингуэя с трудовым людом — сущая правда».

Вот что, по словам Джозефа Норта, говорят кубинские рыбаки об Эрнесте Хемингуэе: «Он был совсем такой же, как и мы,— сказал один старый рыбак с морщинистым лицом.— Мы привыкли к нему и относились к нему будто к члену нашей рыбацкой семьи».

«Мы знали,— сказал другой рыбак,— что он знаменитый писатель, но нам это было все равно, это не меняло ни нашего отношения к нему, ни его отношения к нам. Он приходил в наш бар — там на вершине холма — садился и выпивал с нами и беседовал о рыбе, о погоде, спрашивал, каково наше мнение о том, о другом. Частенько мы рассказывали ему о наших семьях и обсуждали вместе с ним наши повседневные дела».

Шкипер яхты писателя «Пилар», Фуэнтес Бетанкур, на вопрос Норта, не знает ли он, кто послужил писателю прототипом главного героя повести «Старик и море», ответил: «Хемингуэй сам сказал мне, что не было такого человека: все мы, кубинские рыбаки, были Стариком».

Бетанкур сообщил Норту: «Хемингуэй использовал «Пилар» не только для рыбной ловли, которую он очень любил. Он имел привычку уходить на яхте в море и тогда, когда писал последние главы книги, над которой работал. Он запирался в каюте и в открытом море заканчивал работу».

Все беседы Норта с простыми людьми из Кохимара и Гаваны — с рыбаками, водителями такси, рабочими — показали, что Хемингуэя знали все, он пользовался здесь огромной личной популярностью. «Память о великом писателе,— пишет Норт,— живет и будет жить среди простых людей Кубы, которую он так любил».

ЛИВАН

КНИГА ОБ АЛЬ-БУСТАНИ

Среди деятелей Арабского Возрождения (конец XIX — начало XX века) выдающееся место занимает Сулейман аль-Бустани — крупный политический деятель, ученый, публицист и переводчик (1856—1925 гг.). Знавший несколько западных и восточных языков, Сулейман аль-Бустани много сделал для ознакомления арабов с достижениями мировой науки и культуры; в частности, он перевел на арабский язык «Илиаду» Гомера.

Недавно ливанский писатель Михаил Савайя издал книгу о своем знаменитом земляке. По свидетельству журнала «Ат-Тарик», монография Савайи представляет собой ценное исследование о выдающемся деятеле арабской культуры.

СМЕРТЬ МАРУНА АББУДА

Скончался крупнейший ливанский писатель, лауреат национальной премии доктор Марун Аббуд.

В некрологе о выдающемся писателе прогрессивный ливанский журнал «Ат-Тарик» пишет: «Исполинское дерево в нашей литературной куще повержено бурей в разгар весны». Журнал отмечает многообразие таланта этого замечательного художника слова, который был поэтом и прозаиком, романистом и новеллистом, очеркистом и критиком.

НОРВЕГИЯ

ПАМЯТИ ХЕЛЬГЕ КРОГА

Умер известный прогрессивный норвежский писатель-драматург Хельге Крог. Через все творчество Крога, говорится в статье, опубликованной газетой «Фрихетен», красной нитью проходит мечта о гуманизме, о новом обществе, где будет господствовать свобода и

Хельге Крог.
(Газета «Фрихетен»)

социализм. Неоднократно он выступал против присоединения Норвегии к НАТО, против испытаний западными державами атомного оружия.

До конца своей жизни Крог, как писатель, был очень требователен к себе. Язык его отличался ясностью и точностью. В свои 73 года он неустанно работал над произведениями, активно боролся за дело мира.

В 1956 году Крог побывал в Советском Союзе в связи с проведением пятидесятилетия со дня смерти Генрика Ибсена.

ПОЛЬША

ИНТЕРВЬЮ С ЛАУРЕАТОМ

— У меня было несколько литературных дебютов,— сообщил известный польский поэт Тадеуш Ружевич корреспондентам газеты «Жице Варшавы» в связи с присуждением ему первой премии министра культуры и искусства.— В первый раз мои стихи были опубликованы в журналах в 1938—1939 годах. Затем, во время оккупации, в 1944 году, вышла моя первая книга. Это был мой дебют в антифашистском подполье. Официально же я дебютировал томиком стихов в 1947 году.

Тадеуш Ружевич известен польскому читателю не только как поэт, но также как автор рассказов и драматургических произведений. По его собственному признанию, он не проводит грани между драматургией и поэзией, так как оба этих литературных жанра содержат одну и ту же «поэтическую материю».

Ружевич хорошо знает поэзию молодого поколения польских поэтов, постоянно находится в центре ее проблем и устремлений.

— Пишушая молодежь,— сказал Ружевич,— должна прежде всего много учиться. Природного таланта может хватить на один-единственный томик, нечто вроде автобиографии. А потом что? Мне кажется, об этом должны говорить на литературных съездах и фестивалях поэзии. Поэт — и я особо подчеркиваю это — должен уметь обосновать свое поэтическое восприятие мира. Авторская позиция «если не понимаешь, то отойди» ничем не оправдана. Поэт должен нести ответственность за то, что он пишет.

Тадеуш Ружевич.
(Фото ПАП)

Режиссер Войцех Хас закончил съемки нового фильма «Как быть любимой» по одноименной повести Казимежа Брандыса. Фильм рассказывает о судьбе женщины — участницы польского Сопротивления, потерявшей всех своих близких во время войны. В народной Польше она стала одной из самых популярных артисток польского радио и телевидения — и в служении людям нашла свое место в жизни. На снимке один из драматических эпизодов фильма, относящихся ко времени оккупации.

(Журнал «Фильм»)

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА И КИНО

Замечательные успехи Советского Союза в освоении космического пространства вызывают вполне понятный интерес к научной фантастике у миллионов людей. А как обстоит дело с научно-фантастическими кинофильмами? Ответить на этот вопрос попытался на страницах журнала «Фильм» Станислав Лем, известный автор многих научно-фантастических повестей и рассказов:

— Западная кинематография и в первую очередь Голливуд, — отметил писатель, — стараются ввести в фильмы о будущем человеческого общества такие непременные атрибуты, как космические катастрофы. сверхъестественные чудовища и сексбомбы. И потому нет ничего удивительного в том, что фильмы, подобные американскому — «Запрещенная планета», английскому —«Кинг Конг» или японскому — «Годзилла», не представляли собой никакой художественной ценности.

Произведения Жюля Верна, которые ныне усиленно экранизируются в различных странах мира, не могут полностью удовлетворить современного зрителя — он хочет видеть современную ему фантастику. Польский научно-фантастический фильм «Безмолвная звезда», снятый по мотивам романа Станислава Лема «Астронавты», как считает сам автор книги, далек от совершенства.

Каковы же, с точки зрения Лема, должны быть пути развития научно-фантастической кинематографии? Он считает, что писатели и режиссеры, которые серьезно занимаются этой темой, должны много искать. Научно-фантастический фильм еще не нашел себя. Возможно, для него самым подходящим будет сказочный сюжет. А может быть, заметил писатель, «фантастический фильм отыщет свои чистые истоки в документальности первых орбитальных полетов человека».

«ИСТОРИЯ ПОЛЬСКОГО ИСКУССТВА»

Недавно вышедшая из печати «История польского искусства» под редакцией Тадеуша Добровольского и Владислава Татаркевича была встречена польской критикой с большим одобрением.

Первый том посвящен искусству средневекового периода, второй — нового и третий — новейшего периода. В этом труде впервые освещается развитие всех областей искусств. «История» очень богато иллюстрирована, в ней много рисунков, репродукций.

Рецензент газеты «Трибуна люду» пишет: «История польского искусства» — это не только первая попытка обобщения имеющегося материала, но и первая попытка научной систематизации, выявления основных направлений развития польского искусства».

СЕНЕГАЛ

ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ПИСАТЕЛЯ

«Сомнения» — первый роман молодого сенегальского писателя Ч. Х. Канэ — быстро принес его автору широкую известность. В романе рассказывается о молодом сенегальце, сначала учившемся у себя на родине, затем отправившемся продолжать образование в Париж. Герой книги проходит путь мучительных исканий: с одной стороны, он постепенно перестает верить многому из того, что старались ему внушить проповедники ислама у него на родине; с другой стороны, он разочаровывается и в своих европейских учителях в Париже. «Мне кажется,— говорит он,— что я ненавижу моих белых наставников. Я полюбил их слишком быстро и опрометчиво».

Сам автор в беседе с корреспондентом журнала «Уэст Африка» заявил, что в некотором смысле этот роман можно считать автобиографическим, хотя правильнее называть его просто «досто-

верным»: «В нем описывается жизнь моих сверстников, которые прошли через одни и те же испытания и почувствовали одно и то же». Как и его герой, писатель родился на севере Сенегала, учился в Дакаре, затем в Париже.

В настоящее время Ч. Х. Канэ возглавляет работы по планированию развития хозяйства молодого африканского государства, посвящая литературе лишь свой досуг.

Делясь своими творческими планами, писатель рассказал, что теперь работает над новым романом, в котором будут отражены «сегодняшняя жизнь Сенегала, национальные традиции, быстрое развитие, происходящее в настоящее время. Это будет политический роман, написанный на национальной основе, и вместе с тем — психологическое и эстетическое произведение».

Отметив, что начинается новая эпоха в истории африканской литературы, писатель подчеркнул: «Новые проблемы требуют своего отражения в литературных произведениях».

ДЖОН СТЕЙНБЕК «В ПОИСКАХ АМЕРИКИ»

«Есть люди, рожденные странниками, и когда подуют ветры бродяжничества, их охватывает особый зуд — и тогда ничего не остается им делать, как подчиниться этому зову и пуститься в странствие. Тем более в данном случае легко было найти обоснование к путешествию. Вот я — американский писатель, пишущий об Америке. Но в течение последних двадцати лет я мало знакомился с Америкой...» — пишет Джон Стейнбек в своей новой книге «Путешествие с Чарли в поисках Америки».

В 1960 году Стейнбек отправился на машине вместе с любимым старым пуделем Чарли в путешествие «в поисках Америки»; за три месяца он проехал десять тысяч миль, и вот недавно вышла книга его впечатлений.

«Его многочисленные встречи и разговоры с простыми американцами читаются с огромным интересом,— пишет Эрик Голдмен в еженедельнике «Нью-Йорк таймс бук ревью» — Ему не всегда нравятся американцы и американский образ жизни, и он не стесняется вслух говорить об этом».

Любопытная беседа произошла у писателя с владельцем придорожного магазинчика недалеко от Чикаго. В разговоре Стейнбек выразил беспокойство, что американцы как-то не проявляют прежней горячности и заинтересованности в отношении всяких общественных дел. Владелец магазина на это ответил: «О, конечно, конечно, нас можно в любой момент спровоцировать на спор по поводу любимых футбольных команд. Но лучшее, что у нас имеется для нападок,— это русские. Никто к вам не придерется, если вы начнете изливать свое раздражение, недовольство или гнев на русских. Наверно, у этих русских здорово горят уши! Например, человек поссорился со своей женой и немедленно начинает вымещать свою злобу на русских! Так что русские нам очень нужны ..»

Во время своего путешествия Стейнбек наблюдал многие мрачные стороны американского образа жизни. В Новом Орлеане он стал невольным свидетелем дикой сцены: банда изуверов-расистов хором выкрикивала оскорбления по адресу маленькой негритянской девочки, пробиравшейся с испуганным видом к дверям школы,— и терпение его лопнуло. «Страницы, посвященные этому инциденту,— пишет рецензент,— относятся к самым сильным местам книги».

Новая книга Стейнбека, утверждает критик газеты «Нью-Йорк геральд трибюн», Геннет, «не похожа ни на что написанное им прежде». Писатель, по словам Геннета, будто бы отошел от горечи и насилия, отличавших его книги в средний период творчества, «пустился в путешествие в великолепном настроении и не встретил ни одного «чужого»...

Однако далее критик не смог удержаться на этой ноте и должен был признать, что «Стейнбек остается Стейнбеком», что ему не по душе города Америки, что ему показались «безвкусными книги и журналы и местное радио», что он сталкивался со многими уродствами американской действительности...

Так ничего не получилось из попытки Геннета представить новую книгу Стейнбека чем-то вроде бездумного развлекательного чтива.

США

Джон Стейнбек и Чарли.
(Еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью»)

ЧЕМУ ВЕРИТЬ?

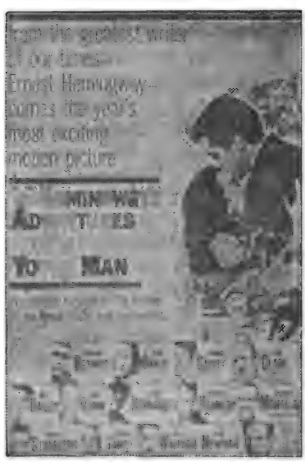
Крупнейшая голливудская компания «XX век — Фокс» выпустила фильм «Приключения молодого человека» по мотивам рассказов Эрнеста Хемингуэя.

Новому фильму сопутствует исключительное «паблисити». На международной выставке в Сиэттле (США) он был признан лучшим фильмом 1962 года. «Национальная компания паблисити» включила его в число самых выдающихся премьер десяти городов мира.

Какова же подлинная значимость картины? Американский журнал «Варайети», достаточно компетентный в вопросах проката, считает, что этот широко разрекламированный фильм будет «нуждаться в особых мерах для продажи», потому что в картине имеются только «проблески правды и артистизма вперемешку с ремесленничеством и мелодрамой». По мнению журнала, «фирма «XX век — Фокс» поступила бы благоразумнее, если бы выпятила немеркнущие ценности автобиографических рассказов величайшего писателя нашего времени и не гналась бы за приманками». В фильме оказались удачными роли только второго плана, а главные — «на грани провала». Ричард Беймер — исполнитель роли главного героя рассказов Хемингуэя Ника Адамса — «лишен тепла, глубины, выразительности», не в состоянии «донести глубокий подтекст скупых диалогов писателя», Сусана Страсберг в роли Розаны «делит с Беймером наиболее слабые и апатичные куски фильма», ее толкование этой роли... «деревянное».

Так «Варайети» оценивает этот фильм. Любопытно, что после уничтожающей критики фильма журнал считает возможным отводить целые полосы под его рекламу, доказывающую прямо противоположное: «Приключения молодого человека» — наиболее волнующий фильм этого года», в нем занят «самый замечательный актерский ансамбль», «XX век — Фокс» подарила миру «самый благородный из фильмов» и т. п.

Видимо, долларовая приманка сыграла с «Варайети» злую шутку.



Реклама фильма «Приключения молодого человека» в «Варайети».

БЕСЕДА С ЛОРЕЙН ХЭНСБЕРРИ

Известная молодая негритянская писательница Лорейн Хэнсберри, автор пьесы «Изюминка на солнце» (опубликована в «Иностранной литературе» № 11, 1960), в настоящее время работает одновременно над четырьмя пьесами — «Знак в окне у Дженни Рид», «Сущность», «Туссэн» и «Белые».

Первая пьеса, как сообщила Хэнсберри корреспонденту газеты «Нью-Йорк таймс», рассказывает о людях — ровесниках писательницы. Ее герои — жители Гринвич-вилледж близ Нью-Йорка, где живет сама Хэнсберри. Сюжет второй пьесы основывается на романе «Сущность традиции», написанном Чарльзом Чэстнатом, умершим тридцать лет назад, которого Хэнсберри называет «первым крупным негритянским писателем Америки». Действующие лица — негры и белые, причем основные роли отведены белым.

Рассказывая о пьесе «Туссэн», посвященной национальному герою Гаити Туссэну Лувертюру, Хэнсберри сказала: «Моя цель — попытаться дать портрет человека, который сыграл большую историческую роль, дать образ негра — политического деятеля и гуманиста». Место действия пьесы «Белые» — одна из африканских стран, народ которой сбрасывает иго колониализма.

— Я работаю то над одной, то над другой пьесой,— сказала далее Хэнсберри,— в зависимости от того, каково мое душевное состояние и что мне в данный момент ближе. Иногда я три месяца пишу одну пьесу, а потом вдруг переключаюсь на другую. А вот над пьесой «Сущность» я работаю более или менее постоянно уже с 1957 года. Когда говоришь о годах, получается, будто много лет создаешь одну вещь. На самом деле это совсем не так. «Изюминка», например, заняла у меня фактически восемь месяцев.

В течение последних двух недель я больше всего работала над «Дженни». На втором акте я застряла, не могу сдвинуться с места, так что, по-видимому, сейчас эту вещь я оставлю и попробую вернуться к ней, когда поеду за город, отдыхать. А до этого я работала над «Белыми». Почему я переключилась на «Дженни»? Я как раз закончила первый вариант пьесы, и у меня начался особый зуд, страшно хотелось начать!..

ТУНИС

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Бейрутский журнал «Аль-Адиб» сообщает о выходе в свет в Тунисе двух новых книг. Первая из них — историческая повесть молодого тунисского писателя аль-Бешира Храйефа «Ночная молния». Вторая книга — «Поэтическая фантазия у арабов» — принадлежит перу выдающегося тунисского поэта-романтика аш-Шабби (1909—1934 гг.). В свое время эта работа, явившаяся манифестом революционного романтизма в Тунисе, доставила немало хлопот тунисским реакционерам и консерваторам.

ФЕДЕРАЦИЯ РОДЕЗИИ И НЬЯСАЛЕНДА

В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ

Театральный коллектив «Интимейт тиэтр груп» поставил недавно в Солсбери пьесу Дж. Уотсона «Сикелеле Африка». Это — первое драматическое произведение, написанное местным автором и посвященное сегодняшней Южной Родезии. Однако, несмотря на актуальную тематику, пьеса, по мнению рецензента журнала «Сентрал африкен игземинер», вызывает лишь чувство горького разочарования.

Автор глубоко враждебно относится к национальному движению в Южной Родезии. И, стремясь вызвать у зрителей отрицательное отношение к этому движению, он, пользуясь старыми методами колонизаторов, изображает представителя национально-освободительного движения лгуном, пьяницей и даже... убийцей. Идейная порочность пьесы ведет к ее художественной слабости. Характеры действующих лиц уныло стереотипны, поступки персонажей, например, убийство героем пьесы без всяких на то оснований преданного ему старого человека, художественно неоправданы.

Подвергая пьесу и ее автора резкой критике, рецензент «Сентрал африкен игземинер» пишет: «Мы испытываем большую нужду в гворческом осмыслении нашей политической действительности, но такая пьеса не помогает нам».

ФРАНЦИЯ

ЮНОШЕСКИЕ СТИХИ ЭЛЮАРА

Парижское издательство Сегер выпустило в свет сборник «Юношеские письма и неизданные стихи» Поля Элюара. Сборник составлен дочерью поэта Сесиль Валетт-Элюар и Робером Д. Валлетт.

В книге, как сообщает печать, собраны стихи и письма поэта, написанные в 1911—1920 годах. В этих

Портрет Поля Элюара работы Пабло Пикассо (1936 г.).

письмах нашло широкое отражение такое событие, как первая мировая война, в которой поэт принимал непосредственное участие. Именно на фронте Поль Элюар создал свои известные «Стихи о мире». Из писем военного периода явствует, что здесь, на фронтах, Поль Элюар определил свое место в жизни, нашел себя как поэта, здесь формировалось его мировоззрение.

Автор статьи о сборнике, опубликованной газетой «Монд», подчеркивает, что эта книга Поля Элюара привлекает внимание читателя не столько благодаря собранному в ней документальному фактическому материалу, сколько благодаря раскрытию таких черт, характерных для всего творчества выдающегося поэта, как «искренность, благородство и необычайная вера в жизнь».

НОВАЯ ПЬЕСА АРТЮРА АДАМОВА

«Политика отбросов или преступник среди своих» — под таким заголовком еженедельник «Леттр франсез» опубликовал интервью с драматургом Артюром Адамовым и режиссером Жан-Мари Серро.

«Политика отбросов» — название новой, еще не опубликованной пьесы Адамова. Режиссер Серро, по его словам, пока не знает, в каком театре ему удастся поставить эту пьесу. «На мой взгляд, — говорит режиссер,— эта пьеса — синтез всего самого лучшего, что было в первых произведениях Артюра Адамова».

Автор пьесы рассказывает, что однажды он прочел клиническое заключение об одном умалишенном, который страдал необычной манией преследования. Ему казалось, что все отбросы — прокисший напиток в стакане, использованные билеты, очистки овощей и т. п. — предназначены ему лично, что он все должен проглотить и, естественно, такая перспектива вызывала у него панический страх. Этот случай поразил Артюра Адамова — и в результате появилась пьеса «Политика отбросов». Главное действующее лицо — представитель белого населения Южной Африки Джонни Браун под влиянием чудовищных предрассудков своей семьи и своего класса убивает чернокожего. «Пусть хоть одним будет меньше»,— оправдывает он свое преступление. И те, кто является его единомышленниками, вынуждены судить Джонни Брауна...

Подобный процесс, сказал Артюр Адамов, мог бы происходить не только в Южной Африке. Об этом свидетельствуют некоторые недавние процессы и во Франции, на которых адвокаты умоляли судей не применять «позорного приговора об условном осуждении»...

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

КНИГИ О КАРЕЛЕ ЧАПЕКЕ

Творчеством Карела Чапека продолжают интересоваться как в самой Чехословакии, так и за ее пределами. О нем напечатаны десятки исследований и статей. О прозе и драматургии Чапека, о его философских и эстетических взглядах у себя в стране писали Шальда, Гетц, Рутте, Черный Вацлавек, Тетауер, Мукаржовский.

Недавно в издательстве «Чехословенски списовател» вышла книга Ивана Климы «Карел Чапек», которая представляет собой новое исследование о жизненном и творческом пути великого чешского писателя-антифашиста. Особое внимание автор обращает на политические взгляды Карела Чапека.

В связи с выходом книги Ивана Климы критик Томаш Хойер пишет в еженедельнике «Культурны живот», что до сих пор нет исследования, в котором освещалась бы «внутренняя диалектика жанров и стилей Чапека, их происхождение, дифференциация и синтез». По мнению Хойера, назрела необходимость составить библиографию произведений Чапека, издать его работы, не вошедшие в книги писателя и разбросанные по различным периодическим изданиям.

ЗНАКОМСТВО С ДРУЗЬЯМИ

Хорошая традиция есть у словацкого еженедельника «Культурны живот»: широко знакомить своих читателей с культурной жизнью стран народной демократии, как европейских, так и азиатских. За последнее время вышли румынский, венгерский, польский и болгарский номера еженедельника.

Недавно, в связи с 40-летием победы народной революции в Монголии, вышел монгольский номер еженедельника. В этом номере помещены стихи и проза монгольских писателей Т. Нацаргоржа, С. Эрденэ, Ц. Дамдинсурэна, Б. Явуухулана. Чешский журналист Цтибор Штитницки написал для этого номера большой очерк «Ветер, родившийся в Гоби», в котором рассказал читателям о больших успехах монгольского народа в экономическом строительстве и культурной жизни. Номер иллюстрирован кадрами из монгольских кинофильмов и театральных постановок, фотоснимками, рассказывающими о жизни современной Монголии.

ШВЕЦИЯ

«МГНОВЕНИЕ И ВОЛНЫ»

Новая книга известного шведского поэта, лауреата международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» Артура Лундквиста, вышедшая в издательстве Бонньер, называется «Мгновение и волны».

Лундквист — один из самых плодовитых писателей Швеции. С 1928 года, когда он впервые появился в литературе, вышло 43 его книги. Кроме того, Лундквист непрерывно сотрудничает в шведской периодической печати, а также неутомимо странствует по свету.

Во многих стихах сборника «Мгновение и волны», пишет рецензент газеты «Ню даг», звучит тоска по свободе, сожаление о том, что у человека нет крыльев, как у птицы, что он не может обозреть весь мир.

В своей книге Лундквист — такой же путешественник, как и в жизни: он странствует среди гор, лесов и вулканов. Он не жалеет красок, чтобы изобразить так называемую капиталистическую свободу — «свободу охранять тюрьмы, свободу отравлять друг друга, свободу торговать смертью и насилием».

ЮГОСЛАВИЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЯРМАРКА КНИГИ

«Белградским фестивалем книги» называют многие Международную ярмарку книги в Югославии. Организация ее стала уже традиционным событием, представляющим возможность шире познакомиться с богатым миром книг и издательской деятельностью разных стран.

По сообщению газеты «Борба», в ноябре проводится седьмая Международная ярмарка в Белграде. В ее работе примут участие представители издательств Югославии, Советского Союза, Кубы, Италии, Франции, Англии, США и многих других стран.

ЯПОНИЯ

«АМЕРИКА ОККУПИРОВАЛА ЯПОНСКУЮ КУЛЬТУРУ»

Под таким заглавием в журнале «Синнихон бунгаку» помещена статья председателя Общества новой японской литературы Накано Сигэхару.

«В одной из газет,— пишет Накано Сигэхару,— я прочитал слова американского посла Рейшауэра, который, присутствуя на каком-то собрании, сказал, что «японская культура оккупировала Америку». Многие, наверно, помнят, как эти слова были подхвачены рядом газет... Трудно сказать, что он имел в виду под этими словами. Может быть, по мнению Рейшауэра, японская культура действительно оккупировала Америку. На мой же взгляд, правильнее говорить о другом — о том, что американская «культура», воспитывающая преступников, беспрепятственно проникает в Японию, оккупирует ее... Сейчас уровень преступности в Японии — подлоги, убийства, похищение детей, продажа наркотиков, торговля девушками — уже вплотную подошел к американскому уровню».

ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ

Издательство Сюэйся предприняло выпуск 38-томного «Собрания литературы новой Японии».

В это «Собрание» предполагается включить произведения 55 современных писателей, творческая деятельность которых началась после войны. Именно это обстоятельство, как указывает еженедельник «Нихон докусё симбун», является специфической особенностью настоящего издания, отличающей его от нескольких аналогичных многотомных собраний японской литературы, выпущенных в последние годы в Японии.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ЮЗЕФ ОЗГА-МИХАЛЬСКИЙ
JOZEF OZGA-MICHALSKI

(род. в 1919 г.)

Польский поэт, публицист и общественный деятель. Автор стихотворных сборников: «Грустное и веселое» («Smutne i wesołe», 1956), «Партизанские странички» («Kartki partyzanskie», 1958), «Святовид» («Swiatowid», 1959), «Другая сторона луны» («Druga strona księżyca», 1961), «Баллады» («Ballady», 1962).

Публикуемые стихи взяты из разных поэтических сборников.

РАУЛЬ ГОНСАЛЕС ДЕ КАСКОРРО
RAÚL GONSALEZ DE CASCORRO

(род. в 1922 г.)

Кубинский писатель. Рассказы, публикуемые в номере, взяты из книги «Люди Плайя Хирон» («Gente de Playa Girón», 1962).

ГО МО-ЖО

(род. в 1892 г)

Общественный деятель, писатель, критик, историк и искусствовед, президент Академии наук Китая. Стихи Го Мо-жо неоднократно публиковались в нашем журнале. Стихотворение «Трава за городом» взято из 2-го тома «Собрания литературных произведений Го Мо-жо» («Мо-жо вэнь цзи», 1961), два других стихотворения публикуются по журналу «Шикань».

ДЖОН ГОВАРД ЛОУСОН
JOHN HOWARD LAWSON

(род. в 1895 г.)

Американский драматург, кинокритик и публицист, один из деятелей Голливуда, брошенный в тюрьму за отказ «сотрудничать» с Комиссией по расследованию антиамериканской деятельности. Автор книг: «Теория и практика создания пьесы и киносценария» («Theory and Technique of Playwriting», 1936), «Кинофильмы в борьбе идей» («Films in the Battle of Ideas», 1953 — книга вышла в СССР), ряда пьес и киносценариев.

Пьеса «Чудеса в гостиной» («Parlor Magic») прислана в рукописи.

СТАНИСЛАВ ЛЕМ
STANISŁAW LEM

(род. в 1921 г.)

Польский писатель, сатирик и фантаст. Ему принадлежат научно-фантастические романы: «Астронавты» («Astronauti», 1955), «Магелланово облако» («Obłok Magellana», 1955), «Вторжение с Альдебарана» («Inwazja z Aldebarana», 1959), «Возвращение со звезд» («Powrót z gwiazd», 1961), сборник рассказов «Звездные дневники» («Dzienniki gwiazdowe», 1957). Многие произведения Лема переведены на русский язык.

Рассказ «Стиральная трагедия» взят из газеты «Жице литерацке», рассказ «Терминус» — из журнала «Млоды техник».

ПОЛЬ ЭЛЮАР
PAUL ELUARD

(1895—1952)

Французский поэт и общественный деятель. В 1953 году Элюару посмертно была присуждена Международная премия Мира. Из его стихотворных сборников можно назвать следующие: «Открытая книга» («Le livre ouvert», 1940—1942), «Поэзия и правда» («Poésie et verité» 1949), «Лицом к лицу с немцами» («Au rendez-vous allemand», 1942—1945), «Урок морали» («Un leçon de morale», 1949), «Посвящения» («Hommages», 1951), «Все сказать» («Pouvoir tout dire», 1951), «Феникс» («Le phenix», 1951) и многие другие.

Публикуемые стихи взяты из сборников разных лет.

ПИТЕР ТЕМПЕСТ
PETER TEMPEST

(род. в 1924 г.)

Английский поэт и переводчик, автор сборника «Первые стихи» («First Poems», 1957).

Публикуемая статья получена в рукописи.

ЕФРЕМ КАРАНФИЛОВ

(род. в 1915 г.)

Болгарский критик. Среди его последних работ — книга очерков «Поэзия и проза» («Поезия и прозата», 1957), «Со-

временность и мастерство» («Съвременост и майсторство», 1961) и др.

Настоящая статья прислана в редакцию в рукописи.

МИХАЙ НОВИКОВ
MIHAI NOVIKOV

(род. в 1913 г.)

Румынский писатель и критик. Автор книги «Рассказы о Дофтане» («Povestiri despre Doftana», 1957), «Васка» («Vasca», 1962), критической работы «Реализм критический—реализм социалистический» («Realism critic — Realism socialist», 1961).

Статья, публикуемая в номере, написана для нашего журнала.

ИРЖИ ГАЕК
JIŘI HÁJEK

Чехословацкий критик. Автор многих статей об идейной борьбе в чехословацкой литературе и о проблемах социалистического реализма.

Публикуемая статья прислана в рукописи.

КАРЛО САЛИНАРИ
CARLO SALINARI

Итальянский критик и литературовед. Редактор журнала «Контемпоранео». Автор многих работ по итальянской литературе. Последняя его книга — 3-томная «История итальянской литературы» («Storia popolare della letteratura italiana», 1962).

Статья «Антонио Грамши—революционер и мыслитель» прислана в журнал в рукописи.

ИОГАННЕС Р. БЕХЕР
JOHANNES R. BECHER

(1891—1958)

Немецкий поэт, общественный и государственный деятель ГДР. Дважды — в 1949 и 1950 годах — удостаивался Национальной премии. В 1952 году был удостоен международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами».

Ему принадлежат роман «Прощание» («Abschied», 1940) и многочисленные поэтические сборники и теоретические работы по литературе.

ВЛАДИМИР ПОЗНЕР
VLADIMIR POZNER

(род. в 1905 г.)

Французский писатель и публицист. Автор книг: «Разъединенные Штаты Америки» («Les Etats-Desunis», 1937), «Воспоминания о Горьком» («Souvenirs sur Gorki, 1957), «Кто убил Х. О. Барелла?» («Qui a tué H. O. Burrell?», 1952), романов «Сутки траура» («Deuil en 24 heures», 1956), «Место казни» («Le lieu du supplice», 1959), «Поднятие занавеса» («Le lever du rideau», 1961).

Статья «Беседа с Арнольдом Цвейгом» прислана в журнал в рукописи.

Главный редактор **А. Б. Чаковский.**

Редакционная коллегия.
И. И. Анисимов, М. Я. Аплетин, Б. Г. Гафуров, С. А. Герасимов, С. А. Дангулов (зам. главного редактора), **Е. А. Долматовский, Т. Л. Мотылева, Л. В. Никулин, М. И. Рудомино, В. П. Терешкин, Е. Ф. Трущенко, М. А. Шолохов.**

Художеств. редактор *М. М Милославский*
Технический редактор *В. Л Шачнев*
Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41.
Телефон: В 3-51-47.

Сдано в производство 8/IX 1962 г.
Подписано к печати 3/XI 1962 г.
А 09276
Бумага 70×108¹/₁₆ = 9 бум. л.; печ. л. 24,66.
Зак. 1745

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

ЖУРНАЛ «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» ПЕЧАТАЕТ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ РАЗНЫХ СТРАН — РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, СТИХИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ, СЦЕНАРИИ, ШИРОКО ЗНАКОМИТ ЧИТАТЕЛЕЙ С НОВИНКАМИ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

В 1963 году редакция предполагает напечатать следующие произведения:

ГЮНТЕР ВАЙЗЕНБОРН
«Преследователь» (Повесть)

БЕРНГАРД ЗЕЕГЕР
«Осенний дым» (Роман)

ДЖАН КЭРЬЮ
«Прикосновение Мидаса» (Роман)

ХАРПЕР ЛИ
«Убить пересмешника» (Роман)

АЛЬБЕРТ МАЛЬЦ
Новый роман

АТАНАС НАКОВСКИЙ
«Мария» (Повесть)

ДЖОН ОСБОРН
«Эпитафия Джорджу Дилону» (Пьеса)

АЛЬФОНСО САСТРЕ
«Западня» (Пьеса)

АЛАН СИЛЛИТОУ
«Ключ от двери» (Роман)

ДЖОН СТЕЙНБЕК
«Путешествие с Чарли в поисках Америки» (Повесть)

КАТЕБ ЯСИН
«Неджма» (Роман)

Редакция намерена опубликовать также новые произведения

ТУДОРА АРГЕЗИ, ЖОРЖА АРНО, ЙОЖЕФА ДАРВАША, ЯНА ДРДЫ, ЛАО ШЭ, ВЛАДИСЛАВА МАХЕЕКА, ФРАНСУА МОРИАКА, ЛЮЧИО МАСТРОНАРДИ, ЮЗЕФА ОЗГА-МИХАЛЬСКОГО, Р. К. НАРАЙАНА, ТО ХЫУ, ПАБЛО НЕРУДЫ, ОРХАНА ХАНЧЕРЛИОГЛУ, РОБЕРТА БОУЛТА, КАРЛОСА ФУЭНТЕСА, АРНОЛЬДА ЦВЕЙГА и ДР.

В журнале регулярно публикуются статьи, посвященные важнейшим проблемам развития зарубежных литератур, материалы о творчестве писателей разных стран. На страницах журнала систематически рецензируются новые книги иностранных авторов, вышедшие как за рубежом, так и в нашей стране.

Зарубежные и советские писатели, общественные деятели, деятели культуры, науки и искусства выступают в журнале по важнейшим вопросам международной жизни, со статьями о значительных явлениях театра, кино и изобразительного искусства.

В разделе **«Из месяца в месяц»** журнал широко информирует читателей о событиях культурной жизни за рубежом.

Журнал иллюстрируется.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА 1963 ГОД:

НА ГОД — 9 РУБ. 60 КОП.
НА 6 МЕС. — 4 РУБ. 80 КОП.
НА 3 МЕС. — 2 РУБ. 40 КОП.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ОТДЕЛАМИ **«СОЮЗПЕЧАТИ»**, ОТДЕЛЕНИЯМИ СВЯЗИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ РАСПРОСТРАНИТЕЛЯМИ ПЕЧАТИ.